КРАСНАЯ НОВЬ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И НАУЧНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

1925

КНИГА
ПЕРВАЯ

ЯНВАРЬ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

Гиз № 9017. Главлит № 30844. Напеч. 10.000 экз.

1-я Образцовая типография Госиздата, Москва, Пятницкая, 71.

Рассказы.

Пантелеймон Романов.

1.

Три кита.

Как только прошел слух, мужики сейчас же выбрали комитет. А в комитет избрали трех человек: Николая сапожника, Степана и лавочника.

Николая выбрали за то, что он очень долго говорить мог и выдумывать то, чего до него никто не выдумывал.

Степана выбрали за то, что у него душа была уж очень хорошая, он всегда говорил о том, чтобы всем было хорошо и чтобы все было по справедливому и все были бы равны. И совесть у него была замечательная.

Лавочника выбрали просто от хороших чувств. От этих же чувств выбрали бы и помещика, чтобы показать, что они зла не помнят. Но не решились, побоявшись молодых, которые должны были скоро вернуться с фронта. И потому остановились на лавочнике.

— Он хоть и жулик номерный, но деляга,—говорили мужики.

— Без жулика не обойдешься, потому он все знает, где, как и что. Может, он не для себя только будет стараться, а и для обчества.

— Довольны своими?—спрашивали соседние мужички из слободки

— На что лучше. Одно слово—три кита. На подбор.

Деятельность избранных распределилась согласно их призванию. Николай был беззаветный теоретик. У него постоянно голова работала в том направлении, чтобы устроить жизнь так, как еще нигде не было. И потому он взял на себя идеологическую сторону и теорию. Но у него был один недостаток: он теорию никогда не согласовал с практикой. А свойство его головы было таково, что она постоянно рождала новые идеи. Идей этих было столько, что он едва успевал их выкладывать и даже часто сам забывал сегодня о том, о чем говорил вчера.

— Это я тут ошибся, их вон куда надо...—сказал черноносый малый, полез правой рукой почесать затылок, и левая стала подниматься.

— Ты должно быть не той рукой писал...—сказал Сенька.

— Ты бы поаккуратней, что ж свиней-то тут будешь наводить,— сказали члены комиссии.

— А мыло где у тебя?

— Мыло без записи. В обмен все пошло,—сказал малый.

Когда же с лавочником заговаривали о земле, то он, имевший сам двадцать десятин купленных, говорил:

— С этим надо подождать, как там решат. Вот соберутся. За то мы с вас налогов никаких не берем. А без закону нельзя.

Если кто-нибудь приходил к нему с запиской от Степана, который просил выдать на хату для просителя кирпича, лавочник говорил:

— Нету кирпича, на школу пошел.

— На какую школу? Да ведь школы-то нету?

— У Николая спрашивай.

Тот шел к Николаю.

— Кирпич из разломанной кухни брал?—спрашивал Николай.

— Брал.

— Ну, так какого же чорта лезешь?

И выходило так, что все терпели от трех. С одной стороны, от богатой фантазии Николая, с другой—от доброй души Степана, с третьей—от односторонне направленного номерного дара лавочника.

— Этому чорту в святые надо иттить, а не делами заниматься,— говорили про Степана.

— Вот засели окаянные на обчественную шею. Когда ж это с фронту придут?!

— Кто же это вам удружил таких?—спрашивал кто-нибудь мужичков.

— Сами, конечно. Кто ж больше!

2.

Рябая корова.

Когда делили помещичий скот, то прежде всего решили наделить беднейших.

Степан, выбранный в комитет за то, что у него была душа хорошая, казалось, торжествовал свою давнюю мечту. Он ходил, как именинник, возбужденно радостный и улыбающийся. Все остальные мужички вполне согласились. У них было такое выражение, как будто они только за тем и брали, чтобы отдать тем, кто нуждается.

Беднейшие были тоже за то, чтобы их наделить коровами.

Против — были только те, у кого и своих коров было много: прасол, огородник да еще, очевидно, Иван Никитич, хозяйственный и аккуратный мужичок. Он хоть и не выражал прямо своего мнения, так как всегда был осторожен, но видно было по всему, что он не одобряет общего настроения.

Но их было такое ничтожное меньшинство, что на них никто и не обращал внимания.

— Предлагаю даром скотину не раздавать, а положить плату, — сказал, выйдя на средину, лавочник.

— А деньги куда пойдут? — спросил голос из толпы.

— Деньги положим в комитет. Будет составлять общественный фонд для потребления всех граждан, — ответил лавочник и отошел в сторону, как окончивший свое дело.

Все переглядывались и не знали, что сказать, ожидая решения от того, кто выскажется первым.

— Что ж, вали, — сказал Федор, отличавшийся хорошим характером и прежде всех всегда соглашавшийся со всяким предложением, каково бы оно ни было.

— А по многу на кажного придется? — спросил молчавший все время Иван Никитич, свертывая папироску.

— Чего придется? — спросил возбужденно-нетерпеливо Степан.

Иван Никитич не сумел объяснить, что он разумел под своим вопросом и молчал.

— Вали, — сказали остальные, кроме прасола и огородника, которые сидели в сторонке на бревнах и, пощипывая бороды, смотрели на облака, как будто совсем не интересуясь этим вопросом.

— Кто за то, чтобы наделить беднейших? — крикнул Степан.

Все, кроме прасола, огородника и Ивана Никитича, подняли руки.

При чем Иван Никитич сделал-было тоже движение поднять, но какое-то неопределенное, так что можно было подумать, что он поднимает руку, и то, что он хочет почесать в голове.

— Большинство за то, чтобы наделить. Кто против?

Против не поднялось ни одной руки.

— Кто воздержался?

Тоже ни одной руки.

— Принято единогласно, — сказал поспешно Степан, точно боясь, как бы не передумали.

Подошел еще народ, и все отправились в усадьбу делить.

Степан шел впереди, за ним лавочник со счетами, потом беднейшие, за беднейшими средние мужички, а в самом хвосте — приятели, длинный, молчаливый Сидор и маленький Афоня.

Вывели первую корову. Досталась беднейшему Захару Алексеичу.

— Веди, брат. Помогай бог. Дешево досталась.

— Вот эта бы на молоко хороша была, — сказал про себя прасол.

— Ежели кормить хорошо, — сказал огородник. — А разве он ее прокормит?

— Граждане, не ваше дело. Отходи, не мешайся.

— Мы и не мешаем. А промеж себя говорить ты нам запретить не можешь.

Вторая корова досталась Котихе, тощей грязной бабе.

— Вот эта на мясо бы в самый раз.

— Граждане, не говори под руку, — крикнул Степан, когда заметил, что после слов прасола глаза всех оглядывались более внимательно на коров.

Когда вывели третью корову, подбежали запыхавшись чужой мужик и две бабы.

— Голубчики...—только и могли выговорить бабы, не зная, на каких коров смотреть,—на тех, что выводили из закут, или на тех, что уводили со двора.

На них оглянулись.

— Чьи вы?

— Молчановские...

— Что вам?

Бабы или не смогли ответить, или не тем были заняты: их глаза были прикованы к выведенной рябой корове с огромным выменем. Одна из баб подбежала и начала торопливо щупать корову, не глядя ни на кого.

— Ай, батюшки, а хороша-то... Голубчики...

— Что ты, ай очумела?..

— Да чего вам надо-то? — спросил Андрюшка солдат, оттащив бабу сзади за хвост от коровы.

— Слышишь, что ли... говори.

— Закостенела...

— Коровку нам...— сказала другая.

— Не надо ли еще чего?..

— Овцу надо, — быстро сказала баба, которую Андрюшка все еще держал за хвост шубы,—сразу дар языка вернулся.

— Вот дать тебе под хвост хорошую, не будешь в чужой огород лезть,— сказал, не выдержав, прасол, вступая в круг.

— Товарищ, не выражайся, — сказал Степан, — у нас теперь нет чужого, все общее.

Огородник только посмотрел на него со своего бревна.

— Общее-то общее, — негромко сказал Иван Никитич, — а попадает все одним, а у других мимо рта проплывает.

— Ты чьей волости? — спросил вдруг недавно подошедший Николай сапожник, председатель комитета.

— Да вашей же волости. Мы молчановские.

Николай спросил так значительно, что на него все оглянулись.

— Вы беднейшие или нет? — спросил он с таким выражением, с каким врач спрашивает больного, есть у него жар или нет.

Та баба, которую держал Андрюшка, отмахнулась от него и распахнула полушубок обеими руками, так что треснули крючки.

— Вишь? вот те крест!..— И оглянулась, ища, не видно ли тут где церкви.

Под шубой никто не увидел ничего особенного и неизвестно было, зачем она распахнулась. Но этот жест, видимо, всех убедил в чем-то.

— Придется дать...— сказал Николай.

И он, сплюнув, отвернулся.

Все озадаченно посмотрели на него.

— Что ж, вали, — сказал Федор. — Ежели бы не нужно, не просили бы.

— Ну, вали, — сказали остальные.

— Запиши их в книгу.

Бабы увели рябую корову. Иван Никитич долго смотрел ей вслед. Другие тоже посмотрели.

— Теперь надо самому беднейшему. Андрея Горюна надо наделить. Деньги можешь заплатить?

— Какие ж у меня деньги, — сказал тощий разутый Андрей, — вот оно, вишь...— И он тоже, как та баба, распахнул свой рваный кафтанишко.

Все переглянулись и, не зная, что сказать, молчали.

— После заплатишь, — сказал Степан, махнув рукой.

— Известное дело, — согласился Федор,— что с бедного сейчас брать?

— Успеется еще, — сказали другие голоса.

Чем больше выводили коров, тем больше оживлялся Степан.

— Нам бы только беднейших поставить на ноги, — говорил он суетливо.

— Беднейших на ноги хотят поставить, — сказал негромко маленький Афоня Сидору, с которым они стояли в сторонке молча.

— А рябая корова-то хороша, — сказал как бы про себя Иван Никитич.

— Да... — согласился кто-то. — Теперь во сне всю ночь будет сниться.

— С таким вымем за корову 300 целковых можно взять, — сказал прасол и сплюнул.

— Чорт их подвернул под руку.

— И не видно, откуда зашли.

— Вон откуда, от поповой риги шли,— сказал Николай сапожник.

Все посмотрели по направлению к поповой риге.

— Поплыли наши коровушки, — сказал чей-то голос.

— Подожди, поплывет и хлебушек.

— Хлебушек, говорят, тоже поплывет, — сказал Афоня Сидору.

— Это пойдите вы к чорту, — крикнул вдруг прасол. — Дуракам дай волю, они всех по миру пустят. Ведь корова-то молочная, а вы ее кому даете? Что ж он ее доить, что ль, будет?

Все посмотрели на корову.

— Что это за порядок такой, что одному дают, а все которые прочие без ничего остаются? — сказал Иван Никитич. — Ведь ежели бы ее зарезать да разделить...

— Только и разговору, что об этих беднейших, — сказал огородник. — Еще чертей навязали на шею, скоро их обувать-одевать заставят.

— Какой это дурак выдумал? Поровну надо все делить.

— Граждане! — сказал лавочник. — Постановлено на общем собрании. И отменить постановление может только общее собрание.

— Собирай собрание! — закричал прасол.—Мы их сейчас.

— Что ж тебе собирать, когда все на-лицо!

— Вопрос ставится на голосование, — сказал лавочник. — Кто за то, чтобы...

Сзади поднялось несколько рук.

Лавочник посмотрел на них и остановился.

— Еще ничего не сказано, а вы руки тянете! Опустите сейчас.

— Ох, поскорей бы уж,— сказал бабий голос.

— Кто за то, чтобы...

— Да что он, нечистый, опять с начала?

— Кто за то, чтобы дать беднейшим?.. — крикнул лавочник.

Несколько рук не разобравшись взвились кверху, но сейчас же опустились опять.

— На людей гляди! — сердито сказал прасол, посмотрев в их сторону.

— Кто за то, чтобы беднейшим... не давать? — крикнул лавочник.

Сразу вырос целый лес рук.

— Эй, бабы, по две руки не поднимать! — крикнул лавочник.

— Это я за свекора.

— А вы-то чего поднимаете? — спросили у беднейших, которые тоже подняли руки.

Те нерешительно опустили руки.

— Нам, стало быть, не надо.

— Не надо.

— Принято большинством! — сказал лавочник и махнул рукой.

— А нам-то куда теперь? — спросил Андрей Горюн, подойдя к прасолу.

— Вам куда? К чортовой матери, вот куда, — ответил прасол.

— К чортовой матери послали, — сказал Афоня Сидору.

3.

Святая женщина.

Беднейшие с начала переворота испытали три совершенно различных превращения.

В первое время только и делали, что носились с ними: что ни начнут делать, сейчас десяток голосов с разных сторон кричит:

— Беднейщих-то не забудьте. В первый черед наделить.

— Знаем без тебя, — говорят комитетчики, — затем и взялись.

— Вот, вот, ведь не для себя берем.

— На что нам, очень нам нужно.

— Нам только бы их-то на ноги поставить.

И беднейшие сначала только скромно предоставляли всем желающим ставить себя на ноги.

У Захара Алексеича крыша давно прохудилась, и каждый раз после дождя он, выходя из избы, прежде всего попадал ногою в лужу в сенцах, а потом на пороге долго осматривал, промочил лапоть или нет. Но крыши не поправлял, а садился на заваленку и все о чем-то думал, опустив голову над коленями.

— Что ж крышу не чинишь, Захар Алексеич? — говорил кто-нибудь, проходя мимо.

Захар Алексеич поднимал голову, сначала смотрел на спрашивающего, потом на крышу.

— Что ж ее чинить-то, она вон уж старая, — говорил он, — вот как комитет...

Спрашивавший уходил, а Захар Алексеич отходил на середину улицы, чтобы лучше видеть и, прикрыв рукой глаза от солнца, долго смотрел на крышу. Потом снова садился на заваленку и опять о чем-то думал.

В первое время беднейшие сами даже могли и не ходить на собрания и не напоминать о себе: о них все помнили.

Степанида, не имевшая земли и кормившая пять человек детей и никогда о себе не напоминавшая, ничего не просившая, и та не могла пожаловаться: и лошадь ей в кредит дали, и корму воз, и даже два передних колеса от телеги при разделе инвентаря.

— Не все ж людям маяться. А то при старом порядке маялись, да еще и теперь майся, — говорили мужички.

Потом когда помещичий корм беднейшие лошади поели, так как одного воза хватило только на месяц, беднейшим пришлось уже напоминать о себе. Но время тут подошло горячее: руки у всех тянулись ко всему не с прежней нерешительностью и совестливостью, а с лихорадочной спешкой, то голосов беднейших было почти не слышно.

Иван Никитич спешил сбыть по мешочку в город доставшуюся муку на случай нового передела, чтоб не сказали, что у него много, и у него уже началась дрожь в руках от нечаянных барышей.

Ему было не до беднейших.

Прасол переводил своих телят и беднейших коров на спирт, порезав их предварительно.

Ему было не до беднейших.

Огородник то-и-дело водил носом: не взяли ли где фабрику или завод на учет.

Ему при такой спешке и вовсе было не до беднейших.

И чем больше беднейшие напоминали о себе, тем меньше получалось результатов. Все были заняты делом, и они только мешали на каждом шагу.

Захару Алексеичу уже пришлось переменить и место для размышлений, и он вместо своей заваленки сидел все дни и вечера на крыльце чайной, где заседал комитет.

И когда какой-нибудь запоздавший член комитета спешил на заседание и вдруг глазами натыкался на фигуру Захара Алексеича в зимней шапке с палкой, то сейчас же, почему-то плюнув, повертывал за угол и заходил с другого крыльца.

Тогда беднейшим пришлось уже более настойчиво требовать внимания к себе, пуская в ход различные средства, удобные для этого случая.

И на них уже стали смотреть, как на какую-то кару господню.

— Вот навязались-то на нашу душу.

— То по экономиям весь век клянчили, а теперь нашу кровь хотите пить? — тонким голосом кричал огородник.

— Почему вот Степанида не надоедает, — говорили все, — она и больная лежит, а не лезет, ей всегда всякий с удовольствием поможет...

— Хлебца бы ей, что ли, снести, Степаниде-то, — говорят, целый день не ела.

— Кто на чужую собственность смотрит, — говорил Иван Никитич, — у того и свое отнимется, потому что не по закону.

— У тебя-то вот однако не отнялось, — говорили беднейшие, — набил карман-то. Мы вот тебе закон покажем, порастрясем. Лучше добром давай. Мы не чужого требуем, а своего. Все — наше!

И это было второе превращение.

Беднейшие превратились в ненавистных вымогателей. Пора осыпания их цветами прошла. Их только ненавидели и боялись.

— Донянчились!.. — говорил прасол.

— Их бы с самого начала в бараний рог гнуть надо.

— Только одна Степанида... Вот святая женщина, больна, пятеро детей, хлеба нет, а все не лезет. Хлебца бы, что ли, ей снести, Степаниде-то, а то, говорят, другой день не ела.

И так как все устали от требований беднейших, от их угроз, то всегда отводили душу, вспоминая о Степаниде.

А беднейшие уже стали кричать о новом переделе всего: у кого много, отнять и опять разделить поровну.

— Только уж теперь все промеж нас одних,— кричал Андрюшка.— Все — наше. Мы их расчешем.

Но время проходило, а они все не расчесывали: после большого подъема дух беднейших постепенно ослабевал. И Захар Алексеич, в свободное от сиденья на заваленке время, своими средствами добывал себе что-нибудь по соседству: забытую хозяином охапку дров, завалившуюся у чужой заваленки оглоблю.

Андрей Горюн, прицепив себе суму на спину и взяв в руку длинную палку, отправился куда-то; помаячил в тумане за околицей и скрылся за поворотом.

— Открыли кампанию,— сказал Сенька, подмигнув.

— Наконец-то за разум взялись,— сказал Иван Никитич.

Одна Степанида все лежала и не могла устроиться так же удобно, как остальные. И когда о ней вспоминали, то лавочник говорил:

— Вот уже кому, знать, на роду написано: как при старом порядке мучилась, бедная, так и при новом...

— И все молча терпит,— прибавлял кто-нибудь.

— Святая женщина. Хлебца бы ей снести, что ли, Степаниде-то. Третий день, говорят, не ела.

4.

Восемь пудов.

Мужики стояли целой толпой в усадьбе около сеновала и уже два часа говорили, кричали и спорили по поводу дележа сена.

Сначала условились все делить поровну. Рожь разделили поровну, вышло хорошо. Стали делить телеги тоже поровну, получилась нескладица: кому пришлась ось, кому колесо. И когда поделили, то оказалось, что инвентаря нет, и телег ни у кого нет,— ездить опять не на чем. Коров решили в таком случае поровну не делить, а дать сначала неимущим. Но когда начали давать, стало вдруг жалко и все оказались вдруг неимущими.

— Дай вот молодые с фронту придут!—кричали беднейшие, у которых отобрали назад коров.

Теперь с сеном,—как ни прикидывали,—все-таки оставался кто-нибудь недоволен.

— Ну, думай, думай, ворочай мозгами,—сказал прасол в синей поддевке,—надо разделиться, пока молодые с фронту не пришли, а то эта голытьба окаянная заведет тут свои порядки.

— Вот что!—крикнул кузнец.— Клади всем по восьми пудов, а что останется, отдать беднейшим. И нам необидно, и они в накладе не останутся.

— Правильно.

— Теперь можете быть спокойны,—сказал Сенька беднейшим,—коров не дали, за то сена вволю получите, давай только подводы.

— ... Чтобы отвечать, так уж всем...—сказал сзади неизвестно чей голос.

Это слово было услышано в первый раз за все время.

— Кто это народ все мутит!..—крикнул сердито прасол, оглядывая задние ряды.

Все тоже оглядывались, и никто не знал, кем это сказано.

— Ну, вали за подводами.

Все бросились по дворам, остались одни беднейшие, которые не имели подвод: у них были только доставшиеся от дележа оси, оглобли, которые они с досады в первый же день пожгли.

Через полчаса весь двор заставился санями. Кузнец был возбужден больше всех. Он бегал и кричал, как на пожаре. Лавочник и прасол прикатили на двух санях. Огородник был тоже возбужден: он то подбегал к своим саням, у которых стоял его малый в больших сапогах с кнутом, то убегал к сеновалу, как бы проверяя, хватит ли сена.

Прежде всего все захватили по большой охапке, подстелить в сани и дать лошади, не в счет.

— Эй, больше двух охапок не брать!—крикнул председатель, стоя с вилами у сеновала, так как видел, что иные вместо саней запихивали куда-то за сарай.

— Мы и две хороши накрутим,—сказал кузнец, натягивая веревку на огромной вязанке и наседая на нее коленом.

И, правда, накрутил такую, что когда пошел с ней к саням, то самого было не видно, а только двигалась какая-то копна на двух палочках.

Бабы, приехавшие без своих мужиков, выбивались из сил, чтобы побольше захватить в две охапки. Столяриха связала свои вязанки, вцепилась в них, но поднять не смогла. Заплакала с досады и, оглядываясь на сеновал, где со всех сторон мужики, как муравьи, тащили сено, причитала:

— Господи батюшка, силы нету.

— Прямо кишки все себе повыпустят, — говорили мужики, глядя, как мучаются бабы.

— Эй, по восьми пудов, больше не брать!—кричал председатель.

— Чего стоишь, зеваешь!—закричал, подбегая к сыну весь потный огородник, нырявший уже несколько раз куда-то за сарай и весь обсыпанный мелким сухим сеном.—Накладывай!

— Успеется, не уйдет,—сказал малый.

— У дурака успеется, а умный за это время два воза свезет. — И сам схватил лошадь за вожжу, оглядываясь на нее и попадая в снег, бегом повел ее к сеновалу.

— Гони скорей,—торопливо говорил он сыну, когда тот ехал уже на возу в ворота.—Сам дома оставайся, скажи, чтобы заместо тебя Митька ехал, да чтоб твою шапку не надевал, чертенок, а то ходите в одной, за десять верст видать, что из одного двора.

Около сеновала шла горячая работа. На самом сеновале работали человек десять дюжих мужиков, сваливая оттуда в несколько вил валом сено на возы, как будто спасая его от пожара. Не попавшее на воз и свалившееся на землю сено мгновенно исчезало куда-то, точно проваливалось сквозь землю.

— Да ты что же это накручиваешь-то!—кричал председатель на кузнеца, который навалил столько сена, что сани у него трещали и сам он сидел, как на каланче.—Сколько это у тебя выйдет?!

— Восемь пудов...—хрипло и не оглядываясь, весь в поту и в мелком сене, отвечал кузнец, подхватывая новую охапку и уминая ее ногами.

А в ворота скакали уже те, кто успел один раз свезти.

— Глянь! эти-то окаянные, опять прискакали...

— Вы зачем сюда опять заявились?

— Да мы посмотреть...

— Братцы, старайтесь, чтоб по совести!—кричал своим тоненьким голоском Степан.

— В лучшем виде будет,—отвечал кузнец, наступая ногой на конец вéревки и укручивая воз.

Навившие воза гнали домой лошадей так, что в воротах на раскате только гокали и терли потом себе под ложечкой, оглядываясь на столб.

Кончили сено, на двор прибежали беднейшие—Степанида, Захар Алексеич, которые бегали по деревне и просили подводу, так как той же Степаниде при разделе инвентаря достался тележный передок с двумя старыми колесами.

Захар Алексеич, поспешивший, должно быть, первый раз в своей жизни, прибежал в своей большой овчинной шапке на двор с таким видом, с каким прибегает хозяин на пожар своего дома, когда уже все сгорело; он и ахал, и хлопал по полам полушубка руками, и оглядывался—то на сеновал, то на выезжавшие со двора воза.

— Иван Никитич, сделай милость, дай сани.

— Нет у меня саней...—торопливо сказал Иван Никитич и сейчас же заторопился куда-то.

И к какой кучке беднейшие ни подходили, кучка редела и через минуту они оставались одни и с озлоблением взглядывали друг на друга, так как каждую минуту встречались нос к носу.

— Да чего вы беспокоитесь-то!—раз сказано—по восьми пудов.., ай уж в самом деле.

— По восьми-то по восьми, а ты захватывай скорей,—сказал какой-то мужичок, только что навивший свой второй возок и торопливо проводивший мимо лошадь.

— Кончили, что ли?—крикнул председатель.

— Кончили.

— В рабочую пору так не работал,—сказал кузнец, сдвинув со лба назад шапку и утирая фартуком пыль и пот с лица.—Восемь пудов, а взопрел так, что полушубок мокрый.

— А нам-то что же?! — сказали беднейшие.

— Остальное все — ваше,— отвечал Сенька,— делите. Старайтесь, чтоб по совести.

5.

Глас народа.

Разнесся слух, что комитеты будут уничтожены и вместо них будут Советы. Из Москвы с завода приехал Алексей Гуров и каждый день собирал около себя молодых солдат, вернувшихся с фронта, и говорил с ними о чем-то.

Старые члены комитета, в особенности лавочник, ходили встревоженные. Лавочник, поймав кого-нибудь на дороге, говорил:

— Что делается!.. Только было-начали налаживать, а они теперь все на смарку пустят. Ведь эта голытьба окаянная сама никогда ничего не имела и других теперь хочет по миру пустить.

Прежде, когда лавочник был председателем, он был строг и не доступен, и у мужичков уже начало накопляться недовольство им. Но теперь он стал такой хороший и разговорчивый, что все растрогались и говорили:

— От добра добра не ищут. Нам новых не надо.

— Ведь они все разбойники, — говорил лавочник, — ведь у них ни бога, ничего нет.

— Это верно, об боге теперь не думают.

— И потом нешто они дело тебе понимают! — продолжал лавочник. — На кажное дело нужна особая специальность, а они, кроме того что глотку драть, ни на что больше не годны.

— Это что там...

— Мы трудились для вас, можно сказать, все начало положили, они хочуть готовенькое подцапать, а нас долой. Правильно это?..

— Кто там хочет! — послышались голоса. — Мы выбирали вас, значит наша воля. Нам нужны дельные, одно слово, чтоб человек основательный был. А это что... голытьба! так она и всегда голытьбой будет, не хуже этого Алешки. В пальте ходит и уж думает... Когда только этот корень окаянный выведется!..

— Значит поддержите? — спрашивал лавочник.

— Не опасайтесь. Мы за вас как один человек поднимемся... глас народа, брат, одно слово. Раз уж мы выбрали, на вас положились, значит, крышка.

— А-то придут какие-то голодранцы, у которых материно молоко на губах не обсохло и — пожалуйте, выбирайте их.

— Силантьич просит того... чтобы поддержать его, — говорили мужички тем, которые не присутствовали при беседе.

— Это можно.

— Ну, видишь, — все, как один человек, за тебя стоят. Ставь, брат, магарыч. Не выдадим! Хочь иной раз и прижимал нашего брата, ну, да что там, без этого нельзя.

— Ведь обязан был, на основании, — говорил лавочник. — Ежели бы моя воля, так я бы со всеми, как с братьями. А ежели иной раз за дело, так ведь, сам понимаешь, нельзя.

— Правильно! — говорили мужички. — А что строг бывал, так с нашим братом иначе и нельзя; ты с ними хочешь по-благородному, а они тебе в карман накладут.

— Значит, буду надеяться?.. — спрашивал лавочник.

— Сказано уж, чего там! Прямо как один человек встанем.

В воскресенье около школы толпились мужики. Все сидели на траве, на бревнах, курили, говорили и поглядывали на дверь школы, куда прошли молодые солдаты с фронта с высоким человеком в пальто с барашковым воротником.

— Что-то они дюже долго разговаривают-то там?

— Хочуть умными себя показать.

Из школы вышел солдат и позвал всех на собрание.

В передней части школы, где обыкновенно заседал президиум комитета, за столиком сидел Алексей Гуров и около него два молодых солдата в шинелях и в шапках.

— Шапки-то можно бы и снять, — сказал кто-то негромко в задних рядах.

— У них головы воздуху не терпят, — ответил насмешливый голос.

Лавочник стал на виду у окна в передней части школы и водил глазами по лицам. Все ему подмигивали. Степан, товарищ председателя, кротко сидел на подоконнике. Николая сапожника не было видно, — очевидно, опоздал на собрание.

Сидевший за столом Алексей Гуров, так же, как и лавочник, тоже смотрел на всех, как бы следя, чтобы не было лишней толкотни и чтобы все скорее расселись. Лицо его было серьезно. Он не узнавал знакомых, как будто совсем не тем был занят.

— Словно начальство какое.. Сел себе за стол, никто его не просил... Чего же это Силантьич-то молчит.

— Нахальный человек и больше ничего, — кому охота связываться?

— Все равно. Раз против него все, — тут сколько ни нахальничай, — толку не будет, — говорили в разных углах.

— Сели? — раздался громкий и спокойный голос сидевшего за столом.

— Сели... — сказал недовольный голос сзади.

— Ну, вот и ладно. Вы прежним президиумом довольны?

— Довольны! — сказали дружно голоса, и многие посмотрели при этом на лавочника.

Лавочник опустил глаза.

— Хорошо. Теперь по декрету комитеты отменяются. На их место приказано организовать Советы. Президиум можете оставить старый, можете выбрать новый.

— Думали нахальничать будет, а он — ничего, по благородну, — послышался после некоторого молчания голос из угла.

— Малый как будто ничего, дельный, а не то чтобы.

— А чем вы довольны старым президиумом? — спросил Алексей.

Все молчали.

— Землю они вам разделили?

— Насчет земли разговор был, — сказал нерешительный голос.

— А дележа не было еще?

— Подождать велели,—ответил тот же голос.

— Значит, ждете по собственному желанию?..

— По собственному... чтобы по порядку все было, — сказал Иван Никитич,—а не зря.

Он хмуро сел, взглянув при этом на лавочника. Тот тоже посмотрел на него.

— А еще насчет чего разговор был?

— Мало ли насчет чего... — ответил опять неохотно голос сзади.

— Насчет хлеба был. Хлеб и скотину уж поделили.

— А у кого она, эта скотина-то?—спросил Алексей.

— К прасолу в гости пошла...—сказал Семен плотник,—она богатых дюже любит.

— Вот, вот, — послышалось несколько голосов, — бедным дали, а она опять к богатым прибежала.

— Так...—сказал Алексей; он все сидел за столом и держал в руках карандаш, повертывая его за рубчики. — А сеять на помещичьей земле будете?

— Велели подождать. Как там порешат...

— Так вы довольны?

— Вот чорт-то, исповедывать пошел. Крючком за губу поймал и ведет, — сказал недовольно Иван Никитич и прибавил громко. — Чем довольны-то?

— Да вот, что подождать-то велели...

— Чем же тут быть довольным, — отвечал хмуро Иван Никитич, но взглянул на лавочника и еще более хмуро сказал. — Известно, довольны, потому — порядок.

— Так... А ежели сейчас такой закон выйдет, что бери землю и — никаких!

Все переглянулись.

— Чем скорей, тем лучше, — сказал Иван Никитич, не взглянув на лавочника, который быстро поднял голову.

Все посмотрели на лавочника.

— Как бы Силантьича не обидеть...—сказал кто-то.

— А чем его обидишь. Ему-то что? Он, что ли, отвечает? Раз такой закон вышел... выберем его в Совет, только и дело.

— Что ж, ежели такой закон вышел, отчего и не брать, ежели по шапке за это не попадет! —сказало уж несколько голосов.

— А то прежде ждали и теперь опять жди.

— Правильно!

— Им-то хорошо, они залезли себе в комитет и гребут, а мы, дурачки, ждать будем?

— Чего вы, черти,—Силантьич услышит!—послышались негромкие голоса.

— А пущай слышит. Он карманы-то себе набил.

Лавочник водил глазами по всем скамьям, но никак не мог ни с кем встретиться взглядом. Все смотрели куда-то мимо него, или так водили глазами, что за ними невозможно было угоняться.

— Нечего глаза-то таращить...—сказал кто-то, видимо, по адресу лавочника: — денежки-то все себе загребли...

— Николка хоть по глупости много распустил по ветру, а этот чорт, лапы-то загребущие... прежде все время сок жал и теперь тоже. Мы „подожди“, а он себе в карман... У, сволочь!..

— Да Николай — это все-таки человек с совестью.

— Ну да, тоже и Николай твой, языком только молоть здоров, а что от него? Степан вот, правда, — святой человек.

— То-то этот святой, корову у меня взял да на нижнюю слободу ее отдал... Святой начнет стараться—хуже дурака выйдет...

— Все они хороши, дьяволы.

Алексей, что-то писавший, поднял голову и сказал:

— Так вот, товарищи: власть теперь ваша и земля ваша. Берите землю, берите хлеб, чтобы этих чортовых гнезд тут больше не было. Кто против этого, прошу встать.

Все сидели. У лавочника упала шапка и покатилась.

— Шапка уж в руках не держится... — сказал чей-то голос.

— Разъелся, вот и не держится. Ишь, чорт... Когда только корень этот окаянный выведется!..

— Предлагаю произвести перевыборы в Совет,—сказал Алексей,— сейчас будут объявлены два списка: в одном старый президиум, в другом—новый. Огласи...—обратился он к секретарю, подавая ему два листочка.

Все выслушали молча.

— В новом-то он и эти двое с фронту? — спросил передний мужичек.

— Выходит так,—ответил сосед.

— Кто за старый состав... прошу поднять руки.

Все сидели неподвижно.

— Кто за новый?..

Все подняли руки.

Лавочник взял шапку и пошел, ни на кого не глядя, к двери.

— Что тут? — спросил запоздавший Николай сапожник, войдя в школу и тревожно оглядываясь.

— Новых выбрали,—сказал задний мужичек в лохматой шапке.

— Кто же это?

— Все. Прямо как один человек поднялись.

— Глас народа, брат...

Заметки Иванова.

Алексей Окулов.

1918 г.
15 мая.

Замечательная вещь:—я, пожизненный нищий, вечно голодный и одинокий, попал довольно неожиданно в большие люди. Все это происходит в порядке революционно-фантастическом:—после нескольких смелых телодвижений я стал организатором пока еще несуществующей армии—но все же армии. Из старого агитатора я превратился в молодого солдата. Куда это приведет меня?

То, что делается с утра сегодня, совершенно невероятно:—нам подали экстренный поезд, предоставили в мое распоряжение человек 20 военных специалистов, дали нам большой конвой,—и мне лично—мандат на формирование Красной армии на Востоке; эта коротенькая бумажка возлагает на меня великую ответственность. Я ее принимаю.

Сегодня нет ни минуты отдыха от телефонных звонков и посетителей.

Некогда думать—надо делать.

15 мая. Вечером.

Меня радует отъезд.

Я вижу на перроне Степана, его сына и жену. У сына—смелые глаза, а у жены—такое тихое и утомленное лицо и взгляд, как будто бы устремленный вперед, с ожиданием всех будущих страданий и несчастий революции.

Степана я знаю давно. Я рад с ним встретиться теперь. Мы с ним выступали вместе на бесчисленных митингах по заводам и фабрикам в Петрограде и в Москве, на судах Балтийского флота,—всюду, куда толкала нас незнающая отдыха революционно-агитаторская работа. Как ораторы мы были антиподами: — он — с веселым бесхитростным юмором, от которого аудитория заливалась радостным и гордым смехом, и я—с желанием тронуть эту аудиторию кровавым трагизмом быстро несущихся событий. В этом смысле мы пополняли один другого, никогда друг другу не мешали и работали, как хорошо слаженная паровая машина на два поршня.

Кроме Степана едет Фриде,—бывший депутат блаженной памяти Учредительного Собрания от одной из губерний; это тоже мой старый и милый товарищ по работе; едет его брат и Таня, моя секретарша, почти моя сестра, которую я знаю с детства.

И едет еще моя жена.

И вместе—мы составляем одну семью, спаянную прошлым, а может быть и будущим. Мы подымаемся как древняя орда—со всем, что имеем: с любовью к близким, к родине, к революции.

15 мая. Ночью.

В 23 часа наш поезд тронулся на Восток.

Мы раскланиваемся, радостно шутим и выслушиваем шутки остающихся друзей.

Я вижу, как около вагона нашего конвоя из латышей, вымытых, одетых во все новое, с закрученными усиками, с великолепной военной выправкой, с карабинами через плечо, плачут разливаются какие-то девушки, до меня доносятся сдержанные рыдания.

Мы увозим с собой не только пулеметы, военспецов, автомобили, снаряжение, но и много молоденьких, жалостно-беспомощных, бледненьких сердец.

„Может быть, мы однажды вернемся,—думаю я,—но будут ли радоваться этому бледненькие сердца, так бескорыстно отданные чужим, или до того времени все будет забыто безвозвратно, погребено под пеплом революционного извержения?"

В моей душе неожиданно проносятся давно забытые слова:—

Мой милый друг, по небу голубому,
Как тихий сон, несутся облака,
Так грусть пройдет по сердцу молодому,
Его, как тень, касаяся слегка...

Откуда это? Не помню. Это—о юности. Пора бы забыть.

Мы тронулись. Проносятся пустынные вокзалы последних подмосковных дачных местностей.

16 мая. Ночью.

День ушел на организацию поезда, на всяческие распоряжения; все устроились для долгого переезда, ходили друг к другу в гости, смотрели, как кто поместился, мило смеялись.

Мы едем—к восходу солнца.

А теперь уже поздно. Вся суета, наконец, стихла.

Я, вытянувшись, лежу у открытого окна. Чувство отдыха наполняет меня. Нет больше телефонных звонков, срочных вызовов, выездов, посетителей, речей, которые надо произносить во что бы то ни стало—речи по четыре в день.

Поезд останавливается. Внезапная тишина и покой наполняют меня. Я слышу дуновение нежного весеннего ветра, запах листвы ласкает.

Среди тишины за окном кто-то кряхтит и говорит раздумчиво:— „Молодые вы все, мальчишки, пустые. Жизнь вам намнет коробку...“.

И кто-то издали задорно-звонким голосом отвечает на эти слова:— „Эх, родина моя, родная. Нынешнее времячко орлов просит“.

Кто и о чем говорит? Я не знаю. Я разнежился, как сын на материнских коленях. Я отдыхаю.

Хорошо жить.

17 мая.

Сегодня мы сидели и вспоминали кое-что из нашего прошлого— не очень старые и не всегда радостные анекдоты и легенды.

Фриде вспоминает свой любимый Совет, где он работал с Февральской революции, славный в великой пролетарской революции Совет; мы со Степаном вспоминаем о том, как часто в эти годы люди встречали нас как врагов—и провожали как друзей; сколько раз слово было сильнее меча.

На устах Степана смеется жизнь. Он—наш будущий дипломат на Дальнем Востоке, туда его прочат.

Эти разговоры, воспоминания, предположения вызвали в моей душе полузабытые картины прошлого:—революцию 1905 г., боевую дружину большевиков, командование, нелегальную жизнь, непрерывное ускользание от рук царской полиции, чужое имя, унижение и голод эмиграции, тюрьму, царскую солдатчину, военный суд, снова заключение и снова голод и, наконец,—неожиданную победу, бурные волны которой несут нас навстречу неведомому,—и, может быть, снова будет все то же, снова голод, и снова унижения, и снова—вперед, навстречу радости, которая однажды засияет.

Теперь уже вечереет.

Мы продвинулись к северу. Золото заката обливает верхушки сосен и елей; по прогалинам оно сверкает на стволах деревьев от вершины их и до корня, ласкает робкую,—еще несмелую, как девушка,—весеннюю листву.

Но моим обонянием охотника я слышу скрыто-тайный ропот сильных весенних соков; после долгих лет разлуки с лесом, этот ропот пьянит меня. Начинает кудрявиться листва, закручиваясь завитками,— листва, которая скоро пышно развернется в своей бурной мощи.

Ветер будущего, дуй сильнее!

Ночь.

Поезд идет и идет в ночную даль.

Я расхаживаю взад и вперед по пустому коридору вагона; все спят.

Черные сосны и ели, как призраки, проходят перед окнами вагона и скрываются сзади,— в прошлом, где уже многое скрылось.

В коридоре нашего вагона не спит дежурный по команде—нас сторожит. Где-то впереди, на паровозе, машинист неустанно следит за

давлением пара в котле и ведет наш поезд вперед с предельной, радующей сердце скоростью; его помощник у блистающих во тьму фонарей впереди паровоза зорко смотрит на бесконечно бегущий навстречу нам путь.

Все спит—моя мысль, мои друзья, моя любимая женщина—единственно хрупкое, что я несу среди этой бурной жизни; остальное в моей жизни крепко, как напряженные мускулы.

Мы едем вперед и вперед.

18 мая.

Как хорошо бывает драться — и как хорошо бывает после драки отдохнуть немножко. Эти несколько ласковых дней—какая прелесть: нам не нужно еще раз, еще раз подымать свое сердце на бой; подымать его каждый день и каждую ночь; подымать его почти ежечасно и ежеминутно; ведь, собственно говоря, мы—битюги революции.

Отдохнуть—это грешно и радостно. Невидимые, натянутые до предела струны души теперь отпущены; текут зеленые мирные пейзажи; вольный воздух ласкает наши щеки; несущийся поезд через открытые окна вагона вдувает этот воздух в наши усталые глотки, вздымает нашу грудь глубокими, полными вздохами.

Поезд летит. Трудно подняться с места, по коридору вагона нужно ходить, держась за стены; нас швыряет—как в море во время шторма.

Качаясь на пружинном сиденьи дивана, я смотрю на мою жену. Глаза ее туманно смотрят на летящие мимо леса и перелески, на бесконечный простор; облик ее лица смутно рисуется мне в полутьме от приспущенных шторок на фонарях нашего купе; до сих пор она пережила со мной многое, но она не знает, что Революция—лишь только начинается; никто не знает, чтó предстоит еще пережить.

20 мая. 13 часов.

Много писать некогда.

В 7 часов, прибыв по Северной линии, наш поезд остановился на Казачьем Хуторе в гор. Атаманске,—чтобы паровоз мог взять воду.

В 7 ч. 30 мин. меня разбудил дежурный по команде:—

— Товарищ начальник, на вокзале неспокойно.

— Чтó там неспокойно?

— Ходят солдаты.

— Ну—ходят; и—что?

— Волнение. Посмотрите сами.

Это я ясно увидел в окно;—по станции расхаживали солдаты царской войны,—фронтовики,—с накинутыми на плечи шинелями, с фуражками на затылке, одна штанина в сапоге, другая—на выпуск, с цыгарками в зубах и с матерной руганью, которая наполняла и про-

питывала все кругом,—как многодневный, медленный, осенний дождь пропитывает гнусной сыростью стены старого дома.

Это было хорошенькое пробуждение.

Прежде чем я из бестолковых разговоров узнал в чем дело,—из Атаманска приехали представители местного комитета. После двух бессонных ночей они имели утомленный, измученный вид.

Положение оказалось тяжелым. Пока наш поезд шел из Москвы до Атаманска, мы не имели информации о происходящих событиях; за эти дни началось восстание чехо-словаков на Волге и в Западной Сибири; мы приехали свободно в середину этого восстания только потому, что ехали с севера:—с востока и запада Атаманск был уже отрезан.

В ночь нашего приезда лучшая часть атаманской рабочей Красной гвардии погибла под пулеметным огнем чехо-словацких эшелонов из-за отсутствия надлежащего командования и в силу боевой неопытности красногвардейцев. Таково положение. В распоряжении защиты остались разрозненные солдаты старой царской армии, часть которых была настроена в пользу революции; кроме этого сохранились еще последние запуганные остатки Красной гвардии. Это было воистину не много для сопротивления.

Нам сказали:

— Товарищи, можете ли вы принять на себя организацию защиты гор. Атаманска?

В 10 часов утра организацию защиты мы приняли на себя.

И вот—около меня сидит Степан с волей, спрятанной под маской смеха. Сидят—Фриде, представители местного комитета; приходят и уходят люди; слушаем доклады; рассматриваем карты, которых до этого момента нам не случалось изучать.

Военно-оперативный штаб Западной Сибири начинает действовать.

Так называется это командующее учреждение полу-военного, полу-гражданского образца. Вот она—„полу-гражданская, полу-военная война".

21 мая.

Сегодня свой штаб мы перевели из города в жел.-дор. клуб на Казачьем Хуторе: — в городе нет гарантии от нечаянного нападения; городское население настроено в пользу белых.

Наш одинокий боевой поезд затерялся среди голой Барабинской степи; жить в вагонах становится мучительно душно, днем и ночью; крыша вагона, как компресс, угнетает головы; никак нельзя успокоиться в немногие минуты отдыха.

22 мая. Рассвет.

В коридоре вагона я встречаюсь со Степаном; он идет со смены из штаба — я иду ему на смену.

Его губы кривятся слегка побледневшей от усталости улыбкой, улыбкой, как будто все еще веселой; под маской смеха у него — все та же воля.

— Я сегодня в жел.-дор. мастерских выступал. За настроение рабочих боюсь. От Красной гвардии одни бандиты остались. Мне трудно было говорить — кричат.

— О чем?

Он усмехнулся.

— О чем? О чем? О покойнике. Об Учредительном Собрании. Чудаки.

Я, отвлеченный другой работой, не был на этом митинге: — я знаю, что, пока жив Степан, — еще можно не очень заботиться о митингах.

Степан хорошо говорит, хотя и с акцентом, и с неправильными оборотами речи. Он искупает свои недостатки прелестью сердца — и сурового, и, в то же время, любящего, как полагается быть сердцу настоящего бойца. Влекущее очарование его бескорыстного мужества заражает толпу.

И все же:—да здравствует Учредительное Собрание!.. Сколько практической гнусности в этих словах, опоэтизированных когда-то историей.

— В самом кулацком и казацком районе сидим — вот беда в чем. В лоб и спину хлопнуть могут. Псевдо-пролетарии, псевдо-революционеры и настоящие мужички-кулачки. Как-то нам придется выбраться.

И он улыбается своей неизменной улыбкой.

Пока он говорит и улыбается, я смотрю на него и вспоминаю из моего прошлого:—

В 1905 году, когда я был в боевой дружине, у меня был ординарец Ванька — мой любимый мальчишка. У него в момент большого и бурного митинга, когда он охранял порядок, от нечаянного выстрела из револьвера загорелся карман, набитый патронами. Ему рабочие-дружинники кричали:—„Туши, Ванюшка! Туши скорее!..“. А он, в своем величии, ответил им: „Расходись! Берегись! Палить начну“. — „Ванька, туши скорее, дурья голова! Убьет!..“ А он отвечает: „Чего орете? Драться — так драться. А не хотите — идите к маминой матери“... А сам смеется во весь рот, хлопает себя по бокам; только горящий карман его чадит, и этот карман мы тушили общими силами, взяв из него разогретые патроны. А Ванька — смеется.

В 1907 г. черная сотня его убила.

22 мая. Утром

Я лежу и не могу заснуть. В моей голове проносятся бессмысленные клочья мыслей, обрывки чужих фраз; мозг не перестает работать. Скоро опять нужно итти в штаб.

Моя жена что-то хлопочет в узком проходе купэ. Она поставила себе целью — кормить меня как можно больше — потому что — „нельзя же много работать и мало есть" и „вообще всякий человек может на что-нибудь пригодиться".

Откуда-то слышен гром орудийной стрельбы.

— Это стреляют? Скажи.

— Да.

Ту-ту-ту. Какие-то глухие удары в подушку, которая закрывает весь безграничный горизонт.

— Они близко?

— Кто это — они? Это просто бунт военнопленных и окрестных мужичков.

— Каких военнопленных? Каких мужичков?

— Кажется, это немцы в лагере, хорошо не знаю, мне еще не сообщали. Идет какая-то глупая сумятица.

Она смотрит на меня широко раскрытыми, негодующими глазами. На устах ее — горькая обида.

— Ты меня обманываешь. И тебе не стыдно? Кругом — тревога, второй день я слышу разговоры о всеобщем восстании. Правда ли это? Серьезно ли это? Ты молчишь? Но, право же, ты должен сказать мне всю правду.

— Это пустяки.

Тогда она говорит мне—в упор, и подходит при этом совсем близко:

— Все неправда, неправда. Ты мне лжешь. Это восстание белогвардейцев и чехо-словаков. Мы отрезаны с востока и запада. Мы в опасности. И ты молчишь, молчишь? А я — не знаю! Как тебе не стыдно!

Я отвожу глаза в сторону, чтобы не видеть ее горящих глаз

Через окно впереди я замечаю в далекой степи: — там скачут перед нами на резвых конях всадники в остроконечных шапках и длинных кафтанах — это башкиры, разведчики белых. К чьей смерти это гарцеванье? Кто будет мирно лежать в барабинских просторах? Мы, или они?

23 мая.

Как жидкости в сосуде распределяются по удельному весу, так у нас, в меру нашего сопротивления, образовался фронт, отделяющий нас от белых, — дуга, которую мы защищаем — с запада, севера и востока; с юга нас еще не трогают; когда там тронут — будет полный замкнутый круг.

Пока еще в нашем лагере весело. Какая-то девушка с толстыми косами плещет из котелка на солдатика, хохочет и кричит:

— Водицы тебе в штаны налила, чтоб ко мне не приставал бы...

Солдаты семенят с чайниками за водой в водогрейку; чайники звенят от удара по пуговицам шинели. Торговки, упитанные дурехи,— продают жареных куриц, уток, поросят. Так вкусно.

Такая милая картина.

23 мая. Вечер.

Вечером говорил с Фриде. Ему необходимо выехать на наши „передовые линии“, линии, которые мы никак не можем найти на карте.

Я очень хотел бы выехать туда же, но организационные задачи удерживают меня; мне и Степану надлежит организовать снабженческий, мобилизационный и политический тыл. И вот я малодушно думаю о том, что все красивое, все поэтическое, все радостное, что есть в революционной работе, пройдет мимо меня; я так и буду возиться с безрадостным тылом.

24 мая. Раннее утро.

С той стороны участвуют в бою несколько человек, которых я когда-то знал, уважал и любил.

Я вспоминаю о международной солидарности социалистов всего мира.

Где-нибудь — в Париже, Берлине или Лондоне — кучки зевак, рабочих и нерабочих, слушают теперь разглагольствования какого-нибудь буржуа в социалистической шкуре о социалистическом рае, который свалится с неба, какого-нибудь социалиста с предательством на душе, о котором трубят левые газеты всего мира, что он—великолепный боец за будущее... Где-нибудь заседают, говорят, аплодируют, выносят резолюции, подписывают директивы, декреты, международные договоры...

А мы, идущие и ведущие на смерть, не спим и не едим.

Бессонные ночи тайно окутывают нас; эти ночи спускаются на наши разгоряченные борьбой и бессонницей головы; эти туманные ночи стучат в наших висках натянутыми, полными горячей крови, артериями. У того, кто больше отвечает за других — больше стучат артерии.

Душа, как зверь, сбирающий все мускулы к прыжку — готовится к будущему.

Вечером.

Весь день разменялся на внешнюю работу: дежурство в штабе, прием докладов, очередные вопросы снабжения, очередные вопросы по урегулированию отношений военных властей к гражданским. (Они продолжают работать, потому что мы еще держимся.)

Я пошел на отдых.

Еще и еще раз.

С величайшей иронией жизнь напоминает мне сегодня о нашей „товарищеской борьбе за социализм" с дорогими товарищами, которые на другой стороне, — там, где ждет нас смерть.

Ночь.

Я размышляю.

Если бы собрать на территории Сибири всех нас, сознательных бойцов революции, нас нашлось бы к сегодняшнему дню пять-шесть тысяч, и мы истекаем кровью, а что делают остальные старые социалисты разных толков, меньшевики, эсеры, боевики? Где они и чем они заняты в эти страшные дни? Где эти люди, ходившие в феврале с красными бантиками — эти полу-люди, полу-буржуа, полу-дворяне, полу-господа, полу-трудящиеся — и настоящие потомственные лакеи старого мира? Где они?

Сегодня ночью я думаю о них.

Как воры, предатели и убийцы, ходят они тайно по закоулкам нашей родины; они делают свою работу во тьме. Сколько еще горя они принесут нам в грядущем — кто знает! Сколько крови прольется, сколько яда будет вылито в наши души — яда сомнений, разочарований, яда усталости, которая охватит многих из нас, надорванных непомерной тяжестью борьбы. Я предчувствую эту муку.

Но революция должна совершиться. И мы совершим ее.

Если бы я не был непоколебимо уверен в величии того, что происходит, если бы я не знал, что гром и грохот нашей борьбы есть гром и грохот освобождения, — неужели я стал бы толкать других людей к смерти, стал бы смотреть на льющуюся кровь ослепшими глазами, стал бы так беспощадно мучить моих близких и сам стал бы ходить ежедневно на смерть?

Какое счастье, что настоящее в его огненном величии — принадлежит нам.

25 мая. Утро.

Я зашел из штаба на минутку в поезд, чтобы сделать на свободе несколько заметок для памяти.

Около вагона на бревнах сидел пожилой мужичек и наш молодой солдатик; оба из одной деревни.

— Большевики твои продали Россию, продали, сынок...— шамкает старик через гнилые, старые, желтые зубы.

— Врешь, дядя.

— Чего врать, и Ленин твой... Плонба была на вагоне. Знамо — куплено.

— Какая такая плонба? Не брызгай. Что ты о плонбе знаешь, — что, к чему?

— Все говорят, что плонба. Язык-то благородный у него, да руки-то вороватые. Трудно ли народ-то обмануть? Малодушный он,

малопамятливый, сердцем отходчивый. Такой ли народ не обмануть ловким-то? Твоему Ленину-то? Ловкачам — легко.

— Дурак ты, дядя. Ополосни рыло.

Усмехается наш солдатик.

Пожилой мужик вдруг встает и с бесконечной, тоскующей злобой потрясает кулаками в сторону нашего поезда; он кричит, ничего и никого не боясь.

— До смертного положения довели! Чтоб вам подохнуть, сволочи! Жидолюбы проклятые, христопродавцы! Подохнуть вам, чтобы вас язвило!

Племянник хватает его за плечо, силясь усадить его обратно на бревна.

— Чорт блаженный. Жигануть тебя хорошенько по старой заднице, так узнаешь как разговаривают. Заткни глотку! Садись, не бурли! Ну?

Злоба искажает его лицо.

Ко мне в купэ входит начальник конвоя.

— Что он говорит, трудно перенести, товарищ-начальник. Разрешите взять этого куда-нибудь.

— Возьмите. Только—куда же его денете? Зачем?

Таких — полгорода.

Тыл наш разлагается.

Как-то странно-нарядно приоделись железнодорожные служащие — почти все в крахмальных воротничках, начищенных сапогах, и в форме; когда я ездил сегодня в город на партийное совещание, я удивился, как празднично одета публика в кварталах побогаче.

Едешь — и слышишь злобную ругань; может быть, тебя ругают в спину!

— Сволочи... Предатели...

Почва, коренная почва этих мест качается под нашими ногами.

26 мая.

Сейчас привезли четырнадцать мешков денег под охрану штаба — продовольственный фонд Западной Сибири, непомерная сумма!

Этот фонд остается на наших руках, как мертвый младенец — неизвестно, где его похоронить.

Четырнадцать мешков денег укладывают во вторую комнату штаба, где мы работаем.

Эти мешки могут погубить нас, они опаснее динамита и мелинита, потому что в них — соблазн.

У мешков сидит молоденький часовой из штабной команды; он не знает, что он хранит: — угрозу грязи, крови, смерти и разложения; он не знает, как грозна эта опасность.

Стоит, от утомления щуря свои глаза.

Старый железнодорожный сторож, который бродит около нас днем и ночью, подавая воду и чай в наш штаб, останавливается около него. Подписывая мимолетные приказы, я слышу, что они говорят.

— Чего? Морда со страха в кулачек стала? Кхе... кхе... Парнишка?

Старик глядит на него тусклыми и добрыми глазами.

— Вам-то, старикам, обыкновенно — умирать.

И, чтобы стряхнуть с себя дрему, парнишка стучит прикладом винтовки.

— Дурак ты дурашливый. Смерть — что солнце: в лицо не взглянешь; что ты, что я... А вот все я не хочу помирать, малец. Поживу еще, поживу маленько.

Они молчат минуту; я не вижу, что делает старый сторож.

Но он снова говорит:

— Тебе — прямая дорога: надо жить. Ну и кочевряжься, пока что. Устанешь — сравняешься. Тогда, брат, не подымешь головушку.

— Поживем на свой пай, дедушка.

Ночь.

Луна всходит над пустой степью; наш поезд одиноко маячит в лунном, неясном, ускользающем свете.

Где-то идет беспорядочная, упорная, долгая, бессмысленная стрельба: треск гороха, который бросают в стену.

Моя секретарша Таня, — великолепно смелая девушка, — подходит ко мне с какими-то бумажками для подписи. Я подписываю.

— Таня, вы совсем не спали. Отправляйтесь в поезд.

— Не пойду.

— Я говорю вам — идите.

— А я говорю вам — не пойду.

И долго она еще что-то пишет и шелестит бумагами. Она не повинуется — во имя женского самолюбивого мужества.

Потом она уходит.

Я один. Стрельба продолжается.

...„Смерть — необходимая фаза нашей жизни... умереть для того, чтобы создать жизнь“...

Кто это говорит рядом?

Не знаю.

Я не сплю уже четвертые сутки.

Мне кажется, я галлюцинирую.

Сегодня нужно заснуть — во что бы то ни стало.

27 мая.

Меня разбудили после нескольких часов сна.

Я лежу в постели, не решаясь встать; на душе моей какая-то печаль, рожденная утомлением.

...„Санчо, почему ты назвал меня рыцарем „печального образа“?“

— Потому что я никогда не видел вашу милость таким жалким, истерзанным и измученным, как сейчас... Это, конечно, оттого, что вас так много били в эти дни.—Постоянство, Санчо! Постоянство!

Почти такой же разговор происходит у меня с начальником конвоя:

— Почему вы смотрите на меня?

— Вы—нездоровый. У вас на лбу морщины, товарищ-начальник.

— Почему?

— Тугие дела пошли. Все тугое.

— Терпение, друг. Будем ждать.

Каждый день пояс моей гимнастерки я подтягиваю ремнем на одну лишнюю дырочку.

Что-то странное происходит сегодня в штабе.

Телеграфные аппараты и фонофоры необычно молчат; что-то томительное в этом молчании, какая-то неясная угроза — точно зловещее затишье среди бури, когда вихрь готовится к новому сокрушающему порыву.

Истомленный беспрерывными караулами часовой заснул с винтовкой у мешков с деньгами; его побледневшее лицо строго; вздрагивающие веки полуопущены на его молоденькие, усталые глаза; он стоит как каменная статуя. О чем он грезит теперь?

Молоденький, с пушистыми щеками, он, может быть, грезит о матери, которая его недавно ласкала на прощанье, о тепле тулупа среди суровой зимы на отцовской печке, о своей краснощекой сестренке — или о какой-нибудь девушке из родного села. Или, может быть, грезит о смерти:—„последний нонешний денечек"...

Но он вздрагивает и подымает голову. В полусне утомления, не выпуская винтовки, он левой рукой чешет свой живот—перетянутый ремень ему мешает.

— Э? Не дремать. Скоро сменяться.

Кем?

Три четверти конвойной и штабной команд отправлены на фронт. Оставшимся приходится тяжко—почти бессменный караул; бессонница; боль в спинах, в ногах мучит сильно; непрерывные усилия, чтобы сохранить ясность сознания, ежеминутно тускнеющего, как глаза умирающего зверя.

Все еще нет никаких донесений с фронта.

Моих друзей больше всего занимают чехо-словаки и белогвардейцы, занимают малейшие колебания в нашем положении на фронте. А я в моих мыслях этим колебаниям не отвожу такого большого места. Меня больше всего тревожат те, кто с нами, с кем мы связаны общей борьбой. Белогвардейцы и чехо-словаки — это так просто: — это открытые враги, мы будем с ними драться на смерть, с ними мы стоим фронт перед фронтом, мы видим друг друга, считаем друг друга

и убиваем друг друга; кто победит,—увидим. А те, кто с нами,—что знаем мы о них? Что таят в себе души сибирских зажиточных мужичков, которыми полны наши отряды, души атаманских рабочих, кричавших еще вчера об Учредительном Собрании, души всех этих чиновников, мещан и обывателей, со всех сторон неразрывным кольцом окружающих нас? Может быть, в самую последнюю, в самую страшную минуту борьбы они вскочат на наши спины, вопьются в них когтями — и мы понесем их на себе, обливаясь кровью... Или самое страшное, если они понесут нас...

Тогда была бы гибель.

На кого мы можем надеяться?

Лучше всего — ни на кого не надеяться. Нужно драться стальными кулаками. А уж если надеяться, то на нас, на самих нас надеяться.

Привели на допрос башкира.

Его заметили наши разведчики, как он тайком перешел дважды через фронт от нас к белым и обратно, и как он был у двух скрывающихся казачьих офицеров на квартире, которых мы выследили, и как тайно ушел оттуда и снова вернулся.

Наши взяли его живым, убив под ним лошадь, когда он пытался скрыться.

И вот он сидит передо мной — азиатская рожа с красными глазами и выпяченным брюхом.

— По-русски понимаешь?

Он, бегая рабскими, и наглыми, и трусливыми, глазами, мычит и качает головой.

— Ничего не понимаешь? Ни слова?

Мычит.

Он продает свою Башкирию, как библейский герой—за чечевичную похлебку офицерских подачек.

— Совсем ничего не понимаешь?

Я беру револьвер и направляю ему в лицо.

— А это понимаешь?

Мычит:

— Не... Не...

— А ты знаешь, что если не расскажешь о белых, у которых ты только что был, ты пойдешь к расстрелу? Это ты знаешь?

Мычит и бессмысленно раскачивает головой:

— Не... Не...

Ко мне подходит начальник патруля, взявшего его.

— Хорошенько допросить надо, товарищ-начальник. Шпион, ведь, явное дело. Да и по-русски понимает, собака. Как брали его, так с нами разговаривал. Разрешите допросить.

Я смотрю на непреклонное лицо товарища.

— Возьмите.

И башкир,—когда два стрелка берут его под руки,—разражается невыносимо высоким, каким-то не человеческим, а поросячьим визгом; узкие глаза его делаются круглыми, как пятаки, руки нелепо болтаются, как у картонного паяца; он отчаянно брыкается, стараясь вырваться, и его уносят на руках, с силой и волей сжав его железными мускулами.

— Бачка... Бачка...

Голос башкира где-то глохнет за дверями.

Вечереет.

Из окон штаба я вижу, как большое, багровое солнце садится за краем степи. Пыль, поднятая с дороги, прикрывает его от меня смягчающей дымкой; оно опускается ниже и ниже, багровеет все больше, кровь на нем сгущается, и в последнюю минуту солнце посылает к востоку на низкое облако два последних, ослабевших, тускнеющих луча. И — умирает.

Свечерело.

Целый день я почти один в штабе: смертельно утомленный Степан отдыхает эти часы; сотрудники разосланы с поручениями; Таня спит; Фриде на передовых линиях, на востоке; из двух-трех телеграмм и разговоров я знаю, что он еще жив. Он хорошо дерется, но ему тяжко: — на-спех и плохо слаженные, плохо дисциплинированные, плохо вооруженные наши отряды — не могут сопротивляться вышколенным на войне чехо-словацким эшелонам и белогвардейским офицерским батальонам. У них знание и навык, у нас—мясо; мы можем грызть свои кулаки, мы будем драться, но это—так. Путь к этому выводу стоит для нас дорого. Он обозначает, что долго держаться для нас невозможно.

Четыре часа тому назад на западе у ст. Анновки начался бой— может быть, для нас решительный. С тех пор известий оттуда нет. Телеграфная линия, очевидно, срезана.

Что там творится? Неведомо.

22 часа.

Только что получил телеграмму, которую передала мне бледная и истомленная Таня:—

„21 ч. 30 мин. Доношу, что белые пяти верстах от Соснового; северный путь отрезан“.

Вокруг нас замкнулся круг.

Минуту стою я с телеграммой в руках.

— Линия на Исетск еще работает?

Там — наша возможная связь с Россией, с революцией, там есть войска, военное снаряжение, командный состав, технические средства; туда направляет центр все, чем он может помочь нам.

Но работает ли эта Исетская линия? Есть ли хоть малейшая надежда получить оттуда помощь?

До сих пор это не удавалось — там слишком заняты своими делами. Мы, ведь, на крайнем фланге; если нас уничтожат, это еще небольшая беда для Исетских позиций — не считая того, что крайний фланг передвигается немного ближе к ним на запад. Из Исетска нам вместо снарядов, после здравого и продолжительного обсуждения,—посылают хорошие советы. Там, — как в хороших домах, — уже все происходит по порядку — появилась сложная субординация, передние, часы приема, входящие и исходящие; не появилось только надлежащего командования и настоящей армии.

— Линия на Исетск работает.

Я вызываю к прямому проводу исетского товарища.

Низко склонившись к телеграфисту, я диктую ему записку,—как можно тише, чтобы никто не слышал.

Я говорю о том, что наша защита Атаманска не может перейти в наступление, что мы изнемогаем из-за отсутствия воинской массы, пулеметов, снарядов, патронов, и что геройство отдельных товарищей не может спасти положения. Люди идут на бесполезную смерть... Помогите... Помогите... Чем поможете?..

Аппарат Юза трещит:

— Что?.. Что?.. Что?..

Телеграфист старательно выстукивает:

— Поможете?.. Поможете?..

И в ответ нам бежит лента с ответом исетских товарищей:

— Деритесь до последней крайности, помочь вам нечем. Умейте защищать революцию. До свиданья... до свиданья, товарищи...

Юз трещит, а я стою с клочком оборванной ленты.

Юз трещит:

„Та-та-та... Та-та... Петька... Ты, Петька?.. А где Гавронский?... Где Гавронский?.. Где Манечка?..“

Какая-то дичь.

Смех просится на мои губы.

Что же, будем защищаться — согласно полученной сентенции. По мере возможности, разумеется. Как-нибудь.

28 мая.

Прошли два окровавленных наших солдатика—прямо в штабную комнату.

— Товарищ, поместите куда-нибудь. Целый день ходим. Куда ни придем—везде полно. Ведь люди же мы!..

Они стоят передо мной, и капли крови красными звездами падают на пол.

Сердце мое сжимается. Я звоню по телефону нашему старшему врачу:

— У меня здесь двое раненых, не могут найти призора.

И он отвечает:

— Теперь их сотни, помочь им нет никакой возможности.

— Товарищ, крови много потеряли. На ногах не держимся... Товарищ начальник?

Я отправляю их в железнодорожную больницу. Но примут ли там?

Их уводят. У одного из них на обрывках оторванной кисти руки между грязных тряпок я вижу желтоватый жир и бахрому разорванного мяса, в котором белеет кость.

О, дорогие товарищи-социалисты из белого лагеря, нож, который вы воткнули в грудь народа, подымающего на свои плечи все страдания великой революции,—этот нож народ вернет вам трижды отточенным. Не кричите тогда о стихийном зверстве народа!

22 часа.

Целый день изобретали подкрепления, сводили мельчайшие осколки разбитых отрядов всех назначений, чтобы в результате получить хоть что-нибудь годное для посылки на фронт, который всюду трещит. Положение становится отчаянным.

Вот с шумом громко захлопнутой двери возвращается один из посланных мною на фронт военных специалистов; он только-что с передовых позиций, на его лице горит возбуждение.

Я с ожиданием смотрю на него.

— Ну — что? Вы из-под Анновки?

Он пожимает плечами.

— Да, оттуда. Мало интересного.

— Что там происходит?

— Что может происходить? Нас бьют. Разве можно с этим сбродом выступать против настоящих войск?

— С каким это сбродом? Там не сброд — там есть герои!

Гнев начинает ударять мне в голову.

— Я хочу сказать—с необученной толпой. А герои... Героев же не так много, если сказать по правде.

Я слышу тягучий манерный звук его голоса, смотрю на его истасканную физиономию, на какой-то гаденький пробор на голове, который он не позабыл сделать,—и вдруг чувствую, как со дна моей души, из глубины подсознательного, из тайников инстинкта самосохранения подымается во мне ненависть к этому человеку. Я мгновенно убеждаюсь всем моим существом, всей моей боевой настороженностью, что этот человек—враг. И кровь наполняет артерии на моих висках до боли.

— Почему вы уехали с фронта? Как вы смели?

— Я — за патронами.

— Почему не послали кого-нибудь? Почему?

— Я считал вернее...

— Извольте получить патроны — и обратно, немедленно. О прибытии сообщить. С вами посылаю комиссара,—он знает, как поступать. Вы поняли?

Он вытягивается по-военному; улыбочка сбегает с его уст.

— Слушаю.

Он понял и, повернувшись на каблуках, прямо выходит вон — в двери, где неохотно сторонится перед ним начальник нашей конвойной команды, провожая его враждебными глазами.

— Мы еще щадим вас... пока, — думаю я. — Увеличить за вами надзор... Увеличить надзор во что бы то ни стало... Иначе — предательство.

Но как увеличить надзор? Нет людей.

23 ч. 30 мин.

— Те-те-те-те-те...—стучит Морзе.—„Линию на север потеряли до Калязина; орудие бросил; отходим".

Когда-нибудь будут писать об этих днях и, верно, напишут о нас — „армия восточного фланга"... А на самом деле мы — не армия, мы — маленькая горсть людей, которые решили драться. Никто никогда не узнает, чтó значат для нашей обороны, а может быть и для хода гражданской войны эти два слова:—орудие бросил...

У нас их всего остается шесть, если не считать трех подбитых.

— Пи-пи-пиии... пи...—пищит фонофор.

— Слушаю. Слушаю. Откуда? Откуда?

И доносится глухой голос среди треска:

— Из-под Анновки... Анновка... Невозможно. Давайте подкрепления. Пулеметы, патроны, снаряды кончаются... Из четырех пулеметов два расплавились... Деремся хорошо... Погибнем, помогайте... помогайте...

— Что? Что?.. Я плохо слышу.

— Две роты, одну шестидюймовку, три пулемета... помогите...

Я думаю.

Электричество в штабе испорчено; горят какие-то вонючие, коптящие железнодорожные фонари; темно.

— Две роты, одну шестидюймовку, пулеметы...

Нечем помочь,—у меня только остатки конвойной команды, которых нельзя снять с охраны штаба.

— Погибаем... Помогите... Помогите... Пи-пи-пиии...

Я беру трубку.

— Товарищ, вы у аппарата? Вы у аппарата? Держитесь, товарищ. Держитесь еще немножко, ожидаем помощи с запада... Держитесь, держитесь...

— Когда помощь?

— С минуты на минуту... Ждем.

— Она уже в Атаманске?

— Нет еще.

Фонофор замолкает.

Но через мгновение пищит снова. Я слушаю.

Другой грубый озлобленный голос говорит мне:

— Матерные командиры... Вам в штабе тепло... Таких нам не надо, грети вашу мать!

И бросает трубку.

24 ч. 40 м.

Телеграмма Фриде с востока:

„Нельзя держаться, отступаем. У меня никого не остается. Старайтесь поддержать порядок"...

Приходит Степан из поезда; у него на измятом усталостью и бессонницей лице еще не высохла вода, которой он мылся, чтобы как-нибудь проснуться. Он говорит мне:

— Уходи.

— Не пойду.

— Уходи спать.

— Перестань. Сегодня спать нельзя.

Звонит полевой телефон. Я подхожу.

— Кто говорит?

— Ха-ха-ха...

Кто-то сошел с ума; не знаю, кто именно.

— Кто говорит? кто говорит?

— Погибаем, погибаем, погибаем... К чортовой матери. Ха-ха-ха...

— Кто говорит? Отвечайте, я приказываю.

— Ха-ха-ха... Начальник! Главнокомандующий!

Нахально-идиотский смех.

— Где-то неладно, — говорю я Степану: — кто-то сошел с ума. Я не могу понять, кто и откуда говорит.

И снова слушаю.

— Ха-ха-ха, не узнал меня, товарищ Иванов, дорогой друг, паршивая сволочь, не узнал?

— Кто говорит?

— А ты не догадался? Это эсаул Скобелев говорит, а ты от природы сукин сын, понимаешь? Смотрю я на вашу революцию: — шея, пузо и ноги есть, а головы нету. Суть вашей революции — в заду помещается. Ха-ха-ха!

— Ты с ума сошел, мерзавец!

Внезапное бешенство охватывает меня, я начинаю дрожать с головы до ног.

А он продолжает:

— Кто еще из нас скорей с ума сойдет — это вопрос. А я твоего начальника поймал. Сейчас, вот тут в моем штабе вставил ему охотничий шомпол — кишки этим штопором будем вытаскивать... А все твои бродяги домой побежали—штаны переменять.

Я кладу трубку.

— Белые включились в нашу сеть.

— Помогите, помогите, помогите...—звучит в моих ушах:—погибаем, погибаем...

И снова фонофор:

— Пи-пи-пиии...

Степан говорит:

— Подойди на всякий случай.

Я снова слушаю.

— Делегата вашего Мектера знаешь? Мы ему горячих картошек в штаны наложили. Отправляем его вам наложенным платежом обратно. Получайте...

Я бросаю трубку.

Наша связь на запад окончательно прервана.

29 мая. Утро.

Я долго думаю.

Течет обычная штабная жизнь. Приходят люди за приказаниями, с донесениями, уходят. Обсуждают текущие распоряжения. Приезжают товарищи из города, информируют нас. Нерадостна эта информация.

Что же делать? Надо предвидеть все. Я вызываю по телефону Рупвод.

— Начальник Рупвода? Вы? Говорит председатель оперативного штаба. Прикажите под вашей личной ответственностью на всех пароходах развести пары и подать пароходы из затонов на атаманскую сторону к 16 часам сегодня. Взять лоцманов, полные составы команды, максимум топлива и продукты. За все вы отвечаете лично. Об исполнении донесите.

— Есть.

— Сколько пароходов в вашем распоряжении и каких?

— Четыре низовых пассажирских, шесть буксиров и мелкие суда. С минуты на минуту ждем пароходов сверху и снизу.

— Немедленно по прибытии готовьте пароходы к отплытию вновь.

— Есть.

— Письменный приказ посылаю.

— Есть.

Приходится признать, что на западе мы окончательно, непоправимо разбиты. Перебросить свежих войск туда мы не можем, так как их нет, ни одного взвода; то, что было послано нами раньше,—смято, дезорганизовано, уничтожено. Для того, чтобы точно знать это, не нужно читать секретных оперативных телеграмм в нашем штабе—довольно посмотреть в окно на вокзальную площадь и в степь.

Эти солдаты идут то кучками, то растянувшись вереницей, без смысла и воли, подымая пыль волочащимися ногами; винтовки несут кое-как, у многих совсем нет винтовок и подсумков с патронами—побросали при бегстве, а лица солдат мертвенно-серые, с потухшими глазами, с черными губами, запекшимися от бесконечной жажды,

с страданием в каждой черточке, с невидимым, но ощутимым дрожанием мускулов, трепещущих под кожей судорожной дрожью; это лица людей, смотрящих в упор в ледяные глаза смерти.

Среди них много раненых. Никто не помог им остановить хлещущую из разодранного тела кровь; это они своими руками, покрытыми черной пороховой гарью и кровавыми ссадинами,—сами помогали себе, обматывая грязными тряпками живое красное мясо с обломками белых костей, они сами брели эти двадцать верст от места боя шаг за шагом, спотыкаясь со стонами о каждый придорожный камень.

Это не поражение, это — разгром. Я ни минуты не сомневаюсь в этом.

Начинается совещание военно-оперативного штаба совместно с делегацией гражданских властей.

Большинство не понимает положения — ни со стороны военной, ни со стороны настроения масс населения; это очевидно из того, что говорится в эти немногие и драгоценные минуты.

— Защищаться! Защищаться во что бы то ни стало! Мы не можем сдать город. Ведь продержаться нужно не больше недели! Сдача была бы трусостью.

Это говорит молодой атаманский товарищ с горящими глазами.

— Кем и чем защищаться?—спрашиваю я.

Я председательствую; я только исполняю свою обязанность. Но мне очевидно, что надо говорить не о том и лучше совсем не говорить, а делать, потому что самое страшное приблизилось.

— Кем и чем защищаться?

— Мы сформируем новые части, бросим на фронт рабочих, партработников.

Когда формировать? Нам остается три — четыре часа на размышление. А где оружие, патроны? Где командование? И... где рабочие?

Против меня сидит Степан. Он с силой трет ладонью коротко остриженные волосы.

— Собрать все остатки. Прорваться на восток. Вот. В Красноярском районе соединимся с нашими. Вот единственное.

А атаманский ответственный товарищ предполагает отход на юг, чтобы скрыться в Алтайских горах—с юга нет еще фронта, пройдем свободно.

Я слушаю все это—и все не годится:—с запада нас гонят и будут гнать по пятам, пока мы не разобьемся о Восточный фронт, как волна о берег; отход на юг — это дорога к могилам, в пасть казачеству. Все это не то, не то.

Я говорю Степану:

— Возьми председательство.

— Это почему?

— Нужно дать распоряжения. На всякий случай.

И я сажусь у телефона.

— Рупвод... Начальник? Приказ о пароходах исполнен?

— Есть. Часть из них уже занимают советские работники и солдаты. Идет погрузка имущества и ценностей.

— Кто приказал?

— Не знаю. Сами грузятся.

— Все происходит в порядке?

— Да.

— Следите за полной нагрузкой. Без этого не выпускайте пароходов.

Я кладу трубку. — Так.

Громкий спор продолжается; он стал еще более страстным и нетерпеливым.

— Товарищи, эвакуация Атаманска началась.

Наступает молчание.

— Самое разумное, что можно было сделать — делается. Мы отступаем по Иртышу на север в горнозаводские районы Урала. Спор окончен.

И среди молчания раздается голос, полный тревоги и вопроса:

— Но если оба берега Иртыша уже заняты, мы погибнем?

— Да. Это несомненно, потому что пароходы будут расстреляны, если оба берега заняты.

И снова наступает молчание. Веяние смерти тихо проносится среди нас.

Я смотрю кругом себя на лица товарищей. Есть хорошие лица, но есть и плохие. У одних эти лица как-то сжались, определились, сделались каменными; эти люди молчат, но мозг их упорно работает, решая десятки нахлынувших вопросов; через несколько минут они будут действовать; это—бойцы.

А другие — среди них есть всякие, из старых и из молодых. У одного челюсть прыгает сверху вниз, у другого ходит из стороны в сторону; третий смотрит в чернильницу неподвижными глазами, без смысла и без мысли.

Протекает какая-то коротенькая роковая минута, которая определяет человека с головы до ног, обнаруживает его внутреннюю ценность, и длинными годами жизни нельзя исправить выставленную на человеке в эти мгновения цену: она—окончательная.

Потом начинается движение и шум. Несколько человек говорят за раз без связи и без надобности; несколько человек без толка толкаются, попадая всем под ноги.

Подходит начальник конвойной команды и говорит мне тихо:

— Товарищ, Николай Иваныч, пять шофферов в суете угнали свои машины к белым.

— К остальным приставьте караул. Умирайте, но спасите деньги.

— Слушаю.

И он уходит быстрыми и твердыми шагами, чтобы отдать распоряжения.

— Что же делать? Что же делать?—вертится около меня какой-то атаманский товарищ.

— Спасать людей, — говорю я.

Через минуту штаб пустеет.

К городу скачут лошади, трещат автомобили. Весть об эвакуации мгновенно разносится в Казачьем Хуторе.

Мы со Степаном делаем торопливые распоряжения: — надо спасать людей, надо никого не забыть, всех снять с постов, всех известить, потому что забыть — это было бы предательством.

Потом мы идем в наш поезд, до которого сажен двести.

Около поезда обступают меня военспецы — человек пять, шесть.

— Разрешите... Все потеряно? Эвакуация? Да?

— Может быть, нас разобьют на части?

— Возможно.

— В таком случае... В таком случае разрешите попросить...

— Что?

— Выдать нам жалованье... или немного больше, на случай... Может быть, придется пробираться в одиночку...

У этих в чужом пиру похмелье. Звучит только голос шкуры.

Куда они нам нужны, такие?

— Выдать деньги.

В вагоне встречает меня жена. Она хватает меня за руку.

— Все кончено?

— Да. Собирайся к выезду. Бери с собой как можно меньше.

— Все? Все кончено?

— Да. Но ты не бойся — вырвемся.

— Куда? Куда вырвемся? Некуда!

Она стоит передо мной и дрожит мелкой-мелкой дрожью; голос ее ломается, как стекло.

Таня методически складывает в стопы мои бумаги; изредка она взглядывает на меня долгим взглядом. Я начинаю помогать ей...

И в это время входит начальник конвойной команды. Он совершенно бледен; останавливается, вытянувшись, и молчит.

— В чем дело?

Он откашливается, чтобы начать говорить.

— Фронтовики... Смяли караул и разграбили винтовки.

— Откуда?

— Из штаба в нижнем этаже.

— Сколько их?

— Человек двести.

И опять молчит.

— Что-нибудь есть еще?

Он глубоко вбирает грудью воздух:

— Товарищ начальник, они требуют вас.

Холод проходит по моей спине и где-то замирает в концах пальцев.

— Я приду.

Я оборачиваюсь, чтобы взять фуражку...

Жена моя смотрит на меня.

Никогда, во всю мою жизнь, я не забуду этих горящих от ужаса и муки глаз.

Она смотрит целую минуту — и вдруг всплескивает руками бесконечно горестным жестом, бросается на меня, виснет на мне всем своим внезапно ослабевшим телом, и быстро-быстро говорит:

— Я умоляю, умоляю... Не ходи, не ходи... Тебя мучить будут... Пытать будут... Дорогой мой... Умри... Убей себя... Убей! Убей! Это легче будет... Убей! — кричит она звенящим, надорванным голосом.

И все виснет на мне, все прижимается ко мне теснее и теснее.

Я медленно и осторожно освобождаюсь от нее.

— Я хочу жить. Я пойду...

Начальник команды продвигается как-то боком и отделяет ее от меня.

Мы выходим из вагона.

Двести сажен до штаба.

Мы идем по насыпи, роняя из-под ног камешки. Справа сияет степь под солнцем, левее — штаб.

Около него толпа народа, блестят штыки, доносится глухой шум говора, отдельные люди перебегают с места на место.

Начальник конвоя со странной заботливостью указывает мне на ямы и камни — точно боится, чтобы я не споткнулся; улыбка бесконечной жалости кривится на его губах...

— Вот тут левее... Смотрите, рельс...

Что он меня жалеет? Быть может, мы оба идем навстречу одинаковой смерти.

Двести сажен... Пройдем ли мы их до конца? И что будет тогда, когда мы пройдем их?

Шум становится все громче по мере того, как мы приближаемся.

И вдруг все головы поворачиваются к нам.

Разом наступает тишина, полная тишина, глубина которой непонятна. Никто не шевелится. Ни звука, ни движения.

А мы подходим все ближе и ближе.

Для того, чтобы пройти в двери штаба, нам нужно пройти через толпу, но она стоит неподвижной, плотной массой на нашей дороге.

Мы подходим вплоть, еще шаг — и я мог бы коснуться до первого ряда рукой...

И этот ряд какую-то короткую секунду колеблется, взвешивает наши жизни на неведомых весах.

Но мы шагаем вперед слишком решительно.

И ряд — расступается. Эта трещина перед нами врезается клином в толпу, она бежит перед нами вплоть до дверей штаба.

И мы проходим мерным шагом между двух стен с торчащими штыками, среди молчания: — ни одного вопроса, ни одного выкрика.

Когда я поднимаюсь по ступенькам штаба, грудь моя поднимается от глубокого медленного вздоха — точно спала с нее невидимая тяжесть, от которой было мучительно душно.

Начальник конвоя говорит неожиданно весело:

— Спасовали, — и пристукивает каблуками по ступенькам.

В штабе у денежных мешков столпилась часть нашей команды. Они стоят со строгими лицами, обвешанные гранатами, с полными подсумками и патронташами через плечо. В окне я вижу приготовленный пулемет.

Кто-то сжигает в печи последние ненужные бумаги.

Кто-то говорит мне:

— Рабочие депо нам пути разобрали.

— Да? Мы там не поедем.

Этот громадной важности факт скользит по моему сознанию. Я на нем не останавливаюсь:

— Ведь мы там не поедем! Пусть разбирают!

— Как мы вынесем деньги? Четырнадцать мешков — почти по мешку на каждого.

— Я поставлю остальных пятнадцать стрелков у выхода. Пока они внизу. Все с гранатами. Пройдем. О деньгах никто не знает.

Это верно, потому что иначе этих денег уже не было бы здесь. Если бы знали о них, ничто не спасло бы нас. А вдруг догадаются?

— В городе идет стрельба. Гражданские власти уже погрузились. Большая часть пароходов ушла.

— Прикажите подать автомобили к штабу, легковые и грузовики. Через десять минут выезжаем.

— Вы в поезд? Разрешите проводить вас...

Начальник команды идет впереди меня и с крыльца властно кричит толпе:

— Дорогу! Пропустите...

И уверенным шагом мы проходим через толпу,

В вагоне встречает меня жена — со смехом, смешанным со слезами; так падает иногда дождь, освещенный радостными лучами солнца.

— Ты жив!.. Господи, ты жив!..

Ее руки с дрожащими пальцами с трепещущей нежностью скользят по моим плечам.

— Ты — жив!..

Она ощупывает меня.

— Подают автомобили, сейчас уезжаем. Будь готова. Бросай все, кроме абсолютно необходимого... До штаба проводят тебя стрелки.

Она растерянно суетится. Берет для чего-то подушку, ходит с ней несколько мгновений, обнявшись, и снова бросает ее; потом берет корзинку с провизией и укладывает в нее подсвечник...

Быстро входит Степан. В первое мгновение я не узнаю его. Обычно одетый без особой тщательности, он теперь свеже выбрит, в прекрасном костюме, перчатках и котелке.

— Прощай. Я решил остаться.

— Здесь?

— Да, в тылу. Я поведу работу.

— Степан, город слишком мал. Тебя знают.

— Решено.

Он обнимает и целует меня долгим поцелуем.

— Прощай.

И скрывается.

Когда мы возвращаемся к штабу, до нас доносится треск автомобилей:—это шофферы пробуют моторы своих машин.

Опять смолкает шумная толпа при нашем приближении; но она стоит по прежнему, тесно сгрудившись и ощетинившись штыками.

Опять она пропускает нас.

— Автомобили готовы?

— Так точно.

Мы быстро взбегаем по ступенькам в штаб.

— Теперь — мешки... Скорее!

Одни стрелки берут в руки гранаты, другие — грузят на спины мешки с деньгами, третьи с грохотом катят пулемет.

— Ну, ребята, держись за землю — трава обманет.

Это говорит повар нашей команды, заломив фуражку на затылок.

И мы один за другим спускаемся по лестнице.

Автомобили зажаты тесным кольцом столпившихся людей, которые становятся на цыпочки, выглядывают один из-за другого, толкаются,— и пронизывают нас напряженными, неотрывными взглядами, полными злобы и отчуждения — неумолимого отчуждения.

Мерным, тяжелым шагом идут сзади стрелки; я слышу, как позвякивают на них гранаты, задевая за пуговицы шинелей. И что-то решительное и бесповоротное, как смерть, владеет нами; я ощущаю всех нас вместе — как одну машину, которая раздавит, если попасть в нее. Я ощущаю в себе присутствие неведомой силы, слепой и глухой, которая влечет меня без всяких рассуждений. Начальник конвоя обгоняет и становится передо мной.

— Раздайсь!

Это он кричит суровым, вдруг зазвеневшим сильным голосом; в этом голосе—повеление; в нем звучит коллективная сила будущих батальонов бойцов, мечта о которых живет в нас.

И люди медленно, с шелестом раздаются перед нами в стороны, как полы раздвижного занавеса, колеблются; передние теснят задних...

Какая-то сестра милосердия ловит меня за рукав и шепчет мне с искаженным лицом:

— Спасите... спасите... Я—ваша.

— Садитесь.

Она долго карабкается на грузовую платформу, судорожно болтая ногами.

В одну минуту деньги нагружены.

— Стрелки на трех грузовиках—на головном, с деньгами, и на заднем. На головном—начальник конвоя, на заднем—я.

— Готово.

Но нет еще моей жены, Тани и трех стрелков.

И начинаются томительные, жуткие минуты ожидания; они полны угрозы и неизвестности; эти минуты похожи на шипящую в руках гранату, которая сейчас с огнем и грохотом взорвется. Всей моей напряженной до предела душой я чую, что малейший крик, малейший толчок, малейшая случайность могут вызвать взрыв этой дикой, клокочущей, задушенной ненависти, которая в одно мгновение превратит нас в окровавленные мешки с костями.

В душе моей необыкновенная, четкая, холодная ясность; так видит иногда человеческий глаз в морозный, зимний день—все, до самой незначительной черточки.

Томление этого ощущения становится нестерпимым.

Стрелки без смысла и цели переворачивают багаж; шофферы так же бесцельно возятся с машинами, открывают радиаторы, закрывают.

Толпа молчит.

Ко мне подходит шоффер Михайлов, блудное дитя нашего поезда, кутила и весельчак.

— Товарищ начальник, я дорого бы дал сегодня за то, чтобы иметь на лбу такую же звезду, как у вас.

Я снимаю фуражку и отдаю ему звезду. Что-то теплое и нежное проходит по моему сердцу, он кажется мне родным и милым, близким и дорогим.

А толпа все так же молчит, застыв в неподвижной и угрюмой думе. Где-то плачет ребенок, скрипит телега...—там продолжается жизнь.

И вдруг среди толпы начинается движение; все головы поворачиваются в сторону нашего поезда... Люди расступаются.

Еще далеко от нас, сажен за сто, я вижу через образовавшийся пролет у насыпи мою жену с какой-то корзинкой, Таню с узелком и трех стрелков... Они быстро идут по пыльной земле, приближаясь все ближе и ближе... И каждая секунда становится для меня длиннее.

Кругом опять неподвижность и напряженное молчание.

Мне кажется, что я отсюда слышу прерывистое, горячее дыхание этих дорогих мне людей.—Еще бы только две-три минуты... Остается сажен двадцать... Еще немножко... Еще немножко...

Как лунатик бледный, весь напряженный как тетива — начальник команды, согнувшись, делает несколько шагов вперед; рука его конвульсивно сжимает побледневшими от напряжения пальцами английскую гранату.

— Садитесь... Живее, живее...—шепчу я жене и Тане.—Ну, живее...

Мгновенно все на местах.

Я вскакиваю на заднюю платформу.

— Пошел!—кричу я чужим и низким голосом.—Предельная!

Сами собой, без команды, стрелки, стоящие на платформах, выхватывают гранаты и держат их на вытянутых руках.

Автомобили трещат все разом—и вдруг срываются с мест, все ускоряя, ускоряя ход...

Пулемет на задней платформе направлен на толпу: он водит по ней своим страшным хоботом...

И мы скрываемся в облаках пыли.

Гладкая, голая степь, прекрасное шоссе...

Воздух свистит в ушах—предельная скорость. Хочется кричать, размахивать винтовкой и стрелять — стрелять ни в кого,—в открытую ровную степь.

Чтобы держаться на толчках, я опираюсь в плечо соседнего стрелка—друга моего и любимого брата сегодня. Я слышу его живое тело моими пальцами...

Но мысль моя возвращается к тому, что происходит.

— Сейчас направо будет насыпь; довольно одного пулемета, чтобы оттуда уничтожить нас...

На мгновение холод окутывает мое сердце.

Но сейчас же я говорю себе:—Нет, проедем. Проедем же.

Какая-то победная уверенность растет во мне, все ширится и ширится, наполняя мою душу ликованием.

— Мы едем в восставший город... А вдруг все пароходы ушли? А вдруг все команды изменили? Я веду всех на смерть?

Но и эта мысль отскакивает от меня, остается где-то сзади— в вихре поднятой нами пыли.

Прорезав город лязгом и грохотом, мы ворвались на пристань.

Там дымят три парохода — два буксира и маленький пассажирский.

— Занять на пассажирском трапы! Арестовать капитана, штурманов, матросов! На берег не пускать!

И мы, обгоняя один другого, взбегаем на борт с винтовками на перевес.

Передо мной стоит капитан и тщетно старается что-то сказать мне, но губы его не слушаются и судорожно кривятся.

— Вы можете отплыть немедленно?

— М...могу.

Но оказалось, что он не может, потому что в котле нет достаточного давления паров.

— Шуровать вовсю!

Я взбегаю на верхнюю палубу.

Шофферы и стрелки укрепляют трапы, вкатывают автомобили.

На берегу, пустынном, когда мы приехали, собирается толпа, которая растет все больше и больше от подходящего кучками народа.

— Товарищ-начальник, нет бензина.

И внимательно присмотревшись, за стоящей толпой я вижу две наши машины из числа ушедших к белым...

Они трещат на холостом ходу, готовые каждую минуту скрыться.

Я складываю ладони рупором и кричу на берег:

— Тому, кто в полчаса доставит бензин, плачу по двести рублей за бочку. Кто доставит?

Обе машины быстро уезжают в город.

На пароходе—десятка два тюков хлопка, из которых стрелки на палубе делают себе уютные пулеметные гнездышки.

На пристани трещит чей-то чужой автомобиль, кто-то сходит с него, весь серый от пыли, с неузнаваемым лицом.

Этот человек усталой, вялой походкой идет по трапу.

— Фриде?—кричу я.

И только в это мгновение я соображаю, что за весь этот день я ни разу не подумал лично о нем—о нем, который дни и ночи дрался на востоке, дрался как лев, и теперь в последнюю минуту подымается к нам, как будто бы это разумелось само собой, что в эту минуту он придет.

Мы обнимаемся с ним.

— Фриде! Здравствуй.

Он постарел на несколько лет. Он совершенно исчерпан от бессонных ночей и нервного напряжения; глаза его померкли.

— Фриде, иди в рубку.

Он молча идет, волоча за собой ноги. Я вижу, как скрывается в разрезе лестницы его согнутая спина.

Капитан докладывает, что давление в котле достаточное.

— Ну, что же... Давайте отплытие... Только свистите перед тем, как отправиться.

Ревет пароходный свисток, суетятся матросы, часть канатов шлепает по воде...

И в это время на пристань въезжают две уехавших за бензином машины.

— Эй, принимайте бензин!—кричат нам шофферы и машут каскетками.

Я даю деньги, стрелки бегут на берег и катят по трапу бочки.

— Отчаливай.

— Полный ход,—говорю я капитану.

— Есть.

Мы выходим на широкий простор Иртыша.

Откуда-то в нас стреляют; пули щелкают по борту.

Стрелки легли у пулеметов, в своих гнездах.

— Не отвечать.

Мы уходим без выстрела.

Широкий простор Иртыша; среди плоских берегов он стекает мутными волнами.

Наш пароходик шлепает плицами, оставляя за собой клочья дыма и пену.

Верхняя палуба пустеет. Люди утомились от переживаний этого тяжелого дня; у всех потребность отдыха, покоя, неподвижности во что бы то ни стало. Те, что с фронта, не вымывшись, покрытые пылью, потом, кровью и грязью, валяются теперь где попало и немедленно засыпают; через них шагают люди, толкают их сапогами, но они не слышат; слюна сладкого сна течет из их полуоткрытых ртов; одни о чем-то бурно грезят, повторяя во сне пережитые ужасы, другие широко раскинувшись, лежат как мертвый камень.

— Пароход навстречу.

— Застопорьте машину и остановите встречного.

Капитан свистит и машет флагом, переклоняясь через борт.

Это низовой, большой пароход. На нем теснится публика.

Пароход останавливается...

— Скажите в рупор, чтобы завернули обратно, иначе откроем огонь. Пусть на всех парах идет впереди нас...

Долго кричит капитан и долго его спрашивают в такой же рупор нелепым, лающим голосом:—там не понимают.

Потом пароход обходит нас полукругом и становится в голову. Мы продолжаем путь.

— Ни одного парохода в Атаманск. Вы поняли?

— Есть.

Я спускаюсь в рубку.

Но, может быть, десяток пароходов, пришедших в Атаманск с верховьев, через час или два пойдет за нами в погоню. Возьмет с собой артиллерию?

Все возможно, если там не упьются сегодня вином победы.

В рубке на диване лежит Фриде, натянув на себя грязную шинель до подбородка; ему холодно, он дрожит от истощения и спит с незакрытыми глазами; от этого кажется, что он умер.

Но спит ли он?

— Фриде?

Молчание.

Я сажусь около него. Мгновенный упадок сил охватывает меня. Откуда-то издалека, сквозь туман я слышу, как рука моей жены проходит по моим волосам, и вздрагивают ее пальцы, каждый палец в отдельности.

— Поешь... Усни.

И я засыпаю—с калачем в руке, который она дает мне.

Когда я просыпаюсь, я лежу под чьей-то шинелью. Это начальник команды уложил меня. Калач я крепко держу в кулаке.

В рубке уже темно. На столе горит единственная тусклая свечка.

— А-а-а...—стонет Фриде во сне.

У столика в середине рубки сидит начальник команды и пьет чай: кругом на диванах всюду спят люди, которых я не могу рассмотреть в темноте; я узнаю только мою жену, Таню и брата Фриде, огромные ступни которого с растопыренными пальцами близко торчат около меня.

Ко мне подходит начальник команды.

— Вы проснулись? Желаете чаю? Вероятно, пить хочется?

Я смотрю на его суровое лицо, вспоминаю его твердое и беспощадное мужество и думаю:—Кто бы мог поверить, что душа этого человека полна нежности! Кто бы мог поверить, что он может быть любящим и чутким, как старая нянька.

Чай я пью с жадностью.

Как хороша наша команда, какая выдержанная, бесстрашная смелость. Как было бы до чуда хорошо, если бы все наши войска были такими же! Сегодня золотой огонь геройства вспыхнул над их головами.

— Дайте еще стаканчик.

Я сажусь и смотрю на мою жену. По ее истомленному лицу перебегают тени от того, что пламя свечи колеблется. Кажется, что она хмурит брови и шевелит во сне губами.

Рядом с ней стоит корзинка, которую она вынесла из поезда, прижимая к себе как драгоценность. Я раскрываю ее—и не могу удержаться от смеха; там лежат две маленьких подушки, кофейник, коробка папирос, два стакана, какие-то шпильки и гребешки, несколько забытых мною ненужных бумаг—и зубной порошок, три коробки зубного порошку!—и подсвечник.

Я смеюсь. Смеется и начальник команды, простодушно, как ребенок, показывая белые зубы, на которых пламя свечи горит светлыми точечками.

Фриде просыпается. Он смотрит в потолок неподвижным взглядом и ничего не говорит.

— Фриде, как себя чувствуешь?

Не отвечает.

Только минут через пять мы слышим его однотонный и ослабевший голос:

— Куда мы едем? В Ледовитый океан? В пустыню? Разве мы знаем, что творится в мире? Может быть, революция везде погибла!

Начальник команды пытается шутить.

— Ну, тогда нас всех исключат из армейских списков, только и всего.

— А-а-а... Перестаньте. Что зубоскалить? Разве не понимаете?

Он садится, решительно опираясь руками о колени, и в упор смотрит на нас тяжелым взглядом.

— После всей гадости, которую я видел, после всей трусости, после предательства... У революции — прошлого нет, будущего—не будет, а настоящее... Оно ужасно. А газеты там... в центре... наверное продолжают свою победоносную болтовню... потому что она безответственна.

— Фриде, отдохни еще немного.

— И мы... Какая бездарщина, непредусмотрительность, ошибки... Как мы бездействовали! Какое преступление!

— Фриде, не будь Дон-Кихотом. Он тоже считал себя ответственным за все зло, которое могло совершиться на земле, благодаря его бездействию. Но, ведь, он говорил также, что, пока он молод и жив, найдется лекарство от всего. Фриде?.. Фриде, рожденный для сегодняшнего сна, спи, спи, а мы будем беседовать со своими мыслями.

Пока я говорю это, Фриде сидя засыпает посредине своей мысли, широко раскинув длинные ноги.

— Посидите с ним, а я схожу на палубу.

На капитанском мостике — свежий, крепкий ветер.

Я разом вспоминаю, что моя шинель осталась в поезде.

Волны сердито всплескивают о борта, шуршат у бугшприта; сквозь мутную тьму я вижу, как ползут плоские, безрадостные пустынные берега. Мне вспоминается мрачная Рылеевская песня:

Иртыш волнуется сильней,
Ермак все силы напрягает...

Но все же,—куда мы идем? Фриде сказал, что в Ледовитый океан, в пустыню, на смерть и гибель. Разве это не возможно? Ведь мы действительно ничего не знаем о том, что происходит в мире. Сколько

дней мы не имеем ниоткуда никаких известий, ни строки, ни слова. Может быть, это верно, что революция погибла, Советская власть разбита в центре, и вся наша борьба, и это отступление — все это бессмыслица, потому что мы все равно осуждены на уничтожение? Может быть, мы только уходим от славной и геройской смерти — навстречу разложению, малодушию и позору?

От этой мысли и от ветра на мостике холодная дрожь проходит по моему телу; сердце мое сжимается тоской.

— Довольно об этом... Достаточно.

Я спускаюсь на нижнюю палубу.

Тут полутьма, тепло и тихо. Где-то близко, около меня — дыхание спящих людей, успокоенных сладким сном; внизу, в утробе парохода,— ровный, покойный стук машины, кожух которой изливает ласкающую теплоту.

— Вали вповалку, теплее будет... — и кто-то к кому-то братски прижимается в темноте.

Дежурные пулеметчики приподымаются мне навстречу в своих гнездах.

— Лежите, отдыхайте, пока есть время.

Я запинаюсь за брошенную в проходе швабру и останавливаюсь

Прямо у моих ног лежит на полу какая-то старушонка с растрепавшимися волосами. Для чего она села на наш пароход? Куда она едет? И как отражается в ее старой голове вся фантасмагория, которая происходит?

Должно быть — никак не отражается. Она села к нам для того, чтобы бесплатно добраться к сыну или внуку, мимо которого мы провезем ее—далеко к холодному северу.

31 мая.

Целую ночь мне не давали спать тревожные свистки. Мы останавливали и заворачивали обратно встречные пароходы. Их набралось уже двенадцать. Мы гоним их перед собой, как стадо уток, под угрозой расстрела. Воображаю себе то изумленное состояние, которое царствует на них среди пассажиров.

Утром, около шести часов меня разбудили.

— Мы догоняем три парохода, которых мы не заворачивали обратно.

— Очевидно, это наши, выехавшие прежде нас.

Я торопливо всхожу на мостик.

Утро, едва обогреваемое лучами солнца; еще свежо и ветряно; маленькие белые барашки курчавятся на волнах.

Усталый капитан стоит у штурвальной будки и смотрит вперед безнадежными, злыми глазами.

— Выровняйтесь с задним пароходом.

Штурман смотрит, приложив руку к глазам.

— „Андрей Первозванный“. На нем советские. Часа на два раньше нас вышел. Уж коли догнали, — значит, топлива мало. Он — резвый.

На борту я вижу атаманских работников; мы машем друг другу фуражками.

— Идите к берегу, к первому складу дров, — кричу я им в рупор.

И спустя полчаса мы подваливаем к изорванному половодьем яру, на котором желтеют длинные ряды поленниц. Два-три мужичка принимают чалки.

Мы здороваемся — с чувством пережитой продолжительной разлуки.

А через десять минут, под грохот дров, которые матросы сваливают в трюм, у нас начинается военное совещание.

Необходимо итти без остановок, насколько это возможно из-за топлива, потому что будет погоня, которая грозит нам гибелью, если белые захватят с собой артиллерию. В первом же большом селе нужно устроить реквизицию продуктов, потому что питаться нечем. Необходимо на все пароходы поставить своих комиссаров и охрану для наблюдения. Необходимо организовать управление флотилией и назначить командование.

Мы обсуждаем способы сигнализации, разведки, вопросы снабжения, способы расплаты за него. Нас уже около тысячи человек с судовой командой, солдатами и семьями.

Как быстро проходит душевное смятение в наше время. Все говорят, вносят предложения, спорят, повторяются — совершенно как всегда, на самом рядовом собрании. На многих лицах нельзя прочесть ничего о пережитых вчера событиях. Что это? Вера в революцию, мужество, или непонимание положения?

Командующим флотилией выбирают меня. В первый и, вероятно, последний раз в жизни я становлюсь пресноводным адмиралом. Решено, что мы переходим на „Андрея Первозванного“.

Фриде—уже молодцом: он глотнул несколько глотков отдыха.

— Чорт его знает, замечательная вещь! Я не думал об этом раньше. Как много и длинно говорят люди, когда они не очень торопятся.

— Да. Вчера красноречия было мало.

— Говорить, — ведь, тоже отдых иногда.

— Ты находишь, что это отвлекает от всяких мыслей?

Фриде смеется.

От атаманских товарищей мы узнаем, какую большую работу спасения разных ценностей они совершили, несмотря на развал, на смятение и беспорядок. Буксиры с имуществом, отправленные раньше, идут впереди нас.

И еще раз меня поражает мысль о разумности, повидимому, неразумных, случайных и беспорядочных действий; слагаясь в целое, они верно учитывают обстановку, столкнувшиеся силы, всякие возможности,—и составляют правильный вывод, направленный к определенной цели. Почему выходит так, что из разрозненных действий лю-

дей, в разные моменты, в разной обстановке, без всякого общего соглашения выходит единый результат? Потому, что цель этих людей *едина*, потому что именно она владеет ими и властно осуществляется черезних.

С хорошим чувством доверия друг к другу мы кончаем это совещание.

Когда я схожу на берег, я вижу, что матросы моют палубу швабрами. И это мне очень нравится.

1 июня.

Сегодня целый день продолжается мирное плавание. Светит яркое солнце, и широкая водная гладь, щурясь ленивыми улыбками, покоится перед нами, невозмутимая и мощная. Чудесные просторы во все четыре стороны манят взгляд, завлекают его в свои глубины так, что трудно оторваться, трудно отказаться от этих просторов ради близкого, маленького и ограниченного временем или пространством.

Медленно мы огибаем какой-то остров. Там, на изумрудно-зеленом лугу горят горицветы — жаркие цветы, как их здесь называют, разноцветные лютики, царские кудри, медуницы; купы черемух, облитых от вершины до корня — как пеной — белыми цветами, изливаются истомным ароматом, дуновения которого неуловимо обвевают нас.

Флот наш из двадцати двух пароходов пенит воду; воздух наполнен сочным, бодрящим шлепаньем плиц по воде; кажется, что идет какая-то непрерывная, спорая и веселая общая работа, как будто бы десятки сказочных прачек-великанш чудовищными вальками в перегонку выколачивают с песнями белье на плещущей, серебряной реке. И от этого звука весело сердцу и радостно на душе.

Стада уток ныряют, полощатся в воде, бегут перед нами, когда мы подходим слишком близко, и, отлетев, опять покойно опускаются в речные струи, и опять взлетают над самой водой, разбрасывая блистающие брызги. На дальних отмелях важно сидят рядами дикие гуси, пощипывая свои перья.

Мы подходим к какому-то богатому большому селу.

На берегу толпятся мужики, бабы и ребятишки, изумленные невиданным зрелищем этой эскадры из двух десятков пароходов, маленьких и больших, буксирных и пассажирских, плывущих как стадо белых и черных лебедей.

Ребятишки и бабы в цветных и ярких платьях и платках — как цветы, веселят и ласкают взгляд. Рыжий бычок с откоса задумчиво и пристально смотрит на нашу флотилию, а потом вдруг пускает к небу хвост ракетой и скачет галопом в паническом ужасе.

Мы выбираем удобное место и пристаем к берегу у окраины села. Жители сначала недоверчиво суетятся, а потом обступают нас.

Начинается покупка продовольствия и фуража, мы покупаем все: печеный хлеб, муку, табак, бумагу, рыбу, мясо и живой скот, мелкий и крупный. Я не принимаю в этом участия, и отхожу.

У самой воды на корточках сидит лохматый, худой старик и удит рыбу.

Я направляюсь к нему.

— Что, хорошо берет?

— Ничто.

Он оглядывает меня и, не торопясь, забрасывает снова свой крючек.

— А вы-то куда отправились такой канпанией?

— Плывем себе, новой жизни ищем.

— Н-да. — Все теперь новое пошло. Старую совесть прожили, новой не нажили. Чесали-чесали языки, вот и дочесались. Все — врозь, все — в рассыпную, кто — куда. Чудеса.

— Скучный ты, старик.

— Ну, ладно. Поздно мне побасенками дурачиться. Балуйтесь без меня.

Он — умер заживо, ему уж все равно. И мне не хочется думать о нем — мне тоже все равно, что будет с ним; пусть помрет.

На берегу делается что-то странное.

Солдаты с разных пароходов, неизвестно — откуда и из каких частей, — собираются кучками, о чем-то говорят, наклоняя друг к другу головы, а потом сливаются с начавшей образовываться толпой; там кто-то стоит на поленнице и громко выкрикивает речь, но слов я разобрать не могу.

Ко мне бежит стрелок из нашей команды.

— Узнали, что мы везем деньги... Митингуют.

И я, вместе с ним, бегу на берег, чтобы слиться с толпой и послушать оратора.

— Бегите к начальнику команды... Усилить караул у денежных мешков. Приготовьте пулеметы.

Говорит неизвестный солдат в серой, изорванной шинели. Откуда он взялся? Я никогда не видал его.

— Товарищи, — хрипло выкрикивает он, осипшим от простуды голосом. — Товарищи, мы сами не мальчишки, мы видали фронт почище этого, мы понимаем... Что нам голову крутить! Поехали, а куда? К белым в лапы, вот куда мы поехали... Народные деньги везем, аграмаднейшие деньги — а кому везем? Белым дьяволам... Товарищи, а с нами что же будет? Куда мы скроемся, нищие? Кто приютит, кто укроет? Товарищи, надо деньги в раздел пустить, в немедленный раздел! Каждый свое на себя возьмет, каждый за свое отвечать будет. Кому удастся прорваться — в казну деньги сдаст, кому не удастся — на эти деньги жизнь свою будет спасать... Али мы не заслужили жизнь кровью своей, али мало ее пролили, али дешевле воды она? Деньги — в раздел, товарищи, в немедленный раздел! Согласны ли?

И толпа бурно гудит ему в ответ:

— Согласны, согласны... Дело ясное. Какого чорта деньги белым отдавать? Уж лучше мы попользуемся.

— Не на дураков напали! Не позволим, чтобы народное достояние... У народа взяли — народу и отдайте. О чем тут разговаривать!..

— Ребята, айда на пароход к товарищам! Пусть деньги выдают!.. Комиссию выберем, чтобы поровну, по справедливости, по правде!..

Толпа гудит, разбившись на кучки, кричит, размахивает руками.

С тягостным чувством я взлезаю на поленницу.

— Товарищи...

Голос у меня сильный, и шум понемногу стихает.

— Товарищи, я командую флотилией и больше всех отвечаю за деньги... Денег этих мы вам не дадим. Они — не наши и не ваши. Этими деньгами мы не опоганим наших рук. Буржуазия, помещики, офицерство и казачество восстали на наше рабоче-крестьянское правительство, тяжело ему, и деньги мы ему отвезем в святой сохранности... Я не дам этих денег, я предупреждаю вас, и со мною будут все, кто не изменник революции.

— Это — как большинство решит... Какой генерал! Голосовать! Голосовать немедленно!.. Кто—за что? Голосовать!..

Тяжелая злоба на этих людей, в которых поднялись со дна самые подонки их инстинктов, тупых и бессмысленных, ведущих всех нас к гибели, — постепенно охватывает меня.

— Тише! Вы не дали мне кончить. Замолчите!

Я вижу, как узким клином в толпу врезается часть нашей команды, пробираясь к поленнице, на которой я стою.

— Тише! Тише! — кричат стрелки и усиленно работают плечами.

И я говорю, раздельно, медленно и громко среди наступившей тишины:

— Этих денег вы не получите, ни в коем случае! Голосуйте как хотите. Денег мы не отдадим никому, кроме Советской власти, хотя бы пришлось вас встретить пулеметами.

Кто-то кричит мне:

— Не грозись, не страшно!..

И я отвечаю ему:

— Никому из нас ничто не страшно... Я не грожу вам, — я предупреждаю. Я знал, что кучка негодяев начнет вас подбивать к разделу денег. С согласия моих товарищей я принял свои меры. Вы денег не тронете. А при попытке захвата денег — смерть! А теперь — по пароходам! Я даю отправление. Кто опоздает — тот останется.

И по первому свистку толпа разочарованно расходится. С борта „Андрея Первозванного“, между тюками хлопка, задумчиво смотрит дуло Максима и два черненьких, новеньких ручных пулемета Льюиса.

Не считая нашей команды и двух-трех сотен солдат с Восточного фронта от Фриде и из-под Анновки, с нами едет всяческий опасный сброд, а не солдаты, нужные для революции.

Но избавиться от них нет никакой возможности, привести их сейчас в порядок — тоже немыслимо. Приходится терпеть, потому что разоружить их нет сил.

2 июня. Ночь.

Остаток дня опять было мирное плавание.

О деньгах поболтали и бросили. Не знаю, вернемся ли мы еще раз к этому вопросу.

Когда стемнело, я выхожу из рубки.

Фриде смотрит, как стрелки команды чистят свое оружие. Они любят оружие; когда они касаются до своих винтовок, до пулеметов, я вижу в их пальцах особую осторожность, даже нежность, которой не было бы без любви. Та же внимательность, та же любовность и в лице Фриде, когда он наклоняется к этому оружию. Кто знает, — может быть, он родился, чтобы быть солдатом революции!

Мир и покой навис над нижней палубой.

В пулеметном гнезде, среди кип мягкого хлопка, какая-то женщина кормит ребенка грудью, — должно быть, работница из Атаманска; свет фонаря падает на нее и освещает необычно белую грудь рядом с обветренным лицом.

— Солнце мое единственное, — шепчет она над своим малюткой.

Меня внезапно поражает мысль: — как мало их поехало с нами из Атаманска, и что готовит судьба тем из них, кто остался!.. Может быть, терзания, массовые расстрелы, издевательства, неисчислимые страдания.

На верхней палубе сегодня прекрасно.

Одинокий ветер тихо катится над гладью вод; горят звезды, почти беззвучно скользят воды, ползут тяжелой лентой цвета темно-вороненой стали под светом месяца.

Я расхаживаю взад и вперед по мостику. Вот это отдых, который дает мне силы; все постепенно спадает с души — все заботы, опасения, огорчения, свои и чужие, — кажется, что все это можно отложить на завтра — ведь от исхода их ничего не изменится: — так же будут скользить тяжелые воды вниз, так же будет безмятежно катиться месяц, так же будет попискивать ночная птичка в прибрежных зарослях.

Мимо проходит матрос — повернуть поддувала навстречу текущему воздуху, — прибавить паров, прибавить ходу.

Должно быть, такие ощущения переживало тело средневековых воинов, когда они снимали с себя тяжелые шлемы и панцыри, какое переживает моя душа в минуты тихого отдыха. Из твердой она делается мягкой: все, что целыми днями изгоняешь из нее непрерывным упорным натиском воли, — жалость, мысль о чужих страданиях, угрозу смерти, боязнь за близких, мысли о счастьи и радости, — все это входит в душу толпой дорогих и любимых призраков, и тогда переживаешь сладость горя и милосердия, сладость надежд и упоения красотой жизни.

Жизнь, красота ненаглядная...

Я тихо спускаюсь с верхней палубы; не хочется уходить.

Я слышу чей-то страстный шопот у самой лестницы, — и останавливаюсь.

— Пойми ты, пойми... Предсмертное положение, насытилась слезами земля, воздух переполнился рыданием... Сердце мое надломило, то немецкая, то с русскими война! А жить когда же, жить-то нам?

— Погоди, все наладится.

— Ах, одни пустые, приманные слова... Поманить на минутку — бросить.

И тут разнеженная отдыхом душа, и тут томление ослабевшего сердца, которому жизнь на один короткий часок разрешила подать свой тихий голос...

3 июня, 15 часов.

Подходим к городу Тарапску.

Необходимо принять меры предосторожности, потому что мы не знаем, удержалась ли там Советская власть...

Фриде ставит пулеметчиков на посты, расставляет стрелков, удаляет с палубы лишних людей.

— Женщины — в трюм!

— Я не хочу... Что такое, почему?

— Все, кто без оружия, — долой с палубы!

— Товарищ Фриде, это безобразие... Это же насилие! В конце концов, это унизительно для нас...

Но Фриде яростно накидывается на них:

— А? Вам посмотреть хочется, интересное зрелище? А ранят вас, мы ухаживать будем? Бросим пулеметы и за вами ухаживать будем? Марш, марш без разговоров!

— Очистите палубу, — говорит он стрелкам...

И они, широко расставив руки, загоняют женщин, как стадо гусей, в прорез лестницы.

Остается еще несколько невооруженных товарищей из мужчин.

— И вы отправляйтесь, товарищи.

— Ну, разве и нам нужно?

— Обязательно — и вам. Обязательно...

— Товарищ Фриде...

Сегодня они болеют сердцем за то, что не солдаты революции в прямом и буквальном смысле; сегодня это кажется обидным — уйти с поля борьбы вместе с беспомощными женщинами.

— Товарищ Фриде, вы же не можете применить к нам насилие...

— Обязательно применю. Ваши жизни нужны революции, вы хотите бессмысленно рисковать ими, вы хотите искалеченные эти жизни взвалить на плечи других товарищей? Эти товарищи — не сиделки. Обязательно применю насилие.

Палуба очищается.

На минуту я спускаюсь в трюм.

Там, среди шпангоутов, сидя на разном мусоре и просто на корточках, собралось уже большое и разнообразное общество.

Бьется в истерике сестра милосердия:

— Я жить хочу... Жить хочу... Спасите... Довольно крови... Я хочу домой...

От нее пугливо сторонятся. Только Таня смачивает ей голову холодной водой и что-то наговаривает ей ровным, спокойным голосом.

Тут и моя жена. Для нее — это первое боевое крещение. Как-то она выдержит его? Глаза ее широко раскрыты и с немым, настойчивым вопросом смотрят на меня.

Проходя мимо, я на секунду кладу ей руку на плечо, чтобы немного ее ободрить.

— Товарищ Иванов, а долго это продлится? Нас не потопят?

— Полноте, ничего не будет... Все эти меры — на всякий случай. Прекрасно пройдем мимо.

— А не потопят?

— Нет.

А может быть и потопят,—разве я знаю это? Кто это может знать?

Я подымаюсь на верхнюю палубу.

Мы совсем близко подходим к городу.

Он стоит над рекой, на высоком, обрывистом яру, но дальше яр понижается в низкую и ровную луговину.

Если придется брать Таранск, будем брать его отсюда.

Фриде смотрит в бинокль и говорит мне:

— На берегу построена конница.

Теперь у нас нет сомнения, что нам предстоит драка.

— Нужно сказать стрелкам — приготовиться.

Фриде сбегает на нижнюю палубу, где расположены пулеметные гнезда.

Я слежу, как с каждой минутой сокращается расстояние.

Они могли бы уже открыть огонь, но они молчат.

— Не высовывайся из-за тюков, — говорю я штурвальным.

Капитан ни на шаг не отходит от меня.

— Капитан, идите в прикрытие, вас убьют. Вас первого убьют.

Он скрывается за тюки и осторожно выглядывает оттуда, давая отрывистые приказания.

Впереди нас, сажен на сто идет пароход „Усердный“, на нем десятка два чекистов и с ними их пулемет.

И в тот момент, когда „Усердный“ равняется с построенной конницей, я слышу треск разрозненных выстрелов и ответный рокот пулемета с „Усердного“.

„Усердный“ проходит дальше; на его место подходим мы...

— Огонь по коннице! — кричу я Фриде. — Торопитесь — убежит!

— Знаем...

И три наших пулемета начинают разом шить, как швейная машина.

Пули с берега хлопают в тюки, трещат по фанерным обшивкам; бледные штурвальные судорожно крутят колесо, чтобы пройти от берега дальше.

Каждый нерв во мне дрожит неиспытанным напряжением...

Перед моим умом вырастает мысль — именно перед умом, потому что я вижу эту мысль, как если бы это была материальная вещь передо мной: — взять штурмом город, вот сейчас выбросить на берег десант и разогнать всю эту сволочь, беспощадно уничтожить ее, чтобы от нее ничего не осталось...

— Капитан, свистите к пристани...

Ревут отрывистые короткие свистки.

Конница колеблется под огнем. Пулеметы строчат свою непрерывную строку.

„Усердный" начинает описывать круг к пристани, пропуская нас вперед.

— Десант!.. — кричу я Фриде.

— Уже готовы.

— Таня, зачем вы на палубе? Кто позволил?

— Я сама.

— Таня, уйдите...

Но мне некогда.

Стрелки с чалками выбрасываются на берег, грохочут трапы, и с „Андрея Первозванного", и с „Усердного" по этим трапам льется густой поток солдат и наших стрелков, который сейчас же развертывается в цепь и идет по луговине, стреляя и вновь заряжая винтовки.

Ведет их Фриде, он торопит.

Из окопов, вырытых на лугу, непрерывно щелкают выстрелы по цепи; по пароходам больше не стреляют.

Я смотрю в бинокль и вижу, как конница бешено скачет куда-то по высокому яру. Зачем она выстроилась там? Эта нелепость обошлась ей дорого.

Стрельба затихает; стреляют все реже и реже; наша цепь скрывается в городе.

Я спускаюсь в трюм.

— Ну, вот и все. Кажется, кончилось.

— Смотрите, сколько пуль, сколько пуль... — говорит с восторгом какая-то молоденькая девушка, которую я вижу в первый раз.

Она ходит и считает дырки в бортах.

Моя жена стоит, обнявшись, вместе с Таней.

— Тебя не ранили?

Я смеюсь.

— Нет, не ранили. Кажется, на пароходе никого не ранили.

— Запасный штурман убит: вышел на нос и получил в затылок пулю. А зачем выходил? Без надобности... Не знаешь, где найдешь.

Это говорит какой-то солдатик, который спустился в трюм к жене; он примостился на шпангоуте и сладко курит махорочную вертушку.

— Ты — штык в пузо, либо — тебе штыком в пузо. Водовращение жизни. Вот тут ее и расхлебывай, эту жизнь-то самую.

На нижней палубе в пулеметном гнезде лежат два мальчика с револьвером; это сыновья одного из товарищей; они „принимали косвенное участие в сражении“.

Уже около двух часов прошло с тех пор, как наши вошли в город. Я послал несколько человек для связи, но до сих пор никаких известий нет. Судя по тому, что стрельбы не слышно, никакой борьбы, никакого сопротивления город не оказывает.

Надо использовать эту задержку для продовольствия и фуража (у чекистов есть с собой лошади из их отряда).

И я вижу, что испуганные огнем коровы снова вернулись на луг и мирно пощипывают травку.

— Ловите коров, товарищи! Хозяева сами придут за расплатой, а не придут — не наши; тогда пусть это будет контрибуция.

И тут начинается всеобщее оживление. Десятки солдат с веселым детским смехом разбегаются по лугу, и начинается шумная погоня. Солдаты кричат, друг другу командуют, бегут—спотыкаются, падают; коровы, задрав хвосты, в ужасе носятся по лугу и постепенно, одна за другой, всходят по трапу на пароход.

Являются их хозяева, и „наши“ и не „наши“. Они с нами не спорят, потому что мы платим хорошо.

Из города по гладкому лугу подходит к нам кучка людей. Еще издали я вижу среди них Фриде.

— Отчего так долго, Фриде?

— Занимали тюрьму, освободили совет. Он был уже приговорен к смерти. Вот—со мной товарищи...

Они пожимают мне руку: с их лиц не сошел еще землисто-серый цвет, навеянный ежеминутным ожиданием смерти.

— Товарищ, у нас неприятные новости. Из Атаманска за вами погоня; вот воззвание, оно расклеено по всем заборам.

И я читаю в нем призыв ко всем жителям—взяться за оружие, задержать в Таранске „кровавых бандитов“, обокравших государственный банк и казначейство, за которыми из Атаманска посланы „специальные пароходы с артиллерией и броневики по берегу“; „Советская власть в России всюду пала, и в Петрограде, и в Москве; да здравствует Учредительное Собрание“...

— Что же, погоня возможна, потому что к Атаманску непрерывно подходят пароходы с верховья... Надо торопиться. Где твой брат, Фриде?

Фриде смеется.

— Вот эта самая бумажка дала нам идею конфисковать из казначейства деньги. Без нее мы об этом забыли бы. Брат сейчас придет со стрелками; их осталось с ним человек десять.

И начинается ожидание брата Фриде и стрелков.

Весть о погоне мгновенно распространяется и вызывает волнение. Солдаты понимают положение; они знают, что одно-единственное трехдюймовое орудие наверняка погубило бы нас. Нужно спешить — это всем понятно.

Но мы не можем бросить товарищей.

Чтобы скоротать время, я брожу по берегу.

Между гряд каких-то огородов лежит убитый гимназистик; рядом валяется фуражка с изломанным гербом; шинель, измазанная мелом, завернулась и обнажила коротенькие толстые ноги в нечищенных ботинках.

— Как это убили его?

— Этого? Наш Егор рассказывает. Сущий был волченок—без перерыва стрелял; ранили его,—все стрелял. В конце Егор его штыком к земле приткнул.

Потом привели ко мне пьяного попа с жиденькой, рыжей бороденкой, в запачканной рясе.

— Этого зачем взяли?

— Ругается, грозится, и в кармане книжка: — на белых деньги собирал.

— Покажите книжку.

Но из книжки ничего не поймешь.

— Он признает, что деньги на белых собирал?

— Уж где признаться!.. А все-таки позвольте штыком ему брюхо пощекотать. Так будет вернее.

— В воду долговолосика!—добродушно советует какой-то солдатик, великан и красавец.

— Ну, хорошо. Потом я просмотрю его бумаги.

Но желание немедленно „пощекотать“ попа настолько настойчиво, что я сдаю его под специальную охрану двум стрелкам.

Начинает темнеть все больше и больше.

Брата Фриде и десяти стрелков все еще нет.

Я посылаю их искать и даю приказание протяжными свистками,—сигналом сбора,—беспрерывно звать их.

Волнение ожидания все нарастает. Тягучие, унылые свистки похожи на предсмертные стоны каких-то сказочных зверей.

Становится так темно, что с трудом различаешь лица.

Все пароходы, кроме „Андрея“ и „Усердного“, мы отправили вперед. Берег почти опустел.

Нетерпение достигает такого предела, что люди отходят от пристани двадцать-тридцать шагов и кричат в темноту: —Фриде! Фриде!—точно это может ускорить его приход, точно он заблудился в лесу, как ребенок.

Из темноты никто не отвечает.

Одна жуткая мысль начинает мучить меня:—Неужели они попали в какую-нибудь ловушку? Неужели они погибли без выстрела, без настоящего сопротивления? Это кажется мне невероятным: они—храбрецы, у них винтовки и гранаты, они дорого бы продали себя. Но опоздание их необъяснимо...

И вдруг из темноты доносится до нас нестройное пение Интернационала.

Это младший Фриде с товарищами.

Принесли сто двадцать тысяч рублей и привели двух казначейских чиновников.

Я с гневом набрасываюсь на него.

— Как вы смели так опоздать? Вы не установили связи... Вы заставили нас рискнуть судьбой всего отступления!

А он улыбается во весь рот, довольный своим подвигом.

— Мы деньги считали, а потом составляли акт... Длинная история.

Я не могу сердиться.

— А чиновников зачем взяли?

— Чтобы сами видели, как деньги отдадим сполна...

— Отплытие!—кричу я во весь рот.

И мы бежим к пароходам, натыкаясь друг на друга в темноте.

Пароходы свистят.

Отчаливаем.

В эту ночь мне мешает спать поп. Из-за него меня будят три раза.

Я не знаю, чем этот человек вызвал к себе такую острую ненависть. Но большинство наших солдат решительно желает его смерти; три раза в течение ночи солдаты хватали его и готовились выбросить за борт; после третьего раза я тут же устроил допрос всех свидетелей и просмотрел его бумаги. Просто пьяный поп, и напился, быть может, от страха—в чаянии нашего грозного прибытия.

— Для чего вы взяли его? Куда его деть?

— А в Иртыш. Пусть плавает.

— Начальник команды, вы за него отвечаете.

Солдаты ропщут.

4 июня.

Пустынные плоские берега; мутные, грязные волны; носятся чайки над рекой; стада уток все увеличиваются; все больше диких гусей на отмелях.

Мы заметно двигаемся к северу. Солнце стало бледнее, лучи его ласкают мало; грудь реки дышит холодом.

Вот уже два дня наши пассажиры и солдаты спят спокойно, едят и отдыхают, сколько им нравится.

Но перед нами еще Тольск; товарищи говорят, что там есть артиллерия—самое опасное для нас, последний барьер, за которым

Уральский заводской район, помощь, слияние с революцией, с центром,— продолжение борьбы.

Мы с Фриде многократно обсуждаем положение—к Тольску надо готовиться...

Но и мы находим минуты отдыха; эти несколько дней,—при темпе нашей жизни за последнее время,—кажутся такой бесконечностью.

Иногда я лежу на диване целыми часами и наблюдаю мирную жизнь нашей рубки.

Моя жена и Таня ухаживают за нами; даже Таня, которую я никогда не видел за домашней, хозяйственной работой,—даже она!

Я смотрю, как быстро и ловко движутся их руки, с какой кропотливой непостижимой заботливостью они моют стаканы; ложки, расставляют их, режут нам хлеб, тонкими, красивыми кусками... На столе откуда-то цветы: горицветы, ароматная черемуха, лютики... Белая скатерть. Я не знаю, откуда все это взялось.

Иногда раздаются сигнальные свистки:—пароход навстречу...

Мы с Фриде выходим на палубу. Он командует:—к пулеметам.

Но все идет, как заведенная машина:—наш сигнал, остановка встречного, угроза обстрела, поворот, и он покорно дымит впереди нас, по пути к северу. С нами идет уже тридцать четыре парохода.

Спасенные ласково улыбаются нам. Они еще не забыли тюрьмы и угрозы расстрела...

5 июня.

Чуть начинает брезжить рассвет.

Мы подходим к Тольску.

Холодное, дождливое, туманное утро. По берегам тянутся холмы с кустарниками на вершинах — все серое, безрадостное под тусклым светом ненастного дня.

Мы с Фриде выходим на палубу. Из пулеметных гнезд встают дежурные стрелки. Злой предутренний холод покрыл серо-зеленым налетом их недоспавшие, измятые лица; они жмутся в легких шинелях.

— Ну, последний опасный пункт. Смотрите, чтобы не испортить всю музыку.

Они бледно улыбаются в ответ.

— Не испортим. Теперь уж портить некогда.

— Скоро Тольск?

Капитан, измученный этим путешествием, медленно поворачивает похудевшее бледное лицо.

— За поворотом. Сейчас увидите.

Мы вызываем команду наверх, отсылаем женщин в трюм и ждем.

С откоса плавно подымается стадо лебедей, все выше и выше,— и вдруг сверкает полированным серебром под ударом косых лучей, прорвавшихся сквозь тучи.

— Вот и Тольск.

Медленно развертывается перед нами этот деревянный город, угрюмый и почернелый от дождей.

Он безмолвствует; не заметно—ни тревоги, ни движения.

Но мы видим у самой воды кучку людей с багажем, который навален грудами. Они машут нам платками.

Фриде говорит, разглядывая их в бинокль:

— Ничего не будет. Ложная тревога. Это ждут нас наши, советские.

И Тольский совет переходит к нам на борт.

Мы смотрим на их взволнованные лица и слушаем рассказы в перебой.

Как я понимаю их состояние! С каждым днем смелели и поднимали голову белые; каждый день приносил угрозы; каждый день узнавали о новой измене; ежедневно таяла сила революции, ежедневно возникали новые, страшные слухи, от которых стыла кровь... И они ждали, заброшенные в пустыне,—ждали неверной, гадательной помощи, ждали час за часом долгие дни и ночи, впадали в отчаяние и снова надеялись... И вот, эта помощь пришла. Какая тяжесть спала с сердца и какая радость на душе—маленькая, тихая человеческая радость, от которой так резво струится в теле кровь!..

6 июня. Равда. Ночь.

Мы прибыли. Отступление кончено.

За долгие недели—в первый раз в руках газета.

Как чудесно хорошо:

— Советская власть — есть. Центр—незыблем. Победа революции—несомненна.

Вокруг пустых составов суматоха и беготня с фонарями. Лихорадочно идет погрузка. Кто-то кого-то ищет, кто-то кого-то потерял.

Мы поместили женщин в теплый переселенческий вагон и сами устроились в теплушке.

Мы пишем с Фриде последний приказ:—со всех пароходов снять у машин подшипники, чтобы пароходы не могли вернуться к белым.

Поезд с лязгом и скрипом трогается.

Я ложусь на нары.

Но я не могу лежать:—мне хочется двигаться, дрыгать ногами чем-нибудь истощить свое нервное возбуждение.

А надо спать теперь во что бы то ни стало... А потом будет простор, и жизнь, и природа, и радость, и любовь, и драка—такая драка, чтобы искры кругом разбрызгивать. Мы научились кое-чему,

Я долго лежу с открытыми глазами.

А потом я свертываюсь комком, прижав колена к подбородку, и засыпаю. Нет, не засыпаю,- я куда-то проваливаюсь, во что-то мягкое.

тения, и чудилось: поет и стрекочет воздух, и воздух — в перламутровых крыльях.

За стеной, в пустыре, играли чумазые детишки, бродили и глодали кусты и акации пузатые козы со змеиными глазами.

А петухи изумленно вскидывали навстречу ему красные головы в сердитом окрике:

— Эт-то кто такой?

И в сердце, полном крови, слышал Глеб, что и горы в развалинах каменоломен, и трубы, и рабочий поселок гремят глубоким подземным грохотом... Завод. Дизеля. Бремсберги. Цехи. Вращающиеся цилиндры печей.

С горы видно, как между пепельными корпусами завода стекают вниз, к морю, к пирсам, триумфальными арками, в виде гигантской буквы Н, бетонные устои канатной дороги. Струнами натянуты между ними стальные канаты с застывшими в полете вагонетками, и под ними — ржавым потоком железная кисея предохранительной сетки. И там, на конце каботажа, над ажурной башней, — распластанные крылья электрического крана.

Хорошо. Опять — машины и труд. Новый труд — свободный труд, завоеванный борьбой — огнем и кровью. Хорошо.

Девчатами кричат и смеются вместе с детишками козы. Нашатырная прель свиных закут. И бурьян, и улочки, засоренные курами.

Почему — козы, свиньи и петухи? Раньше это строжайше воспрещалось дирекцией.

Бетон и камень. Уголь и цемент. Шлаки и гарь. Ажурные вышки электропередач. Трубы выше гор. Бесчисленные струны проводов. И тут же — животина мужиковских хлевов. Чортовы хлопцы! Они деревню притащили за хвост, а она плодится здесь плесенью.

Навстречу, по дорожке, шли гуськом из Уютной Колонии три бабы с барахлом под мышкой. Впереди — старуха облика бабы-яги, а две позади — молодые, босяцкого виду: одна — вся пухлая, грудастая, и лицо неудержимо дрожит от смеха, а зубы не закрываются губами; у другой — глаза красные, и веки красные, набухшие водянкой, а на лицо козырьком натянут платок — плачет или больная?

Сразу узнал: старуха — жинка слесаря Лошака, задняя, цветущая смехом, — жинка слесаря Громады, а средняя — чужая, не видел ни разу.

Поравнялся с ними, сошел в бурьян и козырнул по военному:

— Здравия желаю, товарищи женщины!

А они, бабы, поглядели на него, будто на зловредного бродягу, и поодаль, замкнуто, обошли его тоже бурьяном. И только задняя — смеюнка — хохотнула испуганной куркой:

— А ну, проваливай мимо! Много вас, злыдней, барбосит: не наздравствуешься разом...

— Что вы, чортовы бабы? Или я вправду — барбос, что меня не узнали?

Старуха Лошака угрюмо (так глядят старые ведьмы) лизнула белками по Глебу и басом сказала не ему, а себе:

— Да это ж — Глеб. Свалился ненароком с того света, неладный...

И пошла спокойно и угрюмо своей дорогой.

А жинка Громады засмеялась и ничего не сказала. Только издали, от самой стены, оглянулась, остановилась, рассыпалась крикливой сорокой:

— Торопись, злыдень, до жинки. Коли потерял — найди, а найдешь — изнов пожéнитесь...

Глеб поглядел на баб и не узнал в них прежних приветливых соседок. Здорово, должно быть, потрепала жизнь заводских рабочих баб!

Та же оградка у дворика в две квадратных сажени и тот же в улицу сортир будкой. Только покарежило ограду и время, и зимние норд-осты, и сизая шелуха зашелудивила доски. А взялся за калитку — весь остов ограды рыхло закачался.

Вот сейчас с криком выбежит Даша. Через разлуку в три года как встретит она его, пришедшего из огня и смерти? Может быть, она считает его погибшим или забывшим ее навсегда, а может быть, ждет его каждый день, с того самого часа, когда он оставил ее одну с Нюркой в этой каморе и невидимкой ушел во вражью ночь?

Бросил шинель на бетон, у ограды, во дворике, рассупонил плечи от сумки и тоже бросил ее на шинель; и рядом с сумкой шлепнулся шлем с красной крылатой звездой. Постоял, вскинул раз за разом плечи к ушам, помахал в круговорот руками (надо размяться и успокоиться) и после каждого взмаха вытирал пот с лица рукавом гимнастерки, а никак не мог вытереть, будто не лицо, а решето. Поглядывал на крылечко, где дверь скрипела ему загадку в черную щель извнутри.

Чортово сердце, на этот раз его не осилишь, скаженное!

И только что смахнул с плеч гимнастерку и опять вскинул круговоротом руками — заулюлюкала дверь и —

Дашка это, или не Дашка?

Баба в красной повязке, в мужской косоворотке, стояла в черном квадрате двери и смотрела на него крепким узелком бровей над переносьем, а в ресницах вздрагивало изумленье и вскрик. И когда встретила улыбку Глеба, разорвались и вспорхнули брови, и в глазах брызнули ручейки.

Дашка это, или не Дашка?

И лицо (родинка на подбородке и яблочком нос), и поворот головы в бок при пристальном взгляде — это она, Дашка. А все остальное (что — не назовешь в одночасье) — чужое, не бабье, не виданное в ней раньше никогда.

Чортово сердце, никак не возьмешь его голыми руками, скаженное!..

— Даша, то ж — ты, жинка? А ну, кувыркайся сюда, голубка!..

И шагнул к ней, шоркая ботами по бетону, и руки распахнул, чтобы уловить Дашу в охапку. И никак не мог удержать сердца и вздрагивающей гармошки на щеках.

А Даша, как стояла в дверях, на верхней ступеньке крылечка, как дрогнула от Глеба, так и застыла в порыве к нему и в борьбе со слабостью своей бабьей. И только смогла тихо пролепетать через вспышки крови в лице:

— Это ж — ты?.. ой, Гле-еб!..

И в глазах, в черной глубине, огненной капелькой вспыхивал неосознанный страх.

А вот сгреб ее Глеб мужичьей и мужней обнимкой до треска косточек на спине, ткнулся колючим бритьем в ее губы — отдалась в его волю, и отшибло память дурманом.

— Ты вот она, моя жинка... жива и здорова, голубка?.. Ты ж ждала меня, или гуляла вдовою?..

А она не могла от него оторваться и все по-ребячьи певуче лепетала:

— Ой, Гле-еб!.. Как же ты так?.. Я и не знала... ой, Гле-е ..

Но то рванулось из сердца только в одном миге, и в этом миге почуяла Даша былую Глебову власть над собою.

И тогда (три года назад), когда она была домашней бабой и цвела невестой вместе с геранью на окошке, эта мужняя власть была сладкой и желанной, и было спокойно чувствовать себя безвольной и обреченной в его руках.

Но не успел Глеб сцапать ее всеми жилами, чтобы вскинуть ее на руки, как ребенка, и унести ее в комнату, как, бывало, в первые дни женитьбы, Даша твердо, мужской отмашкой сбросила его руки и с изумленной усмешкой взглянула на него исподлобья, сбоку, отчужденно.

— Что с тобой, товарищ Глеб? Не бунтуй — заспокойся...

И сошла ниже, на одну ступеньку. Засмеялась.

— Ты дюже разбушевался при мирной обстановке... Ключ остался в замке. Можешь вскипятить себе воду на керосинке — чаю и сахару нет... и хлеба нет. Зайди в завком и запишись на паек.

И опять сошла на ступеньку. Поглядывала на него и усмехалась утайкой, и в жухлом лице была чужая, не Дашкина, забота.

То — не обида (обида — в недооценке своей силы): то — удар. Шел к человеку, а черепком ударился в стенку — и стыдно, и больно. Руки еще были в распашку, и неудержимо дрожала гармошка на щеках.

— Вот туда, к чорту!.. Каким же это разом — товарищ?.. Вот покрыла с головкой, чортова жинка...

Даша уже сошла со ступенек и стала у калитки. И все смотрела на него из-под бровей и усмехалась.

Дашка это, или не Дашка?

— Я обедаю в городе, в столовой нарпита, а хлеб пайком получаю в парткоме. А ты, товарищ Глеб, зайди в завком и зарегистри-

руйся на хлебную карточку. Двое дней я не буду — командируюсь в деревню... А ты пока отдыхайся с дороги.

— Да подожди ж ты на раз... Вот туда, к чорту!.. С какого ж ты часа зашилась мне в товарищи?.. Хоть выскажи мне, в каковую ж я попал переделку?

— А я ж — в женотделе... разве того не можешь понять?

— А Нюрка?.. Где ж дочка?

— В детдоме. Иди, отдыхайся... Мне некогда, Глеб. Разговор у нас будет потом... С этими проклятыми бабами такая работа, что не можно уложиться во днях... Отдыхайся!

И ушла, споро и твердо, широкими шагами, не оглядываясь, и красная повязка на затылке упрямо дразнила его до самой стены и звала за собою и смеялась.

А потом, у пролома, Даша оглянулась и махнула ему рукою.

Глеб стоял на крылечке и, пораженный, смотрел на уходящую Дашу: никак не мог понять, что случилось.

Пришел домой, встретил жену, Дашу. Не видел три года — прошел через эти три года в громе войны. Прошла через эти три года и Даша. Какой был путь у Даши — не знает. И опять пути их встретились в странном пересечении. До женитьбы их пути шли рядом, перепутались, и слились в одну тропу. А потом силою событий бросило их отшибом в разные стороны, и шли они без утоптанных троп, не зная друг о друге. Она ли, Даша, ушла дальше, или стали они чужие и не узнались в прежней любви?

Три года. Что такое было с бабой без мужа три года? Эти три года, которые для Глеба были вихрем грозных событий, — чем эти три года были для Даши?

Вот он пришел к своему гнезду, откуда ушел когда-то в безлюдную ночь. Вот опять тот завод, где он металлической пылью, гарью и маслом пропитался еще маленьким шкетом. А гнездо — пусто, и жена Даша, которую нельзя было оторвать от себя при разлуке, встретила его, как не жена, и прошла мимо него холодным, неприветливым призраком дурного сна.

Глеб присел на ступеньку крыльца и сразу почувствовал, что он очень устал. И не от того устал, что прошел четыре версты от вокзала, а устал от этих трех лет и от этой непонятной, неожиданной болью ранившей его, встречи с Дашей.

Почему эта необычная грузная тишина? Почему воздух стрекочет крылато, и куриный шелест ползает по Уютной Колонии?

Не корпуса, а — тающие льдины, и трубы голубеют стеклянными цилиндрами. На их вершинах уже нет копоти: сдули горные ветры, а на одной стрела громоотвода вырвана с корнем — бурей? ржой? человеческими руками?

Здесь никогда не пахло мужичьим навозом, а вот вместе с травой, ползущей с гор, гнилью зацвел пряный скотий постой.

В том корпусе, что сейчас под горой — слесарный цех — трехсаженные окна в эти часы ослепительно пылали когда-то солнцем в бесчисленных переплетах рам, а теперь в разбитые стекла черной пустотой проваливается утроба.

И город за бухтой, на взгорье, — тоже иной: поседел, покрылся плесенью и пылью, сравнялся со склоном горы — не город, а заброшенная каменоломня.

...Товарищ Глеб... Брошенная Дашей дверь нараспашку, в пустую комнату... Потухший, забытый завод... Был рабочий завода — стал военком полка, герой Красного Знамени...

Петух подошел к ограде, задрал голову и посмотрел на него одним глазом, зло и нелюдимо.

— Эт-то кто такой?..

И козы с любопытством мигали змеиными глазами и лопотали девичьими губами беззвучную чепуху.

— Ш-ша, подлая тварь!.. Перестреляю, будь ты трижды проклята!..

2.

Мóрок.

Напротив, через улочку, из открытого окна казармы, рвался в задышке пьяный скандал. Это грохотал басом бондарь Савчук, а это — в куриной истерике — Мотя, его жинка.

Глеб бросил свое барахло, как оно было у ограды, и пошел к Савчуковой квартире.

В комнате — копотные стены. На полу разбросаны табуретки и одевка. Жестянный чайник дрябло лежит на боку. И всюду — белыми вспышками мука.

С солнцем в глазах не мог сразу найти людей, а видел — кувыркались замызганные, изломанные в судорогах тела.

Пригляделся — они, Савчуки. У него рубашка в клочьях, и от подштаников до шеи спина выгибалась колесом, а ребра под кожей шоркали обручами. У Моти подол сбился до живота, и грудь билась пузырем под своими и чужими руками.

Глеб сгреб Савчука под мышки и хваткой нажал на ребра. На спине, у лопаток, крякнули кости.

— Мужик! Осатанел от натуги, барбос?.. Отдохни малость. Стой на ногах...

Дрожали мускулы у Савчука. Царапал пальцами воздух до треска в суставах.

Забыла Мотя, что голые у ней ноги до бедер. Опиралась на руку, а другою отмахивалась и все хотела крикнуть разинутым ртом и — не могла.

— Савчук, стой на ногах, окаянный!.. гляди человеком!..

Глеб опять до хруста в костях раздавил Савчука и воткнул его в пол мозольными пятками.

— Огрею вот по башке, чорт!.. Очумел ты, дубяга?.. Вставай, Мотя!.. Кости размяла — будь веселей. Не стыдись — можешь оставаться в прежнем положении.

И Глеб засмеялся, как свой человек.

А Мотя вскрикнула стыдливой девочкой: затеребила подол юбчонки, спрятала ноги под платье и скрючилась ежиком — стала маленькая, испуганная, убитая. Забилась в угол и заплакала.

Кровавыми глазами Савчук взглянул на Глеба. Не узнал. Отвернулся. Измученный, сказал глухо, с икотой:

— Сатана притащил тебя не в час, хлопче... жиж!.. Бережи свои ребра до мочи... А ну, хода, коли тебе — не в занозу... брысь!..

Глеб опять засмеялся своим человеком.

— Савчук, друг ты мой пыльный!.. Пришел к тебе в гости — принимай, товарищ. Мы ж с тобой сколько годов ломали горбы в этом пекле... Какой тебя бешеный пес укусил, бондарь?

Савчук опять взглянул на Глеба бычьими глазами, шлепнул по полу грязной ногой и взмахнул руками. Тряпки заболтались, как на чучеле, — не рубаха, а лохмы, и мускулы дрожали под кожей узлами и натужными веревками.

— Хо, идолова душа!.. Глеб, брат ты мой Чумалов!.. Какая тебя сатана выдрала с того света?.. Сукина сына!.. Глеб!.. Ты ж гляди на меня, на подлую мою рожу... На, гляди и крой по моей поганой утробе...

И стал обнимать Глеба, липко и потно.

— Мотька, вставай!.. Отряхайся куркой, я в этот час — смирный и слабый. Отложим до другого разу. Посижу ж я с ним, с идоловой душой, Глебом, поплачу, растревожусь в нутрях... Вставай, Мотька, — прыгай сюда... мир!.. Целуй друга-товарища Глеба, а остальное — до другого разу...

И волосы, и борода — дубовые стружки бондарни: клочьями, дыбом, ошметками.

Мотя сидела ежиком и плакала. И все одергивалась — стыдливо тянула юбчонку на ноги.

И ей засмеялся Глеб веселым другом.

— Мотя, победы над тобой у Савчука нет. Крой! Свободная ты женщина, и за права свои бабьи рвешься зверюгой. Крой и начинай с начала.

И этими словами будто жвыкнул он Мотю по голому сердцу. Ящеркой рванулась она к Глебу на коленках, и глаза завинтились раскаленными спиральками.

— Ты заскочил сюда, а тебя не кликали. Отливай и не цапай. Вас, проклятых людей, много до чужой глотки. Мучители!.. Савчук лучше вас всех, проклятых злыдней...

Доползла до солнечных пятен на полу и вспыхнула огнем в голубых полосах света, в брызгах радужной пыли. Дымились волосы в космах и стекали на голые плечи в прорехах кофты.

— Не уйду, Мотя: хочу сидеть у вас гостем. Угощай пышками, жаревом, чаем с сахаром — всякой сластью мешочной. Крышка!..

Глеб смеялся, играл с Мотей — ловил ее руки, ласково подставлял себя под удары.

— Мотя, вспомни: какая ж ты девка была боевая!.. Хотел я на тебе жениться, да отшиб Савчук, окаянный бондарь.

Савчук зарычал и скрипнул зубами.

— Это ж — не баба, а жаба. Коли ты — друг, застрели ее из своего палемета... Через почему у меня — нет жизни, а она жизнь свою спрятала в мешок?.. Через почему она кроет меня домом и барахольной заботой, коли у меня нет дома, и руки мои нужны чорту в глотку?.. Нет жизни, Глеб... и нет меня, товарищ... завода нет, и головы души!..

Мотя встала и вдруг изменилась: другая стала Мотя — измученная, битая, больная.

— Да Савчук же, ну, поглядай: у меня ж иссохли все силы... Я ж затерзалась, Савчук... Чтоб достать совочек муки, разве я не ограбила наше гнездо и не стала я голая, как потаскуха?.. Я скоро сожгу свой стыд нагой бабой на солнце... У меня ж были дети, хлопчата, и я ж была богатая, жадобная мать... Где они, Глеб?.. Почему я — не мать? Я ж хочу, Глеб... Хочу гнезда, хочу цыпчат, как квочка... Но они ж сгибли... Зачем я такая?.. Пущай сгорят мои очи: очи — не для ночи, а для красного огню, Глеб...

Дрожали щеки и губы у Моти, и смотрела она на него мутными глазами от слез. И все одергивала юбку на коленях и теребила до треска кофту на груди.

Да, не та стала Мотя — мученая и злая. И в опущенных углах рта, и в глазах, обожженных болью, лихорадкой горела новая, еще не знаемая, сила. Помнил ее Глеб в крикливом выводке малых ребят — на груди, у подола и зайчатами в играх, — и была она среди них хлопотухой, воркотуньей-наседкой. И в глазах ее была тихая радость и жертвенная отрешенность матери.

Савчук рывком подбросил табуретку с полу и грохнул ее около стола. Сел распаренной тушей и брякнул кулаком по скатертке.

— Дожили, мать вашу, докомарили!.. Люди!.. Брат мой родной, Глеб!.. поглядай: подыхаю... Вот мои руки — кувалды, ноги мои — битюговьи, и сам я жилами своими — бык. А где я?.. Пустота и могила... Умираю от силы, душа моя, Глеб, — лопну от силы... Но страшно мне, Глеб... Говори, через почему страшно?.. Не смерти мне страшно: я до смерти — слепой, смерти мне нет. Мóрока мне страшно и дикого места. Куда даю мою силу, коли мóрок и кладбище?.. Вот он — гляди... Не завод, а пустая утроба, сорная яма, козье гнездо... Нет его... А коли его нет — где же я, Глеб?..

Мотя смотрела на него черной слезой мученых глаз, и в лице ее увидел Глеб страдную любовь к мужу.

— Ну, оденься ж, буйвол... И не стыдно босяцкого виду? И рожа твоя — поганая помятая бадья. У меня — бита, у тебя загажена бесом...

И в надрывном крике Моти уже не было злобы — играла в злость, а голос ломался от ласки.

Глеб засмеялся.

— Чудаки вы, ребята!..

— Мотька, стань до меня птахой: хочу твоего сердца...

Савчук поднял на руках Мотю и маленькой девочкой опустил ее около себя.

Из-за горы бездымные верхушки труб прозрачно хрусталились пустыми стаканами. И по ребрам горного массива, мохнатого от бурых зарослей держи-дерева и туи, по ржавому бремсбергу, мертвыми черепахами валялись ковши вагонеток.

— Завод... Что было и что есть, друг ты мой Глеб?.. Споминай, как в бондарнях пилы пели девчатами по весне... Эх, товарищ милый!.. Я ж вылупился здесь с яйца... Я ж не знал другой жизни без этого ада...

Тосковал по былому грохоту завода Савчук, оплакивал могилу минувшего труда, и глаза его заливались слезами. И в скорби своей по огненным ревам машин он похож был на слепого, с той же слезной улыбкой и высоко поднятой головой.

Стояла рядом с ним Мотя, и была она такая же, как он, — слепая и слезная. Мать, в любви своей к домашнему гнезду, лишенная птенцов.

— Савчук, ну, бей меня... Я — вся для дома. Савчук... И ты ж будь для б.рлоги приглядный... Будь же живый, Савчук!..

— Мотька, ты хотишь, чтоб я делал то же, что другие?.. Зажигалки? Или крадом кадушки клепал для мужиков?.. А не ты ли пошла с тряпками, с барахлом по станицам и селам?.. Ты — бродячая, битая собака!..

Он налил кровью кулаки и заскрипел зубами.

А Мотя стояла и бредила, как во сне:

— Было ж у нас богатое гнездо, Савчук... И дитята наши были милые скворчата... То ж была твоя и моя кровь... Давай же свивать новое гнездо, Савчук... Не могу ж, не могу я, Савчук!.. Я пойду по дорогам и подберу чужих безродных цыпчат...

С одной стороны — Мотя, с другой — Глеб.

Взволновался Глеб, положил руку на лопатки Савчука.

— Ты — мой старый товарищ, Савчук. Еще ребятами пошли мы с тобою вместе на работу. И не наша ли подруга была Мотя? Ты сидел здесь совой и кликал беду по ночам, а я дрался с врагами и обливался кровью... А вот пришел — и гнезда своего нет и завода нет... Мотя — хорошая баба... Будем собирать силы, Савчук... Мы —

биты, но мы научились и бить... Здорово, к чортовой матери, научились, Савчук... Давай твою лапу, глупый бондарь...

Ошалело глядел на него Савчук и крутил головою. Не понимал, что говорил ему Глеб, — глядел на него кровавым угаром.

Мотя прислонилась к Глебу, обхватила ему шею — не стыдилась.

— Глеб, родной... Савчук — хороший... Он только взбесился от силы, Глеб... а Савчук — хороший... Ах, Глеб... мне ничего не надо, коли б я была только богатая мать... Какая судьба, Глеб!..

— Мотька, не ласкайся к нему невестой: он еще — не твой кавалер...

Весело заиграла гармошка на щеках Глеба, и на зубах блеснуло солнце.

— Чудаки вы, ребята!..

И ласковым забавником играл с рукою Моти. Но военная выправка и упрямый шлем на голове наливали его силой и беспокойством, и от того, что Мотя гнулась былинкой от его игры, он казался высоким — до самого потолка.

3.

Машины.

От Уютной Колонии к завкому можно итти двумя дорогами: по шоссе, вдоль заводских корпусов, и по путаным тропам на предгорных сбросах, через кустарники, каменные отвалы и широкие площадки былых разработок.

Отсюда завод был виден во всей массе сложных нагромождений: вышки, арки, виадуки, железо-бетонные и каменные громады зданий, то воздушно-легких, как гигантские пузыри, то кубически строгих в своей простоте и архитектурной тяжести. Они громоздились, спаянные друг с другом, или монолитно отшибом вырастали из горы на разной высоте. А в горных ущельях, по разрушенным бремсбергам, засоренным камнями, брошенными вагонетками, и сизым от пыли кустарником, под скалами, над скалами, на отвалах брекчии, одиноко, вразброс, неожиданно высекались из голубого цементняка маленькие домики. Каменоломни радужными террасами ступенились вниз, в ущелья, и исчезали в буйных зарослях молодого леса. И море за заводом, в дымах дальних мысов, — полно налитая чаша, и горизонт зеркальной синевой четко резался в миражах от мыса к мысу, выше крыш и башен, и так же выше крыш, между трубами (они — упруги и стройны, как живые стебли), от города, с той стороны залива, и от завода в бухту, тетивою натягивались два мола с маяками на концах. И видно, как к заводу и пристаням необъятно струились полукружия зыби и раскалывались у берегов снежными бурунами.

Так же, как три года назад. Но тогда и завод и горы потрясались от внутреннего огня. И от скрытого грохота машин и электри-

ческого воя горы заводские храмины, трубы и пирсы были живые, насыщенные силой вулканного напряжения.

Глеб шел по тропе, смотрел вниз, на завод, слушал низинную, застоявшуюся тишину, со сверчковым переливом ручейков, и чувствовал, что и он стал тяжелым, низинным, покрытым каменной пылью.

Тот ли это завод, где он помнит себя с детских лет, где сам рос из огня и грохота и привык ходить по тропам и дорогам территории, дрожащим из глубины под его ногами? И он ли это, Глеб Чумалов, рабочий слесарного цеха, синеблузник, который идет сейчас одиноко по старой, одичалой тропе, чужой обличьем и походкой, с необычным угрюмым вопросом и изумлением в глазах?

Раньше он был небритый (усы — колечками), и копоть и железная пыль не сходили с лица (от этого он казался смуглым), а теперь — бритый, и кожа сбледнела, и скулы и нос — сизы и шелушатся, обветренные полями. Разве это он, Чумалов, когда уже не пахнет от него гарью и маслом, и спина не сутулится от работы? Разве это он, слесарь Чумалов, когда у него — бравый военный постав, и на голове — зеленый шлем с алой звездой, а на груди — орден Красного Знамени?

Случилась какая-то чертовщина. Совершился странный сдвиг: кувырнулась со своего упора гора и грохнулась в тартарары.

Шел, смотрел на завод, на горные разработки, на трубы, заглохшие тишиной, останавливался, думал и мурзился во вздохах:

— Эх, чортовы люди, проклятые!.. До чего ж довели, окаянные!.. Расстрелять — мало, мерзавцев... Да и какой же знаменитый завод угробили и запакостили, подлецы!..

Знал одно: была могила, великое разрушение и жуть, и в этой могиле оказался он, оторванный от армии, и эта великая жуть была в его сердце. И могилы этой он испугался, и от этой жути не знал, что делать с собою.

Он спустился вниз, к заводу, на пустую площадку, черную от угля, с плесенью ползущей травы. Давно здесь громоздились высокие пирамиды антрацита, и кристаллы их цвели смоляными алмазами. Над площадкой — отвесная скала в желтых и бурых пластах. Она осыпается потоками щебня и съедает остатки человеческого труда. По краям полукругом — ветвистые рельсы. Прямо, за парапетом, из провала взлетает в высь на 80 метров голубой обелиск трубы, и за нею горою дыбится огромное здание электромеханического корпуса.

Потухшим миром ухнул завод в бездельные дни. Норд-осты изгрызли льдистые стекла, горные потоки оголили железные ребра бетонов, и кучи старой отработанной пыли на карнизах опять превратились в камни.

Прошел мимо сторож Клепка. Длинная на нем рубаха из мешка до колен без пояса. Он — в опорках на босую ногу. И опорки у него будто из цемента, и в цементе — ноги. Не стареет больше и будто

был здесь всегда. Постоял, поглядел домовым на Глеба и пошел дальше. Одичалый обломок прошлого.

— Эй, ты... огрызок!.. Чего бродишь тут окаянным покойником?.. Прокараулил, чорт старый!..

Изумление и тревога трепыхнулись в бородатой ощирке.

— Посторонним лицам вход строго воспрещается.

— Дурак! У кого ключи от завода?

— Ключи — без пользы: замков нема... слиняли... Гуляй вместе с ветром... Коза — в заводе... и крыса... один грызунец... А человека — нет... пропал...

— Сам ты — старая крыса. Забились в норы, как раки, а бродите бездельниками, будь вы трижды прокляты...

Клепка нелюдимо, лохмато поглядел на него и пошевелил клочьями волос — хлопьями цемента.

— Шляпка с пипкой... чертячий рог... редька... Тут — некого пырять... человек пропал...

И пошел дальше, шоркая опорками.

С площадки в главный корпус завода шел высокий виадук на каменных устоях. В бетонных стенках — проломы, дыры для пулеметов. Завод был крепостью белогвардейцев. Из завода сделали конюшни и бараки для военнопленных. И эти бараки были кошмарными гробами в дни интервенции.

Посмотреть, какая сейчас утроба завода.

Дверей нет — сорваны с петель. Паутина, затканная цементной пылью, треплется истлевшими тряпками. И оттуда, из тьмы необъятного брюха, выдыхается плесенный смрад и старая отработанная пыль.

Волновался и рокотал полусвет звонным эхом забытого запустения. Мостики, лестницы, галлереи, трансмиссии, рычаги, трубы, провода — охапки мусорно переплетающихся нагромождений. И — хмельной, кислотный запах цемента. Исполинский чанный массив трубы с вырванной заслонкой. Воздух водопадно ревет в обметанной пылью воронке, плещется косматым вихрем, толкает и всасывает Глеба в трубящее жерло. Раньше чугунная заслонка забивала рычащую глотку надежной затычкой, и труба с потрясающим гулом и громом в чреве сосала огненную окалину из пузатых цилиндров вращающихся печей.

По оловянно хрустящей лестнице Глеб спустился вниз и пошел поющими шагами мимо окон, забросанных пылью, как инеем. И только одно давило его до ничтожества, до кукольной тени, это — великанные цистерны вращающихся печей. Когда-то они с ревом и космическим свистом, пыхая доменным пламенем, ворочали свои раскаленные тела чудовищ, и под ними толпы людей, облитых огнем, были смешными крохотными муравьями. Чугунными дугами и кактусами над туловищами печей, по бокам и сверху, вязались в путаные узлы и спирали тучные трубы. И опять — трансмиссии, ползущие по стенам и летающие по воздуху.

— Ах, сволочи!.. Ах, мерзавцы!.. До чего ж довели такую богатую силу... до чего ж довели, негодяи!..

Длинными ночными туннелями он вышел в машинное отделение. Тут — густой, успокоенный небесный свет и строгий храм машин. Пол — из цветного кафеля шахматной мозаикой. И черным мрамором с позолотой и серебром идолами стоят дизеля. Они твердо и четко стоят длинными рядами в кварталах, совсем готовые к работе: толкни — и запляшут, заиграют зеркальным металлом. И маховики — живые, в полете, и чудится: горячими волнами струится навстречу Глебу жирный воздух, насыщенный маслом и серой. Рядами громоздятся дизеля, как алтари, — требуют жертвы. И маховики стоят и летят. Потрогал рукою — крепко стоят, вросшие в землю. Могучими кристаллами стоят, готовые к взрыву.

Здесь, как и прежде, все было нарядно, чисто, и в каждой детали машин дышала теплом любовная человеческая забота. По-прежнему блистал пол восковым изразцом, и пыль не дымилась на окнах: стекла (их — множество) дрожали голубыми и янтарными изломами света. Здесь упрямо жил человек, и через человека жили и напрягались ожиданием машины.

И этот человек, в синей блузе и кепке, выбежал из переулка между дизелями, вытирал паклей руки и играл белками и зубами. И кепка — лепешечкой к носу, и нос, похожий на кепку, и красной щетинкой усы — цепкий, колючий, пристальный.

— Ха-ха, дружище!.. Ты?.. Ах, какой же ты — бравый командарм... Чуял, что — жив и живущой... Вот, мол, придешь — и закрутим с тобою старую карусель... Ну, здорово!.. Вот обрадовал, дружище!.. Дай тебя помазать нашими машинными соками...

Это — он. Это — механик Брынза, старый товарищ.

Здесь он родился (отец был тоже механиком), вырос среди машин, и мир для него существовал только в машинном корпусе. И Брынза и Глеб вместе провели детство и вместе пошли шкетами в заводские корпуса.

— Увва, ну, и вояка!.. А ну, дай наглядеться... Напялил шлем, а выросли только нос и звезда... И руки и ноги твои узнаю — прут недуром.

Глеб рявкнул от радости и размахнулся для обнимки со старым приятелем.

— Брынза, чортов хлопец!.. Ты еще здесь?.. Почему не оседлал себя мешками, как вся заводская шатия?.. Или ты здесь пилишь машины для зажигалки?.. У тебя тут такой поворот, словно через миг ты пустишь шуровить всю эту чертовню...

Брынза с места в карьер схватил Глеба за руку и потащил его в глубь узкого прохода между дизелями.

— Смотри, дружище, какие сатанаилы... Видишь, какие они? Они у меня, как девчата — чистоплотные... А стоит зыкнуть: Брынза,

начинай!.. и вся эта веселая механика завертится и забарабанит железный марш... Машины требуют такой же дисциплины и живой руки, как твоя армия... Раз я — с машиной, я — сам машина... И пошли вы от меня к дьяволу с вашей политикой, горлодером и мордобоем. Деритесь там, дробите черепа, хоть захлебнитесь кровью — чорт с вами: это меня не касается. А для меня — одно: машина и я, чтоб быть всегда в одной душе...

— Чортов хлопец, Брынза!.. Я знаю твои руки: твои руки — золотые. Ух, какая красота!.. Козы есть? Будь они трижды прокляты!.. Пущай возжаются с ними дураки и брандахлысты... А на зажигалки ты не протянешь руки.. Но, чортов хлопец!.. Ты зарылся в своих машинах: ты ж не бельмеса не чуешь и не берешь близко к сердцу всех наших знаменитых переделок... Тут тебя не прошибешь пушкой...

Брынза срывно остановился и выпучил глаза на Глеба.

— Стоп!.. Лучше отшивайся, если пришел ко мне с агитацией и митингом. Этим, брат, меня не возьмешь. Ты — у машин, а не на сборище. Это ты знаешь, а ежели знаешь — молчи. Как я поступаю в этих разах? Было дело, а теперь заросли все дороги бездельникам. Забредет, бывало, сюда этакий лодырь и — получает по шеям... Лучшее место для этих болтунов — завком. Ха-ха, до чего же осатанели люди горлопанства!.. потому что осатанели от безделья: безделье и горлопанство — одно и то же. Сюда с барабанными словами не подойдешь — нет: здесь, друг, машины, а машины, это — не слова, а руки и глаза.

Глеб ласково погладил блестящие части машин и пристально поглядел на Брынзу влажными, немного пьяными глазами.

— До чего же у тебя, чортов хлопец, живая организация — уходить не охота! И до чего ж опаршивел завод... и до чего ж люди опаршивели!.. Какого чорта торчишь здесь и дрочишь руки над машинами, коли завод — сарай и мусор, а рабочие — лоботрясы, бродяги и шкурники?.. Беги и ты, пока не здох...

Брынза изломался судорогой от кепки до пяток. Мускулы на лице запрыгали в гримасах. Будто сердце взорвалось в Брынзе, и кровь опьянила его бешенством. Он сразмаху ударил кулаком по блестящему панцырю дизеля и задохнулся.

— Завод должен быть пущен, Глеб... Завод не может умереть... Он требует для себя жизни, иначе он сожрет нас... Ты не знаешь, как живут машины?.. нет, ты не знаешь... Можно сойти с ума, когда видишь и чувствуешь. Кто это знает? Я это знаю... только я!..

Такого надрыва раньше не было в Брынзе. Остался он с машинами и вместе с машинами остановился. Когда замолкли дизеля, и люди прошли через них массами к революции, к гражданской войне, голоду страданиям, — он остался в молчании механических корпусов. Он жил так же, как жили машины, и был так же одинок, как эти строгие блистающие механизмы.

— Ну, уходи отсюда — не мешай. Но имей в виду: завод обязан пойти. Если есть машины, друг, они не могут не работать: они, брат, работают даже тогда, когда стоят... Эх, если бы ты мог это знать!. Чувствуешь ты или нет, но ты должен сделать все, чтобы зажечь первую спичку... Это имей в виду и помни каждую минуту...

Глеб взял руку Брынзы и потряс ее в радостном волненьи.

— Друг! Правильно!.. Завод должен работать, коли — он завод. Вот тебе моя рука порукой: пустим завод! Умру, буду калекой, а завод дербалызнем... Факт! Пускай остаются твои дизеля в упряжке... Будем крыть, друг, всеми поджилками...

И вплоть до завкома Глеб играл гармошкой на щеках, и глаза его переливались восторгом.

4.

Братва.

В полуподвальном этаже заводоуправления, в узком сумеречном коридорчике, в сладко-угарных парах сырого цемента, топотали и буровили толпежом рабочие. Здесь была банная прель и бурый махорочный чад. И в этом грязном дыму люди, тоже грязные от сивой пыли каменоломен и дорог, как зелень и здания заводской территории, — были мутны, размыты и однолики, будто вечерние тени. И грохот базарной ералаши и бычий хохот до дрожи в стенах и горлодер через мат — о пайках, о столовой шрапнели, о керосине, о дачках, о зажигалках и козах, о бедном рабочем люде, на шее которого ездит всякая шатия...

А дверь в завком открыта, и там тоже — промозглая дымная грязь, артельный скоп и смрадный пот застойного беструдья.

Глеба не узнали, когда он пробирался через рыхлую толчею, только нелюдимо и мутно, с утайкой вражды, зыркали белками на его шлем со звездой и орден Красного Знамени. И не оглядывались на него — забывали о нем, равнодушные к людям: разве мало шатается в завком разных заливал - комиссаров и всяких людей с портфелями и без портфелей?

Перед дверями выделывал коленца парень в белом чепчике, в корсете поверх пиджака, с наусниками на бритых губах. Его тискала сбитой кучей толпа, а он работал локтями и кричал по - бабьи и балаганно жеманился.

— Ах, паз - вольте приставиться... Пар ве брюк рикапе!.. Извините - с!.. Ах, не лапайте мое обличение!.. Ах, грраждане, я ж — честная советская пролетария... Ах, не лапайтесь до щекотки!..

И - ох, ты, ябы - лочи - ко, д'куды котисься
Д'как в завком попадешь обормотисься...

И толпа крыла его выкрики и песню восторженным матом и хохотом.

— Вот, подлая башка!.. Митька!.. Забойщик, чорт!.. Гармонист!.. Его ж, идола, ничто не берет: ни чорт, ни батька, ни советская власть...

В дверях дрожал и винтился шкетом коротышка — дохлый смугляк, с одними пылающими глазами в косточках лба и скул. Слесарь Громада... И Глеб удивился, как здорово скрутило человека за эти три года.

— Товарищи, брось дискустировать!.. Это довольно совестно с вашей стороны и позорно себя изображать и так и дале... А о себе не можем понимать сознательно... Но завком должен это подчеркануть, как забайщик и все собрание показуют себя на пользу нашим врагам... и так и дале...

И не мог кончить: его оборвал Митька:

— Ах, товарищ завком, извините-с, простите-с, захлесните-с нервы в узалочек и приколите к пупочку булавочкой... Умер! Здох! Тронут и потрясен!.. Корсет положу на паркет, шлычку — на поличку, а губную подтяжку — в упряжку: коли вывезет — во всем парате выеду на демонстрацию... Тпру!..

И опять балаганно заломался и, работая локтями, пошел ряженым к выходу, а за ним поползла толпа из коридора и из комнаты, захваченная зрелищем.

Глеб прошел в комнату и позади рабочих стал у стены. За завкомским столом сидел горбатый Лошак, по-прежнему черный, проржавленный слесарь, и коротышка Громада. У Лошака грудь над столом выпиралась куском антрацита и куском антрацита голова в картузе, до глянца захватанная пальцами, а на лице — только раздавленный нос и взбухшие белки в кровоподтеках. Он сидел немым каменным идолом, а Громада надрывался, брызгал слюною, вскакивал, садился, трещал костями (это стул трещал под непоседой) и открикивался и отмахивался сразу ото всех.

Горласто кричала баба, широкая задом, и студнем тряслась от движений.

— Понасажали вас, брандахлыстов, на нашу шею, проклятых... Подыхай бедный люд — вашему пузу на бурдюк... Вишь, морды какие нахолили!.. Мой чертолом только козе бока чешет, а я ходи на брехню с вами, толстогузыми...

А рабочие толкали ее в спину и давились хохотом и матом.

— Крути крепче, тетка Авдотья!.. Крой — выдюжит...

— Молчите, ерники!.. А что же завком? Для чего вас поставили в головку, злыдни?.. Это — шагалки? это — ходыри? это — рабочему человеку на бузу?..

Сдала шаг назад, широким взмахом подбросила ногу и громыхнула чоботом по столу. Юбка задралась выше коленки и оголила синий водянковый налив ноги от обутки до ляшки.

Толпа опять грохнула хохотом и разодралась ладошками.

— Браво, тетка Авдотья!.. показала номер — не в пример... Тяни занавес выше — кажи главное приставленье... Крой!..

Лошак сидел в белках каменным идолом. А Громада вскочил, взмахнул рукою, дохлый, добитый чахоткой.

— Гражданка!.. товарищ!.. Ты ж — рабочая женщина... Завком выполняет задание... и так и дале...

— Крой, тетка Авдотья!.. Отвечай за всех!..

— Гони к чортовой матери эту лахудру!.. Чо в сам деле?.. Тут — товарищ Ленин на стенке, а она, сволочь, заголяется...

— Молчите, бабьи гвоздари!.. Где мои боты, которые вы мне дали, завком, на дачку?.. В станицу с мешком пошагала, а потом того — трое разов в столовку за шрапнелью для кормешки свиней... а где у них стала подшивка и дратва на головке?.. Такую дачку сами полопайте для утробы... Глотайте!..

Вытащила ногу из чобота, и она бухнула по полу пяткой, а чобот с разинутой пастью кувырнулся к груди Лошака.

Но Лошак сидел по-прежнему куском антрацита. Он спокойно взял чобот и поставил его перед собою.

— А ну, баба, ставь дальше свое дело на попа. Послухаем.

Громада не вытерпел, вскочил и замахал рукою. Последние капли крови бледно задрожали на смуглых, землисто-бледных скулах.

— Я ж не могу терпеть, товарищ Лошак... Как гражданка несознательно соображает и так и дале... но это с ее стороны — позорно и стыдно... Завком — не какая этакая шатия... Это надо отшить, такую провокацию...

— Терпи, Громада!.. Хорошая баня с паром — на пользю... А вот сейчас от стола мы поставим дело на попа. А ну, сирота и обида, гвоздуй: за какую твою работу повинна ты получить таковые чоботы?

— Ты мне, горбатая шпана, не заливай мои очи... Работала, не работала — получить и я горазда...

— Зык!.. Не барахоль барабаном, а мозгуй черепком. Спрашую: за каковую трудовую повинность хотишь получить киселя с молоком, с сахарной подсыпкой? а ну?.. Давай другой чобот. То тебе дали задарма, ошибкой... А свиней реквизируем за столовую шрапнель, каковую ты повинна кушать сама на голодное брюхо... Доказуй! Докажешь — получай в оборот... Крой на попа!..

Баба Авдотья надавила на рабочих и взбудоражила всю артель до последних рядов.

— Тю, будь ты проклята!.. Держись, братва, бережи штука-турку!..

Лошак с тем же угрюмым спокойствием взял чобот (а у чобота подметка — как коровий язык) и поднял над столом.

— На, бери, баба!.. Посади мужика за починку и носи. А для веселья приходи сюда другим разом. Пустим завод — пошлем тебя на каменоломню: будешь взрывать скалы без динамита...

Баба Авдотья схватила чобот, села на пол и стала напяливать его на толстую ногу со вздутыми венами. Бубнила в чобот растерянную ругательскую ералашь.

— Слухай, болвашки: изъясняй, как советская власть ставит дело на попа... От мужика забрала хлеб на войну с буржуями — от буржуев — заводы, как вот, скажем, наш... А работы — нет. Забрала всякое барахло от буржуев и говорит: обделяйся, рабочая артель, чтоб ничего не пропадало. Пущай, куда хотишь, туды и девай... А пустим завод, тогда будет инако. Шагай по домам, болвашки!..

У стола Глеб приложил ладонь к шлему и засмеялся.

— Здорово, хлопцы! Давно не видались. Прибыл к своему станку, а у вас не завод, а скотья закута. До какой же мерзоты довели вы производство, друзья!.. Расстрелять вас надо, товарищи дорогие...

Даже стул заверещал барабаном под Громадой и кувырнулся кверху всеми четырьмя ножками. Вытянулся над столом, забился тощим телом и загорелся последними остатками крови в лице.

— Глеб!.. Родный товарищ!.. Лошак, друг горбатый, разве не тямишь?.. Глеб Чумалов... наш Глеб!.. Убитый и живой... Ты ж видишь?..

Лошак сидел черным идолом и смотрел белками на Глеба так же угрюмо, как на рабочих, как на бабу Авдотью, как на всю артельную бестолочь, которая проходила через завком каждый день с утра до вечера.

— А ну, не рипайся, Громада! Вижу, дело пошло на объявку: был ты, слесарь, — вояка. Это нашему козырю — хлюст. И тут воякой ставь дело — на попа... Видал, какая скаженная шатия? Слесарный цех загнил, Глеб: там пилят зажигалки... проклятое место!

Из-за стола он с усилием вытащил непомерно длинную и тяжелую руку и медленно протянул ее по столу к Глебу, и было странно видеть, что эта большая рука (больше руки Глеба) — рука Лошака.

Подхлынули рабочие разных цехов, смотрели на Глеба с изумлением и растерянностью, как на воскресшего мертвеца, переглядывались, обалдело бормотали и, сшибаясь, путаясь руками, ловили обе его руки.

И было уже тихо, только дышали нутряными вздохами. Буча и ералашь выдохлись вместе с Митькой и бабой Авдотьей.

— Вот, товарищ Чумалов... Тебе — к прицелу — гляди... Взяли, дескать, в свои руки... Вон оно какое все... Прогнали всех хозяевов... А гляди, ядри твою корень... Вдрызг!.. Кто клепку тащит, кто медь с машин дерет, кто ремень режет... Навластвовали!..

Не поймешь, кто жаловался — все наперебой жаловались, каждому казалось, что жаловался только он один.

А Глеб всматривался в артель и радостно кивал шлемом.

— А-а!.. бондаря... кузнецы... электрики... слесаря... братва!..

Громада продрался сквозь толпу со стулом в руках и, маленький, весь из одних косточек, дрызнул стулом об пол.

— Отдай назад, товарищи!.. Дай место товарищу Чумалову! То — наш боец красной армии... И как он есть рабочий нашего великолепного завода, но мы должны им при всяком месте козырять. Коли бы товарищ Чумалов фактически не пострадал через зеленых в красную армию и так и дале, так, може, много не сделали поступка на предьмет вступления в ряды Рекапе... Вот, товарищи, кто такое для нас есть самый товарищ Чумалов...

А из артели рабочих — опять голоса:

— Выжил, брат?.. Это — добро, что выжил... Погуляй, значит, здесь. Как то, браток, погуляешь?.. Табак — наше дело... С заводом — хабарда... тинь-тилилинь... Кубышка!..

А Громада уже размахивал навстречу им костлявыми руками и надрывался безгрудым птичьим голосом:

— Товарищи, как мы все, рабочий класс, бьем до овладения производством, но стыдно и позор, товарищи, как мы способны на такую демагогию... Мы победили на фронтах и все ликвидировали, так неужто ж мы не имеем кишки на хозяйственный труд?..

Глеб молчал, смотрел на тифозные лица рабочих, на дохлого Громаду (сам — маленький, а фамилия — большая, и слова говорит большие), на Лошака, который увяз под столом под тяжестью угластой каменной головы, и в тот момент, как только сел на стул, в молчании своем и усталости, опять больно почувствовал, как и по дороге сюда, что жизнь его опять получила другой оборот, и с этого дня она будет итти иными путями. Все было ясно и просто: все события имели свое обычное свершение. И где-то близко внутри мутно и тошно клубилась тоска.

... Жена Даша, которая прошла через него, чужая, и ударила по сердцу... пустой угол... пустой завод в пыльной паутине... Родная армия...

— Да, друзья... житье у вас — хуже киселя... Как же вы, к чортовой матери, довели до такой гнусной свалки?.. Мы там дрались, гибли, проливали кровь... А что же вы делали здесь, братва?.. Какую борьбу проводили здесь?.. Ну, какой же красавец завод, эх!.. Что это вы здесь?.. обалдели, братва?.. Что ж вы понаделали?..

Что-то хотел сказать Громада, но не осилил больших слов. Что-то хотели вперебой крикнуть рабочие, но крики застряли во вздохах. И только сзади, невидимый и сиплый от пыли, рабочий поперхнулся от смеха.

— Ежели бы мы, дескать, в заводе дурака валяли, будь ты не ладна, мы все бы передохли, как мухи... Чорт ли в нем, в этом заводе?..

Глеб ляскнул челюстями и ударил кулаком по коленке.

— Ну, и сдохли бы!.. Вы повинны были сдохнуть, а завод держать начеку... Пущай сдохли бы, но завод был бы живой...

— Х-хо, нам так много заливали всякие заливалы, окромя тебя... Ты лучше заливай заливалам, как нас забыли, ядри твою мать, не в час...

Из нутра горба Лошак зарычал басом.

— Прибыл к заводу — это хорошо, Глеб. Пойдешь на работу. Надо ставить дело на попа. Это — хорошо.

Громада смотрел на Глеба горящими восторженными глазами и все порывался сказать какие-то большие, непосильные для него слова.

Глеб снял шлем с головы и положил его на стол перед Лошаком.

— Пришел домой, жена прошагала мимо. Теперь и свою бабу не узнаешь с первого разу. В гнезде — мокрицы, а хлеба нет. Черниль карточку на прокорм, друг Лошак.

И как только сказал это Глеб, рабочие сорвали смехом молчание и скоп.

— Вво!.. Заливай, заливало, а брюхо кушать хотит... Это — по-нашему... С этого бы и начинал... Айда, братва!.. Пришел, брат, к нам — ползи под один колпак... А брюхо кушать хотит...

— Товарищи, как есть товарищ Чумалов наш общий рабочий, но он такой же наш... Ведь он страдал в боях и так и дале...

— А мы же о чем?.. Брюхо кушать хотит... Айда до дому, братва...

Глеб встал и опять бросил шлем на голову.

— Братва!..

Гаркнул не по этой коробке — всею грудью, как, бывало, в армии. Рабочие остановились и опять сбились в кучу, прибитые к месту.

— Братва! Пущай... верно: брюхо кушать хотит... Воевал там — буду воевать и здесь. Будем бить на завод, братва. Не выпустим из рук этого богатыря... Готовь руки и горбы на работу...

Рабочие растерянно и изумленно щурились и топтались на месте.

— Ставь дело на попа, Глеб. Так я высказую... Верно!.. Гвоздуй, друг!.. А мой горбыль выдюжит... Верно!..

Громада смеялся, бегал около стола и горел в лихорадке.

Глеб вздрогнул и поперхнулся судорогой в горле. За окном, по бетонной дорожке, тяжело опираясь на палку, шел сутулый, по-барски важный старик. Нет, то — не старик: то высокий человек с серебряной бородкой. Он — инженер Клейст... Как и тогда, он опять стал на пути перед Глебом.

II.

Красная повязка.

1.

Потухший очаг.

Глеб отдыхал не дома: этот заброшенный угол с пыльным окном (даже мухи не бились о стекла), с немытым полом и брошенным в кучу тряпьем, был чужим, нежилым, душным: давили стены, и негде было повернуться. Два взмаха ботами—стена, вправо—стена, влево—стена. По вечерам стены сжимались плотнее, и воздух густел до осязаемости. А главное — мыши и цвель. И нет жены, Даши.

Глеб отдыхал на потухшем заводе, на каменоломнях, заросших кустарником и бурьяном. Бродил, сидел, думал...

Ночью приходил домой и не находил Даши — не ждала она его на пороге квартиры, как это было три года назад, когда он возвращался из цеха. Тогда было уютно и ласково в комнатке. На окне дымилась кисейная занавеска, и цветы в плошках, на подоконнике, пыхали огоньками навстречу ему еще издали. Глянцем зеркалился крашенный пол от электричества, и белая кровать и серебряная скатерть искрились и пересыпались инеем. И самовар, и певучий звон посуды... Здесь вся по частям жила его Даша — пела, вздыхала, смеялась, говорила о завтрашнем дне, играла с живой куколкой—дочкой Нюркой. А брови уже и тогда завязывались на мгновение над переносьем, и через любовь резался в бровях упрямый характер.

Давно. Было. И былое стало сном, который снился недавно.

И было больно от того, что это было. И было тошно от того, что гнездо заброшено и замызгано плесенью.

Где мыши сорят свой помет, там нельзя отдыхать. Где потух уютный очаг, там гуляют и смердят мокрицы.

Даша пришла после полночи — не боится ходить по ночам в пустых закоулках завода.

Тускло и чуждо горел копотный язычок пламени в лампе, в пузыре с грязными отпечатками пальцев, а матовая розетка льдистым цветком повяла в воздухе на почерневшем проводе.

Глеб лежал на кровати. Сквозь ресницы дремотно смотрел на Дашу.

Нет, не та Даша, не прежняя Даша — та Даша умерла. Эта—иная, с жухлым, загарным лицом, с упрямым твердым подбородком. Брови в крепком узелке над переносьем, и глаза переливаются влагой на огне. От красной повязки голова - большая и огнистая.

Она раздевалась у стола — волосы стриженные, — жевала корочку паешного хлеба и не смотрела на него, а он видел ее лицо, утомлен-

ное, но напряженно-суровое, будто зубы сцепила. Стеснял ли он ее, или не хотела нарушать его отдыха, или не чувствовала той перемены, которая совершилась в ее жизни с его приездом, — чужой и далекой была его Даша.

Решил взять ее на испытку.

— Поясни ты мне, Даша, такую задачу. Был я в армии — раз. Был в переделках, не имел гнезда, ни своего часа — это два. А вот пришел домой, в свое жилье — нет твоего духу. Жду и не сплю по ночам, как сукин сын. Мы ж не видались с тобою три года.

Она не испугалась его голоса — осталась такою же, как пришла. И когда сказала — не взглянула на него.

— Да, три года, Глеб.

— Ага, и ты вот мне не обрадовалась. Что за оказия?.. А помнишь ту ночь, как мы с тобой расставались? Я был избитый и не успел еще очухаться. Помнишь — ты за мной ухаживала на чердаке, как за дитем? А расставались — плакала. Почему ж ты теперь так зашилась?

— Правда, зашилась, Глеб. Меня уже нет дома — не таковская стала.

— Ну, вот... и я ж говорю...

— А тот наш дом, Глеб, я забыла. Да мне и не жалко. Я ж тогда была дурочка.

— Вот туда к чорту! А где ж тогда будет жилое гнездо? Скажи: не иначе эта крысиная яма?

Даша пристально посмотрела на него и накрыла глаза бровями. Смяла пальцами красную шлычку и кулаками оперлась на стол. (Уже не было скатерти на столе: он был черный и сальный от грязи.)

— Ты хотишь, Глеб, чтобы на оконцах кучерявились цветочки, а кровать надувалась пуховыми подушками? Нет, Глеб: зиму я живу в нетопленной каморе (топливный у нас кризис, знай), а обедаю в столовой нарпита. Ты ж видишь, я — свободная советская гражданка.

И не смотрела на него, как раньше, когда была похожа на невесту. Вот она, жилистая, неломкая, знающая себе цену.

Глеб сел на кровать, и в глазах его, видевших смерть и кровь, метнулась тревога. Чортова баба, с ней надо держать себя как-то по-другому.

— А Нюрка? Может, ты и дочку для такого разу выбросила свиньям вместе с цветочками? Хорошее дело...

— Оф, какой ты глупый, Глеб!..

И отвернулась. Отошла от стола, будто забыла о Глебе.

Во тьме, за окнами, в ущелье, одиноко, по-ребячьи, вздыхала ночная пичуга: хли-хлип... и под полом играли землею и щебнем голодные крысы.

— Так. Пускай, Нюрка — в детдоме. Ну, завтра я пойду и приволоку ее домой.

— Хорошо, Глеб. Я ничего не имею спроть того дела: ты ж—отец. Коли мне нету досугу, ведь ты ж будешь сидеть и питать ее с заботой? Ведь так же?

— А разве ж для нее у тебя не будет ласки?

— А ну, Глеб, поделись со мною постелью: у меня ничего нет под голову.

— Туда к чорту! Коли так — открываем прения. Беру слово!..

— С какого неба свалился ты, Глеб? Никакого же нет прения и никакого слова. Заткнися!

Глеб встал с кровати и отошел к двери. И опять почувствовал, что ему — тесно: душили стены, и пол зыбился и трещал под ботами.

Следил за Дашей. Она ловко и быстро требушила постель и громоздила на руку спальное барахло. Не глядя на него, устроила в углу плоское недомашнее гнездо. И когда сбросила юбку, метнула на него усмешку — так показалось Глебу.

Нужно было решить вопрос, любила ли она его, как прежде, по-бабьи, или с этой прошлой любовью ушла в прошлое и она сама, Даша?

И нельзя было понять, чего в ней было больше: женской игры, или враждебной опаски? Загадка: звала ли она его, как самца, или рвала между ним и собой последние нити?

Баба бросила печку, ушла из гнезда, и теплый запах бабьего тела выдохся вместе с уютом и кухней. Кого она грела и ласкала своим телом за эти три года? Не может баба, здоровая и сильная костью, жить пустоцветом, сплетаясь в днях и ночах в работе с мужчинами. Не ему она берегла свою женскую и женину любовную тоску: она расточительно растратила ее в случайных порывах. Не от того ли ее суровая отчужденность и холодная кровь? Подумал это Глеб, и душа больно захлебнулась и раскрылась в глазах животной злобой.

— Да, гражданка, было дело... Расставались — плакали, встретились — слово сказать не о чем. Три года я думал: жена, которая здесь... Дашка... Ждет и — все такое... Приехал — проклятое место. И будто женатый я был только во сне. Были мужья, да только — не я. Разве ж это не правда?

Даша повернулась к нему в изумлении, и опять в глазах ее блеснули холодные капли.

— А разве там у тебя не было баб без меня? Признайся, Глеб. Ведь не можешь пересчитать по пальцам. Я еще не знаю: здоровый ли ты, или пришел с гнилою кровью. Признайся...

И не гасила усмешки, и усмешка отражалась от стены опять на лицо, и лицо огнилось мутным накалом между черными пятнами во впадинах глаз. Сказала сквозь зубы, небрежно, как о вещах надоедных. И на эти Дашины слова напоролся Глеб сразмаху, рыхло, без отдачи. То, что хранилось им в ночных тайнах, знала Даша: знала она его больше, чем он ее знал. И оттого, что она, не коснувшись

его, видела его извнутри и силу его выжимала, как тряпку, — он, вояка, ослабел и обидно поскользнулся.

Оправился и раздавил сердце. Сам усмехнулся и проглотил вместе с слюною кадык.

— Ну, пущай, скажем, признаюсь: были проказы... На фронте мужик смерть носит на кукырках... и мозги его — пьяные от крови... Ну, у бабы — иная играющая роль: у жены — иная судьба и забота.

Даша разделась, но не легла — прислонилась к стене, не стыдилась. Под рубашкой упруго круглились и дышали груди и живот. Искоса, знающим взглядом, остро и больно скользнула по фигуре Глеба. Ответила опять небрежно сквозь зубы:

— Милое дело: у бабы — иная забота, лихая судьба — быть рабой и не знать своей воли: быть не в корню, а в пристяжке. По какой это ты азбуке коммунизма учился, товарищ Глеб?

И как только сказала это Даша, сразу ударила в голову кровь: догадки его — не пустая игра. Она, его Даша, жена... Кто-то опьянял ею свои ночи, и она кровь свою опьяняла пьяною кровью другого...

Тяжелым, натужливым шагом он подошел к Даше. Темным взглядом — взглядом животного — в упор посмотрел в ее лицо, вспухшее от скуластой усмешки.

— Так, значит, слово — не слово, а правда? да?

И от сердца судорогой рвала мускулы горячая дрожь.

Она, жена его, Даша...

За окном — душная тишина в звездах, сверчках и ночных колокольчиках. Там, за заводом, у пирсов, море в фосфорическом дыме. Оно поет электрическим зумом, и будто не море это рокочет низкой струной, а воздух и горы, и трубы завода.

— Правда — не в слове, а в загадке. Ну, говори, с кем ты путала петли? Кого обнимала по ночам этими руками?

— О твоих бабах на фронте я тебя не пытаю, Глеб. Какое тебе дело до моих зазноб? Отойди и очухайся.

— Так имей же в виду, Дашка: я добьюсь... Коли слово — не слово, а правда, я изломаю твои кости и выщипаю перья, как у курки. Запомни.

Брови опять накрыли ее глаза и завязались узлом. Она отошла от стены и сверкнула белками.

— Убери свои очи, Глеб. Я умею играть бровями не хужее тебя. Уходи на место и не показуй своей силы.

Враги. Она — с угольком в глазах, он — мосластый, бравый, со сжатыми челюстями до провала щек.

Даша ли глядит на него злой непобежденной самкой, или он не почуял в ней раньше настоящей ее души, которая узналась за эти три года и стала упрямой и непокорной?

Где она, Даша, впитала в себя эту силу?

Не на войне, не с мешком на горбу, не в бабьих заботах: проснулась и струной напряглась эта сила от артельного духа, от болей огненных лет, от суровых испытаний под тяжестью непосильной бабьей свободы. Смяла она его дерзостью воли, и он, военком, смутился и растерялся.

Само случилось: сгреб ее и сжал до хруста в позвонках.

— Проси: живота или смерти?

— Брось руки, Глеб. Меня не возьмешь руками. Ты ж — человек, Глеб?

Ее мускулы змеями извивались под руками Глеба, и вся она была в отчаянном порыве к прыжку.

— Ну, говори же, где растрясла свою любовь до мужа? Ну, говори...

— Последком требую, Глеб: брось, а то буду биться... биться буду, Глеб!..

Взбаламученный дурманом крови, он понес ее на кровать и упал вместе с нею — рвал на ней рубашку и пауком опутывал ускользающее тело. Она извивалась, билась без крика, с напряженным оскалом зубов, и голое ее тело — изломанное, скрюченное — бесстыдно рвалось от натуги. Упругим ударом ног она сбросила его на пол и кошкой прыгнула к двери. И уж опять не глядела на него, тяжело дышала и поправляла рубаху.

— Не лезь часом, Глеб, — будет худо. Я научилась лихо стоять за себя, и твоя сила для меня — не удавка. Ложись и очухайся: ты сдурел ненароком. Такой разговор со мной не годится, Глеб. Ты — вояка, а почему не завоевал мозгов?

Оглушенный, чувствовал Глеб, как рвались в душе его нарывы, и боль души была сильнее обиды.

Ее нельзя бить. Бить нужно на войне, а дома — иная работа. Где в ней скрывается враг, такой сильный и неуловимый?

Сидел на полу, опираясь спиной на кровать, и, укрощенный, скрипел зубами от занозы в мозгу.

Даша дрогнула бровями, усмехнулась и отошла в угол, к своей постельке.

— Туши огонь, Глеб, и ложись: тебе надо отдыхаться — тебя мутит дурь от переутомления.

Даша, голубка, а где же наша с тобою любовь? Или ты очертела от дел и перестала быть бабой?

— Ложись и заспокойся, Глеб. Я затомилась в работе. Завтра я опять командируюсь в деревню для женской организации, а кругом — бандиты. Разве ж мы застрахованы от смерти? Не займайся глупостями, Глеб.

Подошла к столу, потушила лампу. Легла, зашумела одевкой и замолкла, и Глеб не слышал ее дыхания.

Сидел во тьме и ждал.

Боль и обида. Ожоги в душе. Родная и далекая Даша.

Ждал ее голоса и сердца. Ждал — подойдет к нему Даша и мягко, как раньше, прижмет его голову к груди и зашепчет, как мать, как подруга.

Лежит, чужая, с замкнутой душою. И он один с тоской и болью.

Тихо подошел к ней, сел рядом и положил руку на ее плечо.

— Даша, ну, поласкай меня, как бывало... Я ж был в огне и крови и дюже давно не видал ласки...

И вот взяла она его руки и приложила к груди.

— Какой ты глупый, Глеб... такой сильный, а глупый... Не надо... Сейчас не надо, Глеб: у меня нет силы для ласки. Заспокойся. Придет час и для меня и для тебя... У меня — каменное сердце для ласки, а ты дюже горючий, и до тебя у меня еще нет языка. Иди, спи...

Смотрел, одинокий, в синее окно. Небо звенело звездами, и где-то, должно быть, в горах, раскатистым эхом рокотал из глубоких земных недр очень далекий гром. Это пел лес в ущельях от ночного норд-оста.

Встал, взмахнул кулаком и ляскнул зубами.

— Но я все-таки узнаю, кто отнял у тебя твою ласку. Моя сила дюжее твоей: я еще не сдавался ни разу до этого дня. Помни.

Даша молчала, холодная, близкая и чужая.

2.

Детдом.

Утром, сквозь сон, почувствовал Глеб: комната — не комната, а пустая дыра. От окна к двери и от двери к окну вьется, клубится, машет полотнами воздух, насыщенный весной. Открыл глаза — правда: в окно полыхало солнце. Даша стояла у стола и закручивала на голове огненную повязку.

Взглядывала на него и усмехалась янтарными вспышками глаз.

— У нас не годится спать до часа, Глеб, когда солнце гремит барабаном. Я уже наработала доклад в женотдел о детских яслях и смету на белье и мебель. Наработала, а взять негде — такие мы голоштанные. Наш партком надо бить толкачом на ущемление буржуйской шатии. С этого дня буду грохать всеми четырьмя копытами.. Вспомни, ты еще не видал Нюрку — ты ж отец. Коли хотишь — встряхайся: пойдем вместе в детдом. Он же здесь, рядом.

— Правильно: шагаем до Нюрки... Встряхаюсь... Ну, а тем часом, Дашок, шагни сюда малость...

Даша опять усмехнулась, подошла с вопросом в утренних глазах.

— Ну, шагнула... а дальше?

— А ну, дай руку. Вот. Больше не надо — бери. Прежняя баба, и новая Дашка. А может, я и сам — не слесарь? и такой же Глеб, как

новый хлеб? Ну, пущай... будем учиться. Теперь и солнце работает не тем боком. Шагаем до Нюрки...

— Да, Глеб: и солнце и хлеб стали другими. Я жду — торопися.

У Глеба вместо сердца тоже было солнце. И когда одевался — плясал, прыгал, и на щеках играла смехом гармошка.

А до детского дома Даша шла впереди, по дорожке в кустах туй и кизила, пряталась в них и опять вспыхивала красной повязкой. И Глеб чуял, что она нарочно от него убегала — дразнила? или боялась его?

Даша, в которой таится загадка. Баба есть баба, а бабья душа — черепаха.

Детский дом имени тов. Крупской — вон, в ущелье, в охапках садовых деревьев. Пластается красная крыша в трубах. Стены — из дикого камня грубой крепкой кладки, с потоками цемента. Окна — большие, как двери, — открыты, и из темных пустот — птичий разноголосый гам. И гам, и щебет — из надворных зеленых зарослей. Два этажа, и этажи — в балконах, в массивных лестницах, по ребру скалы, с верандами и аттическими вазами. А вон, на веранде, спелыми дыньками зреют на солнце головенки ребят, а лица — издали видно — костяшки. Кто они — мальчики? девочки? — не поймешь: все в серых длинных рубахах. И няни — тоже серые, в белых косынках, — млеют на солнце.

А вправо, за корпусами, над корпусами, небесной синью кипит в ослепительных искрах море. Черным жучком-плавунцом бежит от пирсов и каботажей портовой катер, и между ним и каботажами натягиваются нити треугольника. И город, и горные дали — четки и близки. Огненный воздух звенит золотыми струнами — зумм... Это пчелы летают, как звезды, и погремушками играют мухи.

И не думано, а сами распластались внутри Глеба крылья широким размахом. Вот оно — и горы, и море, и завод, и город, и дали, уходящие за горизонты — вся Россия — мы... Все эти громады — и горы, и завод, и дали — поют в недрах своих о великом труде... Разве руки наши не дрожат от предчувствий упорной богатырской работы? разве сердце не рвется от напора крови?.. Это — рабочая Россия, это — мы, это — новая планета, о которой мечтало в веках человечество... Это — начало. Это первый вздох перед первым ударом. Есть. Будет. Грохочет громами...

Даша стояла у лестницы в вазах — поджидала его и дышала широкими взмахами груди.

— Какой воздух хороший, Глеб, — будто море... Нюрка живет на втором этаже.

И опять пошла на несколько ступеней впереди. И шла, как домой, и была она здесь своя, как дома.

С веранды увидел Глеб еще детей — внизу, в кустарниках, в чаще чахлых деревьев, дымящихся весной. Бродили, как козы на заводе, дрались, плакали... Кучками барахтались в земле — рылись торопливо, жадно, по-воровски, с оглядкой. Копают, копают — и все сразу рвут

друг у друга добычу. Тот, кто посильнее и половчее, кувырнется от кучки в сторону и алчно грызет, жует и захлебывается слюной, а ручонки работают около рта. А вон там, у забора, детишки копошатся в навозе.

Глеб сжал челюсти и ударил кулаком по перилам.

— Они ж все, эти щенки, передохнут с голоду, Дашка. Расстрелять вас всех надо за вашу работу...

Даша удивленно метнула на него бровями и взглянула вниз. Усмехнулась.

— А, земляные работы?.. То — не так страшно: бывает хужее. Коли б не было глаза — все передохли бы, как мухи. Пооткрывали дома, а кормиться нечем. А персонал, дай волю, перегрыз бы детям горло. Хотя некие есть чистое золото... то нашей выучки...

— А Нюрка — тоже так?... И наша Нюрка — так?..

Даша опять усмехнулась и спокойно встретила взгляд и бледные скулы Глеба.

— А чем же Нюрка лучше других? Бывала и с Нюркой лихая беда. Коли б не женщины — детей бы съели вши и зараза, а голодуха уложила бы в лоск.

— Ты скажешь, что бабским горлодером и таким манером ты и Нюрку спасла?

— Да, товарищ Глеб, вот именно: таким манером — не иначе...

Когда шли с горы, дети были на веранде, а когда поднялись на веранду — и дети, и няни пропали. Должно быть, побежали на передачу вестей о гостях.

В зале — солнце, и воздух — густой, горячий, и пахнет сном. Топчаны в два ряда в белых и розовых одеялках в прорехах и заплатках. И дети — то в серых балахончиках, то просто — оборвашки. Блеклые лица, и глаза в синих провалах. Няни проходят по одиночке по залу из двери в двери. На стенах — мазюльки: клубные работы детей.

Няни проходят и почтительно останавливаются.

— Здравствуйте, товарищ Чумалова! Заведующая сейчас придет..

Даша не замкнута в себя: она здесь — хозяйка.

— Нюрка, я — здесь!..

Девочка в балахончике (маленькая — меньше всех) уже ворошит детей и с визгом и смехом бежит навстречу. И дети — в свалке и тоже визжат и кувыркаются с нею босявками, а глазенки — как зайчики.

— Тетя Даша пришла!.. Тетя Даша пришла!..

Нюрка. Вот она, чертенок, какая — совсем не узнать: чужая, но что-то узнается родное.

Она сразлету врастает в мать и бьется в нее, как птаха, и кричит, и смеется, и пляшет.

— Мама, мама!.. Моя мама!

Даша тоже смеется, подхватывает ее на руки, кружится, целует и тоже кричит, как Нюрка.

— Нюрочка моя!.. девочка моя!..

Опять прежняя Даша — та, которая была дома, когда с Нюркой встречала его вечером приходящим из цеха. И нежность, и ласка — прежние, и со слезою глаза, и певучий голос с нервной дрожью.

— А вот — твой папа, Нюрочка... вот он... Помнишь своего папу?..

И Нюрка в испуге взмахнула глазами, повяла — смотрела на Глеба в нелюдимом любопытстве.

Он засмеялся, протянул руку и почувствовал, как горло свернулось в веревочку.

— Ну, поцелуй меня, Нюрочка. Какая ж ты — большая!.. Как мама, большая...

А она отшатнулась назад и опять вросла в мать в пристальном взгляде.

— Это ж — папа, Нюрочка.

— Нет, это — не папа. Это — красноармеец.

— Но я ж — папа, и я ж — красноармеец.

— Нет, этот папа — не папа. Папа похож на папу, а не на дядю.

У Даши глаза смеются слезой. У Глеба смех рвет веревочку в горле.

— Ну, пускай для первого разу я — не папа. Но ты ж — моя дочка. Будем товарищами: я принесу тебе в другой раз сахару. Из горы выкопаю, а принесу. Но мама чем лучше меня? Ты — тут, а она — там.

— Мама — тут: и днем—тут, и не днем — тут. А папы нет. Я не знаю, где папа, а папа бьется с буржуями...

— Овва, вот откатала знаменито!.. Ну, дай же я тебя поцелую...

Дети голенасто трепыхались в хороводе, блекло пялились на Глеба, смеялись и жадно ждали голоса и руки Даши. Девочки, стриженные под мальчат, вперебой и переплет тянулись к Даше ручонками с кудрявыми пучками фиалок, и каждая непременно хотела первой вложить цветочки в ее руку.

— Тетя Даша!.. тетя Даша!..

Где-то далеко, в комнатах, барабанили на пианино, и разноголосо кричали до надрыва Интернационал детей:

Вставайте, дети обновленья,
Всех стран свободные юнцы...

Даша смеялась, трепала ребят по головенкам, и видно было, что они привыкли к этой ласке и ждали ее так же, как обычной порции еды.

— Ну, детишки, что вы кушали, что вы пили, у кого — брюхо полное, у кого — пустырь?.. говорите!..

И они кричали ей в ответ общим горлодером. Чесали головенки и под мышками. А вон один чумазый дитенок шмурыгает мокрым носом, глотает сопельки и с выпученными глазенками кряхтит и царапает под рубашкой грязную грудь. Глеб подошел к нему и поднял рубашку. Кровавые ссадины. Струпья. Мальчишка заорал и в испуге

убежал за топчаны, в угол. Из-за топчанов видна была одна голова и выпученные глаза.

— А-та-та-та!.. Вот лютый герой, шкет,—разом кроет на баррикады!..

И сам, и Даша, и дети раскололись смехом. А солнце тоже играло смехом в открытых окнах — больших, как двери.

С Нюркой за руку пошла Даша впереди и ни разу не взглянула на Глеба. И от этого Глебу стало больно: и Даша, и Нюрка — одно, а он—чужой им и где-то далеко. Даша здесь с Нюркой рука в руку—мать, и мать здесь она больше, чем дома. А они здесь и дома —одинок и бездетен.

Да, надо и здесь завоевывать жизнь.

Прошли по всем этажам: и в столовой были, где — посуда и дети, и в кухне были, где — пар и запах шрапнели и тоже дети, и в клубе, где — пусто, а стены в плесени и мазюльках. Это здесь, сбитые в кучу около стриженной девицы, с бурым родимым пятном во всю щеку, дети разноголосо и оглушительно пели Интернационал.

Вставайте, дети обновленья...
Вы — мира светлого творцы...

Домаха и Лизавета—соседки — тоже здесь. И в них Глеб увидел что-то новое, не виданное никогда. Обе — тоже, как дома. Домаха была на кухне и помогала стряпать. Распаренная, с засученными рукавами, хлопотала, как у себя в каморе. А встретила Дашу поцелуями.

— Ну, вот пришла наша атаманша. Ты пробери там этот паршивый наробраз: надо дело делать, а не сморкаться в платочки. А продком — особо лбом об стенку: где это видано, чтобы детей кормить червями и мышиным дерьмом?.. Что, опять благоверный навязался? Гони его в шею — на кой он хрен тебе сдался?.. Мой не пришел и ладно: чорт с ним. Их, кобелей, можно нахватать без счету, по выбору — на!.. Ну, ну, не дрочи глядевы — не из робких... не пужай своим колпаком... А в продком я сама пойду с залетом в наробраз и ботинкой буду бить им хари...

Даша похлопала ее по широким лопаткам и засмеялась.

— Ну, загорланила, гусыня... Да и лихая ж ты баба, Домаха, уф!..

— Морды всем надо колошматить... Все они, черти, глядят только в свою утробу. Я им всем там штаны спущу, все пупки повыклюю..

Глеб играл гармошкой на щеках.

— Вот, проклятая баба!.. кроет почем зря, без передышки...

А Лизавету нашли в кладовой, у завхоза. И завхоз и Лизавета обе высокие, гордые, обе — опрятно одетые, похожие на сестер милосердия. Только завхоз — черная, с армянскими усиками, а Лизавета белобрысая, в подушках (голод, разруха, а вся — налитая). Отвешивали продукты, проверяли, записывали.

И с Дашей встретилась Лизавета гордо, а улыбнулась одной вспышкой в глазах.

— Пройди, Даша, к кастелянше. После мытки белье — тряпки. Дети — без смены. Завтра поведем демонстрацией показывать нагишатников. Кого надо бить по башкам? Дети ходят в горы за топкой, а падалку всю подобрали рабочие — не на чем разварить шрапнель. Кого бить по башкам?..

Даша записывала слова Домахи и Лизаветы и морщинками отсекала от бровей переносье.

— Ты, товарищ Лизавета, командируешься обследовать все дома и потом — в женотдел. Рыть землю надо — верно. И бить надо — тоже правда.

А Лизавета только один раз толкнула взглядом Глеба, а потом больше его не замечала.

И опять — женщины в белых косынках и без косынок, и все почтительно и льстиво улыбались Даше.

А на Глеба сторожко и боязливо косились. Кто он? Может быть, один из надоедных ревизоров, к которому надо присмотреться и узнать слабые стороны.

Глеб все хотел взять Нюрку за ручку и все ворковал ей:

— Нюрочка, ну, дай же ручку — ты ж моя дочка.

А она извивалась и прятала руки. И когда он нечаянно поцеловал ее и вскинул на руки, она вдруг стала покорной и впервые с его рук пристально и вдумчиво поглядела ему в лицо.

— Ваша Нюрочка — славная девочка...

Это сказала заведующая, юркая мышка, пестренькая, в искорках, ускользающая, с золотыми зубами.

Даша смотрела мимо нее, на стены и окна, и лицо ее опять стало сурово и жестко.

— Нюрочка Нюрочкой... Здесь все — одинаки. И все должны быть славные...

— Да, конечно, конечно!.. Мы делаем все для пролетарских детей... Теперь пролетарские дети должны быть центром нашего внимания. Советская власть так много заботится...

У Глеба заскрежетало в салазках.

Брешет. Надо обследовать, какой здесь элемент.

А потом — жалобы, жалобы, жалобы...

И на жалобы Даша била словами в лицо заведующей (такого голоса раньше не слышал Глеб):

— Не плакайтесь, пожалуйста, товарищ завдомом!.. Вы показуйте дело, а не плакайтесь. Плакаться, это — еще не суть важное...

— Ну, конечно, конечно же, товарищ Чумалова... С вами так хорошо и весело работать!..

А у Глеба скрежетало в салазках.

Даша ходила по всем закоулкам, нюхала, задавала вопросы. Не утерпела — толкнулась в комнаты персонала.

— Вот та-ак!.. Почему же стулья, кресла, диваны в этих каморах? Тут и цветочки, и картины, и статуи... и всякое такое... Я ж говорила:

нельзя отнимать у детей... То — безобразие!.. Им же не плохо подчас поваляться на диванах и на коврах, и они же любят картины...

— Видите ли, товарищ Чумалова... вы — правы, конечно... Но воспитательская практика... педология... Это — вредно: развивает лень — всякая пыль и зараза...

В глазах заведующей дрожали иголки, а Даша, не глядя на нее, говорила тем же голосом, с красными каплями на скулах:

— А наплевать мне на вашу практику! Наши дети жили в ямах и свински... Дайте им картины, и свету, и мягкую мебель... Все надо дать им, что можем... Обставить, украсить клуб... Им надо есть, играть и хорошо заниматься природой. Нам — ничего, им — все: зарежь, удуши себя, а — дай... А чтоб не ленился персонал, надо загнать их в драные чуланы... Вы мне, пожалуйста, не заливайте глаза, товарищ завдомом: я гораздо понимаю, кроме вашей практики, и кое-что другое..

А юркая, пестренькая мышка сверкала золотыми зубами и смеялась в восторге (а в глазах играли острые иголки).

— Ну, кто же в этом сомневается, товарищ Чумалова?.. Вы — редкая женщина по чуткости и внимательности. При вашем руководстве все будет хорошо, все прекрасно...

И когда уходили, опять Даша ласкалась к Нюрке, и опять к ней липли детишки с птичьим разноголосым криком.

И опять Нюрка долго вдумчиво смотрела на Глеба.

— Домой хотишь, Нюрочка? Опять будешь играться, как раньше...

— А какое дома? Моя постелька вон там. Мы сейчас кушали молоко и будем ходить под музыку.

И впервые робко и мягко обняла Глеба, а в глазенках (мамкины глазенки) тлелась искорка нерешенного вопроса.

И от дома до шоссе Даша молчала, а лицо ее дымилось неостывшей лаской. На шоссе сказала, будто не Глебу, а себе:

— Нам, женотделу, много надо работать. Не детей обрабатывать... оф, обрабатывать наших проклятых баб... Коли б не глаза и руки — все бы разграбили до последней крошки... сами... по-рабски... оф!.. Везде — враги... ой, как много врагов!.. Тем, золотозубым, уж так положено... а свои... свои, Глеб!.. по-рабски!.. Как ты думаешь насчет ущемленья, Глеб?..

III.

Партком.

1.

Товарищ Жук, который кроет.

Дворец Труда громоздился кирпичной казармой в два этажа на набережной, у длинной ажурной эстокады, убегающей черными сваями в бухту. Бетонная стена ломаной лентой улетала в обе стороны от фасада и отрезала набережную от железнодорожной территории.

В проломы и разрывы стены видно было, как струнно вытягивались, переплетаясь, и ветвились железные жилы ржавых и накатанных рельс. Сарайно пластались лабазы вплоть до вокзала, и далеко, на упорах предгорья, древними башнями сурово глядели омшелые вышки элеватора. А он, огненный, под горами, был сам гора, как гигантский неприступный храм.

По мостовой, вдоль стены, взрывно грохотали телеги, и серые массивы пристаней с циклопическими кольцами для причала океанских кораблей, с звенящим блеском рельсовых путей в мусоре вагонного лома, пустынными мысами и молами резали бухту на каменные кварталы. А вдали, в дыме весенней мглы, гавань играет радужными пленками, и вспыхивают чайками рыбачьи белопарусники. Бычьими спинами жирно переваливаются дельфины, и кефаль прыщет серебром на солнце.

Тоскующие пристани, голодное море... В каких водах и странах блуждают плененные корабли?..

У Дворца Труда, перед порталом с высокой пирамидой ступеней,— цветочный сад и каштаны. Но нет цветов, а каштаны — уроды, и ограда разрушена на топку.

Вместо цветов — семячки, а тени под деревьями — бурые сломанные грибы. Но хорошо видно, как высоко, над крышей, на красных взмахах флага, зажигаются и гаснут белые ромашки: РСФСР.

Резались крестом два коридора: один — прямо, в зал заседаний (красные знамена кровавились в открытые двери), другой — направо и налево темными дырами. Направо был партком, налево — совпроф.

От банной мути табачный воздух был грязный. И стены грязные в помойных брызгах и пятнах, с расковыренной штукатуркой. Плакаты. Люди в черной и желтой коже, с портфелями, и люди — просто люди, лохмотного вида, в ботах и босиком (хотя с гор только что спускался март, а тепло). Далеко и близко, в коридорах, в комнатах, поющие голоса, топот бот, шлепанье босых ног и щелканье винтовочных затворов в штабе отряда особого назначения.

Глеб пошел по коридору направо.

У стеклянных дверей парткома стояли два человека. Оба четко резались на матовых квадратах плоскими профилями. Один — лысый, с турецким носом. Верхняя губа — коротенькая, и рот полуоткрыт в улыбке. Другой — курносый. Маленький лоб с переломом по середине и толстый подбородок кулаком.

— Стыд и страм, товарищи дорогие!.. Стыд и страм, и позор!..

Это говорил курносый, и не говорил, а будто лаял:

— Чиновничество заело... бюрократизм... Не успели еще трупы товарищей похоронить... кровь еще не просохла, да!.. а мы — в кабинеты да кресла... да ноги по-генеральски... галифе... да формалистика, да бумаги за номерами... да без доклада не входи... Скоро до вашего превосходительства доедем... Были товарищи... Где они?.. Чую, опять бедный рабочий класс — в страде и гнете...

— Вы ошибаетесь, товарищ Жук. Это — не так. Ваша точка зрения в корне неправильна. Так нельзя судить. Не это — важно... Врагов много, товарищ Жук... Нужен беспощадный террор, иначе республика будет между жизнью и смертью... Вот о чем нужно думать. Я вас понимаю, товарищ Жук, но у советской власти должен быть крепкий, четкий, выверенный аппарат... пусть бюрократический аппарат... но он должен работать наверняка.

— И ты — туда же... Все — туда же... А куда же рабочий класс?.. Эх, товарищ дорогой, Сережа!.. нутре болит... Слова сказать не с кем...

— Теперь только одно, товарищ Жук: работа среди масс... Работа, работа и работа... Массы должны немедленно насытить весь рабочий аппарат республики вплоть до самой верхушки. Крылатая фраза товарища Ленина о кухарке должна быть твердым бытовым фактом... В этом — все... И вы ошибаетесь... вы ломитесь в открытую дверь...

— Эх, ты, Сережа!.. преданный, называется, коммунист, а слепой... Сердца надо побольше рабочему классу, а на счет врагов — чорт с ними: крутили и будем крутить... А вот как глядеть на партработников и рабочих? Попали на высокие места и из друзей-товарищей стали сукины сыны... Вот в чем горе, Сережа... вот где враги-то, товарищ дорогой!..

И в этой лающей жалобе и изломанном профиле узнал Глеб своего давнишнего приятеля, токаря Жука, с завода „Судосталь". Не изменился. И сейчас кричит и жалуется, как три года назад.

Подошел к нему и сжал плечо.

— Здорово, друг!.. Кричишь? обличаешь?.. Когда перестанешь обличать? Командовать надо и ворочать горбом, а ты скулишь, курносый...

В изумлении Жук выпучил глаза, и лицо его ахнуло и раскололось на черепочки. Со свистом вдохнул и выдохнул воздух.

— Товарищ дорогой!.. Глеб!.. шатия!.. вояка!.. Мать ты моя родная!..

Обнял, обдал жаром и банным потом.

— Да как же это ты, а?.. Друг!.. Да мы сейчас с тобой всех покроем... Всех на места поставим... Какая тебя планета, а?.. Сережа, вот тебе — мой самый верный друг... из страды и крови...

— Не верещи кратковременно, Жук... Не пой, а бери верно и клади на лопатки. Так нужно ставить вопрос, друг. Нам жалоба — не победа.

— Вво, видал, Сережа?.. Шкуру сдерет, шатия!.. Ведь вот нам кого надо-то, Сережа... Перевернем тридцать три горы...

Глеб и Сергей потрогались руками, сплелись пальцами на миг, осторожно, по-чужому. И в пальцах Сергея почувствовал Глеб мягкость и девичью робость.

— Интеллигент... ладошки-ложечки... деликатки...

Поглядел в лицо. Кудри — рыжие, под янтарь, глаза — рыжие, с улыбкой, и улыбка в приподнятых углах рта. Улыбка будто насмешливая, а неуловимая в ней ласковость и вопрос.

— Я уже знаю вас, товарищ Чумалов. Видел в прошлый раз, когда вы были на регистрации. О вас ставился вопрос на президуме комитета. Вы пришли кстати.

— Ты видишь, друг родной? Они, генералы наши, чуют карася. Ты с ними по-военному, а то житья не дадут. Хотели меня в капкан, на подтирку, а я — хитрее их и свое дело знаю... Я их всех выведу на чистую воду...

— Ну, информируй, чего так окрысился, Жук?

— Не верю я им на окурок. На словах все — рабочий класс, а в душе — утроба... Шкурники!.. Задаваки и наездники!..

— Ну, будем глядеть на твоих генералов, Жук. Веди!

— Пройдите к секретарю, товарищ Чумалов. Там заседание, но секретарь распорядился немедленно вызвать вас телефонограммой. Пройдите... Жидкий — фамилия...

— Нет, уж ты веди, Сережа: тебе — с руки. И я пойду гамузом, погляжу, как они возьмут его голыми руками...

— Я занят, товарищ Жук. Сейчас — совещание в агитпропе, потом — заседание коллегии ОНО, потом — выступление...

— Эх, Сережа!.. Образованный ты человек, а хужее монаха: в великом послушании и смирении...

В комнату вошел первым не Сергей, а Глеб. Потому ли, что комната была маленькая, или потому, что в ней были только одни женщины, Глеб почувствовал, что он заполнил ее всю, и ему некуда повернуться. Показалось, что шлем его упирается в потолок и шоркает по штукатурке.

Прямо, у окна, за столом, с карандашом в руках, в синей косоворотке сидела товарищ Мехова, завженотделом. Из красной повязки стружками кудрявились волосы и играли на солнце по платку. Верхняя губа с пушком, как у мальчишки, и брови переливались и пылились искорками. Посмотрела на Глеба взмахом круглых глаз в длинных ресницах, и брови дрогнули стрекозиными крылышками. Щеки пухлые и румяные, как у подростка, а на щеках — ямочки.

Сбоку, у стола, стояла Даша и говорила бойко и горласто. На Глеба бросила только короткий вспыхнувший взгляд, но лицо осталось чужим и деловито-недоступным. Около нее и по стенам — тоже женщины. Все — в повязках шлычками. Слушали доклад Даши.

А товарищ Мехова глядела мимо всех и будто не слушала — кошкой грелась на солнце.

Жук засмеялся, схватил за рукав Глеба.

— Опасный перегон, друг Глеб, — бабий фронт: заклюют, зацарапают, захлещут горланом... Берегись!..

Сергей улыбался конфузливо.

Глеб шлепнул ладонью по шлему.

— Здравия желаю, товарищи женщины!..

А женщины сразу сорвались с цепи и заорали на Жука, и в криках нельзя было разобрать, бунт ли это был, или бабья игра.

— Вво, гляди... чертячий совет... В жизнь теперь не станет ни одна детей плодить. Они, проклятые, бойкотом будут крыть нашего брата... шатия!..

Даша вскинула голову, замолчала и сложила узелком руки на груди. Ждала, когда уйдут мужчины. И опять короткой вспышкой глаз взглянула на Глеба. И в этой вспышке Глеб не увидел ничего, кроме сурового отчуждения.

Товарищ Мехова чвокнула ладонью по столу:

— Довольно!.. Займите места, делегатки. К порядку! Проходите, товарищи мужчины, — не мешайте. Продолжай, Даша.

А потом на первом же слове перебила Дашу:

— Товарищ Чумалов, на обратном пути зайдите ко мне. Я хочу с вами поговорить...

— Есть!

Искорками играли брови на солнце. А глаза — круглые, прозрачные, ребячьи, но в зрачках дрожат неуловимой болью призрачные капельки.

— Не о деле: хочу с вами познакомиться.

— Есть!

Даша докладывала о сети детских яслей по городу.

2.

Конкретное предложение.

Как только отворили дверь в комнату Жидкого — сразу оттуда шваркнуло потной духотой и табачным чадом.

И здесь было солнце — не в золотых стружках, как у Меховой, а солнце в зеленых нитях от окна через стол. Вспыхивали и плели спирали, и в дыму искрами зажигали пыль.

Комната тоже маленькая. Люди у стола парились в чадных волнах дымного солнца. Кожаные куртки в распашку — у Жидкого и Чибиса, предчека. Жидкий — бритый, Чибис — бритый. У Чибиса лицо — с пыльным налетом, и за белыми ресницами вспыхивают стальные иголочки. Сидит за столом, лицо в лицо с Жидким, и будто отдыхает. У Жидкого на щеках — вертикальные складки, а нос — азиатский, с прыгающими ноздрями. Вскинет глазами — схватит, и вместе с глазами прыгают и хватают воздух ноздри.

На подоконнике, опираясь ногами о косяк, костлявый, натянутый как лук, сидел, весь черный (и рубаха, и кофейное лицо, и вихрастые

волосы), с лихорадочной одержимостью в глазах, юноша — предсовпроф Лухава. Молчал и слушал. Слушал и долбил подбородком колени.

Глеб широким взмахом приложил ладонь к шлему, но Жидкий не обратил внимания: мало ли ходит к нему членов партии — здороваться некогда. Только удивленно выкатил белки и схватил ноздрями воздух.

— Ну, есть лесосеки. Ну, есть райлес. Ну, заготовки.

Отстукивал точки кулаком.

— Что же дальше?.. Ведь все дело в том, чтобы доставить дрова. Они — за перевалом, они — по побережью. Дровяная повинность проваливается. Надо найти верный и быстрый способ доставить топливо до зимы. К чорту — кустарничество и паллиативы: надо брать быка за рога в широком масштабе. Тут должно быть огромное напряжение, сюда должны быть брошены все силы. Райлес не выполнил возложенной на него задачи: там засела всякая сволочь — шкурники и стервятники, которых надо расстрелять. Рабочие там скоро поднимут бунт, потому что они уже издыхают с голоду. Дайте дрова, иначе мы детей и рабочих будем складывать в штабели. Через неделю — заседание Экосо, и мы должны быть готовыми. Говори, Лухава. Всегда, как чорт, плюешь огнем, а сейчас подавился окурком...

Юноша на окне не слышал слов Жидкого: внутри его горела лихорадка.

Чибис ни на кого не смотрел, и сквозь пыль и сетку его лица нельзя было узнать, думает ли он, или отдыхает, скучая.

Жидкий грохнул кулаком по столу.

— К чорту!.. Нас нужно немедленно на мушку, как идиотов и дезорганизаторов. Крышка!.. Тупик, ребята...

Лухава упруго пришпилил костлявыми руками коленки к груди, и от этого судорожного движения он завинтился на месте и раскололся мальчишечьим смехом — толчками, с прихлебыванием.

— Ты — что, обалдел, Жидкий?.. О каком тупике ты говоришь? Если, чорт тебя возьми, у тебя — тупик, ты должен пробить его собственной башкой. Иначе тебя действительно нужно расстрелять, и Чибис выполнит это без затруднений. Нет и не может быть тупиков: есть только задачи. Я решил твою задачу.

— Твое конкретное предложение?..

Ноздри Жидкого дрожали и хватали воздух, и от этого казалось, что он тоже смеется и не может сдержать своего восторга.

— Надо использовать механическую силу завода...

Сергей протянул руку и попросил слова.

— Я хотел кстати... насчет предложения Лухавы...

Складки на щеках Жидкого изломались прутиками от улыбки, и Глеб увидел в этой улыбке снисходительную и ласковую насмешку.

— У Сережи — конкретное предложение, товарищи. Формулируй...

— Я хотел, в связи с предложением товарища Лухавы, указать на товарища Чумалова. Обсуждение этого вопроса может выиграть во времени, если товарищ Чумалов выскажет по этому поводу свое мнение, как рабочий завода... А сейчас мне нужно...

Жидкий оборвал его на полслове взмахом руки.

— Стоп, стоп!.. Сережа, как всегда, чувствительно декламирует и наливает румянцем свою лысину...

— Мне сейчас нужно на совещание агитпропа, потом — в коллегию ОНО, потом...

Чибис усмехнулся и сказал лениво с пристальным взглядом в Сергея:

— Интеллигент... Это „потом" в его устах звучит, как молитва. А по ночам он не спит от проклятых вопросов... Интеллигенты — всегда безответные ослы в партии; они постоянно чувствуют себя пришибленными и виноватыми. И хорошо, что их держат в ежовых рукавицах и на прицеле...

Сергей густо покраснел и растерялся, и рыжая влага в глазах заблестела слезами.

— Но ведь вы—тоже интеллигент, товарищ Чибис...

— Да. Я тоже интеллигент.

Жидкий улыбался насмешливой, ласковой улыбкой.

— А ну, товарищ Чумалов... шагай сюда ближе. Придется стоять — стульев нет...

Глеб подошел к столу и стал по-военному.

— Демобилизован, как квалифицированный рабочий. Нахожусь в распоряжении парткома.

Не отрывая глаз от лица Глеба, Жидкий подал ему руку и, когда пожимал руку Глеба, дружески потряс ее и смеялся ноздрями.

— Ты, товарищ Чумалов, назначен секретарем вашей заводской ячейки. Она дезорганизована. Мешочники и спекулянты. Все помешались на козах и зажигалках. Идет открытое разграбление завода. Ты, вероятно, уже — в курсе дела. Сделай ее крепкой, работоспособной — на военную ногу.

Глеб опять приложил ладонь к шлему.

— Есть, товарищ Жидкий!

Лухава опять заклевал подбородком колени, жевал папироску углом рта, смотрел на Глеба вприщурку, и в глазах его горела лихорадка и вызывающий острый вопрос, и этот взгляд царапал за душу Глеба. И только в ответ на слова Глеба, он небрежно и холодно выкрикнул Жидкому:

— Направить этого товарища в организационно-инструкторский... Мы не можем прерывать заседание посторонними пустяками. Запереть двери на ключ и никого не впускать.

И все посматривал на Глеба вприщурку, через дым папиросы. Глеб дернул головой, встретился глазами с Лухавой, но ничего не ска-

зал. А почувствовал только глухой удар в груди: глаза Лухавы будоражили его смутным вызывающим намеком.

Чибис быстро взглянул на него сквозь густую сетку ресниц.

— Вы — квалифицированный рабочий... военком... Зачем вы бросили армию, когда завод остыл на года?

Глеб повернулся к Чибису, ответил всем сразу:

— Завод — да... Правильно... Ражном и чортовы ребра... И на заводе — не рабочие, а козы... Они, козы, проклятые души, врываются даже на собрания... Будем говорить прямо, товарищи: что сделали вы, партком, для организации производства?.. Завод — богатырь, красавец... мировой завод... а каким ребром вы ставили вопрос о пуске завода?.. Как вы хотите взять за горло рабочих и разогнать идоловых коз, когда нет производства? Так надо ставить вопрос, товарищи. Нужно треснуть по всем швам, а завод пустить. Лопнуть, околеть — а оживить производство... А без такового задания рабочие будут не рабочие, а свинопасы и козодои. Так я понимаю работу, борьбу и организацию.

И опять встретился глазами с Лухавой, и опять в прищурке его увидел вызывающий намек и еще увидел — обжигающую усмешку и вражду. Глеб сам посмотрел на него пристально, и от взгляда Лухавы почувствовал еще раз глухой удар в груди.

— Не все герои Красного Знамени умны: кроме храбрости, им еще нужно научиться реальному пониманию вещей.

Чибис сидел, опираясь на спинку стула, холодный и замкнутый, и через пыльный налет на лице нельзя было узнать, следит ли он за беседой, или отдыхает, скучая.

Жидкий раздувал ноздри, вздрагивал складками на щеках от улыбки и готовил кулак для удара по столу.

— Я не давал тебе слова, Лухава. Сиди. Будем продолжать обсуждение вопроса о топливе.

И от слов Лухавы, таких же вызывающих, как и его усмешка и неясный намек в прищурке, Глеб вздрогнул: сердце захлебнулось кровью и пробкой забило горло.

— Товарищ Жидкий, этакие парнишки у вас выполняют ответственные задания. Их надо мобилизовать на фронт и пустить в переделку года на три в окопы: пущай научились бы до Красного Знамени работать винтовкой и мозгами. Таких генералов, как вы, товарищ Лухава, мы кроем ладохой, как мух.

Лухава с подбородком в коленях раскололся пискливым мальчишечьим смехом.

А Жук толкал в бок Глеба и захлебывался от радости.

— Крой их, друг дорогой!.. Цапай всей пятерней!.. Казенщина заела, печенегов...

Жидкий оборвал Глеба ударом кулака по столу. Хоть и делал суровое лицо, но складки на щеках и раздутые ноздри дрожали весельем и смехом.

— Товарищ Чумалов, у нас нет ни полена дров. Мы дохнем от голода. Дети в детских домах вымирают. Рабочие дезорганизованы. Какой еще тут к черту завод? Что ты городишь ерунду? Не об этом идет вопрос. Что ты можешь сказать о доставке топлива из лесосек? Как можно использовать для этой цели завод? Говори по предложению Лухавы.

— Топливо? Хорошо, пущай будет для первого разу топливо. Будут дрова через месяц. Крою на спор: ставка — расстрел.

— Ты говори, как подойти к этому практически, без громких фраз.

— Будем крыть практически.

Глеб сдернул шлем с головы и бросил его на стол.

— Фиксируй: бремсберг — на перевал, электрическая проводка на передачу. Вагонетки — до самого пирса. Погрузка в вагоны до города и до вокзала. Взять в работу совнархоз на предмет твердого наряда на жидкое топливо. Мобилизую крыс-спецов. Провести организацию воскресников из всех профсоюзов. Вагонетка по бремсбергу доставляет единовременно куб в прохождение время — 15 минут точно. Больше ничего не имею сказать.

Он опять взял со стола шлем и старательно надел его на голову.

Задыхался, кипел, обливался пòтом Жук, цеплялся за Глеба и скалил зубы от радости.

— Сидите вы тут, кубышки... солите, мусолите... А он — вот как... Утробой... Он все повернет и поставит на ходор... Крой их, товарищ дорогой!..

Его не слушали, и весь он, привычный, ежедневный, исчезал в буднях, как мелочь. Он всегда был на глазах, но его не видели, и его крики из сердца не доходили до слуха.

Жидкий резал складками щеки, не писал, а чертил прямые и кривые линии на бумаге и рассекал их на части. И оттого, что лицо его стало спокойным и будничным, он вдруг постарел и осунулся.

— Ты об этом, кажется, хотел говорить, Лухава?

Лухава пружинно спрыгнул с окна, прошел мимо Глеба и опять возвратился к окну.

— Я был близок к мысли товарища Чумалова. Он формулировал ее лучше меня. Принять его предложение без прений и пригласить на заседание Экосо для доклада.

Жидкий бросил карандаш на стол, и карандаш рикошетом через бумагу прыгнул к Глебу и упал ему под ноги. Жидкий встал, шлепнул ладонями и спрятал руки в карманы.

— Утопия, товарищ Чумалов. Брось болтать о заводе: завод — каменный гроб. Не завод, а — дрова. Завода нет, а пустая каменоломня. Для нас завод — или прошлое, или будущее. Будем говорить только о доставке дров.

— Я не знаю, что по-вашему утопия, товарищ Жидкий. Я говорю: завод и буду крыть заводом. Если вы не скажете первого

слова — завод, его скажут рабочие. Что вы мне заливаете: завод — будущее и прошлое... Коли рабочие бьются башкой о завод — есть завод, и он ждет рабочих рук. Что вы, товарищи, шутите, что ли? Были вы на заводе? Нюхали дизеля и рабочих? Завод — целый город, и машины — готовы к пуску. Почему рабочие грабят завод? Почему дожди и ветры грызут бетон и железо? Почему идет разрушение и громоздится преждевременно свалка? Для чего рабочий обязан заниматься антимониями — плевать, как кащей, на барахло без цели и надобности? Он—не квочка: не сидеть же ему на яйцах и высиживать цыпчат. А тут вы кроете ему, что завод — не завод, а брошенная каменоломня и свалка. Он плюет на вас и грохает матом. А как же поступать с вами по иному разу, коли вы заливаете чушь? И хорошо делает, что обдирает завод и тащит в свое гнездо: все равно попадет к чорту в зубы... Вы ему разводите всякую красивую чертовню, а какого журавля посадили в башку, чтобы он был не шкурником, а сознательным пролетарием своего класса? Вот как надо ставить вопрос, товарищи дорогие...

Боль, которая душила Глеба дома и в корпусах завода, — и здесь была боль. И от боли не мог молчать. И боль гневом отравляла здоровую кровь.

Жидкий дрогнул и вылупил белки.

— Завод ты делаешь своим идолом, товарищ Чумалов. Какого чорта — завод, когда у нас — бандитизм, голод, и советские учреждения кишат предателями и заговорщиками? Кому теперь нужен ваш цемент и всякие цехи? на постройку братских могил? Вы агитируете за овладение производством, а мужик прет на город татарской ордой...

— Товарищ Жидкий, то я понимаю не хуже вас и из того исхожу. Нельзя подходить к работе по голому и строить работу на голых людях. А как вы по-голому сцапаете мужика за бороду? Эти методы ваши голого крохоборства надо — к чортовой матери: надо бить борьбой строительства и восстановления хозяйства. Вот как надо ставить вопрос... Иначе надо бросить все и кувырнуться в лапы мужичьего самосуда...

Чибис поднялся и пошел к двери. Сквозь сетку на лице нельзя было видеть отражения его мысли. Около двери остановился, сказал однотонно, с ударением на точках:

— Наш отряд особого назначения — плох. Если говорить о заводе, почему нельзя говорить о казарменном положении? об ущемлении? Хорошие слова, но смаковать мне некогда. Потом.

Отворил дверь и ушел — не оглянулся.

Жидкий смотрел на дверь и улыбался понимающими глазами.

— Я понимаю тебя, товарищ Чумалов. Дело — не в пуске завода, а в организации масс. Действуй! Огонь и железо вплоть до пуска завода. Правильно. Разовьем кампанию до самого центра.

— Так, товарищ Жидкий. Ставлю эти вопросы на заседании ячейки. Потом надо сбить общегородское партийное собрание.

Жидкий смеялся ноздрями и крепко жал руку Глебу.

— Выдрессируй кстати и Жука, товарищ Чумалов, а то он похож на голодную крысу...

Глеб взял подмышку Жука и пошел с ним к двери, а Жук старался обхватить спину Глеба и — не мог.

— Товарищ родной!.. Глеб!.. да мы с тобой, друг, все горы ходором пустим... все дырки бурками зарядим...

А сзади опять голос Жидкого:

— Товарищ Чумалов, не мешает тебе крепко поговорить с Бадьиным, предисполкомом. А с Лухавой поцапаться нутром до огня, чтобы быть хорошими друзьями.

В дверях Лухава сжал локоть Глебу. В глазах и словах у него была лихорадка.

— Я о вас слышал от Даши. Ваш план мы обсудим совместно и сделаем его основной задачей нашей работы. Надо действовать не словами, а фактами. Как бы слова ни были нелепы и утопичны, но раз они воплощены в факты, будущее из головы переходит в мускулы. Будущее—в мозгах, настоящим оно становится в мускулах...

Они пристально, глаза в глаза, посмотрели друг на друга, и Глеб опять почувствовал, как глаза и слова Лухавы царапнули его за душу.

Даша... Лухава... Почему не быть Лухаве узелком в этой запутанной петле?..

3.

Женщина в кудрях.

Глеб подошел к Меховой. Нажал нечаянно на стол — стол зарычал медной трубою. Мехова неласково, сдерживая смех, в изумлении оглядела его фигуру.

— Умерьте свой натиск, товарищ Чумалов. Это — не пушка. Мы работаем здесь в мирной обстановке.

— Виноват. Мала камора — узко на шаг. Привык маршем к разгону, а здесь — клетка для кур.

— Привыкайте. Здесь вас скоро засадят в нору, на советскую работу, и будете вы, как все, тянуть лямку администратора. Быстро забудете запах пороха и романтику боевых приключений и подвигов. Обмякнете и поблекнете, товарищ. Вы назначены, кажется, секретарем заводской ячейки? Посмотрим, как вы справитесь с вашей ордой. К вашим бабам нет никакого подступу: они все пропахли свиньями, козами и навозом. В каждом доме — лавочка и склад краденых вещей. Пройдет еще полгода, и завод будет разгромлен вдребезги. А какой завод!..

— Туда к чорту!.. А мы вот режем на пуск завода. Пускаем дизеля и динамы, строим бремсберги на перевал для спуска топлива...

— Все вы болтаете одни и те же слова. На словах вы все — богатыри, а на деле все метите, как бы сесть поудобнее и превратиться в совбуров. Будни здесь очень скучны. В армии лучше. Просилась — не отпускают. Только вот жена ваша не чувствует этих будней и в каждой мелочи находит великое дело.

Даша стояла у стены и усмехалась. А в движениях было нетерпение.

— Я не разумею, товарищи, какой у вас разговор. Почему такой разговор и зачем такой разговор?.. Для такого разговора нужно время и скука, а я не хочу такого пустоболта. А ну, иди, вояка: ты нам мешаешь... ей-право, изгоню в толчок...

И усмехалась, и сама играла.

— Вот видите? Деловая и строгая женщина.

— То—верно. Дашки нет дома, и она здорово саботирует.

Мехова засмеялась и встряхнула кудрями.

— Не исполняет супружеских и иных обязанностей? Какая жалость: испортила бабу революция...

Даша сорвалась на смех, но в этом смехе опять не услышал Глеб прежнего милого смеха невесты.

И бабы смеялись. Жука вытолкали кулаками в спину и наперебой кричали ему в коридор:

— Прошла ваша власть, бритые козлы! Сбрили вам бороды, и стали похожи на баб. А бабы стали щеголять мужиками. Не вернуть вам больше своей удачи.

Мехова опять пристально осмотрела фигуру Глеба, и ему показалось, что она жадно обнюхивала его.

— Вы еще пока не пропитались нашим климатом: вы — весь от армии и войны. Так и кажется, что вы завтра же укатите в свой боевой полк. Расскажите мне о ваших подвигах. Когда это вы получили орден Красного Знамени? Если бы знали, как я люблю армию... Вы знаете, я одно время даже дралась в окопах... Это было под Манычем...

Она улыбалась, и улыбка эта была своя — не для Глеба — и хотя глаза смотрели на него, в них, как и в бровях, переливались капельки затаенной радости.

— Хорошо!.. Это были незабываемые дни... как московские октябрьские дни... на всю жизнь... Героизм — вот что является огнем в революции...

— То — правда. Огонь — в бою, и огонь — в строительстве. Тут — тоже на рабочих позициях, надо крыть героизмом. Тут — трудно: разруха, кавардак, свалка, голод... Правильно! Грохнула гора — покрыла человека, как лягушку. Напрягись, стань на карачки — поставь гору на место. Невозможно? А вот то самое и есть... героизм и есть, что невозможно...

— Да, да!.. Я хочу с вами говорить, товарищ Чумалов. Именно: героизм, это — согласованный дружный напор... а тогда невозможного нет...

Опять засмеялась, и ярче засверкали искорки в бровях и глазах.

— Стать на карачки, да?.. Хорошо!.. ну, и слова у вас!.. Напрячь все клеточки тела... Я хочу с вами говорить, товарищ Чумалов... Я живу в Доме Советов...

Даша усмехалась и пытливо посматривала и на Мехову, и на Глеба. Потом подошла к нему, повернула его за плечи и толкнула к двери...

— А ну, пошел отсюда, вояка! Тебе здесь нечего делать...

Глеб обернулся, облапил ее и понес из комнаты. Хохотали бабы, хохотала Мехова. И от нестыдной Глебовой ласки на людях Даша вскрикнула и крепко обняла Глеба обеими руками. И на мгновение Глеб почувствовал прежнее Дашино сердце и родной бабий смех, который нельзя вместить в выговорное слово, потому что смех этот льется из крови в кровь.

— Товарищ Чумалов, вы знаете, что такое ваша Даша? Она не рассказывала вам своих приключений? Тут было все, чего, может быть, не пережили вы сами...

Даша дрогнула и одним прыжком вырвалась из рук Глеба.

— Я не хочу, товарищ Мехова, чтобы ты касалась меня в худой или добрый час. То — не шутка, товарищ Мехова, и я прошу тебя, пожалуйста: заткнися!..

— Вот как? А я не знала, что у тебя есть на это запрет. Я думала, что это только поучительная история нашей пролетарской женщины...

... Почему она дрогнула? Почему испугалась и закрыла рот Меховой? Почему все знают ее немужние годы, а ему она не говорила ни слова?

В открытых дверях коридора стоял Лухава и смотрел на Глеба горящими глазами.

Он прошел мимо Лухавы, опасаясь прикоснуться к нему. А Лухава защемил в пальцах рукав гимнастерки и сорвал его шаг.

— Товарищ Чумалов, созывайте экстренное собрание ячейки: я приду, сделаю доклад. Завтра приходите ко мне в совпроф, запремся и будем обсуждать совместно. Грандиозный план требует в первую очередь четких деталей. Я говорю не только о топливе, но и о заводе. Я думал об этом. Мы будем бороться всеми средствами, какие можно пустить в ход. Не забывайте, что это будет борьба и борьба напряженная. И знайте, что эта борьба — несколько несвоевременная: это борьба на будущее, поэтому она кажется нелепой и утопичной. А мы знаем, что будущее приближается к настоящему смелостью и силой. Начинаем работать.

Крепко пожал ему руку и быстро исчез в дверях женотдела.

В коридоре Глеба догнала Мехова.

— Постойте, товарищ Чумалов. Вы не сказали, что же вы затеяли там, у Жидкого? Я сейчас же хочу быть в курсе дела. В этой дыре мы начинаем плесневеть, и будничная работа делает каждого кротом. Революция не терпит этого. Если вы будете ворошить наши советские и партийные будни, то вам придется вооружиться хорошими зубами. Я — вместе с вами, товарищ Чумалов. Что бы вы ни делали, я — вместе с вами. Я чувствую, что вы не можете раствориться в буднях: вы были в армии. И вот еще что, товарищ Чумалов: вы не тревожьте пока Дашу... Я сейчас поступила глупо... Она сама подойдет к вам — вы увидите... Что вы хотите делать?

— Все — до пуска завода, коли не поломаем костей.

— Ну, идите, — мне больше ничего не нужно.

Она улыбнулась ему золотыми кудрями и переливом капель в глазах и пошла обратно бегущими шагами.

А на улице Жук встретил его играющим взмахом рук.

— Ну, каковые наши козыри? То-то!.. Я, брат, всех их на чистую воду выведу. Пойду по всем местам и закоулкам выгонять нечистый дух. Они меня шибко знают, я их каждый день обхожу, головотяпов, житья им не даю, ей-право... Теперь мы с тобой все горы своротим... всю бюрократию на изнанку вывернем...

(Продолжение следует.)

Иван Брында.

Георгий Никифоров.

I.

Утром, только что солнце успело взгромоздиться по выступам густых облаков и пополоскаться в реке Уводь, пришла бабка Марфа, нищая-пророчица и богомолка.

Уселась она прямо перед солнцем на кособоком дырявом крылечке, разложила вокруг себя раскрашенные бумажные иконки, травы, коренья и принялась рассказывать:

— Тоже и раньше были войны, стра-ащенные войны были, девынька, не приведи ты, царица небесная! И все за веру, девынька, за царя-батюшку, за отечество, а нынче — слышь-послышь, не то.

Позевнула бабка Марфа, рот часто закрестила, посмотрела из-под руки на солнце и еще раз повторила:

— Не то...—и, помолчав, предложила: — Не возьмешь ли у меня иконку-то, Прасковья Митревна! Успленье пресвятыя богородицы, аль вот корешок от Мавринского дуба, от зубов первое средство: попарь в вольном духу в горшечке и пополощи. Корешок-от десять, а иконка пять милиёнов всего.

Хозяйка небольшого свихнувшегося на-бок домика — Прасковья Дмитриевна, торчавшая в растворе открытого окна, покосилась на разложенные иконки:

— Нет, бабка Марфа, не возьму, пришла не во-время, денег нет, постоялец у меня запропал что-то, без копейки сижу.

Бабка Марфа ответа не слышит, поправляет разложенные иконки и бормочет:

— Семой десяток доживаю и ах, какие войны-те были! И все за веру, милая, за царя-батюшку, за отечество. Все помню, а того, слышь-послышь, не слыхать было: в веру, в царя, в отечество, в мать... Пошло нынче не разбери-бери, все врозь, как в книгах царя Давыда сказано. И э-хо-хо! Не возьмешь успленье-то?

— Да нет же, бабка, сказала ведь. Шла бы уж ты лучше, право слово, а то как раз Иван придет. Кто его знает какой он, опять поди-ка бусой [1]).

Облака изрешетились, в глубокую синь вязнут и там стираются бесследно.

По улице Завертнихе, густо застланной узорной пылью, движется пророчица и богомолка Марфа, чиркает ногами и сердито шлепает отяжелевшими морщинистыми губами:

— Не сказала я тебе, сучка ты этакая, — с чужим мужиком не сказала, — а твой шибздик кричит все слова-те этакие: в веру, в мать. Уёму нет парнишке, пострели вас! Что на этом свете будет только? Господи царь небесный. И пошлет господь насланье на землю, придут гоги и магоги, как в книге Давыдовой сказано...

Долго Прасковья провожает ленивым взглядом уходящую вдоль улицы старуху, потом переводит глаза на веселую лужицу недавно выплеснутых из окна помоей, упирается в одну точку и думает вслух.

Если вникнуть в неясные слова, можно разобраться. Говорит она о своем сожителе Брынде, о сыне, о хозяйстве, о боге и о всякой другой всячине, накопленной за тридцать пять лет жизни; топорщится все это в голове несуразным ворохом.

Бормочет:

— Опять запропал, где только окаянный носит, связали меня черти с идолом этаким, наказал господь. Терпи, Прасковья, и терплю, шестой год терплю. Домишко на-бок свалится скоро. Сыночек не на радость.

С крыши падает покрытый налетом зелени кусок доски. Прасковья слышит заливистый свист, выходит на улицу и, задравши голову кверху, кричит:

— Гришка, Гри-ишка! Тебя куда леший занес? Чтоб ты провалился со свету с голубями своими вместе. Съерашиться [2]) захотел, экой чорт непоседа.

— Щас, чего ты? Не кричи больно, чужака подманиваю. Фю, фю-ю.

— Я вот тебе задам чужака, — слезай, холера! Всю крышу распорухал, накачался на мою шею детынька.

Гришка укрепляется около выходящей наружу печной трубы, все время свистит и машет длинным шестом с грязной тряпицей на конце.

На его рыжем от веснущатых пятен лице горит вдохновенное упоение, крыши под собой он не чувствует, носится вместе с голубями в просторах синевы и почти не слышит ругани.

---

[1]) Пьяный.

[2]) Упасть.

Плюнула Прасковья:

— Хоть ты ему кол теши на башке-то, чортов абыс [1]).

Утомившись, возвращается к окну, смотрит в оба конца надоевшей улицы.

— Не идет Иван Брында, нет, не идет, где черти задавили — неизвестно.

По лицу Прасковьи ползет липкая тяжелая скука.

Глухая тишина улицы, жужжанье хлопотливых мух и духота летнего дня разморили и, позевывая, уходит она в полутемные сени избы.

Солнце выперло к самому глубокому месту неба и застряло там. Застряло и как будто бы дальше ни с места.

Наступила от этого на земле ломкая, пронизывающая жара.

Собаки легли в тени ворот и заборов, открыли пасти и заслюнявили тонкой тягучей струйкой. Куры раскрылились и беспомощно распластались в пыли.

Гришка слез с крыши, у него все благополучно: чужак мохноногий турман пойман. Надо торопиться продать, деньги — вд как нужны; знает Гришка цену деньгам и рассчитывает:

— Лимон дадут, да какой чорт лимон, на любителя, так и два сгреть можно.

Перевязал Гришка турману подкрылья.

— Не улетишь, мы тебя сейчас в клетку, — и побежал в чулан за клеткой.

В больших сенях среди кадок и домашней рухляди спала, повернувшись кверху расплывшимся животом, мать.

Мухи ползли по жилистым голым ногам, крутились в грязных пальцах ступни и, перелетая на лицо, заползали целой артелью в открытый рот.

Гришка отыскал клетку, отрезал хлеба и, раздумчиво повертевшись на месте, повернулся к выходу.

Неожиданно широкая тень заслонила двери сеней и, грохая сапогами, ввалился пьяный Иван Брында.

Человек кочковатый с виду и ломаный, в извилинах морщинистого лица печаль прячется, тяжелые длинные руки гирями тянут края плеч книзу, выгнулись плечи коромыслом.

Голову Брында носит не над собой, а перед собой. Должно быть, крепко толкнула его по загривку сама жизнь, согнулся он при ударе, да так и остался в этом положении навсегда.

Тихий по характеру, имеет показ глубоко задумчивый, и только выпивши любит немного пошуметь, оттого что тогда ядовитой змеей поднимается в нем тоска. Высосет тоска мысли, ползет, окаянная, по нутру, все кишечки переберет, а потом пристынет к сердцу и можжит, проклятая, можжит.

---

[1]) Татарский понамарь.

Брында—по профессии ткач, как и все в этом фабричном городке, расколотом надвое рекой Уводью,—двенадцатилетним мальчишкой поступил на фабрику, а теперь Брынде сорок седьмой; тридцать пять лет прошло, надобно только года три скостить, нерабочие это годы.

Стоят фабрики, пустыми окнами пугают, трубы—огромные потухшие свечи, давно не чадят уж—топки котлов углем не кормлены, жакардовские станки пылью припудрены и паутиной оплелись.

Вот она отчего у старого ткача тоска загнездилась. Никто нутра Ивана Брынды не знает, а у него душа скрипит.

Сам рассказывает.

Скоблит волосатую грудь, говорит с хрипотцей:

— Судорога у меня там, в нутре-то, чешется, а не достать, бурьяном, должно, заросло...

Когда заглохли фабрики, Брында с того времени торговать стал, на пропитал [1]) добывать. Торговал—шило на мыло менял—шундры-мундры [2]) разные базарил.

Гришка в тот же день по улице объявил:

— Мамкин уважитель [3]) спекулянничает.

Вот ведь как.

Брында горько соглашается, но дело торговли ему несподручное, и злая тоска притом.

Когда сердце зажимает крепко, пропадает он на несколько дней и напивается в дым.

Стоит Брында в дверях, покачивается, за спиной мешок горбом.

Гришка, верткий парень, проскочил на крыльцо: у него свое дело.

— Чорт, дескать, с вами, я в ваши семейные дела не ввязываюсь.

Прасковья лежит, похрапывает, строгает носом во всю, а на нее Брында упялился зло. Раскорячился, молчит.

Подошел ближе, поднял ногу, долго целился и пнул каблуком сапога в мягкий зад.

— Дрыхнешь, ведьма семиреченская, обо штом думаешь, кол те в глотку.

Вскочила Прасковья, засовалась спросонья, космы ей на глаза, очухалась и понесла:

— Ты чего пинаешь, коряга чортова. Явился, драссте! Нажевался ваксы-то, ах ты, наказанье мое, три дне ждала, а он на-ко ты—поди,—ишь, зенки застекленели как.

— Не верещи,—остановил Брында,—корми вас тут, чертей,—только и делов жрать, да спать... Прибери, на вот,—и Брында тяжело ухнул об пол мешком.—Ну, чего вытаращилась, говорю—прибери:

[1]) На пропитанье.

[2]) Старые, изношенные или подержанные вещи.

[3]) Любовник-сожитель.

ремни здесь приводные, на подметки резаны, поняла? Корми вас тут, кол вам в глотку, — повторил Брында и, повернувшись, шагнул за порог комнаты.

Прасковья засуетилась, мешок в угол поставила, заложила дровами.

Но под вечер, когда прозрачная ткань неба задернулась красной прошивью лучей, пришла наянливая [1]) бабка Марфа, узнавшая, что Брында вернулся, заглянула в окно, увидела на столе самовар, хлеб белый, большими ломтями нарезанный, круга три колбасы и Прасковью спокойную и веселую. Сидела она рядком с коряжистым Брындой, пила чай и весело играла красными пятнами вспотевшего лица.

— Экая благодать у людей, — вздохнула богомолка — и тут же вид свой перелицевала на убогий и смиренный.

Сделала губы яичком, приоткрыла щель рта и затянула:

— Правило веры, образ кротости, воздержание учителю...

— Вот уж надоела, — зашептала Прасковья, — вот уж надоела.

Иван Брында поднялся, подошел к окну, взял кусок хлеба и, подавая бабке, сказал внушительно:

— Заткнись, старуха, со своим правилом, знаем мы правило, вȯ-как, то-то вот.

И захлопнул накрепко створки окна.

— Живет ведь — сказала Прасковья.

— Живет, — сплюнул Брында.

II.

Утром землю дождем смочило, вздохнула земля и задымила ласковым паром.

Иван Брында проснулся, сел на досчатой кровати и забеспокоился.

Кровать крякнула.

Брында достал кисет, закурил, оглядел комнату. Давила она низким прокоптелым потолком; стены, оклеенные пожелтевшими рисунками журнала „Родина", скособенились, в щелях шушукались тараканы.

Брында слез с кровати, присел около окна и глубоко затянулся.

В голове кувыркались колючие мысли:

— Дернул чорт купить, легко хлеб добывать стал, краденое скупаю,—дожил. Двести пар подметок, какой ремнище-то искромсали. Ах, чтоб вам кол в глотку, сволочь домотканная! И меня сунуло, на дешевку польстился.

Кончено, Брында — вор...

Белесоватый рассвет утра, проникая сквозь позеленевшие от времени стекла оконных рам, тыкался во внутренность комнаты, расползаясь мутными пятнами по стенам.

---

[1]) Привязчивая, надседливая.

В углу на большом сундуке завозилась Прасковья, заметила курившего Брынду.

— Ты чего не спишь, аль с головой неладно? Не надо бы уж пить-то тебе. Опять, поди, с Яшкой Губиным путался?

Брында промолчал. Его мучила мысль о купленном товаре. Спросил, тревожась:

— Ты куда мешок-то положила? Схоронить надо бы. Яшка придет—заберет.

— А ты что, иль неладно чего? В сенях он, дровами заложила. Откуда добыл?

— Откуда,— нахмурился Брында,— известно не на поле подобрал, чего спрашивать,—с бывшей Горелинской фабрики. Ну, я купил с Яшкой Губиным пополам. Смотри, Прасковья, Гришка не узорил бы [1]), разболтает.

— Не маленький, поди,— успокоила Прасковья,— пятнадцать лет парню. Да ты спи лучше,— чего вскочил!

— Не могу я, Прасковья, нет спокойствия; сколько лет работал, а тут...

Брында дососал окурок, поглядел в слезливые глаза туманного рассвета.

В улице лежала чуткая тишина, и старому ткачу казалось, что вот-вот, как только часовая стрелка ткнется в крендельную завитушку цифры шесть, полоснут тройные, сиренные гудки фабрик, и Брында привычно побежит туда, где в огромных корпусах стоят, обленившиеся теперь, ткацкие станки, опять захлопают берды, поскачут челноки-самолеты, и широкой полосой поползет на задний навой пестрая ткань.

Брында, закрыв глаза на уличную пустоту, крякнул, подошел к кровати и, укладываясь, пробормотал:

— Третий год шалберничаю, а!

Затолошились мысли беспокойные, обидчивые: работать бы, работать... Тишина, задавившая все звуки, молчала.

Спавший в сенях Гришка негромко посвистывал,— должно быть, во сне голубей гонял, заманивая чужаков.

Проснулся Брында часа через два. В сенях Яшка Губин бубнил:

— Чего вы, тентели-вентели, испугались? Ну-ка, давай товар. Мы его, брат, в три мига размотрафырим [2]), нашли чего пугаться. Краденый, ха! Нам-то какое дело; кто там крал — неизвестно. А что мы с Иваном наживем на этом деле по полсотне косых, это уж отдай, а то потеряешь...

Прасковья разбирала дрова.

— Нет, Яков, ты как хочешь, только уноси отсель,— Иван у меня растревожился.

---

[1]) Не увидел бы.

[2]) Разбазарим.

— Растрево-ожился? — передразнил Яков. — Что тут тревожиться, дело чистое: получай сармак [1]) и — никаких.

Губин выволок из угла мешок, втащил его в комнату и высыпал куски кожаного ремня на пол.

Брында приподнялся.

— Сделай милость, Яков, убери, — не надо мне барышей твоих. Ну их к лешему!

— Да ты чего, угорел, что ли, иль похмелье из головы не все выдуло? Вместе покупали,—ну, и поделим. Я, друг ты мой, по-товарищески.

— Говорю — не надо, — настаивал Брында.

— Тьфу ты, дьявол, — выругался Губин, — а как же?

Брында в разговоре медлителен, подолгу думает, вертит в волосах порыжевшей бороды хвостики, и, случается, отвечает на вопрос, когда собеседник уже позабыл, о чем спрашивал. И теперь вот, молча, топчется он около вороха рассыпанной кожи.

Прошло минуты две—три, Яков сосчитал куски, сложил их обратно в мешок и недоуменно уставился на Брынду.

— Я уж лучше работу какую ни на есть, — придумывает Брында.

— Рабо-оту?.

По лицу Якова поскакали веселые морщинки смеха, он сел на валявшийся среди пола мешок и, захлебываясь, захохотал.

— Эх ты, голова-кирюха [2]). Посчитай, сколько вас таких-то в городе, которые без работы — двенадцать тыщь! — не сказал, а выпалил Губин. — Во!

Брында не может справиться с цифрой — двенадцать тысяч, прикидывает в уме: рота, две, полк? Мало. Два полка? Но и два полка укладываются в один круг зрения, кажутся такими незначительными, и Брында начинает складывать рабочих ткацких фабрик Дербенева, Маркушева, Горелина...

Казалось ему, что кто-то железной лопатой великана разрезал надвое запруду реки и хлынули, прорвавшись, огромные волны на простор берегов, зашевелились, пошли, охватывая все, вливаясь в улицы города живым потоком...

Яков Губин перестал смеяться, переложил мешок на широкую лавку, гыкнул и выговорил:

— Голова у тебя, Иван, — настоящая худая гармонь; всякую песню на один манер. Работа, работа — сласть какая. Тут мы в одну неделю зашибем больше, чем на фабрике в месяц. Вот ты и подумай, тентели-вентели.

— Не внушай, Яков, — знаю я эту зашибаловку; не хочу, будет... За три года намытарился, чего с роду не было.

---

[1]) Деньги.

[2]) Несообразительная, пустая голова.

— Ты его не обаивай, — вмешалась Прасковья, — неловкой человек он в этом.

— Кого обаивай? Здорово живешь, не хочешь ли еще? Ну, нет, так нет, что он—двух лет по третьему? Хлеб белый надоел вам, гляжу я.

Яков взвалил мешок на плечи, сплюнул презрительно.

— Блаженные черти, задави вас!..

Долго после ухода Якова топтался Брында вдоль стен комнаты.

Переживал особое чувство легкости. За годы безработицы в первый раз.

Изо дня в день ходил в суетливую толпу базарного люда, зарабатывая на перепродаже старья.

Скоблила в груди тоска, напивался.

Видел озабоченные, тоскливые лица безработных, их острую, голодную жадность.

Замечал, как он сам, крепкий, старый ткач, сбивался в сторону от дороги, плутал и становился неуверенным.

Все, с кем бы он ни встречался, казалось, ощупывали друг друга, но сами прятались.

Не было возможности взять человека на вес, измельчал он, стал легок и трухляв.

Понял Брында: унижает человека голод.

Случай с покупкой краденого ремня напугал его...

Больше часа прошло, как ушел Яков; тыкался Брында по углам комнаты и бурчал:

— Вот и хорошо, вот и ладно.

Но не успел он дойти до конца мысли, прибежал с улицы Гришка и гаркнул:

— Урра! Опять война!

— Что тебя черти надрывают? — замахнулась на него ухватом хлопотавшая около печи Прасковья.

— Чего орешь? Какая война?

— Яков Ксюшку по улице за косы таскает.

А на улице, до этого тихой, гогот собравшихся ребят, причитанье и женский визг.

Брында выбежал.

Кто-то громко и весело покрикивал:

— Шире круг, шире, дай слободы!

И тут же:

— Эх! рази так бьют, умеючи надо бить, машет без толку, а она ему всю вывеску расцарапала.

Низкорослый Яков прыгал около жены, ухватив ее за косу, орал, размахивая свободной рукой:

— Ты меня учить, ты меня учить, а? Я те всю харю растворожу, стерва.

Ксюшка, дергаясь головой, визжала:

— Не смеешь, не смеешь, латрыга, пьяница, вор.

Яшка Губин свирепел:

— Кто вор? Я — вор? Так я ж тебя, мать твою!..

Схватил валявшийся на дороге булыжник.

— Убьет, милые! Ах, он окаянный! Под сердце норовит, — беспокоились наблюдавшие драку женщины.

— Это какой есть закон? Теперь другой закон.

— Чего закон, — замечали их мужья, — если муж учит!..

Прибежавший Брында, молча, растолкал зевак, подошел к Якову, сдавил ему плечи, перекрутил руки и, захватив в охапку, поволок во двор.

— Не топырься, чортова голова, покусайся, сволочь, шмякну вот, шушваль!

Скоро улица разошлась, задремали подслеповатые домики в пыльной паутине, в безъязычной тишине.

Гришка на крыше, голову в небо запрокинул, замер, любуясь на голубей, молчит.

И совсем не слыхать, как пьяный Яшка, в запертом сарае, гвоздит мелко-рубленой матерщинкой:

— Убью, зарежу, разражу!

Взъерошенная в драке жена Губина, Ксюша, Прасковье на судьбу пеняет:

— Житья мне не стало с моим-то. Больше ничаво. Симатаву [1]) себе нашел, видно,—на меня и не глядит... Чуть что—в драку, больше ничаво. Лучше, скажу тебе, в петлю полезай, больше ничаво...

А у Брынды мысли тараканьим стадом расползлись.

Забота Брынду изнахратила, жизнь шершавым языком на голове вылизала лысину.

Чувствует он: глохнет в нем сила, но где-то упорно беспокоится одно: скушно... уехать бы, что ли, куда, с глаз долой...

Устал Брында слушать нудное гуденье женщин, в тоске на улицу вышел.

Мимо рабочих хибарок шагал, к реке ближе, миновал улицы: Грачевскую, Голодаиху, а когда остановился на берегу, поднял глаза, увидел корпуса фабрик. Грузно опирались они в живот земли камнем стен.

За плечами Брынды задергались мускулы.

— Эх! Гаркнуть бы во все гудки, кругом земля дрожать пойдет...

Дунуло со стороны фабрик ветерком. Борозды морщин на лице Брынды расползлись, остро и горячо защипало в переносье. Сказал:

— Ишь, как тут полынью пахнет, ядрено очень. Сила спит.

---

[1]) Любовницу.

III.

Томится Брында. Прошло два месяца; за это время от маяты и тоски измотался вконец.

Прасковья, жалеючи, по-бабьи советовала:

— Уж шел бы ты опять барахольничать [1]): изведешься без работы.

— Отстань, Прасковья, какая это работа: нашла занятие — барахлом торговать, да нешто по мне это?

— Ну, с голоду подохнем, чем кормиться будем? Смотри, вон — Яшка Губин купец-купцом. Была я у них, смотрела: и печеным, и вареным обложил себя, всего вдосталь, на две семьи мужик живет: жена, да любовница, вот как, и на всех хватает, а ты что?

— Чорт с ним, — не сдается Брында, — он сам по себе, мне не указ. Какой он ткач? Ему легко, его не засосала фабрика.

— Ну, вот, — продолжает ворчать Прасковья, — тебя зато засосала, ты и сидишь пнем. Все ждешь, когда, да чего... Нет, небось, кусакать захочешь, по-другому запоешь. Люди приспособились, живут ничего себе, а ты—как дерьмо в проруби болтаешься. Чисто дитё малое, право слово, чудно даже!

— Подожди, Прасковья, найду работу, приспособлюсь; не может этого быть, чтоб без работы.

Каждый день пошли такие разговоры. Все тошней Брынде. И совсем ему непонятно: отчего это фабрики встали? Прогнали хозяев прежних, все за дело принялись дружно, кричали на собраниях ораторы: „Поднимайте, товарищи, производительность! Смотрите друг за другом, чтоб все работали".

Где-то, в далеком Крыму, грохотали орудия: генерал Врангель шел, да еще от Варшавы поляки нажимали. Узнавал об этом из газет, когда в обеденный перерыв читал кто-нибудь.

Много рабочих, которые помоложе, на фронт ушли. Брында все работал. Не тревожили его мысли о войне, жило в нем спокойное такое сознание: отобьются ребята. Откуда это сознание появилось, как окрепло, сам не знал, нутром чувствовал — и все тут.

Пришло потом известие: замирились.

Но на фабриках неладно что-то: в неделю три дня работали: то топлива нет, то хлопка недостача. И подошло время, когда остановились фабрики. Ходили рабочие партиями, растерянные и недовольные. Все ждали: пойдут фабрики, ничего, оправимся, подождем.

Долго ждали и расползлись кто — куда: одни уехали работы искать, другие в шумливой базарной толпе терлись, мелкой спекуляцией занялись, опустились и пьянствовали. Каких разговоров не было

[1]) Торговать мелочью — барахлом.

и что не проклиналось? Все: и черти, и боги, и власти. Вспоминае Брында все прошлое, тошно ему и непонятно: откуда, что и как?

Долго смотрит в серую улицу, выйдет на крылечко, посиди покурит.

— Ах, кол те в глотку! аль пропадать?

Много у Брынды приятелей: вся фабричная сторона знает. Встре тит кого, разговорятся.

— Что будем делать-то, дядя Иван?

У Брынды вопрос решен, все время думал над этим.

— Что? Известно — ехать надо, — предлагает он, и сам начи нает верить, что стоит только уехать куда-нибудь от кладбища мерт вых фабрик и все изменится, другая жизнь пойдет.

— Да ведь куда ехать-то? Везде, поди, так же.

Брында не верит, что везде так.

— В Москву поедем, есть у меня человечек один, с самой войнь живет там, сказывают — ничего, хорошо устроился, рукомесло у нег свое, мужик ладный.

Все чаще думает Брында об отъезде. Прасковье сказал, со гласилась:

— Ну-к, что ж. Знамо дело, поезжай. Сиди, не сиди, ничего не высидишь. Я уж одна здесь как-нибудь. Смотри, только совсем не пропади, другую не заведи себе.

— Ну вот, шесть лет живем, знаешь мой карактер, да и устарел я, на уме не то.

Долго собирался Брында, пока не уговорился с товарищами Один из них, Стогов Василий, сам пришел, изголодавшийся, проевший все до последнего лоскутика, выгнанный из дому воем детей, слезами жены.

Другой, Ефим Тулупов, без роду, без племени человек, ехать согласился сразу, без раздумья.

Много порастряс Брында: продал сапоги новые, часы, да пару откормленных поросят. Деньги на миллиарды считали, миллиардов пачечку во внутренний карман штанов засунул, булавкой заколол, а вечером товарищи, нагруженные мешками, в вагон втиснулись, забрались все трое на верхние полати. Духота в вагоне нестерпимая.

Тронулся поезд, покряхтывая расхлябанными частями, лязгая ржавыми цепями фаркопов [1]), затряслись потные человечьи тела, развязались мешки и узелки, задымили паром чайники с кипятком, зачадила пахучая махра.

Тулупов раза два чихнул и выругался:

— Ну, и начадили, мать их закрути-верти! Скажи на милость — куда это народ бесперечь едет? Удивленье.

---

[1]) Крюковых цепей вагонов.

— А куда глаза глядят, касатик, — отозвался с соседней полки старческий голос, — туда и едут. Народ нынче — как птица без гнезда, летит — кто куда.

— До первой веточки, — поддержал кто-то в серой шинели. — Э-ха-хе, — я вот с самой войны езжу. Езжу, братец ты мой, и езжу, а...

— Станция Шуя, — неожиданно бухнул, видимо, рассердившийся на самую станцию, басоватый голос кондуктора, — приготовьте билеты.

— Не хошь ли, дяденька... — пискнули тоненько из угла.

— Поругайся у меня, сволочь нечесаная, я т-те поругаюсь, — остановил кондуктор.

— Какое ругательство, — подталдыкнули со стороны: — так это он, душу повеселить.

— И езжу, значит, осьмой год, милые мои, а спокойствия мне нет, — начал опять прерванный голос.

— Пустая голова — ногам беда.

— Ничего не пустая, — обиделась шинель, — а так уж мне господь предписанье такое дал, чтоб всю мою жись маяться, а главное через доброту мою страдаю: на войну пошел, хозяйство жене препоручил, — вернулся, а она меня в три шеи из дому: убирайся, говорит, от меня, ты, говорит, человек несознательного елементу, империлистов защищал. И, диствительно, тут как раз слобода приключилась. Ах ты, думаю, стерьва этакая, так я ж тебе покажу: сгреб я ее было за волосья, так она, чтоб ее черти, схватила топор, да ка-ак меня шарахнет по затылку обухом! Не помню уж как дальше было, очутился я в гошпитале, недели две провалялся.

— Здорово! Это все, значит, по господню предписанию? Антиресная история, — засмеялись окружающие.

— А дальше ище антиресней.

— Ну, ну?

— Вышел я из гошпиталя, думаю: куда иттить? Думал, думал, да по задумчивости и угодил на поезд. Как раз в самую завируху эта, когда с фронтов уходили. Еду, значит, и ничего себе: сыт, а куда еду — сам не знаю. И попал я таким манером в город Омской...

— Ло-овка!

— Попал, — продолжал рассказчик, — и живу: на чугунке устроился в депе сторожом. Прослужил я, — не мало, не много, — год. Все по-хорошему, весело было: каждый день с рабочими на собраньи: пролетария, соединяйся. Никакой тебе обиды, по-товарищески, и вдруг откуда-то черти чехию принесли. Как нагрянули они к нам, да еще с казаками, и пошли шерстить: коих перестреляли из наших, коих в тюрьму засадили, — ну, и мне попало здорово: сейчас еще отметины на спине остались. Вижу я, дело наплевать выходит. Сговорилась нас канпания человек пять, собрались мы — и ходу. Месяца два по степям, да по лесам плутали, порастерялись все, и припер я в одиночку в Уфинску губерню. Тут как раз красна армия; я прямо в казарму, к ребятам:

„— Так и так, товарищи, хочу с вами.

„— Да куда, — грят, — тебе, больно ты ослаб.

„— Ни черта, — грю, — жилка во мне военная, выдержу.

„— Задорной.

„— Ни задорной, а за отечество постоять могу.

„— Ни за отечество, а за ры сы фы сы ре.

„— Ну, за фырсыре, — все единственно...

„Сгрудились мы и начали наступать, потом отступать. Тут со мной приключение: снарядом меня в одном местечке оглушило. Очухался я, кругом никого, в голове гудеть. Слышу — стонет кто-то, встал я, пошел этак, — вижу, за кустом казак лежит, морда вся в крове: должно, прикладом тюкнули. Взял я баклагу, обмыл его, смотрю — вздышит. Я ему в рот водицы. Околемался он, сел и глазами поводит. Потом покурить запросил. Свернул я цыгарку и говорю ему: „Эх ты, дура голова, куда лез? На своих лез“. Он ничего, молчит. Потом поднялся и говорит: „Пойдем, землячок, отведи меня к своим. А я, чорт его знает, потерялся, в какую сторону итти — не знаю, однако молчу. Идем мы это, он впереди, я за ним, и привел он меня в поселок казачий. Э-хо-хо, за доброту свою пострадал. Сдал меня этот казак своим властям. Вы, говорит, его не особенно того, а все-таки... Взяли меня тут, отвели в сарай и закатили горячих, да еще сволочи тавром прижгли, раскалили и прижгли то место, откуда ноги растут, вывели за лесок потом:

„— Теперь, — говорят, — иди, да... Вот она какая история“.

— И выходит дурья-то голова—ты,—заметил чей-то полусонный голос.

— Эх-ма! Это что, а вот я!..—начал кто-то, но, оглядевшись, увидел, что большинство пассажиров похрапывало...

В вагоне плавала махорочная синева, в окна заглядывала бежавшая за поездом сморщенная луна; колеса, прихрамывая на стыках, потряхивали кузов вагона.

IV.

Вот когда начала приплясывать жизнь.

Прибыл Иван Брында в Москву. Расцеловала его Москва в лохматую бороду, толкнула дружески в спину.

Отмякло на сердце старого ткача, расчувствовался он и, растерявши глаза по толпе, не заметил, как мешок с провизией сперли.

Побегал, покричал, выскочил на шумливую площадь перед вокзалом: прямо на него автомобиль катит, с боку извозчики наскакивают, позади трамвай прет, а народ, как рыба в садке, кишмя-кишит, черной волной плещется между каменных стен вокзалов. Где уж тут вора поймать? Ахнул, руками развел и выругался.

Посмеялся кто-то, пожалел снисходительно:

— Провинция матушка, держись, смотри, за уши, а то и голову унесут.

Услышал. Подумал вслух:

— А верно ведь, держаться надо.

Товарищи захохотали, глядя на растерянную фигуру Брынды.

— Эх ты, дядя! сейчас только сообразил.

Оба они были помоложе его годами. В особенности Ефим Тулупов. Фигурка у него маленькая, гибкая, как у циркового клоуна, и ходит он, будто бы по бревну через ручей перебирается, на носках, легкий и неслышный для земли. Шея немного вытянута, голова чуть-чуть отброшена назад. Лицо Тулупова черной бородкой охвачено, приятное.

Никогда Тулупов ничем не занимался, кроме своего ткацкого ремесла. Был одинок, вырос на фабрике, воспитанный сообща в общежитии рабочих. Имел кличку „приблудыш“ оттого, что появился неизвестно когда от женщины, не знавшей постоянного мужа. Характером был слаб и мягок.

Все равно Тулупову где жить, лишь бы к делу приспособиться.

Толкался он по вагону среди пассажиров, сведения собирал, всех расспрашивал и, возвращаясь к своим, говорил:

— Ничего, братцы, все хорошо. Мы, мать твою закрути-верти, устроимся. В Москве, говорят, все фабрики на ходу.

— Посмотрим вот, рано говорить загодя, — сомневался Брында, а у самого в груди пели звонкоголосые петухи от слов Тулупова.

Обращаясь к Стогову, говорил:

— Ты как насчет этого, Василь?

Стогов Василий молчал. Человек он, по выражению Тулупова, чемурудный [1]), не поймешь его.

Высокий, с непослушным ворохом кудрей, в короткой поддевке, похож он на древне-русского боярина, каких рисуют на игральных картах, такой же стройный, с красивым, немного печальным и задумчивым лицом. Под крутым лбом большие голубые глаза, с тихим спокойствием задремавшего в камышах-ресницах озера, глядели они немного поверху, пропуская мимо себя все, кроме намеченной цели.

Брында ветвистой корягой по толпе, за ним дорога остается. Его ругают, и он ругается, но не в ответ, а так про себя, с досады, что мешок пропал.

На трамвай не сели.

— Чорт его знает — куда он завезет, подпрыгивая на носках, ухмыльнулся Тулупов. — Лучше уж пешечком.

Когда поднялись от вокзалов на горку, Стогов спросил Брынду:

— Знаешь ли, куда итти?

— Спросим, где знать, — обернулся Брында, — адрест у меня на бумажке записан, найдем.

---

[1]) Странный, скрытный.

Был у Брынды знакомый в Москве, старый плетельщик ивовых корзин, Андрей Андреич Вяткин. К нему направились приятели.

Вытащил Брында бумажку, значилось на ней:

„Масква, улица первая Мещанская, мал. Переяславсский проулок".

— Ну, вот, — сказал Брында, — сейчас мы спросим... Эй, милягаl как пройти на Мещанскую?

Спрошенный мальчишка-папиросник ткнул пальцем вниз под гору.

— А во, прямо по рынку до самого конца.

Пошли по бунтующей базарной толпе, ошарашил шум и гвалт.

Тулупов бегал глазами по разложенным товарам, останавливался, прищелкивал языком, ахал. Особенно интересные вещи брал в руки, ощупывал, приценялся и, с видимым сожалением, клал обратно.

Брында, молча, просаживал толпу, как сорвавшийся с горы булыжник. Сталкиваясь с плотной запрудой людей, просовывал вперед длинные руки, и было похоже, что плывет он по реке, широко размахивая веслами.

Прямо в глаза торговцы совали товар и надсадно кричали:

— Эх, сапожки заказные, смазные, праздничные!

Был их длинный ряд, этих пахучих сапог, развешанных на плечах и руках продавцов.

Дальше начинался другой: кто-то, настойчиво тыкая в руки Брынды цветную книжку, орал и не сходил с дороги:

— Предупреждение беременности, за триста лимонов.

Брында в простоте душевной поднял его за ворот и переставил с панели на мостовую.

— Отвяжись, ангелок!

Лишь один Стогов шагал, видимо, равнодушный ко всему, и нельзя было угадать, о чем он думает.

Высоко над головами людей плавала пропитанная солнечным золотом жирная пыль. Откуда-то несло удушающим запахом плесени, гнилых овощей и пережженным салом тухлой колбасы.

После долгих расспросов и толкотни, взмокшие и усталые товарищи вышли на Первую Мещанскую.

— В этой, что ли, улице твой знакомый-то? — спросил забежавший вперед Тулупов.

— В этой, — ответил Брында, одолевая буквы на углах домов, объяснявших название переулков.

Шли еще.

Глубоко во дворе, загаженном и узком, загнутом по линии кочергой, отыскали, наконец, облупленный двухэтажный дом, в нижнем этаже которого и помещался старый плетельщик Вяткин.

Перед входом, над узкой дверью небольшая вывеска с рисунком, поясняющим производство: три поставленные друг на друга корзины.

Брында толкнул дверь.

В большой комнате, заставленной готовыми корзинами разных размеров, среди вороха прутьев, работали двое: плотный среднего роста старик, с блестящей лысиной во всю голову, начисто выбритый. Такой он аккуратный и белый, как свеже выпеченный ситный, подвижной и веселый, с хорошим румянцем щек. А дальше, около окна, молодой, лет восемнадцати парень, в ухарски сползшей на ухо кепке; с лицом твердым, коротко отсеченным подбородком, с глазами, в которых прятались насмешка и задор.

— Ну, вот, Андреич, к тебе мы,—выговорил Брында, просовываясь между корзин и здороваясь, — ты уж пока что, а там видно будет.

— Да как же вы втроем-то? — рассмеялся Андреич, — эх, балама же ты, Иван, и не написал...

— Чего писать? Сговорились мы меж собой: кто первый работу найдет, всех кормить будет. Нам только бы зацепиться. У вас с работой-то просторней, город,—вон он какой, столица.

— Э-э, брат, думаешь тут ворота пирогами выложены?

— Да ведь как сказать — живут люди, — бурчит Брында в недоуменьи, — вот я и думал...

— Плохо думал,—обрывает Андреич,—плохо, мил человек. Ну, да ладно, мозговать будем.

Неприятно Андреичу, что вместо одного Брынды приехало трое, но делать было нечего, не гнать же людей...

Поднялся он и пригласил приятелей в жилую половину.

— Проходите, землячки, чаевничать будем.

Тут же парню мимоходом бросил:

— Свертень-ка нам самоварчик, Саша!

Жилая половина всего в одну комнату. Похожа комната на ярмарочный сундучок; повернуться негде, от стены до стены переплюнуть можно, на стенах же картины: Афоны с Иерусалимом и из угла старец Зосима бородой выпятился; в бороде огонек лампады застрял.

— Ишь ты, келейник какой, — заметил Брында. — Как живешь-то, Андреич?

— Да что я? Живу не очень, чтобы просторно, ну, да ничего, кормлюсь.

Молчавший Тулупов прокашлялся.

— Вот и мы покормиться приехали. Плохи у нас дела-то там. Стоят фабрики.

— Ну, а у нас тут лежат, — усмехнулся Андреич, — толку тоже мало, коптятся чуть-чуть, вполовину работают. Такие времена, говорить неохота, да. Дожили, слава те создателю. Ходит народушко и скулит с голоду. А всё оттого, сами хозяева, вот и нахозяйничали.

Сашка втащил самовар. Приятели развязали мешки и, запивая горячим чаем черствые сухари, слушали.

Слова Андреича рождали беспокойство и тревогу. Брында и Стогов угрюмо молчали. Тулупов насторожился и, беспокойно двигаясь

на стуле, видимо, что-то хотел возразить, но все не решался, ожидая, что скажут другие.

Андреич все говорил и говорил без конца.

— Не живется мирно. Мало с немцем воевали, между собой зачали. Опять царь сядет, поверьте мне. Уж один бы конец скорей, а то ведь никакого порядку. Смута в народе пошла, бога забыли, старших не признают и знать никого не хотят, умны больно стали, оттого пошел раззор.

Брында отодвинул недопитый стакан, поднялся огромный и еще более суровый, чем всегда.

— Нет, Андреич, друг ты мне, а не по-нашенски, не по-рабочему говоришь. Не сладко нам живется, правильно это, только раззор не от нас пришел, ты в одиночку живешь, не видишь.

— Верно, дядя Иван, — поддержал Тулупов, — раззор не от нас, а от тех, кто нами завладеть опять хочет, от заводчиков прежних, да от господ разных.

— А что живем мы плохо, что ж? И раньше тоже не хвали, всего было. Напрасно, Андреич, прежние порядки хвалите. Я родился на фабрике, знаю. Бывало, мать их закрути-верти, дыхнуть нельзя. Вот до чего туго было. Мастера мне морду били, никогда этого не позабуду; издыхать буду лучше, а в хомут не полезу.

Молчал один Стогов. Был он далек от того, что говорили.

Дома жена, двое ребят. Стогов жил мыслью, что вот-вот двинутся фабрики, и заработок будет обеспечен.

Сильное, крепкое тело тосковало по работе. С ним то же происходило, что и с Брындой, к этому прибавлялась еще полная материальная необеспеченность, и Стогов готов был пойти на какую угодно работу, лишь бы дать возможность жить семье.

Улавливая трескучие слова Андреича, злился:

— Ишь разливается как, хорошо человеку рассусоливать. Наел брюхо-то, сам хозяйчик.

Было поздно: вечерний синий сумрак летнего дня медленно заползал в комнату. В открытое окно глухими, неясными звуками падала воркотня хлопотливых улиц города.

V.

У самой окраины несуразного города Москвы, около хлопотливо-вороватого рынка, где веселая мастеровщинка пьет и поет, тачает и шьет, в самой толчее грошевого жизненного „антиреста“,—там, где вечерком на рублевку любви воз, где с молитвенным вздохом заплесневелые старушки, утирая слюну с трясущихся губ, предлагают за четвертной сладость внучкиной невинности, в загогулистом тупичке, среди нахохлившихся деревянных домиков, со ставнями на болтах, сел расплывчатый, одноэтажный каменный дом лавочника Авилова, Его-

ра Кузьмича. В осеннюю темень забегал сюда, сбившись с дороги, певун-ветерок и, шипя, ложился у ворот.

В переулочках-закоулочках все по-прежнему, как на заброшенном огороде-пустыре.

Высоким, густым лопухом поросла перегнившая земля, у корней копошатся полусонные червячки-обыватели.

По воскресным дням пахнет здесь пирогами и приторной прелью прокисших помой.

По утрам, как только осторожным ползком проберется в тупичок рассвет, Егор Кузьмич, брякая цепью, отворяет калитку и, просунув на улицу седую голову, долго осматривается; в руках у него суковатый батожок. Спина у Егора Кузьмича перегнулась надвое, ближе к голове выпирает бугром; на сухом, сплюснутом с боков, лице затаилась пара слезящихся мутных глаз.

Давит на плечи семидесятигодовалый груз, но не хотелось бы сдаваться старику. Десять лет назад он совсем молодцом был. Приспособил около себя сироту бездомную, дочь умершего приказчика Глашеньку. К тому времени, в пятнадцатый раз, весенняя ростепель подливала горючего снадобья в густую девичью кровь.

Пожалел ее Авилов и одиночество свое скрасить захотел к тому же. В тот же год благодарная Глашенька, пухлая, как сдобная, свежая пышечка, рослая не по летам, подкормившись на сытых хлебах, отлежавшись на пуховых перинах, согласилась приласкать старичка и отогреть его черствое сердце горячей девичьей страстью.

Радостный и помолодевший затеплил Егор Кузьмич лампады перед широкобородыми божьими угодниками, закрестился и закланялся:

— Посылает господь силы...

Недолго все же нюхали святители пригарь жертвенного масла, прошло немного времени, скапустился Авилов, ослаб и согнулся. Подошла потом война, широкой волной нахлынула за ней революция. Залез в свою нору Егор Кузьмич, притих в глухом тупике путаных городских окраин. Прикрыл торговлю мануфактурную в своей рыночной палатке, припрятал в укромном местечке тысячи три золотых, приплюснулся, принизился, имея на лице актерскую великую скорбь и обиду.

Кому надо — улыбался, от настойчивых откупался: „Не троньте, мол, старость мою убогую, обездоленную".

Так и прожил он до поры, когда вновь загудел на базарных площадях торговый люд, засмеялись в улицах веселые огоньки фонарей, широко отворились двери торговых рядов, зачегоизволили плутоватые приказчики.

Заволновалась кровь у старика Авилова, запросилась на работу торговая натура, а силы уже не те.

Не спит он по ночам, просыпается до зари, выйдет во двор, откроет калитку, смотрит по проулку: не идет ли кто из прежних

знакомцев на рынок погреть руки? И хочется самому побежать в перегонку с другими на легкую наживу. Все шепчет:

— Сподоби, господи, потрудиться, пошли силы, владыко милостивый.

Трясутся руки, все ниже седая голова, в сердце холодная жуть, шамкает беззубым ртом:

— Нет, кончено, видно, не вернуть сил, нет.

Хлопнет сердито тяжелой калиткой, подойдет к старой цепной собаке, такой же хмурой и дряхлой, как хозяин, и жалуется слезливо:

— Ну что, Кудлашка, лежишь, пес? Эхе-хе! Лежи, друг, лежи, — трудно встать нам, тяжелы стали, а хорошо бы на улицу, жизни поглотать немножко.

Вздохнет Егор Кузьмич, потреплет собаку по шершавой спине, повернется — и на кухню. В кухне старая прислуга Марфуша, разбудит ее.

— Самоварчик, Марфа, надо бы, а то Глашенька проснется, чайку запросит.

Глашеньке двадцать пять лет, как морковь ядреная, полнотелая, красивая женщина, властная и неограниченная хозяйка дома. Спит она на широкой кровати одна, Егор Кузьмич подойти не смеет, да и незачем.

Приткнулся он в уголку задней комнатки поближе к образам.

Скипит самовар. Робко кашляя, заглянет Авилов в спальню, тихонько позовет:

— Проснулась, Глашенька? Вставай, золотцо, самоварчик поспел, на-ко вот тебе туфельки.

Лениво повернется Глаша, брезгливо бросит:

— Ладно, встаю, уходи! Ну, что вытаращился, как сыч? Уходи, говорят!

Так было каждое утро.

Терпеть не могла молодая, крепкая женщина старика-развалину со слезящимися глазами. Кричала в ней кровь и помыкала она своим благодетелем, как хотела.

Продолжалась эта история долго.

И чего только не натерпелся Егор Кузьмич. Нередко туфли Глашеньки танцовали на его лысине. Перед иконами плакал старичина и молился: „Утиши, господи, страсти рабы твоей Глафиры!“ Но страсти не угасали, а напротив — разгорались с каждым днем.

Сидит Глашенька за столом, пьет чай с тремя сортами варенья, со сдобными ватрушками, косо посматривает на Егора Кузьмича, зло скажет:

— Что ты фыркаешь, как верблюд? Вытри губы — противно, слюни распустил, ффу!

Сожмется Авилов, торопливо допьет стакан чая и, опираясь на батожок, уйдет из дому на рынок, посмотреть на торговый, шумливый люд. Встретит знакомых, отдохнет в разговорах о житье-бытье.

Кто не знает Авилова? Все знают, то один, то другой приветствуют:

— Наше вам. Зайди, Егор Кузьмич, посиди! Ну, как скрипишь?

— Ничего, бог грехам терпит.

— Тек-с. Трудно от грехов избавиться, да... Грехи — штука прилипчивая, — и между прочим будто бы: — Как поживает Глафира Семеновна?

Крякнет Авилов, почует насмешку.

— Что ж, живет... Ничего живет.

Посмеются.

— Молодое цветет, старое старится. Любишь ты сладенькое, Егор Кузьмич.

— Прошлое дело, прошлое, чтò уж там!..

— Верно: чтò уж там! Торговать как, думаешь ли?

— Без толку: стара стала, слаба стала, — отмахнется Авилов.

— А Глафира Семеновна на что? Приспособь женщину. Ей развлеченье и тебе польза. Задарма деньги-то лежат у тебя.

Покрутит головой Егор Кузьмич, промолчит. Возвращаясь, думает: „Хорошо бы, да где же? Неопытна в этом деле, не справиться ей. Человечка тут надобно дельного".

А дома Глафира, разомлевшая от сладкого чая и закуски, садилась у окна, тренькала на гитаре и лениво следила за словами Марфы, разложившей по столу широким веером фигурные гадальные карты.

Гадала Марфа до обеда, после обеда и вечером, слова при этом были одни и те же, давно известные, заученные, но каждый раз, когда карты ложились удачно, хотелось верить, что случится обязательно так; если же ничего не случалось, то все-таки надежда продолжала жить: будет не сегодня, так через месяц. Потом это забывалось. Новый расклад карт подновлял забытое. Приятный у Марфы говорок:

— Ожидает тебя, матушка Глафира Семеновна, червонный интерес через бубнового короля.

— Где, Марфуша, здесь или на стороне?

— Сейчас узнаем, погоди: где король выпадет, — и Марфуша, откладывая по карте, приговаривает: — на дороге, на пороге, на постели, за столом...

Стоющий король не выпал сразу.

— Ну-ка, мы еще: на дороге, на пороге... Вишь ты, скоро должно, не иначе как дома, на пороге выпал.

— Что-то не верится, Марфуша, — сколько раз ты гадала, вот-вот, а все нет...

— А ты думай, матушка, думай, глядишь — и сбудется.

— Надоело мне все, Марфуша. Господи, как надоело!..

— Да как не надоело, — сочувственно вздыхает Марфуша, — знамо надоест: молодой-то женщине, да при старике. В твои годы только бы по волюшке порхать.

— Куда упорхнешь? Нешто от старого храпоидола вырвешься? Денежки-то у него, лишней копейки не выморщишь, а без денег что̀ я? Вот и сидишь.

— А ты его приласкай, старички ласку любят.

— Пробовала, Марфуша: помру, говорит, все тебе оставлю, один ответ...

В разговорах проходили дни, серые, однообразные, как пыльная дорога в глухой степи, и неизвестно, когда бы наступил конец этим дням, если бы не пришел нечаянный интерес от червонного короля.

Встретил Авилов, идя на рынок, своего старого друга Андрея Андреевича Вяткина.

Вяткин, насупленный и недовольный, с первых же слов пожаловался:

— Вот, Егор Кузьмич, дела какие: припожаловали ко мне гостеньки из провинции, безработные ткачи. Оно по пословице и хорошо, может: не имей сто рулей, а имей сто друзей, только не всегда. Приехали трое, куда мне девать их, не знаю, всю квартиру заполонили.

— Гм, ткачи, говоришь? — переспросил Авилов: — как они, что за народ?

— Народ ничего — ладный, только где ж их приткнешь?

— Гм, — опять гмыкнул Егор Кузьмич. — Ты вот чего, пойдем-ка ко мне, Андреич, потолкуем малость, как раз думал я об одном деле, человечек мне в скором времени потребуется.

Старые приятели, беседуя, подошли к дому.

— Тихо у вас тут, — заметил Андреич, — как в скиту каком. Давно уж у тебя не бывал я. Время такое, на улицу выглянуть боязно.

— Да, уж времячко, можно сказать, куралесное было, — согласился Авилов, входя в комнату. — Ну, да ничего, пронес господь, опять все ожило. Присаживайся-ка, Андреич, — пригласил он, указывая на стул. — Я сейчас самоварчик велю подогреть.

Говорил больше Авилов.

— Видишь ты, дело какое: хочу торговлишку опять возобновить. Глашенька у меня скучает, ну, и деньги-то, того, без толку лежат.

— Так, так, — кивал головой Андреич, — дело хорошее.

— Вот у тебя и возьму, пожалуй, одного молодца, который попытней, — объявил Егор Кузьмич. — Надо только Глашеньке сказать, как она.

Авилов поднялся и постучал в комнату Глафиры.

— Выдь, Глашенька, на часок, сказать тебе хочу что-то.

— Чего еще там? — отозвалась Глафира.

— А ты выдь-ка, выдь. Андреич у меня тут, не забыла старичка-то? Такое мы с ним удумали, спасибо скажешь.

— Было бы за что.

— Услышишь, милая, услышишь.

И Авилов, хихикнув, подмигнул хитро.

Когда Глафира вышла, Андреич встал и заулыбался. Его гладкое, пухлое лицо собралось в мелкую гармошку веселых морщинок.

— Здравствуйте, Глафира Семеновна, как поживать изволите? Цветете все? Наградит же господь такой красотой несказанной.

Глафира порозовела от удовольствия.

— Будет уж вам, Андреич, какая я красавица! Говорите, что вы тут придумали?

Авилов, улыбаясь и потирая руки, передал.

„Вот он червонный-то интерес",— подумала женщина, однако виду не подала, стараясь скрыть внутреннее удовольствие.

— Засиделась ты у меня, Глашенька,—продолжал Егор Кузьмич,—да и мне, признаться, скушновато... Что ты скажешь?

— Что мне говорить? Дело хозяйское, — уклоняясь от прямого ответа, отозвалась Глафира.—Опять же надо посмотреть, о ком говорит Андреич, человека выбрать. Народ нынче известно какой.

— Это ты резон, это верно,— подтвердил Авилов.

— Ну, что же,—обратился он к Андреичу,—скажи своим молодцам; пусть приходят, посмотрим, поговорим!..

VI.

Живут приятели в Москве третью неделю. Брында капиталы свои наполовину проел, миллиарды с каждым днем становились дешевле. Зашитая пачечка их убыла, а заработка все еще не наклевывалось.

Андреич хмур и неприветлив; оставаясь с глазу на глаз с Брындой, говорил:

— Ну, зачем вас чорт втроем-то нес? Приехал бы один, другое дело, все-таки, куда-никуда, пристроиться можно.

А однажды, когда Стогов с Тулуповым по обыкновению ушли искать работы, предложил:

— Чего зря тычешься, садился бы с Александром корзины плести, немудрая штука, научишься.

Брында подумал и согласился, но в свободные от работы праздничные дни тоскливо бродил путаной сетью говорливых улиц и, оглядывая толпу, думал: „Какая это улица?".

И казалось ему, что идет он внутри огромного жилого коридора. Пахло тут сладковатыми духами от разодетых веселых женщин и бензином автомобилей; из открытых дверей кафе и столовых шла щекочущая теплая струя кушаний; около домов, за оградой палисадников, горланила детвора; по тротуарам с беззаботным и ленивым спокойствием няни катали в колясочках пухлых младенцев.

Выставленные в окнах цветы и красивые подстриженные деревца около дверей усиливали комнатный уют улиц.

Брында шел вперед, возвращался, переходил улицу, но куда бы он ни смотрел, всюду встречались бесконечные ряды домов и было похоже, что среди них растеклась многотысячная семья, вышедшая попраздновать и повеселиться.

Утомившись, Брында садился на скамью бульвара, подолгу курил, испытывая такое чувство, точно все, встречающееся ему, связаны между собой одним общим делом и только он никак не может найти своего места.

Медлительной поступью между деревьев плутал летний вечер, зажигались огни, но, бессильные в борьбе с наступающей ночью, они упирались в ее густоту и глохли, оставляя широкие места темных нор. Тут обыкновенно и сидел Брында, с любопытством наблюдая, как в полосах света проходила разноцветная, смешливая толпа. Мысли конской гривой под ветром путались, сбивались и беспокоили.

Подошла женщина.

— Кавалер, угостите ужином!

Брында, не оборачиваясь, пыхнув папиросной-самокруткой, отозвался не то насмешливо, не то с сожалением:

— Обозналась, дочка, устарел я угощать вашу сестру, — и поднялся уходить, но женщина с особой голодной настойчивостью ухватилась за рукав.

— Гражданин, милый, дай хотя на хлеб!

Рука дрожащая, с длинными костистыми пальцами, выпустила рукав и протянулась, касаясь груди.

— Ты чего?—удивился Брында,—али в сам деле оголодала?

Лицо просившей бледной тенью терялось в полутьме, и трудно было угадать правду слов.

Но она не успела ответить. Неподалеку густо прокашлялись и из-за кустов появилась фигура мужчины в грязном засаленном пиджаке.

— Извиняимси, товарищ! — проговорил подошедший, — ошибка вышла, обмишулились [1]), действительно, с непривычки.

— Да вы кто такие?—вытаращился Брында.

— Тульские. Медники мы. Заработку нет, ну, и того, баба молодая, Настасья, жена моя... Ребятишек с нами двое тут, за заставой в бараках...

— Ах, кол те в глотку! — выругался удивленно ткач. — Так ты что же?

— Доглядываю я, — забормотал медник, — разный народ тоже, сопригласят да надсмеются...

Брында не дослушал, он торопливо сунулся в карман, вытащил желтую миллиардную бумажку, положил ее в протянутую руку женщины и, повернувшись, быстро зашагал по боковой аллее бульвара, обходя толпу...

---

[1]) Ошиблись.

Брында возвратился поздно.

В углу мастерской, на двух больших корзинах, спали рядом Тулупов Ефим и Сашка. Тут же на табуретке валялись куски селедки, ломоть черного хлеба и пустая бутылка. На широкой лавке, уткнувшись в развернутую газету, сидел Стогов.

— Это что? — ткнул Брында в сторону спящих, чувствуя запах самогона.

Стогов усмехнулся:

— Не видишь, что? Выпили и спят. Друзья — водой не разольешь. Ругался тут старик. Тебя спрашивал, — дело, говорит, есть сурьезное.

— Какое дело?

— Кто ж его знает, не сказывал.

Брында толкнулся в дверь.

— Не спишь, Андреич?

— Заходи, заходи, — послышалось за дверью. — Где пропадал? Ядрена гулена.

— А так я, поразмяться, — ответил Брында, усаживаясь.

— Все Москву оглядывать ходишь? В год не оглядишь, брат. За товарищами смотрел бы, пьянствуют тут.

— Чего смотреть? Не малые ребята, сами знают, — недовольно пробурчал Брында, — внук у тебя денежный должно...

— Сашку, пожалуй, и турнуть можно, — пообещал Андреич, — я не посмотрю...

— Ты что меня спрашивал? — перебил Брында. — Говори, Андреич, какое дело?

— Дело? Дело, друг, важнецкое, позови-ка Василия.

Когда Стогов вошел, Андреич передал им разговор с Авиловым.

— Житье там — у Христа за пазухой, только порасторопней быть надобно, — заключил он краткое сообщение.

— Самое это подходящее дело Ефиму, — предложил Стогов, — человек он легкой, в лавке ему в самый раз орудовать.

— Не-ет, уж за Ефима спасибо, — замахал руками Андреич, — клюкнет он вот так же, как сегодня, мне колоть глаза после будут. Идите-ка лучше вы вдвоем, вот что я скажу.

— Гляди-ка, дела поправятся, — говорил Брында, укладываясь спать. — Только не по нутру мне это. Торговля — не фабрика, там я у себя.

— Суматошный ты, Иван, — отозвался Стогов. — Что тебе надо? Непонятно. Брюхо сыто, и ладно.

— Вот оно, вот, — мычит Брында и, шумно продохнув, говорит: — Все на одну колодку. Толкаюсь я по народу и смотрю. Не видно рабочего, который размахом идет. На войне, что ли, выбили? Брюхо, кулечки, мешочки, каждый себе. Ах, кол те в глотку! А нынче один встретился, жену продает, да-а. Медник, говорит, я тульский, хы! Вот те медник, тоже из-за брюха. Хотел я ему в морду!

— О, дура! — буркнул Стогов.

Брында не слышал и продолжал:

— Ушел я от них, а в мыслях у меня галдежь и захотелось мне напиться, — слышь, Василий?

— Да, слышу. Будя уж тебе бубнить. Вот уж истинно самотошный, — и Стогов, приподнявшись, выключил свет.

Брында долго кряхтел, курил и, поглядывая в окно, думал.

За окном ночь густо синяя, как потемневшее в грозу озеро. Выходило окно на какой-то пустырь, где уродливо торчали обвалившиеся стены каменного здания.

Ивану Брынде мысли не давали спать. Оттого, что кругом была ничем не нарушаемая глухая тишина, и оттого, что смотрел он в одну точку, не отрываясь, мысли эти, казалось, заговорили вслух помимо его воли, и были они такими несуразными и страшными.

Вот они какими были: давным-давно засунули человека в железный ящик, завинтили крышку, положили потом в глубокую яму, а сверху засыпали землей и только маленькое, совсем маленькое отверстие оставили, сквозь которое видно было, как по верху ходят люди.

Люди куда-то торопятся, толкают друг друга, делают злые глаза. Иные же, встречаясь, смеются и взаимно пожимают руки, но никто не подозревал человека внизу.

Кричи, если хочется, — кто же услышит?

От усиленного курева голова Брынды наполняется какой-то тяжелой пустотой. Кто-то грузно давит на затылок. Неясные очертания разрушенной постройки за окном как-то странно осели и захлестнулись темью...

Человек вылез из ящика. И вдруг люди закричали, засуетились, замахали руками, а человек, разогнувшись, стал быстро расти ввысь, потом он поднял тяжелые руки и глубоко продохнул.

Брында почувствовал, что ему тоже стало легко и так приятно, как будто бы он после длительной, мучительной жажды выпил добрую кружку ядреного, холодного квасу.

И совсем уж тут ни к чему просунулась сквозь стекло рамы длинная, с костистыми пальцами, рука, и голос такой нехороший, обрывистый: „Гражданин милый, дай хотя на хлеб!“.

. . . .

VII.

В конце октября облака буграми вздулись, потом в них образовались дыры, и сыпалась на землю из этих дыр всякая мокрая мразь, расквасилась земля и, жалобно всхлипывая, липла к ногам.

Кисли в сырости улицы города, в окна лезла продрогшая серая печаль. Продолжалось так недели две, но в середине ноября потянуло холодом, заплясал по железным крышам ветер, с вечера повалил

снег, и всю ночь, не переставая, крутила над городом седыми космами пурга. К утру убежал ветер, пушистую белую простынь после себя оставил, по простыне, поскрипывая, катался колкий мороз.

Первым в доме торговца Авилова проснулся Брында, поглядел на окна, увидел на стеклах замысловатые вавилоны, нарисованные морозом, быстро оделся и вышел во двор.

Четыре месяца прошло с тех пор, как Брында со Стоговым живут у Егора Кузьмича.

Стогов хорошим приказчиком оказался, а Брында будто от роду домохозяином был: встанет по укоренившейся рабочей привычке с шести утра, осмотрит кладовые с добром хозяйским, приберет во дворе, выметет, вычистит и даже песочком перед окном со стороны проулка потрусит.

Егор Кузьмич Брындой доволен; ковыляя по двору, похвалит:

— Заботливый ты мужик, Иван, молодец, уважаю таких.

Брында, помахивая метелкой, молчит:

— Мы уж с тобой так, — ощеря беззубый рот, предлагает Авилов: — ты работай, а я пойду помолюсь за твое здоровье перед господом. Вот оно и выйдет—труд пополам. Ты чего молчишь-то?

— Да я что ж? Я ничего, — нехотя буркнет Брында.

— То-то ничего. Народ вы больно уж какой-то непонятный, не прощупаешь вас.

— Чего нас щупать? Щупали, было время.

— Хе, щупали? Так, так, — смеется Авилов, — то-то, гляжу я, ты и сердитый такой... Ну, ладно, пошел я. О, господи, прости наши согрешенья!

И, сгорбившись ниже обыкновенного, Егор Кузьмич, тяжело шаркая ногами, плетется в ближайшую часовенку.

Брында продолжает возиться во дворе до тех пор, пока Марфуша не позовет завтракать.

Так было в продолжение четырех месяцев. Брында с какой-то особенной ненасытью набрасывался на работу. Каждый свободный от работы час был для него томлением, похожим на то, когда человек ожидает отхода поезда. Не любил таких часов Брында и всегда удивлялся Стогову, когда тот, возвращаясь из лавки, вместе с Глафирой чему-то весело улыбался и, расхаживая по комнате или щелкая на счетах, подсчитывая выручку, пробовал шутить с товарищем:

— Ты чего нахохлился, дядя, аль по Прасковье стосковался? Говори, не таись, брат, — и, наклоняясь к уху, добавлял шепотком: — Хошь женю?

Брында редко отвечает на шутку; его злит, что вчерашний, полуголодный, безработный ткач как-то особенно легко позабыл недавнее прошлое и за все время ни разу не упомянул о фабрике, как будто бы он не работал, не был связан с фабрикой крепкой трудовой привычкой.

Стогов весел, разговорчив, прежнего Стогова не было.

— Хм! Верно, должно быть, — рассуждает Брында, припоминая свой разговор со Стоговым, — брюхо сыто, и ладно. Мало же человеку нужно.

Копаясь в прошлом, Брында натыкается на первые дни прихода к Авилову...

Хитрый старик с елейной улыбочкой и молитвенными вздохами старался доказать, что для него чистейший раззор держать двоих людей, кормить их и платить им жалованье.

Так бы, пожалуй, и ушли товарищи ни с чем, если бы не вышла сама Глафира и не увидела Стогова.

Крепкая, рослая фигура Василия, его задумчивое, красивое лицо решили многое. Глафира почувствовала, как особый приятный холодок, поднявшись глубоко из нутра, кольнул в сердце.

Подошла ближе, села.

— Вот, Глашенька! — заговорил Егор Кузьмич, пришепетывая и слюнявя, — молодцы-то, о которых Андреич говорил. Смотри ты, как?..

Глашенька в двух словах решила:

— Что ж тут рассусоливать, говорено уж. Пусть остаются, дело пойдет — жалованьем не обидим...

Четыре месяца прошло, небольшой, кажется, срок, а изменилось многое: торговля пошла, но пошло и еще кое-что...

В длинные осенние ночи, просыпаясь от старческой ломоты в костях, Егор Кузьмич, прислушиваясь к тонкоголосому нытью осеннего ветра и к потрескиванию лампады, улавливал неясные звуки, похожие на заглушенный смех, а вслед затем, через короткий промежуток, слышались слабые тягучие стоны. Казалось, что кого-то медленно тянут за больной зуб.

Авилов вздыхал, оборачивался в угол и, поднимая глаза на потускневших святителей, шептал обычное свое обращение: „Утиши, господи, страсти рабы твоей Глафиры!“.

Брында знает, какую роль играет Стогов. Не даром же Глафира Семеновна отвела ему отдельную комнатку поближе к себе, а Егора Кузьмича оттеснила в угол через кухню. И жалованьем Стогов не обижен — 80 рублей в месяц получает, новенькими червонцами; это помимо всего прочего...

Брында не завидует, нет, но ему обидно за рабочего, у которого ловкая женщина сумела вытравить все рабочее и усахарить его натуру.

— Эх, задави вас чорт! — ругался он, когда слышал, как Егор Кузьмич жаловался старой Марфе:

— Вот, Марфинька милая, времена какие пришли. Хозяин я иль не хозяин? К Глашеньке зайти боюсь, а чужой мужик... — и, не докончив, вздыхал — и-э-хо-хо!

— Что — и-э-хо-хо, — злорадствовала Марфуша по уходе Авилова. — Ишь, клещ: сам не живет и другим житья не дает. Заохал,

так тебе и надо, чортов кум, — и тут же принималась рассказывать Брынде:

— Мошенник, скажу тебе, каких свет не видал, да... И капиталы-то мошенством нажил.

— Это как же?

— А вот так: жила вдовушка одна богатенькая в Москве, Ковригина, Афросинья Павловна, ба-альшие тыщи муж ей оставил. Наш Егор-то Кузьмич и приладился к ней. Да ведь как ловко-то. Помер Ковригин, Афросинья Павловна и затосковала, от тоски по святым местам разъезжала, все по мужу молилась, за упокой души, а когда вернулась — на могилку к мужу каждый день. Сядет на скамеечку у памятника и горюет. Егор Кузьмич и подбил клинки: купец ему был известен, и пронюхал он, что вдова-то одна на могилку ходит. Хорошо, приходит Егор Кузьмич на кладбище и сейчас, значит, попу трешницу в зубы. — Отслужи-ка, говорит, панафидку на могиле купца Ковригина. Да этак раз, да другой. Поп-то нараспев, а наш-то поясные поклоны откалывает. Вот раз и застала их Афросинья Митревна за таким занятием. Полюбопытствовала: кто такой чужой человек на могиле мужа панафиды служит? Спрашивает Егора Кузьмича, а у самой слезы от умиленья. Егор Кузьмич — так и так: был, дескать, покойный Ковригин большим моим другом, не раз выручал по торговой части, долг, говорит, христианский повелевает помолиться за друга. И так это по душе пришлось Афросинье Павловне, что пригласила она его к себе на чай. С той поры и пошло. В душу влез Егор Кузьмич, месяца два вдову обхаживал, а один раз приходит к ней, с лица такой озабоченный. Афросинья Павловна забеспокоилась: „Что, говорит, вы такой, будто не в себе“, ну, он и отвечает: „Не беспокойтесь, матушка, пустяки-с. Срочные платежи, говорит, тыщь десять, а я во-время обернуться не поспел. Знаете, наше торговое дело“. Вдова-то ему и предложи: „Возьмите, говорит, у меня, — свои люди, справитесь — отдадите“. Егор-то Кузьмич поломался для видимости, а потом взял и так это из рук в руки, безо всякой расписки, значит. Ладно, взял он денежки, подержал их у себя с недельку, потом приносит ей все целиком назад и ручку целует, благодарит. Таким манером раз пяток занимал он, то десять, то двадцать тыщь, а может, и более, неизвестно.

— Так, — заинтересовался Брында, — чем же кончилось?

— А тем и кончилось, — продолжала Марфинька, — подцепил он у ней напоследок пятьдесят тыщ, да и махнул на Волгу. Вдова ждать-пождать, а его и след простыл. Ну, она в суд, туда, сюда, бумажки у ней нет никакой насчет того, что деньги одалживала, так ничего и не добилась. А Егор-то Кузьмич пошел в гору. С тех пор и живет, да богу все молится. Теперь вот боится все, как бы в чужие руки деньги не достались, а оно так и будет, недаром червонный король Глашеньке выпал.

— Это ты про какого короля еще? — удивился Брында.

— Ну, про какого, аль не знаешь? Не про тебя же, — улыбаясь, ответила Марфинька.

— Ага, так, так, — пробормотал Брында, закручивая по привычке хвостик бороды, — теперь понимаю.

Вечером, когда вернулись Стогов и Глашенька, уселись за обеденным столом рядком, весело пересмеиваясь. Брында, приглядываясь к ним, соображал: „Гм! пожалуй, верно говорит старуха, ишь, как присоседился Стогов к бабе, а про семью и позабыл".

Но Стогов не забыл про семью. Поздно ночью, после жарких объятий Глашеньки, вернулся он в свою комнату, разложил перед собой листик бумаги почтовой и, наморщив лоб, писал:

„Любезная моя, навеки нерушимая супруга Катерина Платоновна! Посылаю я вам по переводу десять червёнцев и деткам моим гостинцу особо посылкой 20 аршин ситцу. Извиняюся, что долго не писал, не хотелось посылать пустого письма. Теперь деньжонки прикопились, и сам я живу хорошо, служу приказчиком и жалование мне положено 80 рублей в месяц. Работы вдосталь с утра до вечеру, а вечером баланцы по книге, сколько выручки, так что до поздней ночи иной раз".

Стогов остановился, перебрал в уме все проведенные у Глафиры ночи, ее томительные ласки, вздохнул, поскреб в затылке и добавил:

„Хоть и трудновато мне бывает, ну, ничего, бог даст справлюсь...

А по весне меня жди, беспременно думаю приехать к вам погостить..."

VIII.

Случилась под новый год такая история.

Прибегает однажды Андрей Андреич Вяткин в растрепанных чувствах. Вечером это произошло, все дома находились, Марфинька через очки карты разглядывала и предвещала еще всем неожиданную радость. Вдруг снаружи калиткой ухнули и через минуту ввалился Андреич, пальто у него на распашку, лицо вкривь поехало. Вошел, плюхнулся на стул и завопил:

— Ограбили мошенники, без ножа зарезали!

Марфинька карты рассыпала, Брында привскочил даже.

— Где ограбили? Кто ограбил?

— Внучек мой, Сашенька с приятелем твоим, с Ефимом, — выкрикнул Андреич. Закачал головой, затеребил волосы и, отдышавшись, рассказал: — Сдружились, так сдружились — один без другого никуда, потом смотрю — попивать зачали и от работы отлынивают. Я пощунял их, будто ничего. А нынче прихожу с базара, в квартире никого, кинулся

в свою комнатушку, замок с двери сбит, все вверх дном перевернуто. Первым делом я на божницу, деньги хоронил там, сунулся рукой — пусто, так меня и ошарашило. Ах, думаю, сволочи, сволочи, — за что старика обидели?

— Много ли денег-то?—спросил Авилов, сам пальцами по батожку забегал дробно.

— Два ста рублей, — сообщил Андреич.

— В милицию их, в милицию, — по-сорочьи закричал Егор Кузьмич. — Это что такое? Честных людей грабить? Этак и меня ограбят!

Лицо его наполнилось сине-багровыми жилками, в трясущихся руках затанцовала палка.

— Ну, ты, помолчи насчет честности, — оборвала Глафира, — чего взъерошился, — может, и не они украли.

— Да-а!—неожиданно ухнул Брында. — Ну-ка, Василь!—обратился он к Стогову, зайдем к тебе.

В комнате у Стогова Брында кратко предложил:

— Выручить надо Ефима, засудят парня, наш он. Есть у меня полсотня, добавляй.

Стогов поморщился.

— Какая помога вору?

Брында побагровел, кулаки сжались, его громоздкое тяжелое тело выпрямилось, он подошел вплотную к Стогову и прохрипел:

— Товарищей забывать? Заелся.

— Ну, ну, осатанел! — попятился Василий, — возьми деньги, чорт с тобой.

Не поднимая глаза, он сунул руку в ящик стола, достал бумажник и отсчитал.

— Вот тут пятьдесят!

Через час Андреич уходил успокоенный. Брында, провожая его до калитки, говорил:

— Ефима не трожь, Андреич, за Ефима заплачено.

— До чего народ развратился: где пьют, едят — там и пакостят, — вздыхал Авилов по уходе Андреича. — А мы, бывало, жили, господи боже! Нешто так жили? За хозяйское добро как за свое дрожишь, карамельки не возьмешь без спросу, да...

Марфинька зажевала в губах насмешку и поддакнула...

— Чтò говорить, Егор Кузьмич, чтò говорить, — вот хоть бы вас взять: всю-то жизнь трудом да стараньем.

— Ты как думаешь — верно, что стараньем!..

— И я говорю: вот и домик себе нажили, — подмигнувши Ивану, продолжала Марфинька улыбчиво, — капиталом тоже господь наградил.

— Да, и наградил, — согласился старик, потом похлопал ладонью по завитушке батожка, метнул в сторону Марфиньки злым огоньком спрятавшихся за седыми бровями глаз и, уходя, загнусил что-то бо-

жественное. В досчатой перегородке долго еще вязли надоедливые тягучие звуки.

Сплюнул Брында, не сдерживаясь, сказал громко:

— На мыло бы тебя перегнать, чорта!

Марфинька хихикнула:

— Больно уж ты все к сердцу, дядя Иван, под новый-то год надо в веселости быть.

Отворила дверцу шкафа.

— Давай-ка выпьем, — не лучше ли будет? Гляди, сколько душевной радости тут к празднику закуплено!

Стояли на полках бытылки с вином; одну бутылку Марфинька на свету перед лампочкой поболтала.

— Видишь, как играет? Для старых костей бальзан, эту я спиртиком разбавила.

В два час ночи сидел Брында у стола, пил и натужно хрипел:

— В слове слаб я, тетка Марфа. Мне зло: пиявки живут на земле вроде хозяина нашего, от них порча людям. Не умею рассказать я, чего у меня здесь есть, вот здесь внутре, мне бы туда орган такой, чтоб складным голосом пел. Лишних людей на свете много, место они широко берут, а без пользы, только одно, что деньги у них, не закон это.

Марфа давно дремала, свихнув хмельную голову на бок, не слышала слов, но Ивану и не нужно было, чтобы его слушали, ему хотелось говорить. Говорил он долго, отвечая на то, что откладывалось в голове за все дни...

* * *

Два крутых зимних месяца прошло.

Вышел Брында во дворе приубрать по обыкновению. Стогов с Глафирой только что на базар ушли.

На улице здоровенный холодище стоял, хотя и к концу зимы было. Мороз вцепился ледяными зубами в распухшую от снега землю и до самого марта не разжимал крепкие челюсти.

Копошится Брында, а в калитку кто-то бряк, но войти как будто не смеет. Открыл Брында, взглянул: стоит Тулупов в рваном пиджачишке, на ногах губастые валенки ощерились, пальцы сквозят. Давно Брында не видел Ефима, ахнул.

Ефим просунулся плечом в калитку и шепчет:

— Ничего, ничего, дядя Иван, я так забежал. Ты меня пусти, отогреюсь, говорить буду. По-собачьи живу, видишь?

— Вижу, — отозвался Брында, — только ты подожди, в дом тебе не надо, хозяин тут, не любит он таких-то, мы в трактир лучше. Я сейчас денег прихвачу.

Шли они: один по-прежнему легкий, подбрасывающий себя на носках, другой — большой и тяжелый.

Встретил их базарный трактир, втиснутый среди складочных помещений, такой же облезлый, каким его рисуют на театральных декорациях, с дверью на визгливом блоке. Обшита дверь драной клеенкой, сквозь дыры клочьями торчит кошма; у порога, как войдешь, выбоина, в ней лужица; пол кирпичный с харчками и сором. Тут нет обычной в трактирах канарейки или чижа — дохнут. Низкие потолки, прокислая вонь и жирный дым махры. Все это, как двадцать, как пятьдесят, как сто лет назад.

Тулупов сразу отыскал угол, смахнул рукавом пристывшую к столу грязь, застучал железной полоскательницей и поглядел как-то боком, по-птичьи, на Брынду.

— Ну? — спросил Брында.

— Дядя Иван! — заторопился Тулупов, — ты не сердись, дядя Иван, мне бы выпить.

Брында согласился.

Руки у Тулупова тряслись, а когда он пил разбавленный спирт, край стакана стучал по зубам мелкой дробью.

Через минуту, прожевав большую щепоть кислой капусты, Тулупов улыбался Ивану приветливо и весело.

— Ну? — повторил Брында.

— Пропадаю, — ответил Тулупов.

Брында нахмурился и сердито засопел.

— Только ты не думай, я не крал, нет, я не крал, — вдруг боязливо выкрикнул Тулупов. — Андреич знает, ты это напрасно сто рублей отдавал, деньги у Сашки были, это правильно, Андреич узнал потом...

— Не про то я, — остановил Брында: — живешь где?

— Живу? — Тулупов сделал пальцем завитушку в лужице пролитого на столе пива. — А что? Я везде живу.

— Да чорт тебя, — стукнул Иван по столу. — Как это везде?

Тулупов втянул голову в плечи, поймал пивной стакан, долил его остатком спирта, глотнул, но поперхнулся и сплюнул. Утирая с бороды слюну, захмелевший и осоловелый от теплой трактирной испарины, он молча замигал на товарища.

Брында поднялся.

— Видно, ничего не скажешь?

— Скажу, дядя Иван, все скажу.

Ефим испуганно подскочил к Брынде, ловил его за руки, усаживал и, видимо, очень боялся, как бы тот не ушел.

— Ты посиди, я ведь давно тебя не видал, — бормотал он. — Ушел я от Андреича, в тот же раз ушел. Целую неделю крутили мы, водил меня Сашка по местам разным, где—не упомню, слаб я на вино. Проснулся в одном местечке, на мне вот это. — Тулупов тряхнул полами рваного пиджака. — Сашка поснимал, сам покаялся. Просить меня стал потом, когда отрезвел: „Выручи меня, Ефим, скажи на

себя, что ты деньги взял“. Зло мне: „Ах, мать твою закрути-верти, сволочь, говорю, ты перпелесовая — и хлясь ему в морду. Побежал к Андреичу рассказать, а он говорит: „Знаю, говорит, только ты уходи все-таки“. Ну, я ушел. А живу я с одними тут безработными, на въезжем.

— Та-ак, — протянул Брында, — в ночлежке, значит. С местом как, — определился, что ли? Иль совсем не работаешь?

— Не работаю, дядя Иван. Слаб я к ней вот, к выпивке этой, сердце она мне размочила, куда же меня такого-то? — Тулупов как-то по-особому перекосил губы и засмеялся робким и обиженным смешком. — Если бы раньше до этого, на фабрику.

— Эх ты, сопля! — зло выговорил Брында, — и помочь-то тебе нельзя, без пользы будет!!.

Уходя, Брында сунул Тулупову две зелененьких трешницы. На столе появились новые бутылки пива.

IX.

Месяц май отсчитывал последние дни. Из земли, разомлевшей под солнцем, вылезла наивная, еще никем не оплеванная и не затоптанная зелень.

В дни эти, веселые и радостные, пришла к Егору Кузьмичу смерть, прикинула: сколько дней прожил купчина, попеняла на себя за недосмотр, тряхнула саваном, в заплатах которого сорок сороков болезней, слег старик и через неделю умер.

Начал, после смерти Авилова, всем управлять Василий Стогов. Не поехал он к семье по весне, как обещал, где уж там от теплой, ласковой Глашеньки вырваться, да и дела торговые шире пошли, помощники потребовались Стогову. Тут вот и вспомнил Брында про Ефима Тулупова, думает: „Хорошо бы человека на ноги поставить, работу какую ни-на-есть дать“. Пошел к Андреичу порасспросить—не видел ли товарища; тот только головой покрутил и даже говорить не захотел. Потолкался Брында по рынкам Москвы, но так и не мог следов найти: исчез Тулупов, спился должно быть, решил Брында.

Затосковал, к работе еще злее стал. По дому хлопотал, товары возил, закупленные Стоговым, пластался до позднего вечера каждый день. Грызло внутри беспокойство! „Или уж не вернуться на фабрику?“ — спрашивал себя. А тут еще сытый вид купца новоявленного— Стогова — в глаза лез. Видел: народ торговый, деловой частенько захаживать начал к нему, руки у всех загребастые, жадные; разговоры волчьи. Примечает Брында: среди этих людей Стогов своим человеком оказался, и стало старому ткачу тошно. Дошел он в тоске своей до точки, когда метель в сознании закрутила сильней, скрип, незнаемый где, становился больным.

Вечером, в ночь ущербленной луны, громыхнуло внутри сердце, затопорщилось. Козырек фуражки ниже лба сдернул Иван и, не видя

улицы, пошел со двора, удивляясь быстрому бегу мостовой под своим широким шагом.

Под деревьями с ветвями, расшарашенными сильно во все стороны, проходя, услышал жалобный писк скрипки, прямо, когда поднял глаза, увидел сильный свет из окон пивной.

Место себе занял не на виду, а за выступом стены, около кадки с деревом, с печальной и тусклой зеленью.

Пил в одиночку Брында, смотрел в щель между стеной и деревом, как в оркестре женщина, раскачиваясь из стороны в сторону, с большой тяжестью, казалось, тащила по струнам смычок и оттого были крики, которых терпеть было нельзя.

Прислушиваясь и продолжая пить, Брында сделал открытие, что с каждым стаканом пива крики уходили дальше и оттуда, издали, потихоньку, пальцами невидными, прикасались к глазам, тогда глаза начинали видеть все, что дальше тяжелых стен. Так, Брында увидел себя взъерошенным, тяжелым и не по летам сильным подростком, увидел и засмеялся самому себе неслышно, мягко и тепло. Припомнил свою гордость, знал, что эта гордость оттого, что идет он под фабричные гудки вместе с тысячами других рабочих и, слушая гул ног, оглядывался по сторонам и все порывался крикнуть: „Вот мы какие, уйди лучше, все равно раздавим“, даже домá будто бы отбегали в сторону, дорога казалась широкой, такой, по которой можно и хочется далеко без останова итти.

Не замечает Брында, шепчет про себя:

-- Ах, Ванька, Ванька! ведь это же какое счастье тебе привалило быть в одной семье. Даже сейчас этот парень неугомонный кричит по-прежнему в нем.

Возвращаясь, неторопливо шел по улицам Брында. Эта самая ущербленная луна елозила по облакам взбитым, как перина черного лебяжьего пуха. Брында ничего не замечал, ему дойти бы и лечь спать с радостью счастья давешнего подростка.

Это прошло сразу, как только он встретился со Стоговым. Выйдя к нему, тот сказал коротко и еще так насмешливо свысока:

— Не шуми тут, нализался, люди спят.

Мальчик свернулся внутри тоскливо и спрятался.

— А ты, ты уйди, сволочь! — отчаянно и зло крикнул Брында.

Стогов не понял, должно быть, и тоже закричал, чувствуя в крике Брынды непередаваемое презрение к себе.

Женщины — Глафира и Марфа — учуяли беду, но, прибежавши, помочь не могли. Брында свернул Стогова пополам и тыкал его лицом об пол, не замечая, как у того хлещет носом кровь.

С перебоем и хрипом рвалась из груди злоба:

— Сволочь! шкура! продался сытой суке...

Очухался Иван Брында, когда в вагоне очутился, возвращаясь в родной фабричный городок.

В голове лежала муть, как будто бы захлебнулся человек тяжелым банным угаром.

„Стогов как раз был, пожалуй, не при чем, — думал Брында, — так, только под руку подвернулся, не надо было лезть".

В ту же ночь, сунув немудрящий свой багажишко в мешок, ушел со двора Авилова.

Провожая за ворота, сказала, жалеючи, Марфинька:

— Прощевай, дядя Иван, лихом не поминай нас. Хороший человек ты, а с захлесткой.

— Конечно, Марфа. Какой есть уж, чего там, меня не переделаешь, это уж нет, не успокоишь...

— Место свое отыщи, спокойствие будет.

Перебросил мешок за плечами, твердо сказал:

— Отыщу.

Улицами, с гулкой пустотой раннего утра, медленно тащился он к вокзалу, перебирая заново в Москве прожитые дни. Колотилась тупой болью тоска, что и здесь не нашлось ему места в рабочей семье.

Сытая жизнь у Авилова, триста рублей, сбереженные за время работы у купца, — все это и многое другое отдал бы Брында за то, чтобы опять, поднимаясь с шести утра, итти знакомой дорогой, по которой ходил слишком тридцать лет, подчиняясь зову гудков.

Жизнь насмешливо ощерила зубы на тоску Брынды, и он не понимал, отчего много пустых щелей образовалось в ней.

Повисла над городом утренняя красная полоса, ширилась, ползла медленно кверху, а когда Брында стал отъезжать, за полосой показалось солнце и, ударив в окна вагона, засмеялось Ивану в лицо.

Что-то сразу подтаяло в груди и хорошим теплом поплыло внутрь...

X.

Прасковья занималась стиркой, и ей было очень тяжело жить Об Иване же, как уехал, ни слуху — ни духу. Получала Стогова, Василья жена, письма от мужа; только в письмах этих о Брынде хоть бы что, и тревожилась Прасковья, не сгиб ли? В тревоге зиму и весну прожила.

Время к летней поре подошло, тогда же и загудели фабрики, по утрам улицы гукали от тяжелого топота ног.

Приходили к Прасковье из фабричного комитета, первой государственной, товарищи. Спрашивали: „Куда Брында девался?". Как мастер хороший и работник старательный, надобен был.

Прасковья к сыну:

— Напиши-ка, Гриша, письмо Ивану.

— Адрес где?

— На Москву пиши. Ивану, мол, Брынде в собственные руки. В какой уж улице-то, вот и позабыла. Да ты пиши.

— Нельзя без адреса, — уперся Гришка.

— Пиши, знай. На Василья пошлем, передаст.

Пошмурыгал Гришка носом, попотел над письмом, зато обо всем написал, о голубях даже упомянул и был письмом своим доволен.

Отправила Прасковья письмо на другой день утром, а поздно ночью приехал Иван Брында. Встретила его Прасковья, засовалась, забегала с радости.

— А мы тебе письмо на Москву, а ты — вот он, здесь уж. Ну, как, совсем ли?

— Совсем, Прасковья, совсем. Не нашлось мне места в Москве, да... Умаялся я, устал.

— Не заболел ли? — забеспокоилась Прасковья.

— Кто ё знат, может и заболел, — ответил Брында, раздеваясь. — Ты не того, ничего мне не надо, — заметил он, когде Прасковья взялась за самовар. — Отдохну я, потом уж.

* * *

По утру жирным дымом высоких труб чертили в небе замысловатые узоры, пробужденные от долгой спячки, фабрики. Рявкнули гудки. Брында вскочил, подбежал к окну, разбудил Прасковью.

— Гудят, Прасковьюшка, гудят ведь.

— Эка, — отозвалась Прасковья, — третью неделю гудят... Да ты чего? — поднялась она испуганно, увидев, как громоздкое тело Брынды, навалившись на подоконник, тряслось и дергалось с клокотом и хрипом и нельзя было понять — плачет он или смеется!

Гудки горланили оглушительным хором: Нн-ыы-и-и-ууу.

В лихорадке.

Два дня трещала голова
И сердце тявкало, как моська,
И надоедные слова
Отскакивали от мозга.

Туманились мои глаза...
Не разглядев, кто пред глазами,
Я озабоченно сказал
Себе же в зеркало: — Я занят!
Я занят, не ходи за мной!
Под Новый Год не надо дела!

И еле приволок домой
Шарахающееся тело.

...А все-таки вы неправы,
Противные ступени!
Но вот, зачем хотите вы
Подбить мои колени?

Пять с половиной этажей...
Ой, как теплом пахнуло.
Не оторвать спины моей
От стула.

Как дома хорошо теперь.
Я, видно, скован ленью.
В тебя влюблен я, — о, поверь! —
Центральное
Отопленье!

Как трубы-то накалены.
Жар дует, пышет, рыщет...
Боюсь: расплавятся штаны
При эдакой жарище.

Гряди же, двадцать пятый год,
Ты обольешься пòтом...

...Какой в башке переворот!..

Все кажется, что вдруг придет
Мурлыкающий синий кот
И пропоет по нотам,
Не оперным, не лиги НОТ, —
Чичеринским! Красивым!
А то и тезисы загнет
Пропколлективам...

Как? Что? Когда? Какой вопрос?
Буза в башке и в мире!

— ...Как милый мальчик мой подрос..

А все-таки —
Какой мороз!
Как холодно в квартире!

Вот этого я не видал:
Сгустились ведь чернила!
Замерзла на окне вода,
И кровь моя застыла.

О, где я? Знаю. Там бои.
Донбасс наш отбивают...

Вдруг
Вижу:
Ноги мои
Валенками обрастают.
Руку я поднял —
В варежке рука.
Тело мое в полушубок зарылось.

Где-то лежит остаток пайка:
Хлеба —
Осьмушка на рыло...

Холодно! Холодно! Видно, сейчас
Вовсе лишусь осязанья.
Только надежды нам,
Что на Донбасс,
Ну, а Донбасс-то
Деникиным занят.

. . . .

Что это стало с моей головой?
Мы ведь Донбасс-то взяли!

Завтра работаем всей братвой
На Павелецком вокзале.

Мы отработаем тысячу дён
Силами Красной Пресни.
Завтра,
Первого Мая,
Идем
На всероссийский воскресник.

. . . .

Какой мороз! Вдали видна
Голов живая стая.
Труба-то как накалена!
Жарища-то какая!

Кого вчера я поминал?
Никак мне не забыть их.
В башке кружатся имена,
И люди, и событья.

. . . .

Хлопнула дверь.
Эй, хват чудной!
Кто ты на самом деле?

Гляжу: сидит передо мной
Сам Пугачев Емеля.

— Эге! — затылок поскребя,
Сказал я тут
И сжался.
— На митинге я про тебя
Еще вчера трепался.

Прошло сто пятьдесят с тех пор,
Как во цари полез ты...
Ну, юбиляру не в укор,
Что получил он лишь топор
Об эфто само место.

Ты был бузилой для крестьян,
Для Катерины — громом.
А вот у нас бы ты, братан,
Был батькой красных партизан
Иль предволисполкомом.

А Пушкин-то вас оболгал?
Такой... историк вроде.

Емеля рявкает: — Булга!
Дворянское отродье!

Ему ль понять, что ведь не зря
Тогда я — в горло кляп-тё! —
Был шкуро наряжен в царя,
А сердце с телом — в лапти.

В порфире я сподручней был,
Но царь мой, — Ванька Лапоть, —
Меня бы в чорта нарядил,
Чтоб только землю сцапать.

Я мог бы Катьку забодать,
Но плавали мелко мы...
Эх, мне пол-Сталина бы дать,
Да пару сот краскомов!..

. . . .

Ночь тянет к мыслям невода.
...Кто лупит мне в затылок!?.
Замерзла на окне вода,
И кровь моя застыла.

. . . .

А! Это вас я вчера обелял,
Вымыслы вражьи развеяв?
Здравствуй, новешенький наш юбиляр,
Здравствуй,
Товарищ Рылеев!

Нынче, видать, навестить мою лень
Ходят слова мои в гости.
Эх, на воскреснике, завтрашний день,
Хрустнут разрухины кости!

Хрустнут,
Хрястнут,
Задребезжат. .

Кто-то мне к сердцу — дуло.

. . . .

Вот он, —
Год великого рубежа!
Пятым Годом подуло.

Зарева! Зарева! Что ж? Поглядим.
Эй, господа, горячо вам?

Это усадьбы пускает в дым
Фирма
„Наследники Пугачева".

Первый Совет и гремит и шумит...
Грянул „Потемкин", зардеяв...
А, вы расстреляны, путаник Шмидт?
Вы —
Наш последний Рылеев.

Кровь. Баррикады... Пятый Год!
Сеятель — ты! Мы — колосья.

Все-таки выполз ты, синий кот?
Просим, товарищ, просим!

Видишь: вон там, на снегу, где заря,
Годы вождя сковали.
Вызрел он в крови
Девятого Января,
Вызрел
Из прохоровских развалин.

Вот кем он создан, Советский стан.
Мы — всей земле бузотеры...

. . . .

И в М. Г. У. бузотеры есть...
Там
Снова дискусия скоро...

. . . .

Какой мороз! Вдали видна
Голов живая стая,
Жжет сердце дума ли одна,
Жарища ли такая?!

. . . .

О, что же делать мне со мной?
Что делать мне, мой край заводский?
Хочу сказать: „любимый мой",
А выговариваю: „Троцкий".

Сух мозг! — пускай глаза мокры...
И пусть он человекофакел, —
Сух мозг! — и я его покрыл
Позавчера еще
В рабфаке.

Пусть горечь проползла змеей...
Но нет! Мы никогда не хнычем!
Никто нам не затмит ее,
Компартию,
Своим величьем.

Как ни высок язык костра,
Не быть костром ему вовеки!
Для партии, — костра всех стран, —
Не пожалеть о человеке.
„Как с вашим сердцем и умом
Быть чувства мелкого рабом
Хотя б минуточку...“

К чему я?
Что это мне взбрело на ум?
Иль вспомнил думу я немую,
Одну из горьких дум?

Вчера недаром токарь Веков
Сказал нам, стоя у станка:
— Умей смирять от человека
И рòстить от большевика.

. . . .

Как много льда, о, нет, огня
В моем усталом теле!
Кто это, кто несет меня
К постели?

Нет, доктор, это вы в бреду.
У вас с рассудком ссора.
Ну, как я на доклад пойду
С температурой сорок?

Эх, я опять вошел бы в раж,
Но сердце утомилось.
Не доктор нужен мне, а врач!
От-ставить вашу милость!

Пожалуй, так недалеко
До полного скандала...

Но почему же так легко,
Так радостно мне стало!

Я не совсем осоловел.
Я все ведь понимаю.
Лежит рука на голове —
И теплая такая.

То солнышко под пиджаком
Уселось у постели!
О, если б все мы так, как он,
Прищуриться умели!

Насквозь все видели бы мы.
Нет! Взор ты отдал детям,
Вот нам, бунтующим весь мир,
Чтоб лучше овладеть им.

Ты засмеялся? Не жалей.
Тебя мы чтим не словом.

...Ушли два пальца за жилет,
Потом — в карманы снова...

Родимый! Я скажу, любя:
Ну, как же без тебя-то!
Я не согласен без тебя
И также все ребята.

Но все ж мы отмахали год...
Несется время люто.
Ты выслушаешь мой отчет?
Так слушай же: — Валюта...

. . . .
. . . .
. . . .

Какая радость! В сердце тишь.
Все крепче, крепче тело.
Прошел уж час, а ты сидишь?
Тебе не надоело?

Я продолжаю: — По селу
Стремились вновь и снова
Пустить по нашему руслу
Поток от Пугачева.

Производительность труда...
Ну, ладно, все как будто.
А знаешь? Так ведь никогда
Не бегали минуты.

Не холодно? Задвинь болты.
А то накройся шалью...
Серьезен весь, но весел ты?
Так, значит, не сплошали?

О, поцелуй твой как горит...
Ильич! Ильич! Родимый!
Ту руку, что вот здесь лежит,
Все чуем на груди мы.

Тверда она иль дрогнет вдруг, —
Почувствуем мы сразу.
Нет пары Ильичевских рук,
Есть Ильичевский разум.

И пусть тяжел наш путь прямой,
Мы выполним заданье.
Я засыпаю... Милый мой!
Родимый! До свиданья...

. . . .
. . . .
. . . .

Комната. Стены. Потолок.
Не было? Было? Не знаю.
Здорово я изнемог!
Эх, усталость какая...

Солнце зовет в окне...
Буду еще железней...
Все-таки жалко мне,
О, как мне жалко болезни!

Вру я. Часы не стоят.
Столько пропущено дней ведь!
Должен был делать доклад
Позавчера, в девять.

Где ты, здоровье? Дружок,
Тело скорее согрей-ка!
Эх, пропустил кружок...
Эх, не попал на ячейку...

Несется время. Нет весов,
Чтоб взвесить мысли и заботы.
Нам сутки — двадцать шесть часов,
И каждый час
Работа.

Ильич! Мне снова хорошо.
Я подкреплюсь немного —
И стану вновь на путь, где шел,
И с теми вновь, с кем раньше шел,
И вновь пойду я так, как шел,—
И путь мой будет и тяжел
И легок.

А. Безыменский.

* * *

Здравствуй, здравствуй, мой город родной!
Друг на друга а ну поглядимся.
Что ж не радуешь думы хмельной
Твоего молодого родимца?

Дымной гонкой стальных поездов,
Знать, любовь мне походку сломала:
Так и клонится шопот шагов
К отдаленному шуму вокзала.

Где ж ты, трезвый закал головы?
Взвеял ветер — и чудится шагу,
Что втянулись и стены Москвы
В дорогую ростовскую тягу.

И, мутя свой московский покров,
Словно вздумав пуститься в прогулки,
Выпрямляются — и на Ростов
Устремляются переулки.

И, как будто качаясь с вина,
Покатились и улицы сами.
Это издали, значит, она
Поманила столицу глазами.

Я иду, и о ней на пути
Мне пространства шумят, как шарманки...
— Не уйти, ах, никак не уйти
От твоей черноглазой приманки!

Василий Казин.

Селькор Цыганок.

Поэма.

Промокла степь. На шею и на плечи
Закапало с соломенных ворот.
Осенний дождь запутанные речи
До тёмного над избами ведет.

Молчит гармонь. Сидят по избам девки.
Докучный дождь зашлепал тут и там.
Осенний ветер будто для издевки
В дороге бьет по мокрым лошадям.

Под скрип колес не дремлется, не спится.
Блеснул огонь, изба — из-за бугра.
Как будто бы соломенная птица
Среди пустого темного двора.

Но пролетела и она бесшумно.
Опять—черно, и дождь со всех сторон:
На огонек, на риги и на гумна,
На мельницу и на пустой загон.

Еще темны дорожные ухабы,
Вокруг — седая вѐтренная гать.
Но дождь прошел, и уж давно пора бы
Веселой зорькой полю заиграть.

Шинель промокла до костей, до тряса.
Заныло где-то глубоко в груди:
Сам по жене соскучился не к часу,
Да и жена соскучилась, поди!

Зовут её веселым часом — Зорька,
Его — по деду! — кличут Цыганком.

Пушатся дни в избе полынью горькой,
Зеленым луком, да сухим репьём.

Нужда да горе Зорьку одолели,
Плечо в заплатах, ноги в худобе.
И плачут в дождь перед окошком ели,
Как Зорька плачет по своей судьбе.

Стареет Зорька, сохнет по ненастью.
Сердит и хмур кудрявый Цыганок.
Мужичья жизнь — без радости и счастья,
Мужичье счастье — горький полынок!

Одна утеха — разбитная дочка,
Два года ей минуло с Петрова.
Ни валенок, ни платья, ни платочка,
Растет, как в поле на меже трава.

В селе и браги, и ковриг немало,
Едят и пьют, и полной чашей дом.
От браги весел председатель Чалый,
Нос в бороде румянится грибком.

Вишнёвым садом расцветает счастье,
Как вишня — взятка просится в карман.
А бражный дух и при Советской власти
Стоит над полем, как сухой туман.

Живет тепло, форсит шинелью серой
Иван Капуста — милицейский чин.
Околыш красный, и суров не в меру,
Усишки вверх, а рожа — чистый блин!

Заводит дружбу с толком и с расчетом,
Где щи жирны, туда Капуста вхож.
Недаром в доме Чалых по субботам
Идет веселый под гармонь кутёж.

В закрытых окнах песни голосили,
Мутились брагой чашка и стакан.
Играла кровь и сытость в каждой жиле,
Гармоникой звенел ночной туман.

Ржаная знать перепилась на славу,
Тут даже бабы на пол полегли.
Вот где она — тяжелая отрава,
Зловещий сон, осенний сон земли!

Стал Цыганок задумчив поневоле.
В избе-читальне он сидит в углу
И, позабыв о книге, смотрит в поле
На частый дождь и на сырую мглу.

«Кому тут можно рассказать тревогу,
Худую жизнь, беспутную тоску?
Советскую, веселую дорогу
Сокрыл туман, и жутко мужику.

Ночей бессонных кануло не мало.
Глядел на жизнь и плакал Цыганок.
И для уездной „Правды" написал он
Десятка два густых корявых строк:

Председатель — вечно пьян,
Из зажиточных крестьян.

Самогон — в любом углу,
Взятка ходит по селу.

Милицейский чин — Иван
Тоже — сволочь, тоже — пьян.

Поп Акакий — веру гнет,
В бога верует народ.

Школы нет, а Комсомол
В моду тоже не вошел.

Что тут делать, как тут быть:
Подыхать аль волком выть?

Нашлёпал всласть. Послал тайком в газету,
Терпеть и плакать — до каких же пор?
Ждет Цыганок, проснется до рассвета,
Бесшумно выйдет на осенний двор.

Сияют звезды. Кочет на нашесте,
Зарю почуяв, кукурекнет в гать.
Прошла неделя, а от „Правды" вести
До сей поры и слыхом не слыхать.

Но вот однажды председатель Чалый,
Брюхат и рыж, приземист и сутул,
Ворвался в избу, печка задрожала,
И на столе газету развернул.

— Твоих рук дело? — Цыганок с тревогой
Прочел статью и вымолвил: — Моих! —
Сознался враз, и председатель строгий
Пропал, как призрак, в сумерках ночных.

Читали дружно пахари газету.
Прослыл в селе героем Цыганок;
Враги решили сжить его со света,
Идет молва, клубится шепоток.

Земли ему нарезали — похуже,
Обидели и лесом, и травой.
И злая петля все тесней и туже —
Над Цыганком и над его семьей.

В осенний день не справился с налогом:
Свели силком конягу со двора.
Казалось: смерть по всем большим дорогам
Из-за кустов грозится до утра.

Убить хотят, пошли деревней толки,
Но был всегда бесстрашен Цыганок.
В глухом лесу от взбешенного волка
Спасаться надо во-время и в срок!

Пошел к соседу, вымолил конягу,
Собрался ночью, да и в город — шасть.
Выл ветер полем, лесом и оврагом,
И дождь костил и заплетался в снасть.

В газете речь, как поле, шелестела.
Очкастый поднял уши к потолку.
Прислушивался к пашне пожелтелой,
К лесной деревне, к желтому листку.

Бумагу дали, шлёпнули печатью:
Оберегать до срока Цыганка.
— Оберегать! — ведь этакое счастье
Упало вдруг на долю мужика.

Свернул бумагу, спрятал, и под вечер
В обратный путь пустился Цыганок.
Осенний дождь пронизывает плечи,
Сечёт дорогу вдоль и поперёк.

Два дня прошло, как Цыганок из дому,
Вся голь ржаная прямо заждалась.

— Не может быть, чтобы житью лихому
Советская не подсобила власть!

Проехал тьму, и мельницу проехал,
Знакомый хутор, вётлы над прудом.
Заря над лесом — красная прореха,
Заря—прорехой, синева — крылом.

В кармане—дочке спрятанный подарок,
В разводах ситец, и жене платок.
Взбодрил конягу легоньким ударом,
Взмахнул кнутом и свистнул Цыганок.

Чернеют избы. Огоньки — как искры.
— Ну, вот и дома! — куст пролепетал.
Вдруг — бац! — из ветёл прокатился выстрел,
И — Цыганка убили наповал.

Коняга вздрогнул, растерял колёса,
Пришел во двор один, без Цыганка.
Над мокрым полем луч мелькнул раскосо,
И солнышко забрезжило слегка.

Нашли его под вётлами, в трясине,
На грудь ему упала Зорька тут.
А через день на городской машине
По жниве темной понаехал суд.

Судили долго, сухо, без задора.
И присудили шайку за разбой,
За смертный час кудрявого селькора,
Тем — каторгой, а этим — головой!

Ржаная голь туманится без друга,
В избушке — Зорька — вечной сиротой.
Но долго будут в добрый час досуга
Звенеть поля о жизни прожитой.

Не сгинет память в сельском Комсомоле,
Гармонь да песня — пахарю венок.
И будет жить в ржаном советском поле
Из века в век, как песня, Цыганок!

Петр Орешин.

Ленинское.

Колонна — к колонне. За рядом—ряд.
Песни, звучите бодрей!
Пусть каждый шаг и каждый взгляд
Равняется на мавзолей.

И мысль, и огонь в сердце простом,
И каждый поклон головы
Стремится сквозь чащи, моря, простор —
На Красную площадь Москвы.

Сегодня,
В шеренге траурных чисел,
У машины и у борозды
Легче понять величавый смысл
Пятиконечной звезды!

И солнцу легче над миром плыть,
Рассказывая вдали, —
Как мертвое сердце может быть
Сердцем живым земли!..

И, если поровну небосклон
Всюду прольет рассвет, —
Станут не больше, чем страшный сон,
Слова — что: Ленина нет...

Пусть партия скажет: на бой иди,
Чтоб вырвать мир из оков, —
Сердце ответит значком на груди:
Ленинцем быть готов!..

Колонна — к колонне! за рядом ряд
Песни, звучите бодрей!
Пусть каждый шаг и каждый взгляд
Равняется на мавзолей!..

Александр Жаров.

Глаза.

Так работы много вокруг, —
У рабочего ж пара ненужных рук.

Злой старухой гнилая река
Шамкала на этажи;
Та аллея бульвара, как петля, узка;
Эти рельсы—тупые ножи.

И далекую вспомнив семью,
На бульварную сел скамью.

Необычен ли был, иль шутя
Солнце путалось в козырьке, —
Улыбнулось соседу дитя,
На холеной качаясь руке.

И в ребячьи глаза — глаза
Из-под пыльного картуза.

Были в грузных, в запалых мглой
Голодовка, дороги, труд;
В голубых, в ребячьих—покой,
Голубая степь поутру.

Вздрогнул, задыхаясь, хрипя:
— Так давно не ласкал ребят...

Вспомнил: степь и у темных хат
Вот такая же синева...
Теребил малютка клочья заплат,
Как заплаты, года волновал.

Вспомнил: степь и голодный шлях,
Меркнущую синь у сына в глазах...

И рукою, грубою, как руда,
И ладонью, земли темней и теплей,

Тихо, как сердце степная звезда,
Тронул лен ребячьих кудрей.

И блуждала улыбка, хрипя
— Так давно не ласкал ребят...

Только — над этою синевой
Вдруг безглазое, как яйцо,
Чье-то злое иное лицо
Встало желтой и злой стеной.

Вспомнил: что он—одинок и чужд,
Что лохмат и грязен, как этот куст.

Есть слова острее плетей...
И побрел он, шатаяся, прочь.
Будет всех ночей тяжелей
Эта в нарах ночлежных ночь.

Следом смолк ребячий плач,
Скрипку настраивал бульварный скрипач.

Солнце на самый верхний этаж,
Ветер, темнея, стих под кустом.
Копошилась обида одна и та ж
В сердце маленьком и большом.

С. Обрадович.

Мимоходом.

Случалось: муторно и тяжко,
Когда не в радость и весна,
Ее зеленая рубашка
И облака нежней руна.

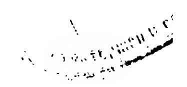
Идешь и, голову понурив,
Махнуть рукой на все готов.
Как будто не было той бури,—
Неповторяемых годов.

Когда скребком железным плесень
Выпалывал в душе любой
Под рев и крик мятежных песен,
Нас подмывавших в новый бой...

И вдруг, над улицей нежданно
Прольется труб высоких медь,
Чтобы, пропев о славе бранной,
За переулком замереть.

Прохожий скажет: „Знаменитый...
Буденновцев проехал полк“.
Но улица в тот миг забыта
И даже звон трамвайный смолк.

По замирающему звуку,
Слепую радость не тая,
Туда протягиваю руку,
Где, может быть, бывал и я.



И, возвратясь походкой вешней
В каморку темную свою,
Не о тебе ли, край лемешный,
Не замечая, запою.

Потом, один за долгий вечер,
Взгрустнув о плуге, бороне,
Твержу не раз: чудно мы лечим
Себя в советской стороне.

В. Наседкин.

Возвращение.

Я, гражданин, поэт и воин,
За все, что в бурях перенес,
Сегодня снова удостоен
Увидеть жизнь родных полос.

И вот я вновь далеким болен,
Заслышав благовест садов
И, проходя знакомым полем,
Запеть и зарыдать готов.

В моем краю, в моем вишневом,
В полях такая благодать,
Что никаким бессмертным словом
Нельзя, что видишь, передать.

Здесь сини дни, здесь душны ночи,
Здесь май на голубя похож,
Здесь в каждой хате, если хочешь,
И мед, и яблоко найдешь.

Здесь летом целыми верстами
Цветут баштаны по полям,
Здесь над плугами и серпами
И труд, и песня — пополам.

Цветут сады, щебечут птахи,
Дымятся жлукта у реки,
У парней вышиты рубахи
У девок — ленты и венки.

По вечерам под вербой шаткой,
Где пруд и месяц и уют,
Дерут гармонь, кичась присядкой,
Кричат, целуются, поют.

И в знойный полдень воскресенья,
Окончив свой домашний труд,
Потолковать собравшись, семьи
На бревнах семечки грызут.

У старой вербы, у порога ль
Над каждым садом и селом
Все так же бьется вещий гоголь
Слегка надломленным крылом.

А ведь недавно злобным ревом
Встречались вечер и восход,
Недавно людям и коровам
Внушал тревогу пулемет.

Недавно, днями и ночами
Горели хата, тын и стог,
И без голов и с головами
Валялись люди у дорог.

Недавно сон в пути лелея,
Остановившись у ворот,
Не знал ты, кто тебя пригреет
И кто, пригрев, потом убьет...

И вот теперь — как прежде — снова
Цветут баштаны по полям,
И на развалинах былого
И труд, и песни — пополам.

И пусть быкам лишь снятся ясли,
Пусть у людей сгорел порог,
Мой светлый край, я все же счастлив,
Что ты хоть душу приберег.

Ив. Приблудный.

* * *

На погосте у часовни
Революция идет.
— Го-о-о! Чабана в атаманы!
Пусть Чабан! — гудит народ.

На селе — молва, тревога,
За селом — черна гора,
За горой пожаром косит
Голубые хутора...

День сгорает, синий, талый,
Пахнет сумрак во садах.
Ходит белая орда
Забирать сады и землю...

Сход окончен. В ружья—пули.
— На коней! — в сухую мглу.
— Гей, прощайте, ждите волю,
Сторожите по селу!..

Стало тихо. Слепнут хаты.
Долгий день уходит прочь...
. . . .
. . . .

Вечер.
Ночь.

Геннадий Коренев.

Налет.

До курных хат недалеко,
И кони ладно пропотели;
Буран кудлатым кулаком
Мотал и ежил ели.
И брал на грудь буранный гул
Сосняк глухой и древний,
И псом, испуганным в снегу,
Карежилась деревня...

Полковник вырос над лукой.
— Закладывай патроны.
И каждый скованной рукой
Тугой курок потрогал.
И застонал оконный звон —
Обезумевший вдрызг.
Всю ночь казачий конный взвод
Дырявил шкуры изб...
И никогда, как в тот восход,
Под розовевшим небом
У проруби багровый лед
Таким багровым — не был!..

Нагайка кинула коня.
Буран опять напевней.
На дыбе дымного огня
Шаталася деревня.

Иосиф Уткин.

Жребий.

Холомей и Терентий — брательники. Старость
Засорила их волосы светлой ковылью,
Убрала во-свояси радельниц хозяек,
Бобылями заставила жизнь коротать.
Холомей побогаче Терентия будет:
У него и корова, и лошадь, и пчельник.
У Терентия телка, две ярки и боров —
И на это имение надобен глаз.
На конце, у оврага — вдова Апросинья.
(Муж по осени прошлой зачах от поносу.)
Когда был Холомей холостым, с Апросиньей
Он три года играл. Не просватал отец.
А теперь-то какая откуда помеха?
Наложил в черепушку медку и в субботу
Постучался в окошко. — Здорово! — Здорово!
Разговоры какие: — Согласна? — Ну к что ж!..
А на утро Терентий другою дорогой
По задам, закоулкам пришел к Апросинье.
— Ты не льстись на меды, на корову, на лошадь,
Знаешь — он человек немудрой, скупердяй.
— А мне что? Кто скорей лигистрацию справит,
За того и пойду. — Ну, смотри, без обману. —
Вечерком Холомей собирается в гости,
А Терентий уж там, ложкой черпает мед.
Тук, тук, тук. Обомлел. Но по-братски решили —
Не сердиться, а кинуть на счастие жребий.
Из чилижного веника дернули прутик,
Жербеёчки готовы. — Терентий, тяни!
Потянул — без нарезки, пустой: не таланит.
Холомей улыбнулся. Терентий оделся.
Каждый день Холомей носит мед Апросинье.
Скоро свадьба. У всех разговоры о том.

Родион Акульшин.

Расстрел лейтенанта Шмидта.

Есть на Черном жуткий остров Березань:
Оковала его моря бирюза, —
Око вала поглядело и назад
Потемневшее хотело убежать.

Но туман, опережая, задрожал,
Дрожь и слезы синю валу передал:
— Ты хотела, ты просила, моря даль,
Показать вождя казнимого в глаза.

Снялся стаей серых чаек злой туман,
День сказал ему: — Гляди теперь туда,
Где за далью прогремело два раза:
Там стоят четыре мачты мятежа...

Не гремит барабан ему в спину,
Не звенят поясные кандалы, —
На расстрел на рассвете выводили:
Залп за залпом замер за морем вдали...

Залп за залпом простучали и опять
Повторились где-то в море миль на пять.
Волны лопастями звякнули: „Копать!".
Эта бухта, как могила, глубока.

Чтобы век над нею плакать морякам,
Облака теперь в глаза тебе летят,
Облака глаза в слезах обледенят
Над могилою твоею, лейтенант...

Градом грохнет гром зарядов раз-за-раз,
Барабаня: „Где вы взяли тот наряд?..".
Зарядили, отступили шаг назад,
Скулы сжали, — ничего не говорят...

Только солнце побежало по столбам —
Поспешало на пальбу не опоздать,
Да туман ему ресницы застилал,
Да во лбу еще пылала глаз звезда,

Да сорочка надувалась, как бизань,
Ждал он взмаха. Моря запахом дышал.
Скоро, скоро там лопаты отзвенят,
Станут чайки вас ночами навещать.

Даже волны повязали алый бант,
Чтобы Шмидта в колыбели колыбать,
Даже волны волновались за тебя,
Даже волны заливали берега.

— Где вождь бури? Или умер ты за нас,
Красногрудый черноморский лейтенант?..
Каждой полночью вздымаются моря,
Над пучиною качая якоря.

— Подо мною, — отвечает Березань, —
Сквозь песок горят расстрелянных глаза,
Ночью в море за звездой летит звезда:
Ясных глаз им не посмели завязать...

А в потемках шел „Потемкин" на Дунай,
Залпов слава за Дунаем отдана,
И за залпом откатился алый вал,
Лавой бросив синегубых запевал.

И теперь не разыскать, не рассказать:
Был привязан за столбами лейтенант —
Сто солдат столбы срубали и ушли,
И на острове не стало ни души.

Он положен по-морскому под брезент,
Чтоб песок морской очей тех не сгрызал.
И „Очаков" выплывает по ночам,
Чтоб в могиле лейтенант о нем молчал.

Он молчит: не воскресают люди вновь.
Смерть легла кольцом полярных красных льдов.
И в арктическом затворе тихо спит
Черным морем откомандовавший Шмидт.

Дм. Петровский.

Неопубликованная статья В. И. Ленина.

Поучительные речи.

Известный ренегат г. Изгоев, который был социал-демократом до пятого года и быстро «поумнел»... до правого либерала после 17 октября, нередко уделяет свое благосклонное внимание социал-демократии в главном органе «октябристского» или контр-революционного либерализма—«Русской Мысли».

Рабочим, которые хотят вполне разобраться в серьезных вопросах рабочей политики, можно только порекомендовать статью г-на Изгоева в последней, июньской, книжке «Русской Мысли» за текущий год.

Полезно подумать и подумать над теми восторженными хвалами ликвидаторской идеологии и тактике, т.-е. именно коренными принципами ликвидаторства, которые обильно расточает г. Изгоев. Либералы не могут не хвалить принципов и тактики либеральных рабочих политиков!

Полезно подумать и подумать над самостоятельными тактическими рассуждениями всецело сочувствующего ликвидаторам г-на Изгоева, который все же прошел «марксистскую начальную школу» и понимает необходимость искать серьезных корней серьезной борьбы партийцев с ликвидаторами.

Мы должны ограничиться здесь, к сожалению, самыми краткими цитатами из поучительной статьи г-на Изгоева и самыми небольшими, неполными пояснениями этих цитат.

Успехи большевизма, по мнению г. Изгоева, зависят «от степени надежды на мирное развитие России в конституционном направлении хотя бы германского типа. Ведь вот в Германии оказалась же невозможной монархическая конституция со свободами, без усиленных охран, с широким развитием рабочей с.-д. партии. Возможна она в России или нет? По мере того, как гнется в ту или иную сторону коромысло, подымаются или опускаются шансы ликвидаторов и большевиков»...

... «Если напору реакции не будет положен предел, если конституционных сил России окажется недостаточно для мирного государственного преобразования, то большевизм, несомненно, будет победителем и загонит ликвидаторов в задний угол». А сам г. Изгоев считает большевиков анархистами, ликвидаторов же—«истинными социал-демократами», вполне разумно выки-

дывающими два первые пункта большевистской платформы и заменяющими их свободой коалиции!!

«Пройдет буря, — пишет г. Изгоев, — наступит время положительной работы, и ликвидаторы снова (!!?) станут во главе рабочего класса». Таковы мечты г-на Изгоева. Ликвидаторская тактика будет-де великолепна, когда «пройдет буря»... А вот его «мысли о тактике»:

«Если поглубже вдуматься в большевистскую тактику, то придется признать, что она построена на убеждении, что борьба в России за монархическую конституцию... (многоточие г-на Изгоева) закончена 3 июня. Дальше идет борьба, быть может, за непосредственную или последовательную демократию, но иной конституции, кроме третьеиюньской, при кардинальной русской исторической основе, быть не может. Русские конституционалисты могут рассчитывать только на конституцию без свобод, а с исключительными положениями. Мы считаем большевистскую точку зрения, хотя полярно противоположную, но родственную черносотенной, ошибочною и политически вредною. В содержательности, однако, ей отказать нельзя. Продолжительное бессилие русских конституционалистов дать стране гарантии правового строя может в будущем и оправдать большевистский пессимизм. Пока же он, как правильно отметил «Луч»... (ну, еще бы!) ведет лишь к смешению с полуанархическими элементами...» (следуют у захлебывающегося от восторга перед «Лучем» г-на Изгоева цитаты из ликвидаторских статей).

Пессимизмом вообще г. Изгоев называет пессимизм насчет помещиков и буржуазии. Не связан ли неразрывной связью такой «пессимизм» с оптимизмом насчет пролетариата в первую голову, а затем и трудящихся мелко-буржуазных масс, об этом г. Изгоев боится подумать. Как же ему не бояться?

Курьезнее всего в этих поцелуях, расточаемых ренегатом ликвидаторам, поучительнее всего в этих речах либерала — то, что он, целиком сочувствуя ликвидаторами, не решается отказать большевистской тактике в содержательности. Он — сторонник «мирного» развития и ликвидаторского оппортунизма, не может отнюдь обещать победы именно такому развитию. Он — бешеный враг большевизма, осыпающий нас тысячами ругательств (анархисты, бланкисты, занимающиеся самовосхвалением и пр. и т. п.), он, нежный друг ликвидаторов, вынужден признать, что большевизм победит, если «конституционных сил в России окажется недостаточно» (т.-е. если их окажется столько же, сколько теперь...).

Очень сердитый, хорошо знающий социал-демократические дела, но не очень сообразительный г. Изгоев не заметил, что всеми этими рассуждениями... [1]) да и снял фиговый листок с г.г. Ф. Д., Л. С., Ежова, Ларина, Мартова, Потресова и К°.

Благодарим, душевно благодарим вас, сердитый на большевиков г. Изгоев! Правда глаза колет. И вы нечаянно выкололи глаза своим друзьям-

---

[1]) В рукописи пропуск.

ликвидаторам. Вы их так «нежно» обнимаете, что душите их в своих об'ятиях.

Еще несколько слов об одном чисто историческом вопросе. Почему в Германии «оказалась возможной» именно такая конституция, которая более французской нравится контр-революционному либерализму? Только потому, сердитый, но несообразительный г. Изгоев, что эта конституция оказалась равнодействующей стремлений Бисмарка и либералов, боявшихся свобод для рабочих, и стремлений рабочих, которые добивались и в сороковых, и в пятидесятых, и в шестидесятых годах полнейшей демократизации Германии. Рабочие Германии тогда оказались слабы. Поэтому Бисмарк и прусские либералы наполовину победили. Если бы рабочие Германии были посильнее, Бисмарк победил бы на четверть. Если бы они были еще сильнее, Бисмарк вовсе бы не победил. Германия получила свободы, несмотря на Бисмарка, несмотря на прусских либералов, только благодаря настойчивым и упорным стремлениям рабочего класса (отчасти и демократии мелко-буржуазной, но в очень небольшой части) к полнейшей демократизации.

Ничего не понимаете, г. Изгоев? Не понимаете, что история оправдала и для Германии «большевистскую» тактику? Поменьше сердитесь на большевиков, поменьше «нежничайте» с ликвидаторами, — тогда, может быть, еще поймете.

В. И.
(или без подписи).

P. S. Если не подойдет, оч(ень) прошу отдать в «Просвещ(ение)». По-моему, лучше бы фельетоном в «Правду».

Воспоминания о В. И. Ленине [1].

(1901—1902).

Н. К. Крупская.

Хотя и Владимир Ильич, и Мартов, и Потресов поехали за границу по легальным паспортам, но в Мюнхене было решено жить по чужим паспортам, вдали от русской колонии, чтобы не проваливать приезжающих из России работников и легче отправлять нелегальную литературу в Россию в чемоданах, письмах и пр.

Когда я приехала в Мюнхен, Владимир Ильич жил без прописки у этого самого Ритмейера, назывался Мейером. Хотя Ритмейер и был содержателем пивной, но был социал-демократом и укрывал Владимира Ильича в своей квартире. Комнатушка у Владимира Ильича была плохенькая, жил он на холостяцкую ногу, обедал у какой-то немки, которая угощала его Mehlspeise [2]: Утром и вечером пил чай из жестяной кружки, которую сам тщательно мыл и вешал на гвоздь около крана.

Вид у него был озабоченный, все налаживалось не так быстро, как хотелось. В то время в Мюнхене, кроме Владимира Ильича, жили Мартов, Потресов и Засулич. Плеханову и Аксельроду хотелось, чтобы газета выходила где-нибудь в Швейцарии, под их непосредственным руководством. Они, в первое время и Засулич, не придавали особого значения «Искре», совершенно недооценивали той организаторской роли, которую она могла сыграть и сыграла, — их гораздо больше интересовала «Заря».

— Глупая ваша «Искра», — говорила вначале шутя Вера Ивановна.

Это, конечно, была шутка, но в ней сквозила известная недооценка всего предприятия. Владимир Ильич думал, что надо, чтобы «Искра» была в стороне от эмигрантского центра, чтобы она была законспирирована, что имело громадное значение для сношений с Россией, для переписки, для приездов. Старики готовы были видеть в этом нежелание перенести газету в Швейцарию, нежелание руководства, желание вести какую-то свою линию, и не торопились

---

[1]) Печатаемый отрывок представляет собою отдельную главу из воспоминаний Надежды Константиновны Крупской, в скором времени выходящих в издании Института Ленина.

[2]) Мучное блюдо.

особенно помогать. Владимир Ильич это чувствовал и нервничал. К группе «Освобождение Труда» у него было совсем особенное чувство. Я не говорю уже про Плеханова, он относился влюбленно и к Аксельроду и к Засулич.

— Вот ты увидишь Веру Ивановну, — сказал мне Владимир Ильич в первый вечер моего приезда в Мюнхен, — это кристально-чистый человек.

Да, это была правда.

Вера Ивановна одна из группы «освобождение Труда» встала близко к «Искре». Она жила вместе с нами в Мюнхене и в Лондоне, жила жизнью редакции «Искры», ее радостями и горестями, жила вестями из России.

— А «Искра»-то важная становится, — шутила она по мере того, как росло и ширилось влияние «Искры». Вера Ивановна рассказывала не раз про долгие холодные годы эмиграции. Мы никогда такой эмиграции, как Группа «Освобождение Труда», не знавали — у нас все время были самые тесные связи с Россией, постоянно к нам приезжали оттуда люди. Мы жили в эмиграции в гораздо лучших условиях по части осведомленности, чем в каком-либо губернском городе, жили исключительно интересами русской работы, дело в России шло на под'ем, рабочее движение росло. Группа «Освобождение Труда» жила от России оторванно, жила за-границей в годы глухой реакции — заезжий из России студент был уже целым событием, но заезжать опасались.

Когда к ним в начале 90-х годов заехали Классон и Коробка, их тотчас же по возвращении вызвали в жандармское, спрашивали, зачем ездили к Плеханову? Слежка была организована образцово. Из всех членов группы «Освобождение Труда» Вера Ивановна чувствовала себя наиболее одиноко. У Плеханова и Аксельрода были все же семьи. Вера Ивановна говорила не раз в своем одиночестве:

— Близких никого нет у меня, — и тотчас старалась прикрывать горечь своих переживаний шуточкой: — Ну, вот вы меня любите, я знаю, а когда умру, разве что одной чашкой чаю меньше выпьете.

Потребность же в семье у нее была громадная — может быть, потому, что выросла она в чужой семье, была на положении «воспитанницы». Надо было только видеть, как любовно она возилась с беленьким малышом, сынишкой Димки (сестры П. Г. Смидовича). Даже хозяйственность Вера Ивановна проявляла, заботливо покупала провизию в те дни, когда была ее очередь варить обед в коммуне (в Лондоне Вера Ивановна, Мартов и Алексеев жили коммуной). Впрочем, мало кто догадывался о семейственных и хозяйственных склонностях Веры Ивановны. Жила она по-нигилистячему — одевалась небрежно, курила без конца, в комнате ее царил невероятный беспорядок, убирать своей комнаты она никому не разрешала. Кормилась довольно фантастически. Помню, как она раз жарила себе мясо на керосинке, остригала от него кусочки ножницами и ела.

— Когда я жила в Англии, — рассказывала она, — выдумали меня английские дамы разговорами занимать: «Вы сколько времени мясо жарите?» — «Как придется, — отвечаю, — если есть хочется, минут десять жарю, а не хочется есть — часа три». Ну, они и отстали.

Когда Вера Ивановна писала, она запиралась в своей комнате и питалась одним крепким черным кофе.

По России Вера Ивановна тосковала страшно. Кажется, в 1898 году она ездила нелегально в Россию — не на работу, а так. «Хоть мужика посмотреть, какой у него нос стал». И вот, когда стала выходить «Искра», она почувствовала, что это кусок русской работы, она судорожно за нее держалась. Для нее уйти из «Искры» — значило опять оторваться от России, опять начать тонуть в мертвой, тянущей ко дну эмигрантщине.

Вот почему, когда на втором с'езде встал вопрос о редакции «Искры», она возмутилась. Для нее это был не вопрос самолюбия, — это был вопрос жизни и смерти.

В пятом году она поехала в Россию и там осталась.

На втором с'езде Вера Ивановна в первый раз в жизни пошла против Плеханова. С Плехановым ее соединяли долгие годы совместной борьбы, она видела, какую громадную роль он играл в деле направления революционного движения в правильное русло, ценила его, как основоположника русской социал-демократии, ценила его ум, блестящий талант. Самое незначительное несогласие с Плехановым страшно волновало ее, но в данном случае она не пошла с Плехановым.

Судьба Плеханова трагична. В области теории его заслуги перед рабочим движением чрезвычайно велики, но годы эмиграции не прошли для него даром, они оторвали его от русской действительности. Широкое массовое рабочее движение возникло в то время, как он уже был за границей. Он видел представителей различных партий, писателей, студентов, даже отдельных рабочих, но русской рабочей массы он не видел, с ней не работал, ее не чувствовал. Бывало, придет какая-нибудь корреспонденция из России, которая поднимает завесу над новыми формами движения, заставляет почувствовать перспективы движения, Владимир Ильич, Мартов и даже Вера Ивановна читают и перечитывают ее, Владимир Ильич потом долго шагает по комнате, вечером не может заснуть. Когда мы переехали в Женеву, я пробовала показывать Плеханову корреспонденции и письма, и удивляло меня, как он на них реагировал, точно почву он под ногами терял, недоверие у него какое-то появлялось на лице, никогда не говорил он потом об этих письмах и корреспонденциях.

Особенно недоверчиво как-то стал он относиться к письмам из России после II-го с'езда.

Меня это вначале даже обижало как-то, а потом стала думать, что это вот от чего.

Давно он уже уехал из России, и не было у него того мерила, вырабатываемого опытом, которое дает возможность определить удельный вес каждой корреспонденции, читать многое между строк.

Приезжали часто в «Искру» рабочие, каждый, конечно, хотел повидать Плеханова. Попасть к Плеханову было гораздо труднее, чем к нам или Мартову, но даже если рабочий попадал к Плеханову, он уходил от него со смешанным чувством. Его поражал блестящий ум Плеханова, его знания, его

остроумие, но как-то оказывалось, что, уходя от Плеханова, рабочий чувствовал лишь громадное расстояние между собой и этим блестящим теоретиком, но о своем заветном, о том, о чем он хотел рассказать, с ним посоветоваться, — он так и не смог поговорить.

А если рабочий не соглашался с Плехановым, пробовал изложить свое мнение, Плеханов начинал раздражаться:

— Еще ваши папеньки и маменьки под столом ходили, когда я...

Вероятно, в первые годы эмиграции это не так было, но к началу 900-х годов Плеханов потерял уже непосредственное ощущение России. В 1905 году он в Россию не ездил.

Павел Борисович Аксельрод в гораздо большей степени, чем Плеханов и Засулич, был организатором. На нем больше всего лежало общение с приезжими, там они больше всего проводили времени, там их поили, кормили. Павел Борисович подробно их обо всем расспрашивал.

Он вел переписку с Россией, знал конспиративные способы сношений. Ну, как мог себя чувствовать в долгие годы эмиграции в Швейцарии русский организатор-революционер, можно себе представить. Павел Борисович на три четверти потерял работоспособность, он не спал ночей напролет, писал с чрезвычайным напряжением, месяцами будучи не в состоянии окончить начатой статьи, почерк его было почти невозможно разобрать, так нервно он писал.

Почерк Аксельрода производил на Владимира Ильича всегда сильное впечатление. «Вот дойдешь до такого состояния, как Аксельрод, — не раз говорил Владимир Ильич, — ведь это просто ужас один». О почерке Аксельрода он не раз говорил с доктором Крамером, который лечил его во время его последней болезни. Когда Владимир Ильич первый раз ездил за границу, об организационных вопросах он больше всего толковал с Аксельродом. Об Аксельроде он много рассказывал мне, когда я приехала в Мюнхен. О том, что делает теперь Аксельрод, он спрашивал меня — указывая на фамилию Аксельрода в газете — тогда, когда сам уже не только не мог писать, но и сказать ни слова.

П. Б. Аксельрод особенно болезненно относился к тому, что «Искра» издается не в Швейцарии и что поток сношений с Россией идет не через него. Потому так бешено относился он к вопросу о тройке на II с'езде. «Искра» будет организационным центром, а он отстраняется от редакции. И это тогда, когда на втором с'езде больше чем когда-либо почувствовалось дыхание России.

Когда я приехала в Мюнхен, из группы «Освобождение Труда» там жила только Засулич под чужим именем — по какому-то болгарскому паспорту, звалась Великой Дмитриевной.

По болгарским паспортам должны были жить и все остальные. До моего приезда Владимир Ильич жил просто без паспорта. Когда я приехала, взяли паспорт какого-то болгарина, д-ра Иорданова, вписали туда ему жену Марицу, и поселились в комнате, нанятой по об'явлению в рабочей семье. До меня секретарем «Искры» была Инна Гермогеновна Смидович-Леман,

также жившая по болгарскому паспорту и звавшаяся Димкой. Владимир Ильич, когда я приехала, рассказал, что он провел, что секретарем «Искры» буду я, когда приеду. Это, конечно, означало, что связи с Россией будут вестись все под самым тесным контролем Владимира Ильича. Мартов и Потресов тогда ничего не имели против этого, а группа «Освобождение Труда» не имела своего кандидата, да и не придавала в то время «Искре» особого значения. Владимир Ильич рассказывал, что ему это было не очень ловко делать, но он считал, что для дела это необходимо. Работы сейчас же навалилась масса. Дело было организовано так: письма из России посылались на различные города Германии по адресам немецких товарищей, а те все пересылали на адрес доктора Лемана, который все уже пересылал нам.

Незадолго перед тем вышла целая история. В России для брошюр удалось, наконец, наладить в Кишиневе типографию, и заведующий типографией Аким (брат Либера — Гольдман) выслал на адрес Лемана подушку с зашитыми в середину экземплярами вышедшей в России брошюры. Удивленный Леман в недоумении отказался на почте от подушки, но когда наши это узнали и забили тревогу, подушку он получил и сказал, что теперь будет принимать все, что на его имя придет, — хоть целый поезд.

Транспорта для перевозки «Искры» в Россию еще не было. «Искра» перевозилась, главным образом, в чемоданах с двойным дном с разными попутчиками, которые отвозили в Россию эти чемоданы в условленное место, на явки.

Была такая явка в Пскове у Лепешинских, была в Киеве, еще где-то. Русские товарищи, вынув литературу из чемодана, передавали ее организации. Транспорт только что налаживался через латышей Ролау и Скубика.

На все это тратилось не мало времени. Его уходило также очень много на всякие переговоры, из которых потом ничего не выходило.

Помню, как с неделю, кажется, ушло на переговоры с каким-то типом, который хотел завязывать связи с контрабандистами, путешествуя по границе с фотографическим инструментом, каковой мы должны были ему купить.

Была переписка с агентами «Искры» в Берлине, Париже, Швейцарии, Бельгии. Они помогали, чем могли, отыскивая соглашающихся брать чемоданы, добывая деньги, связи, адреса и т. д.

В октябре 1901 г. образовалась из сочувствующих групп так называемая «Заграничная Лига русской революционной социал-демократии».

Связи с Россией очень быстро росли. Одним из самых активных корреспондентов «Искры» был питерский рабочий Бабушкин, с которым Владимир Ильич виделся перед от'ездом из России и сговорился о корреспондировании. Он присылал массу корреспонденций из Орехова-Зуева, Владимира, Гуся-Хрустального, Иваново-Вознесенска, Кохмы, Кинешмы.

Он постоянно об'езжал эти места и укреплял связи с ними. Писали из Питера, Москвы, с Урала, с Юга. Вели переписку с Северным Союзом. Скоро приехал из Иваново-Вознесенска представитель Союза — Носков. Более российского типа трудно было себе представить. Голубоглазое блонди-

чистое лицо, немного сутулый, он говорил на «о». Приехал он за границу с узелком договориться обо всем. Его дядюшка, мелкий фабрикант в Иваново-Вознесенске, дал ему денег на поездку за границу, чтобы только избавиться от беспокойного племянника, которого то забирали в каталажку, то обыскивали. Борис Николаевич (от природы он назывался Владимиром Александровичем, а это была его кличка) был хорошим практиком. Я его встречала еще в Уфе, когда он заезжал туда проездом в Екатеринбург. За границу он приехал за «связями». Собирание связей было его профессией. Помню, как он, усевшись на плиту в нашей узенькой мюнхенской кухне, с блестящими глазами рассказывал нам о работе Северного Союза. Рассказывая, страшно увлекался. Владимир Ильич своими вопросами только подливал масла в огонь. Борис пока жил за границей — завел тетрадь, куда тщательно записывал все связи. Где кто живет, что делает, чем может быть полезен. Потом оставил нам эти связи. Это был своеобразный поэт-организатор. Впрочем, слишком идеализировал людей и работу и не было у него уменья бесстрашно смотреть действительности в глаза. После II с'езда он был примиренцем, а потом как-то сошел с политической сцены. В годы реакции он покончил с собой.

Приезжали в Мюнхен и другие.

Еще до моего приезда был в Мюнхене Струве. С ним дело в это время шло уже на разрыв. Он переходил в это время из стана социал-демократии в стан либералов. В последний приезд с ним было резкое столкновение. Вера Ивановнаподшила ему прозвище «подкованный теленок». Владимир Ильич и Плеханов ставили над ним крест. Вера Иванона считала, что он еще не безнадежен. Ее и Потресова звали в шутку «Struve freundliche Partei» [1]).

Приезжал Струве второй раз, когда я уже была в Мюнхене. Владимир Ильич отказался его видеть. Я ходила видеться со Струве на квартире у Веры Ивановны. Свидание было очень тяжелое. Струве был страшно обижен. Пахнуло какой-то тяжелой достоевщиной. Он говорил о том, что его считают ренегатом и еще что-то в том же роде, издевался над собой. Сейчас я уж не помню того, что он говорил,—помню только то тяжелое чувство, с каким я шла с этого свиданья. Было ясно, что это чужой и враждебной партии человек. Владимир Ильич был прав. Потом с кем-то, не помню уж с кем, жена Струве, Нина Александровна, прислала привет и коробку мармеладу. Она была бессильна, да и вряд ли понимала, куда повертывает Петр Бернгардович. Он-то понимал.

Поселились мы после моего приезда у немки. У них была большая семья — человек шесть. Все они жили в кухне и маленькой комнатешке. Но чистота была страшная, детишки ходили чистенькие, вежливые. Я решила, что надо перевести Владимира Ильича на домашнюю кормежку, завела стряпню. Готовила на хозяйской кухне, но приготовлять надо было все у себя в комнате. Старалась как можно меньше греметь, так как Владимир

[1]) Дружественная Струве партия.

Ильич в это время начал уже писать «Что делать?». Когда он писал, он ходил обычно быстро из угла в угол и шопотком говорил то, что собирался писать. Я уже приспособилась к этому времени к его манере работать. Когда он писал, ни о чем уж с ним не говорила, ни о чем не спрашивала. Потом, на прогулке он рассказывал, что он пишет, о чем думает. Это стало для него такой же потребностью, как шопотком проговорить себе статью прежде, чем ее написать. Бродили мы по окрестностям Мюнхена весьма усердно, выбирая места подичее, где меньше народу.

Через месяц перебрались на собственную квартиру, в предместье Мюнхена — «Швабинг», в один из многочисленных, только что отстроенных больших домов.

Завели «обстановочку» (при от'езде продали ее всю за 12 марок) и зажили по-своему.

В начале первого — после обеда — приходил Мартов, подходили и другие, шло так называемое заседание «редакции». Мартов говорил, не переставая, при чем постоянно перескакивал с одной темы на другую. Он массу читал, откуда-то узнавал всегда целую кучу новостей, знал всех и вся. «Мартов—типичный журналист,—говорил про него не раз Владимир Ильич,— он чрезвычайно талантлив, все как-то хватает налету, страшно впечатлителен, но ко всему легко относится». Для «Искры» Мартов был прямо незаменим. Владимир Ильич страшно уставал от этих ежедневных 5—6 часовых разговоров, делался от них совершенно болен, неработоспособен. Раз он попросил меня сходить к Мартову и попросить его не ходить к нам. Условились, что я буду ходить к Мартову, рассказывать ему о получаемых письмах, договариваться с ним. Из этого, однако, ничего не вышло, через два дня дело пошло по-старому. Мартов не мог жить без этих разговоров. После нас он шел с Верой Ивановной, Димкой, Блюменфельдом [1]) в кафе, где они просиживали целыми часами.

Потом приехал Дан с женой и детьми. Мартов стал проводить у них целые дни.

В октябре все мы ездили из Мюнхена в Цюрих «об'единиться» с «Рабочим Делом». Об'единения никакого не вышло. Акимов, Кричевский и др. договорились до белых слонов. Мартов страшно горячился, выступая против рабочедельцев, даже галстук с себя сорвал, я первый раз видела его таким. Плеханов блистал остроумием... Составляли резолюцию о невозможности об'единения. Деревянным голосом прочел ее на конференции Дан. «Папский нунций», — бросили ему противники.

Этот раскол пережит был совсем безболезненно. Мартов, Ленин не работали вместе с «Рабочим Делом», в сущности, разрыва не было, потому что не было совместной работы. Плеханов же был в отличном настроении, ибо

---

[1]) Блюменфельд набирал „Искру" сначала в Лейпциге, потом в Мюнхене в немецких социал-демократических типографиях. Он был отличным наборщиком и хорошим товарищем. К делу относился горячо. Он очень любил Веру Ивановну, всегда очень заботился о ней. С Плехановым он не ладил. Это был товарищ, на которого можно было вполне положиться. За что возьмется — сделает.

противник, с которым ему приходилось так много бороться, был положен на обе лопатки. Плеханов был весел и разговорчив.

Жили мы в одном отеле, кормились вместе, и время прошло как-то особенно хорошо.

Только иногда чуть капельку проскальзывала разница в подходах к некоторым вопросам. Запомнился один разговор. В кафе, в котором мы сидели, рядом с нашей комнатой был гимнастический зал, как раз там шло упражнение в фехтовании. Рабочие с картонными щитами сражались, скрещивая картонные мечи. Плеханов посмеялся: «Вот и мы в будущем строе будем так сражаться». Когда мы возвращались домой, я шла с Аксельродом — он продолжая развивать тему, задетую Плехановым: «В будущем строе будет смертельная скука, никакой борьбы не будет».

В то время я еще была до дикости застенчива и ничего не сказала, но помню, как-то обиделась за будущий строй.

Вернувшись из Цюриха, Владимир Ильич засел за окончание «Что делать?». После меньшевики яростно нападали на «Что делать?», но в то время оно всех захватило, особенно тех, кто ближе стоял к русской работе. Вся брошюра была страстным призывом к организации; она набрасывала широкий план организации, в которой каждый мог найти себе место, мог сделаться винтиком революционной машины,—винтиком, без которого не может пойти работа, как бы мал он ни был. Брошюра звала к упорной, неустанной работе над созданием того фундамента, который был нужен для того, чтобы при тогдашних русских условиях могла существовать партия не на словах, а на деле. Нельзя социал-демократу бояться долгой работы, надо работать, работать не покладая рук, быть всегда готовыми на все, начиная от спасенья чести, престижа и преемственности партии в момент наибольшего революционного «угнетения» и кончая подготовкой, назначением и проведением всенародного вооруженного восстания.

Двадцать два года прошло с тех пор, как написана эта брошюра — и каких двадцать два года! — в корне изменились все условия работы партии, совсем новые задачи стоят перед рабочим движением, а и сейчас захватывает революционный пафос этой брошюры и сейчас надо изучать эту брошюру тому, кто хочет не на словах, а на деле быть ленинцем.

Если «Друзья народа» имели громадное значение для определения пути, по которому должно итти революционное движение, то «Что делать?» определяло план широкой революционной работы, указывало определенное дело.

Ясно было, что с'езд партии еще преждевременен, что нет еще предпосылок для того, чтобы он не повис в воздухе, как повис первый с'езд, что нужна длительная подготовительная работа. Поэтому никто не отнесся серьезно к попытке созыва Бундом с'езда в Белостоке. От «Искры» поехал туда Дан, захватив чемодан, между стенками которого было набито «Что делать?». Белостокский с'езд превратился в конференцию.

«Искра» работала во-всю. Ее влияние росло.

Готовилась к с'езду программа партии. Для обсуждения ее приехали в Мюнхен Плеханов и Аксельрод. Плеханов нападал на некоторые места на-

броска программы, сделанного Лениным. Вера Ивановна не во всем была согласна с Лениным, но не была согласна до конца и с Плехановым. Аксельрод соглашался тоже кое в чем с Лениным. Заседание было тяжелое. Вера Ивановна хотела возражать Плеханову, но тот принял неприступный вид и, скрестив руки, так глядел на нее, что Вера Ивановна совсем запуталась. Дело дошло до голосования. Перед голосованием Аксельрод, соглашавшийся в данном вопросе с Лениным, заявил, что у него разболелась голова и он хочет прогуляться.

Владимир Ильич ужасно волновался. Так нельзя работать. Какое же это деловое обсуждение!

Необходимость построить работу на деловых основах, так, чтобы не привносился в нее личный элемент, чтобы капризы, исторически сложившиеся личные отношения не влияли на решения, — вставала во весь рост. Владимир Ильич крайне болезненно относился ко всякой размолвке с Плехановым, не спал ночи, нервничал. А Плеханов сердился, дулся.

Прочитав статью Владимира Ильича к четвертому номеру «Зари», Плеханов вернул ее Вере Ивановне с примечаниями на полях, вылив в них всю свою досаду. Владимир Ильич, увидав их, совершенно выбился из колеи, заметался.

К этому времени выяснилось, что печатать «Искру» в Мюнхене далее невозможно, владелец типографии не хотел рисковать. Надо было выбираться. Куда? Плеханов и Аксельрод стояли за Швейцарию, остальные — понюхав атмосферы, развернувшейся на заседании при обсуждении программы — голосовали за Лондон.

Мама поехала на лето в Россию, а мы стали собираться.

Этот мюнхенский период вспоминался нам после, как какой-то светлый период. Последующие годы эмиграции переживались куда тяжелее. В мюнхенский период не было еще такой глубокой трещины в личных отношениях между Владимиром Ильичем, Мартовым, Потресовым и Засулич. Все силы сосредоточились на одной цели—создании общерусской газеты, интенсивно шло собирание сил около «Искры» и ощущение роста организации. Осознание того, что путь к воссозданию партии намечен правильно, было у всех.

Поэтому можно было не внешне, а от всей души веселиться на карнавале, возможно было то исключительно жизнерадостное настроение, которое было всеобщим при поездке в Цюрих и т. д.

Местная жизнь не привлекала нашего особенного внимания. Мы наблюдали ее со стороны. Бывали иногда на собраниях, но в общем они были мало интересны. Помню празднование 1 мая. В том году в первый раз немецкой социал-демократии разрешено было устроить шествие, но с тем, чтобы не скопляться в городе, а устроить празднество за городом.

И вот довольно большие колонны немецких социал-демократов, с женами и детьми и редьками в карманах, молча очень быстрым шагом прошли по городу — пить пиво в загородном ресторане. Этот «Maifeier» [1]) не на-

[1]) Майский праздник.

поминал совершенно демонстрации во имя торжества рабочего класса во всем мире.

Так как мы соблюдали сугубую конспирацию, то совершенно не виделись с немецкими товарищами. Встречались только с Парвусом, жившим неподалеку от нас в Швабинге с женой и сынишкой. Однажды приезжала к нему Роза Люксембург, и Владимир Ильич ходил тогда повидаться с ней.. Тогда Парвус занимал очень левую позицию, сотрудничал в «Искре», интересовался русскими делами.

В Лондон мы ехали через Льеж. В то время там жил Николай Леонидович Мещеряков с женой, мои старые приятели по воскресной школе. В те времена, когда я его знала, он был еще народовольцем, но он первый ввел меня в нелегальную работу, первый обучал правилам конспирации и помог мне сделаться социал-демократкой, усердно снабжая меня заграничными изданиями группы «Освобождение Труда».

Теперь он был социал-демократом, давно уже жил в Бельгии, прекрасно знал местное движение, и мы решили по дороге заехать к ним.

В это время в Льеже как раз было громадное возбуждение. За несколько дней перед тем войска стреляли в бастовавших рабочих. Заметно было, как волнуются рабочие кварталы, по лицам рабочих, по кучкам стоявших людей. Ходили мы смотреть Народный дом. Он стоит в очень неудобном месте, толпу легко запереть на площади перед домом, как в ловушке. Рабочие тянулись к Народному дому. И вот, чтобы предупредить скопление там народа, партийные верхи назначали собрания по всем рабочим кварталам. И мелькало недоверие к бельгийским вождям социал-демократии. Получалось какое-то разделение труда: одни стреляют в толпу, другие ищут предлога ее успокоить.

Смерть и похороны Владимира Ильича.

(По личным воспоминаниям.)

Влад. Бонч-Бруевич.

Вечером сильно нездоровилось. Пришлось лечь в постель. Тоскливо и тяжело. Опять болезнь. И болен не я один. Больны многие. Стала хворать старая гвардия. Утомились. Издерганы силы, слабеют нервы, надо лечиться, чтобы жить и работать — ведь враг еще у дверей...

Неожиданно резкий звонок кремлевского коммутатора слышу в полузабытье. Кто-то вошел. Это дочь моя.

— Тебя Лев Борисович зовет к телефону.

Вскочил. Иду.

— В чем дело?

— Приходите к Зиновьеву на квартиру.

— Сейчас?

— Сейчас. Оденьтесь потеплей.

— Что такое?

Быстро оделся.

Спешу почему-то...

Вошел.

Дзержинский, Сталин, Зиновьев, Каменев, Калинин — спокойны, как всегда выдержанны, почти не говорят, — кто сидит, кто ходит. Разговоров не слышно.

Здороваюсь.

— Подите-ка сюда, Владимир Дмитриевич, — отзывает меня Лев Борисович в соседнюю комнату.

Иду. Вскинул глубокие глаза, в упор посмотрел:

— Владимир Ильич скончался...

Что-то хлопнуло по голове, закружилось и застонало в сердце. Горло сжало клещами. Подступает что-то.

— Что это? Слезы? — пронеслось в сознании.

— Коммунисты не плачут! — отозвалось сердце.

— Да, да, коммунисты не плачут. Сюда, вся сила воли!.. Сюда, стальные тиски желаний!.. Сюда, вся крепость нервов, закаленных в борьбе!..

— Коммунисты не плачут!.

— Его уже нет... Он умер... Умер... умер...

Вошли ко всем.

И все тихо. Говорят еле слышно... Ходят медленно, плавно, осторожно.

Тишина.

Задумались.

— Надо ехать...

— Надо делать...

— Возьмите на себя организовать поездку. Составьте вопросы о том, что̀ надо делать. Мы там обсудим... Вызовите кого нужно, — сказал мне т. Сталин, побледневший, но твердый, неприступный, внешне спокойный.

Я написал ряд предложений. С ними согласились.

— Мы поедем на автосанях, — сказал Л. Б. Каменев, — я, Зиновьев, Сталин, Калинин, — вы, все остальные, — экстренным поездом.

Я вызвал тов. Курского, как наркома юстиции.

Уехали сани.

Мы двинулись, вместе с Н. А. Семашко и докторами, на вокзал.

На вокзале печальное оживление. Все что-то чувствуют, шепчутся. Легкой походкой в военной форме идет тов. Ф. Э. Дзержинский. Ему рапортует, как комиссару путей сообщения, железнодорожное начальство. Начальник отряда ГПУ — своему шефу.

Поезд в два вагона готов.

В вагоне Анна Ильинишна и Дмитрий Ильич, сестра и брат Владимира Ильича, — убитые горем, подавленные.

Вошли. Народу довольно много. Сели. Молчат. Говорят шопотом. Все встревожены. Недоумевают. Не знают...

— Бухарин звонил... Кричал в телефон... Крайне взволнован...

— Народ еще не знает...

— Прощайте! Я остаюсь в Москве, — сказал Дзержинский. — Телефон вам мой известен. Лучше всего по вертушке...

И он вышел.

Тотчас же раздался свисток. Загудел, заскрипел паровоз, и мы тронулись...

Морозно.. Крепчает... Окна заиндевели... Луна окружена таинственным радужным кругом...

Все тихо...

Редко кто проронит слово.

Светила медицинской русской науки устраивают первое совещание. Н. А. Семашко ставит вопросы о вскрытии, бальзамировании, замораживании. Тут же ищут ответы и записывают их.

Вскрытие. Бальзамирование. Замораживание...

Да ведь он умер! Умер! Умер!

Вот тише и тише...

Остановились. Станция... Выходим. Лошади готовы. Кучера, выехавшие навстречу, — молчат. Все знают, зачем приехали, — но ни слова. Не едем, а летим. Белым саваном об'ятые деревни спят глубоким сном.

Они еще не знают, что того, кто жизнь свою готов был всегда отдать за благо и счастье... его уже нет... он мертв.

Они еще не знают, что то сердце, которое страстно билось за счастье, за долю, за радость всех угнетенных, остановилось, захолонуло и более уже не откликнется ни на их стоны, ни на их радостные клики, ни на их призывы к борьбе.

Его уже нет... Он мертв...

Они еще не знают, что заутро завтра, как только проснутся люди для нового труда, разнесется повсюду от края до края всего мира, печальная весть о кончине международного вождя пролетариата, борца за угнетенных всего мира... Всюду и везде, все народы, на всех языках, вознесут ему хвалу и славу, и слезы, и честь, и рыдания...

Его уже нет... Он мертв...

И мы, живые, мчимся туда, к нему, скорей, скорей... Полями, еще и еще поворот, прекрасной аллеей, полной чарующей зимней прелести, на горку и... к дому, к парадному под'езду. Что это? Черно-красная перевязь уже увила колоннаду старинного дома, мешаясь с зеленью хвои, чьей-то заботливой рукой уже разбросанной, поставленной, увитой, здесь, кругом и всюду. Так осиротевшие хотят хоть чем-нибудь выразить свою тоску по отошедшему... Везде толпятся люди, бесцельно ходят, бродят, передвигаются, жмутся друг к другу и не хотят уйти, не хотят оставаться одни...

Автосани еще не приехали...

Мы разделись внизу в передней и медленно, робко и боязно, стали подниматься наверх... Вот она лестница, по которой любил передвигаться Владимир Ильич во время своей болезни... Вот они вторые перильца, полстроенные под обыкновенными, дабы его парализованная рука, плохо поднимавшаяся кверху, могла бы придерживаться за них... Мы идем, не торопясь, со ступеньки на ступеньку, все ближе и ближе туда к нему, где только что он жил, где его уже нет в живых, где он уже мертв...

Входим в полусветлую комнату, озаренную огнями из прилегающих окон и дверей, и прямо встречааем Надежду Константиновну... Она спокойна, немного больше чем обыкновенно подвижна, она не плачет, — коммунисты не плачут! — но вся воплощенная скорбь... Невольно, от сердца к сердцу, рвется стремление выразить всю глубину бездонного горя... Какими словами, чем можно сказать ей хоть что-нибудь?.. И мы молча припадаем к ее рукам, как к любящим рукам матери... И она, — суровая и строгая, — не отталкивает нас. Она знает, она чувствует своим широким любвеобильным сердцем, своей чуткой и родной нам душой, что ее горе, — безмерное и несравнимое, — наше горе, горе наших сердец, вопль наших испепеленных душ...

Молчание... Тишина... Слов нет, их нет и нет...

— Не верьте, что он умер... Он жив... Он дышит... — чуть слышно, еле внятно шепчет Надежда Константиновна, еще не решающаяся расстаться с тем, с кем жила, боролась и страдала целую, долгую жизнь...

О, как тяжко сказать: нет, он умер, его уже нет... Он мертв..: Но сказать надо, сейчас же, немедленно...

— Пойдемте туда...

И мы пошли...

Большая комната, посредине стол, утопающий в цветах и зелени, зеркала завешаны, холодно — открыт балкон... Горят электрические люстры, и посреди стола чистенько одетый... Владимир Ильич... Спокойно, тихо озарено полуулыбкой его прекрасное лицо... Немного похудевший, без признака страдания, он тихо заснул навеки... Правая рука крепко стиснута. Маленький кровоподтек на правом ухе серым пятнышком приковывает к себе наш взор...

— Смотрите, у него как будто бы открываются глаза... Немного дрожит щека...

Хочется верить, что это так, тогда бы здесь не витала смерть... Но это не так... Движений никаких нет... Он мертв и мертв навсегда, и ничто более не возмутит его задумчивое чело...

По лестнице, не спеша и словно замедляя шаги, поднимались вожди старой гвардии большевиков, только что прибывшие на автосанях...

Душевная, тихая, без слов, встреча с Надеждой Константиновной...

И дальше туда в ту зачарованную комнату, где нет ни слез, ни рыданий, а только лишь жуткий покой...

Вот впереди всех Сталин. Подаваясь то левым, то правым плечом вперед, круто поворачивая при каждом шаге корпус тела, он идет грузно, тяжело, решительно, держа правую руку за бортом своей полувоенной куртки.. Лицо его бледно, сурово, сосредоточенно...

Вот Каменев, внешне немного взволнованный, идущий спокойно, размеренно, туда, куда итти неизбежно, но встревоженное лицо его дает понять каждому, сколь тяжки, сколь скорбны часы переживаемого им...

Вот Зиновьев, проведший с Владимиром Ильичем, пожалуй, больше чем кто-либо годов совместной жизни, близко переживший с ним много-много тяжелых времен в годину тяжких испытаний всей нашей большевистской сущности... Он печален, задумчив и грустен. Приветлив и нежен с Надеждой Константиновной и как-то интимно близко, просто и сердечно подошел он к тому, с кем долгие, долгие годы привык делить и горе поражений, и радость, и счастье всепотрясающих побед. Пришел Калинин. Вошли все остальные приехавшие. Почти вбежал глубоко потрясенный, взволнованный, раскрасневшийся и не могущий себя успокоить, полубольной, с раскрытой грудью Бухарин, совершенно забывший о себе, о своей болезни... Все стали здесь, вокруг... Взглянули в спокойное лицо того, кто был всегда так дорог им, глубоко близок и все, словно руководимые единым внутренним голосом, поникли головой... Все замерло. И тихо, тихо было здесь, где так недавно кипела жизнь, полная огня и страсти...

А там, в отдалении, из-за густоты зелени цветов, через стекло виднелся образ, залитый серебром густых волос, той, которая так нежно, так чутко и осторожно любила брата своего. Там, полная тоски и неуемного горя, без звука и движения, точно завороженная, смотря в лицо Владимира Ильича, как бы мысленно разговаривая с ним, стояла Мария Ильинишна... Сердце

сжималось, смотря на нее, и никто не решился нарушить ее столь глубоко-трагический покой.

Долго, долго стояли они, — закаленные бойцы и испытанные ветераны нашей великой революции, и казалось, что здесь ковалась клятва, клятва навеки, клятва в верности и беспредельной преданности ему—другу, ему—бойцу, ему — вождю народов всего мира, пролетарской революции всех народов.

— Да, да, вот оно что... Вот оно что... — первый проронил слова Сталин... И стал обходить Владимира Ильича своим размеренным шагом, все так же поворачивая то левое, то правое плечо, словно не веря, что смерть совершила свою неумолимую работу и как бы желая убедиться, что эта роковая работа непоправима, неизменна...

За Сталиным пошли и другие, и так прошли все, безмолвно, понуро, тихо.

Прошли и вышли.

Пришлось приняться за дело... Образовали врачебную комиссию по описанию смерти, вскрытия и составления акта болезни.

Надо было думать, как хоронить, где хоронить, как все организовать, где поставить тело для последнего поклонения народа... Скрепя сердце, соединились, сели за стол и записали все, что нужно было делать и кому делать...

В соседней комнате сиротливо ходит, частенько взглядывая туда, где был теперь Владимир Ильич, бледный и немного растерянный и, видимо, свой в этом доме человек. К нему нередко подходила женщина. Это были фельдшер и сестра милосердия, долгое время ухаживавшие за Владимиром Ильичем, находившиеся все время в непосредственной с ним близости. Им было очень тяжело. Он умер на их руках. Они непосредственные свидетели его последних минут, когда смерть пришла так быстро, почти мгновенно...

Они потрясены и задушевными, мучительными словами передают ближайшим друзьям, как это было и что было...

Время клонилось к полночи...

Надо ехать в Москву.

Вновь потянулись туда, к нему... Вновь окружили его тесным кольцом и нет сил оторваться, уйти...

Порывисто, страстно вдруг подошел Сталин к изголовью.

— Прощай, прощай, Владимир Ильич... Прощай! — И он, бледный, схватил обеими руками голову Владимира Ильича, приподнял, нагнул, почти прижал к своей груди, к самому сердцу, и крепко, крепко поцеловал его в щеки, и в лоб... Махнул рукой и отошел резко, словно отрубил прошлое от настоящего...

Подошел Каменев, задумался и нежно прильнул к груди и лицу Владимира Ильича...

Зиновьев трогательно простился со своим другом...

— Прощай, Ильич, — громко прощался и целовал его Бухарин.

Пошли остальные... И каждый по-своему, от избытка чувств, кто робко, кто застенчиво, кто порывисто и быстро отдали свой последний долг тому, с кем провели в дружбе, в борьбе и работе долгие годы своей жизни...

Кое-кто остался ночевать... Большинство поехало на станцию...

В засыпанной глубоким снегом равнине еле-еле виднелись приземистые, маленькие домики — крестьянские хаты... Все спало глубоким сном, окутанное морозной дымкой лунной январской ночи...

Тот же экстренный поезд медленно подходил к полустанку.

Мы сели и двинулись в обратный путь.

Было решено тотчас же собрать Президиум ЦИК СССР.

В Москве еще почти никто не знал о смерти Владимира Ильича.

Около двух часов ночи состоялось заседание Президиума ЦИК СССР, где была образована «Комиссия по организации похорон Председателя Совнаркома Союза ССР и РСФСР В. И. Ульянова (Ленина)».

И тотчас было приступлено к работе по организации похорон великого мятежника всего мира.

К утру о смерти Владимира Ильича узнала не только вся Москва, но и весь мир.

Рабочие дали тревожные гудки на заводах. Быстро организовались громаднейшие митинги. Работы приостановились. Потрясенный боевой пролетариат Красной Москвы, каждый на свой лад, на всех фабриках и заводах, выдвинул способы траура, всеобщей печали о близком вожде и друге своем Владимире Ильиче.

Все улицы Москвы стали быстро заполняться народом. Все искали услышать новое о великом горе. Всюду организовывались собрания, митинги, гражданские панихиды, и в этот поток народного горя захватывались все более и более огромные массы населения.

Газеты, листовки, прокламации хватались нарасхват...

Быстро разнеслась весть, что тело Владимира Ильича будет перевезено в Москву и выставлено для прощания с ним народа в большом зале «Дома Союзов».

К Павелецкому вокзалу потянулись многочисленные делегации, желавшие принести к телу Владимира Ильича и свои сожаления, и свои чувства...

(Продолжение следует.)

Фашизм — меньшевизм — революция [1]).

(О некоторых иллюзиях и пророчествах тов. Л. Д. Троцкого.)

Ил. Вардин.

Весна и лето 1924 года прошли в Европе под знаком «демократически-пацифистской эры». Социалисты, демократы, либералы всех стран попытались «поразить» сознание трудящихся масс наступлением «чуда»... Кончились военные и послевоенные испытания, пришел конец буржуазной реакции. Отныне на долгие времена установится сотрудничество классов, и пролетариат постепенно завоюет в своем отечестве подобающее ему положение — без восстаний, без революции, без диктатуры.

Так говорилось в бесчисленных статьях, речах, декларациях, резолюциях. Такие иллюзии распространялись по всему миру социал-демократами, которые вновь почувствовали себя именинниками. Эти иллюзии не прошли бесследно и для кое-кого из коммунистов...

И вдруг вся эта «великая», «историческая» «эра» кончилась на девятом месяце своего существования! Девять месяцев «эры», — как будто маловато для эры! Но, очевидно, буржуазия на закате дней своих ведет уплотненный счет времени...

Подведем некоторые итоги ошибкам, иллюзиям, пророчествам, связанным с «демократически-пацифистской эрой», крахнувшей так быстро и бесславно.

Две системы буржуазного господства.

Что представляла из себя пресловутая «эра», открытая приходом к власти Макдональда и ликвидированная с его уходом? Перед нами был очередной маневр, очередная перегруппировка сил буржуазии, вызванная особенными условиями момента. В этой перегруппировке ничего нового, неожиданного, небывалого, разумеется, не было.

---

[1]) Настоящая статья в основных чертах была написана в августе 1924 г., вскоре после появления в печати статей и докладов т. Троцкого о «демократическом» этапе и перспективах революции. Ошибочность положений т. Троцкого в ходе дальнейших событий подтвердилась значительно раньше, чем это можно было предполагать несколько месяцев тому назад. *Авт.*

В декабре 1910 г., в газете «Звезда», в статье о разногласиях в европейском рабочем движении В. И. Ленин писал:

«Буржуазия во всех странах неизбежно вырабатывает две системы управления, два метода борьбы за свои интересы и отстаивание своего господства, при чем эти два метода то сменяют друг друга, то переплетаются вместе в различных сочетаниях. Это, во-первых, метод насилия, метод отказа от всяких уступок рабочему движению, метод поддержки всех старых и отживших учреждений, метод непримиримого отрицания реформ. Такова сущность консервативной политики, которая все больше перестает быть в Западной Европе политикой землевладельческих классов, все больше становится одной из разновидностей общебуржуазной политики. Второй метод — метод «либерализма», шагов в сторону развития политических прав, в сторону реформ и т. д.».

Итак, «две системы управления» — консервативная и либеральная, насильническая и реформистская — постоянно находятся в арсенале мирового капитализма и применяется в зависимости от конкретных условий и конкретной обстановки. Но и насильническая и реформистская системы служат одной основной цели — сохранению капиталистического господства. В рядах рабочего движения никогда не было недостатка в людях, которые буржуазный реформизм готовы были выдать за мирную «эволюцию» капитализма в сторону социализма. Но революционные марксисты неуклонно разоблачали этот обман оппортунистов и вбивали рабочему классу в голову сознание того, что буржуазный реформизм представляет собою особое, более тонкое, более обманчивое средство для сохранения капитализма... Ленин продолжает:

«Колебания в тактике буржуазии, переходы от системы насилия к системе якобы уступок свойственны... истории всех европейских стран за последние полвека, при чем разные страны преимущественно развивают применение того или иного метода в течение определенных периодов»...

Англия, — указывал Ленин, — преимущественно практикует систему либерально-реформистскую. Германия 70 и 80 г.г. по преимуществу применяла систему консервативно-насильническую. 1909—1910 г. г. как раз являлись периодом особого расцвета английского либерального реформизма. В политической области это выражалось в некотором ограничении прав палаты лордов, в социальной области — в ряде либеральных законов по рабочему вопросу, проводимых по инициативе Ллойд-Джорджа.

Какую специфическую цель преследует буржуазия своим реформизмом в отношении рабочего класса? Ленин цитирует книжку А. Паннекука: «Тактические разногласия в рабочем движении», вышедшую в 1909 году. Паннекук писал:

«Позитивная, реальная цель либеральной политики буржуазии есть введение в заблуждение рабочих, внесение раскола в их среду, превращение их политики в бессильный придаток бессильного, всегда бессильного и эфемерного, якобы, реформаторства».

Ленин признает взгляды Паннекука «вполне правильными» и от себя замечает:

«Нередко буржуазия на известное время достигает своей цели посредством «либеральной» политики... Часть рабочих, часть их представителей подчас дает себя обмануть кажущимися уступками. Ревизионисты провозглашают «устарелым» учение о классовой борьбе или начинают вести политику, на деле осуществляющую отречение от нее. Зигзаги буржуазной тактики вызывают усиление ревизионизма в рабочем движении и нередко доводят разногласия внутри него до прямого раскола» (См. Сочинения, том XI, ч. 2, стр. 136—137).

Расколоть рабочий класс буржуазии удается тем, что она всяческими путями подкупает, ставит в привилегированное положение его верхушку, создает, по выражению Каутского, «процветающую часть пролетариата», и при помощи этой «процветающей части» обманывает и подчиняет своему влиянию порою большинство рабочего класса. Сознательное, революционное меньшинство оказывается изолированным, — раскол класса на-лицо.

Социал-демократия обвиняет коммунистов в раскалывании пролетариата. На деле раскалывает пролетариат буржуазия при помощи социал-демократии. Раскол рабочего класса ослабляется по мере высвобождения обманутой части пролетариата из-под влияния буржуазии, т.-е. непосредственно из-под влияния социал демократии. Раскол пролетариата прекращается, когда коммунистам удается ликвидировать влияние меньшевизма и сплотить рабочий класс под революционным антибуржуазным знаменем.

«Зигзаги буржуазной тактики, — указывает Ленин, — вызывают усиление ревизионизма в рабочем движении». Причина ясна: несознательные массы, направляемые социал-демократией, проникаются доверием к «доброй воле» буржуазии, проникаются иллюзиями на счет возможности улучшения своего положения без тяжелой борьбы. Это, основанное на несознательности, на непонимании тактики буржуазии, доверие меньшевизм переводит на политический язык ревизионизма. Теория соглашательства, теория мирного «сотрудничества классов», мирного разрешения социальных конфликтов отвечает на определенный период настроениям массы. В результате «зигзаги буржуазной тактики» приводят к желанной для имущих классов цели: массы с доверием взирают на реформистский либерализм, — ревизионизм, оппортунизм, меньшевизм усиливаются.

Но буржуазное реформаторство «всегда бессильно и эфемерно», ибо даже самая либеральная буржуазия неспособна существенно затронуть интересы капиталистического класса, а без решительнейшего нажима на капитализм, без реального сокращения капиталистических прибылей и аппетитов никакое серьезное улучшение положения пролетариата невозможно. Иными словами, реформистские обещания никогда не реализируются в сколько-нибудь существенных размерах, если пролетариат не производит энергичнейшего революционного нажима на буржуазию. Пассивное, доверчивое выжидание реформ никогда не дает пролетариату полезных для него реформ. Реформы, учит ленинизм на основании опыта всемирного и российского рабо-

чего движения, реформы суть побочный продукт революционного рабочего движения.

Для буржуазии обещания реформ — тактический ход, маневр, «зигзаг». Но пролетариат эти обещания принимает серьезно, и когда обман раскрывается, когда иллюзии рассеиваются, он берется за оружие революционной борьбы. Если эпоха реформизма усиливает меньшевизм, то эпоха революции ослабляет, раскалывает, распыляет меньшевизм и усиливает, сплачивает, укрепляет коммунизм. Руководимый своей революционной партией пролетариат производит все усиливающийся нажим на буржуазию, имея в виду ее свержение. Буржуазия пытается «откупиться» от революции реформами, «демократизирует» свои правительства и одновременно приводит в движение все свои боевые силы, чтобы со всей беспощадностью обрушиться на революцию.

* * *

Как в течение последнего десятилетия применяются две системы господства буржуазии?

Эпоха войны. Повсюду господствует система грубейшего насилия, которому социал-демократия добровольно подчиняет пролетариат. «Гражданский мир» при военно-полицейской диктатуре явился именно выражением беспрекословного подчинения рабочего класса насильнической системе господства буржуазии. Либерализм, демократизм, пацифизм в эпоху войны сохраняются только в министерских речах и газетных статьях. На практике буржуазия правит по методам консерватизма и реакции.

1918—1920 г. г. Война расшатала буржуазный аппарат подавления. Массы ставят в порядок дня ликвидацию буржуазного господства. Господствующие классы почти повсеместно применяют, главным образом, «мирные», «демократические» методы управления, идут на уступки своему рабочему классу. Этим путем они пытаются предотвратить внутреннюю революцию. Но с тем большим ожесточением мировая буржуазия набрасывается на внешнюю революцию, на республику Советов, применяя здесь жесточайшие методы реакционного насилия над революционной страной. Идя на уступки своему рабочему классу, буржуазия одновременно реорганизует и укрепляет свой государственный аппарат и приступает к созданию новой буржуазной партии, вызываемой к жизни новыми условиями борьбы, к созданию фашизма.

1921 — 1923 г.г. Буржуазия переходит в наступление. В странах, непосредственно угрожаемых революцией, она уже имеет новую фашистскую партию... Центр тяжести повсеместно переносится на реакционно-консервативную систему управления. В одних случаях к власти формально или фактически приходит фашистская партия (Муссолини в Италии, ген. Сект в Германии), в других случаях старые буржуазные партии действуют «новыми» методами военно-фашистского подавления. И в том и в другом случае социал-демократия постепенно переходит в лагерь фашистской реакции. Как и во

время войны, она пытается добровольно подчинить пролетариат буржуазному господству.

Весна и лето 1924 г. Буржуазия, уступая давлению рабочих и мелко-буржуазных масс, отодвигает фашистов и реакционеров на второй план и открывает «эру» «демократизма» и пацифизма. Начинается расцвет иллюзий. Даже некоторые коммунисты (напр., тов. Троцкий) утверждают, будто Европа уже перешла на деле на новые «демократические» рельсы, будто меньшевизм с м е н и л собою фашизм, который об'являлся ликвидированным за ненадобностью.

Осень 1924 года открывает собою «новейшую» «эру» консерватизма, фашизма, реакционного империалистского бешенства. Капиталистическая реакция побеждает на парламентских выборах в Англии и в Америке. Парламентские атаки на итальянский фашизм терпят крах. «Демократическое» правительство в Юго-Славии свергнуто. Во Франции начались энергичные атаки реакционеров на правительство левого блока. Во всей Европе борьба с коммунизмом приняла самые дикие формы. Английский империализм своим нападением на Египет бросил вызов всем колониальным и полуколониальным народам мира. Кампания против Советского Союза вновь приняла широчайшие размеры. В самый короткий срок капитализм целиком вернулся на позицию «твердого», керзоно-пуанкаристского курса.

Что такое фашизм?

В каком положении оказался фашизм при режиме «демократии» и «пацифизма»? Для ответа на этот вопрос прежде всего необходимо выяснение сущности фашизма. Что такое фашизм? Вот ответ тов. Троцкого:

> «Ф а ш и з м есть боевая организация буржуазии на время и для надобностей гражданской войны. Вот что такое фашизм. Он играет для буржуазии т а к у ю ж е р о л ь, к а к у ю о р г а н и з а ц и я в о о р у ж е н н о г о в о с с т а н и я — д л я п р о л е т а р и а т а. Рабочий класс готовится к вооруженному восстанию, перестраивает соответственно свою организацию, создает ударные сотни, вооружает динамитом своих боевиков и т. д. Может ли такое положение длиться вечно? Очевидно, нет: либо рабочий класс победит, и тогда он создаст регулярную армию, либо его натиск будет отбит, и тогда сойдет на-нет, по крайней мере, на ближайшее время — организация вооруженного восстания. Опять начинается эпоха политической агитации, собирания сил и пр., которая длится некоторое время и лишь затем, через несколько лет (после 1905 г.), а иногда и десятков лет (после Парижской Коммуны) подготовляется новое восстание пролетариата. Мы уже сказали, что ф а ш и з м е с т ь н е п о с р е д с т в е н н а я у д а р н а я, б о е в а я о р г а н и з а ц и я б у р ж у а з и и, которой уже не хватает старого государственного аппарата, связанного легальностью и демократией, когда ей нужно с и л о й о т б и в а т ь с я о т н а п и р а ю щ е г о п р о л е т а р и а т а, — и

вот она создает боевые банды, готовые на все, попирает свою легальность, свою демократию, чтобы отстоять свою власть. Может ли фашизм длиться долго? Нет. Если буржуазия удержится у власти, как это было в Италии в 1920 году, как это было в Германии в прошлом году, тогда она, использовав кровавую работу фашизма, старается расширить свою базу, опереться на среднюю и мелкую буржуазию и снова восстанавливает легальность. Жить долго в условиях фашизма буржуазия не может, как пролетариат не может годами находиться в состоянии вооруженного восстания»[1]).

Верно ли данное Троцким определение фашизма? Нет, не верно. Неверно, что фашизм—это только «боевая организация буржуазии на время и для надобностей гражданской войны». Сказать так, значит свести фашизм к военно-техническому аппарату. Фашизм, когда нужно, выполняет и военно-технические функции, но это не только боевая организация не только боевая банда.

Фашизм, это—политическая партия буржуазии, вызванная к жизни новой эпохой войн и революций. На стороне пролетариата эта новая эпоха вызвала необходимость существования большевистской, коммунистической партии. На стороне буржуазии эта эпоха вызвала необходимость создания новой фашистской партии. Возникновение и рост этой партии зависит от роста революционного движения. В странах, где пролетариат, несмотря на отдельные неудачи, несмотря на временные отступления, непосредственно борется за власть, в этих странах буржуазия обходиться без фашистских партий не может. Буржуазия сможет отказаться от фашизма в том случае, если она окончательно, не на годы, а на десятилетия раздавит сопротивление пролетариата и у ближайшего поколения выбьет даже всякую мысль о борьбе за власть, или когда она сама потерпит жесточайший разгром и потеряет всякую надежду вернуться к власти.

Поэтому совершенно неправильно считать, что функции фашизма ограничиваются только ведением военных операций в пользу буржуазии. Это так же неверно, как было бы неверным утверждение, что коммунистическая партия нужна рабочему классу только в момент восстания, в момент непосредственной войны против буржуазии. Бесспорно, коммунистическая партия более всего необходима пролетариату именно в эти острейшие моменты его жизни. Бесспорно, коммунистическая партия в недели и месяцы вооруженного восстания применяет особые методы, вплоть до милитаризации собственных рядов, отмены всяческого внутрипартийного демократизма и т. д.; она создает дополнительные организации: технические комиссии, ударные отряды и т. д. и т. п. Все это так. Но ограничивать значение

[1]) См. Л. Троцкий: Запад и Восток. Вопросы мировой политики и мировой революции, стр. 123, Москва 1924 г.

коммунистической партии ее ролью в вооруженном восстании — значит вообще не понимать значения партии для класса.

Когда тов. Троцкий сравнивает фашизм с организацией пролетарского восстания, то он явно недооценивает фашизм для буржуазии, как недооценивает он значение пролетарской революционной партии до и после восстания. Эту свою ошибку тов. Троцкий обнаружил во время партийной дискуссии 1923 — 1924 г.г., попытался ее «углубить» и «исторически» обосновать в статье «Уроки Октября».

Суть вопроса заключается в том, что пролетариат, вступая в эпоху борьбы за власть, создает новую партию, которая долгой, упорной, многосторонней борьбой и работой подготовляет революционное восстание, проводит его и дальше ведет неустанную борьбу и работу по закреплению одержанной победы, по строительству новой жизни. Для этой новой партии организация восстания — дело не всей ее жизни, как это получается по Троцкому, а дело временное.

Пролетариат, — говорит тов. Троцкий, — одержав победу, создает регулярную армию. Пролетариат, одержав победу, делает больше — создает государственный аппарат. Но, создавая все это, партия остается партией, она остается и в случае победы, и в случае поражения.

Что мы видим на стороне буржуазии? Пролетариат наступает на нее. Старые нормальные методы парламентаризма, старые партии, приспособленные к парламентаризму, оказываются неспособными защитить буржуазию. Она создает новую партию. Эту новую партию буржуазия создает не только для того, чтобы она руководила временными боевыми столкновениями с пролетариатом, — эту новую партию буржуазия создает для того, чтобы она дала отпор рвущемуся к власти пролетариату на протяжении целой эпохи. Буржуазия прекрасно понимает, что одним, двумя, тремя сражениями вопрос о власти не решается, что одна, другая неудача пролетариат обескуражить не может, что даже ряд тягчайших поражений не заставит рабочий класс отказаться от борьбы за власть. При этих условиях фашистская партия становится для буржуазии такой же нормальной партией, как коммунистическая партия является нормальной партией пролетариата, стремящегося к революционному свержению буржуазии.

Троцкий дает узкое, ограниченное и потому неверное определение задач фашизма и попутно задач пролетарской партии. По Троцкому выходит, что когда кончается период непосредственных боевых действий, то буржуазия может уже совершенно распустить свою боевую партию, — следовательно, и пролетариат может распустить свою революционную партию. Сводить роль пролетарской партии к организации восстания значит открыть дорогу для ликвидаторских теорий, в том случае, когда борющийся за власть класс терпит временную неудачу. Когда в 1905 году наша революция потерпела поражение, меньшевики поставили вопрос о ликвидации нашей

партии на том основании, что мол она была приспособлена для нужд революционного восстания, восстание кончилось, значит, и в старой, боевой революционной партии нет надобности.

Вернемся к вопросу о фашизме. «Может ли фашизм длиться долго?» — спрашивает тов. Троцкий и отвечает категорически: — «Нет». Троцкий ссылается на пример Италии и Германии. Он говорит: «Если буржуазия удержится у власти, как это было в Италии в 1920 году, как это было в Германии в прошлом году, тогда она... снова восстанавливает легальность. Жить долго в условиях фашизма буржуазия не может, как пролетариат не может годами находиться в состоянии вооруженного восстания». Это утверждение неверно, — пример Италии и Германии целиком говорит против Троцкого.

В самом деле. Осенью 1920 года итальянская буржуазия удержалась у власти. Преданный своей партией пролетариат отступил без боя. Наступает «демократический» период либеральных правительств Нитти, Бэноми, Факта. Но буржуазия чувствует крайнюю шаткость своего положения, несмотря на то, что пролетариат находится в состоянии тяжелого политического кризиса. Крупный капитал и крупное землевладение выдвигают, материально и морально питают фашизм, который беспощадно бьет отступивший уже пролетариат. История итальянского фашизма решительно опровергает утверждение Троцкого о том, что «фашизм есть непосредственная, ударная, боевая организация буржуазии», чтобы «силой отбиваться от напирающего пролетариата». Муссолини напирал на отступающий пролетариат и осенью 1922 года — два года спустя после того, как итальянская буржуазия «удержалась у власти», — фашистская партия стала правительством Италии. Если бы фашизм был только «бандой», созданной буржуазией для того, чтобы она могла «силой отбиваться от напирающего пролетариата», то он нужен был итальянской буржуазии осенью 1920 г., и только тогда, а не после того, как она уже без фашизма, при помощи социал-демократии, «удержалась у власти». Фашизм пришел к власти тогда, когда пролетариат ни в какой мере не «напирал», когда буржуазии непосредственно «отбиваться» от своего смертельного врага не приходилось. Этот бесспорный исторический факт решительно ломает нелепую «теорию» Троцкого. Остается только удивляться, как он мог ссылаться на Италию.

Но почему же, в таком случае, итальянская буржуазия допустила к власти фашизм, раз пролетариат непосредственно не «напирал»? Потому, что она думала о завтрашнем дне, который ни в какой степени не был обеспечен. Фашизм должен был упрочить положение итальянского капитализма на долгий исторический период.

Перейдем к Германии. Здесь буржуазия «удержалась у власти» в октябре-ноябре 1923 года, — главным образом, при помощи социал-демократии. А фашистский режим фактически сохраняется, «легальности» фактически нет, беспрерывный натиск на отступивший пролетариат продолжается, в этом натиске прямое участие принимает социал-демократия

Диктатура буржуазии осуществляется руками фашистского генерала Секта и социал-демократического фашиста Эберта. Только филистеры могут убаюкивать себя и других иллюзиями насчет возможности режима «чистой демократии», режима парламентской «легальности» в Германии.

Троцкий игнорирует то существеннейшее обстоятельство, что решение вопроса о власти дело не момента, а целой эпохи, что класс, желающий сохранить господство или завоевать господство должен создать партию, способную осуществлять политику данного класса на протяжении целой эпохи. Такую партию буржуазия выдвигает в лице фашизма, пролетариат — в лице большевизма. Фашизм и большевизм могут менять тактику, методы, организационные формы, но свою главную сущность, свой основной характер сохраняют на весь тот исторический период, пока продолжается борьба за власть между пролетариатом и буржуазией.

Но, — поучает нас тов. Троцкий, — «жить долго в условии фашизма буржуазия не может, как пролетариат не может годами находиться в состоянии вооруженного восстания». Прежде всего — на каком теоретическом и фактическом основании фашизм приравнивается к «вооруженному восстанию»? Фашизм, это — партия буржуазной диктатуры, фашизм у власти, это — режим буржуазной диктатуры в стране, и его можно сравнить с партией пролетарской диктатуры, с режимом пролетарской диктатуры. Республика Советов достаточно долго «находится в состоянии» пролетарской диктатуры и ей еще долго придется «жить в условиях» этой диктатуры. Буржуазия, вопреки пророчествам тов. Троцкого, довольно долго живет «в условиях фашизма» (в разных странах разные формы), и еще неизвестно, когда революция «освободит» ее от фашизма.

Почему, все-таки, буржуазия «жить долго в условиях фашизма не может»? В обычных «нормальных» условиях капитализму действительно необходимы парламентаризм и «демократия». На это, между прочим, указывает и Ленин в цитированной выше статье о двух системах господства буржуазии. Но нужно же понять, что мирную эпоху сменила эпоха войн и революций, которая будет длиться до ликвидации капитализма, т.-е. достаточно «долго» и столь же «долго» борьба фашизма и большевизма друг с другом будет служить основным содержанием политической жизни. Фашизм и большевизм — основные партии ближайшего будущего. Старые парламентские партии умирают.

Утверждать, что фашизм—это временная, ударная банда капитализма—значит сеять вреднейшие иллюзии. Пролетариат должен хорошо видеть своего врага. Пролетариат должен знать, что фашизм располагает не только бандами для поджогов, но прежде всего программой, тактикой, крепко сколоченной, партийной организацией. Фашизм имеет идеологию, основанную на своеобразной смеси из реакционно-националистического романтизма, антисемитской демагогии, зубатовской «рабочей» политики. Эта партия моби-

лизует для защиты капитализма все силы — от попа до громилы, от генерала до меньшевика включительно. Фашизм, это — сложная, всесторонне подкованная партия умирающей буржуазии. Фашизм — живое свидетельство того, что капитализм легко не расстанется со своим господством...

Однако означает ли существование фашизма, что непременно и непрестанно будут происходить бесчинства «боевых банд, готовых на все»? Нет, существование фашизма означает только то, что «готовая на все» буржуазия имеет политическую партию, на-ряду с министрами, депутатами и журналистами располагающую и «боевыми бандами, готовыми на все» во имя защиты капитализма.

Нужно не распространять филистерские иллюзии о возможности мирной ликвидации фашизма, а — строить революционную партию, способную ликвидировать фашизм. Нужно строить большевистскую партию, всесторонне подкованную, с четкой идеологией, последовательной тактикой, стальной организацией, — партию смелую и отважную, которая была бы способна расшибить фашизм, сокрушить империализм..

Смена фашизма меньшевизмом или переплетение фашизма с меньшевизмом?

«Через какой этап мы проходим?» Через какой этап проходит Европа, — спрашивал в июне 1924 г. тов. Троцкий и отвечал следующим образом:

> «После эпохи империалистской войны, колоссальных потрясений, небывалых стачек, революционных столкновений, восстаний,— когда всего этого оказалось недостаточно для победы и пролетариат временно отступил от передовых позиций, — а это произошло, — тогда буржуазия на-ряду с экономической ищет и политической устойчивости и с этой целью начинает опираться на промежуточные классы средней и мелкой буржуазии. Она призывает не фашиста, а меньшевика, и говорит ему: затри кровавые пятна, лей на раны бальзам утешения, успокаивай, обманывай, натягивай цветную паутину демократии. Эта смена, следовательно, не случайна, а закономерна» (Л. Троцкий, «Запад и Восток», стр. 195).

В другой своей программной речи, произнесенной 28 июля на собрании общества друзей физико-математического факультета («Правда», 5 августа 1924 г.), тов. Троцкий на ту же тему говорил: «на смену фашистам пришли пацифисты, меньшевики, демократы, радикалы и прочие партии мещанства».

Итак, фашизм получил «отставку», его «сменили», его, за ненадобностью, устранили — попросту убрали с исторической сцены. Фашистская «глава» в исторической «книге судеб» уничтожена, — в ней снова появилась глава нормального буржуазного «порядка», — с парламентами, реформами,

«демократическими» «свободами». Упрочение капитализма по всей линии, упрочение и экономическое, и политическое.

Такая картина рисовалась тов. Троцкому летом 1924 года. Верна ли была она? Можно ли было серьезно говорить о с м е н е фашизма меньшевизмом? Можно ли было поверить в длительность «пацифистско-демократической» эпохи? Можно ли было говорить о серьезной, экономической и политической «устойчивости» капитализма?

Весною и летом 1924 года ни о какой «с м е н е» фашизма меньшевизмом нельзя было говорить: речь могла итти только о к р и з и с е ф а ш и з м а, о к р и з и с е ф а ш и с т с к о-р е а к ц и о н н о й, к о н с е р в а т и в н о й, к е р з о н о-п у а н к а р и с т с к о й п о л и т и к и.

В И т а л и и фашизм подвергся энергичнейшему п а р л а м е н т с к о м у натиску со стороны «демократов» и «социалистов». Старые партии буржуазии и мелкой буржуазии пытались путем «легального» нажима свалить правительство Муссолини. Натиск на фашизм вообще стал возможен потому, что он сам переживал в н у т р е н н и й кризис.

В чем заключалась причина кризиса? У тов. Троцкого имеется готовый ответ: положение Муссолини поколебалось потому, что итальянская буржуазия добилась экономической и политической «устойчивости», и фашистский режим ему больше не нужен. В чем была действительная причина кризиса? Ф а ш и з м о б н а р у ж и л н е с п о с о б н о с т ь с о з д а т ь к а п и т а л и з м у в н у т р е н н ю ю, п о л и т и ч е с к у ю и э к о н о м и ч е с к у ю, «у с т о й ч и в о с т ь». Он не смог создать «порядка», потому что н е с м о г п о б е д и т ь р а б о ч и й к л а с с, не смог добиться «сотрудничества классов». При этих условиях беспрерывные фашистские эксцессы, толкая массы на революцию, представляли собой уже прямую опасность для устоев капитализма. Когда фашистские головорезы убили безвреднейшего для буржуазии реформиста Маттеоти, это уже свидетельствовало о вредных для интересов буржуазии «увлечениях» и «уклонах» фашизма. Тысячи и тысячи революционных рабочих и крестьян, по мнению буржуазии, можно и должно было убивать. Буржуазия только рукоплескала «геройским» «подвигам» чернорубашечников. Но убивать реформиста Маттеоти за то, что он мирным парламентским путем добивался «с м е н ы фашизма меньшевизмом», — это было слишком! Старые партии Италии стали во главе широчайшего «демократического» движения против фашизма. На голову Муссолини посыпались проклятья. Парламент с фашистским большинством был подвергнут бойкоту — оппозиция ушла и обещала вернуться лишь после капитуляции Муссолини.

Прошло лето. Прошла осень. Наступила зима: «Демократическая» оппозиция Италии все еще «протестует» против фашизма, все еще негодует «общественное мнение», и продолжает свою потрясающую тактику бойкота парламентская оппозиция... Муссолини произносит речи о «нормализации» фашизма, намечается реформа избирательного права. Пишутся инструкции, даются обещания и... все остается на месте. Италия снова «подвела» тов. Троцкого: всякому известно, что никакой «смены фашизма меньшевизмом»

там не было. Кризис фашизма тов. Троцкий принял за мирную ликвидацию фашизма. А фашизм на попытку его мирного отстранения от власти ответил трупом Маттеоти. Во время кризиса Муссолини зашатался, но удержался. Как он мог удержаться, когда широкое «общественное мнение» отвернулось от него, когда полувраждебную по отношению к фашизму позицию заняли такие мощные организации, как союз бывших участников войны, когда внутри самого фашизма обнаружились серьезные разногласия, произошли отколы и т. д.? Муссолини мог продержаться потому, что его поддерживал крупный капитал. Против воли крупного капитала фашизм не сможет стоять у власти, не сможет жить вообще. Но пока короли индустрии на его стороне — оппозиция старых парламентских партий, представляющая мелкую, отчасти среднюю буржуазию города и деревни, — эта оппозиция «срединных» партий фашизму не опасна. Единственная реальная сила, единственная реальная опасность, действительно угрожающая фашизму, это — революционный пролетариат, который один только способен ликвидировать фашизм, а с ним вместе господство буржуазии... Все это было очевидно и летом 1924 года — только не для тов. Троцкого.

В других странах, и прежде всего в Германии, «демократически-пацифистская эра» тоже сопровождалась кризисом фашизма. Но и здесь нельзя было говорить о мирной ликвидации фашизма, о «смене фашизма меньшевизмом». В Германии ярче, чем где-либо, мы видели переплетение фашизма с меньшевизмом. Фашисты и социал-демократы сотрудничали друг с другом, совместно управляя государством, совместно подавляя коммунистическое движение. Фашистские судьи и полицейские вместе с меньшевистскими судьями и полицейскими учиняли суд и расправу над многими тысячами революционных пролетариев...

Вернемся к приведенному выше заявлению тов. Троцкого. Здесь прежде всего вызывает недоумение фраза: «После эпохи империалистской войны, колоссальных потрясений, небывалых стачек, революционных столкновений, восстаний»... Итак, летом 1924 г. тов. Троцкий был всерьез убежден, что эпоха «колоссальных потрясений», «революционных столкновений», даже «небывалых стачек» — прошла и наступила эпоха «мирного», «демократического», «устойчивого», «нормального» капитализма — без «фашистских банд», без эксцессов... Вынужденный маневр буржуазии он принял за прочное укрепление капитализма... С каким апломбом тов. Троцкий излагал свои «откровения», и как жестоко жизнь посмеялась над этими иллюзиями и откровениями!..

Буржуазия, — говорил тов. Троцкий, — «призывает не фашиста, а меньшевика», меньшевизм «сменяет» собою фашизм, «смена» эта «не случайна, а закономерна». Противопоставление фашизма и меньшевизма было абсолютно неверно, фашизм фактически, на деле не вытеснялся меньшевизмом, а меньшевизм сочетался с фашизмом. Это сочетание неизбежно вытекает из того факта, что эпоха войн и революций изменила характер взаимоотношений между буржуазией и меньшевизмом. 12 декабря 1914 года Ленин писал:

«При всяком кризисе буржуазия всегда будет помогать оппортунистам, подавлять — ни перед чем не останавливаясь, самыми беззаконными, жестокими военными мерами подавлять — революционную часть пролетариата. Оппортунисты, это — буржуазные враги пролетарской революции, которые в мирное время ведут свою буржуазную работу тайком, ютясь внутри рабочих партий, а в эпохи кризиса сразу оказываются открытыми союзниками всей объединенной буржуазии, от консервативной до самой радикальной и демократической, от свободомыслящей до религиозной и клерикальной. Кто не понял этой истины после переживаемых нами событий, тот безнадежно обманывает и себя и рабочих» («Против течения», стр. 37).

Фашизм, это — политическая партия буржуазии, военно-политический аппарат империализма, созданный для того, чтобы совместно с меньшевиками, при их поддержке — «самыми беззаконными, жестокими военными мерами подавлять революционную часть пролетариата». Фашизм и меньшевизм не сменяют, а дополняют друг друга, переплетаются друг с другом. Так происходит повсюду, так прежде всего происходит в стране наибольшего обострения классовой борьбы — в Германии. Всякому известно, что в Германии именно меньшевизм, именно Эберты, Носке, Зеверинги совместно с фашистами, совместно с военщиной подавляли, подавляют и будут подавлять «революционную часть пролетариата», пока сами не будут подавлены, придушены, уничтожены пролетарской революцией.

Фашизм и меньшевизм дополняют друг друга. Меньшевизм повсюду, где только пролетариат начинает войну с буржуазией, действует против восставших и восстающих революционных масс по-фашистски, мерами «беззаконного» военного подавления. Так было в России, Германии, Польше, Болгарии, так будет повсюду, где рабочий класс откроет фронт против буржуазии. Социал-демократия стала фашистской, фашистское перерождение мирового меньшевизма было неизбежно, ибо своей основной целью он считает защиту капитализма, а для этого в нашу эпоху сплошь да рядом необходимо прибегнуть к фашистскому, т. е. «беззаконному», конституцией не предусмотренному, подавлению «революционной части пролетариата». Ленин в 1914 году предвидел это неизбежное превращение меньшевизма в кровавую собаку империализма, Троцкий в 1924 году не видит фашистского перерождения меньшевизма.

Фашизм и меньшевизм дополняют друг друга, переплетаются друг с другом, но это не значит, разумеется, что фашисты и социал-демократия — одна партия. Нет, это—две партии, между ними происходит взаимная борьба. Порою эта борьба по ряду причин может принять весьма резкие формы. Фракционная, и порою весьма жестокая, борьба происходит внутри фашизма и внутри меньшевизма. Но эта взаимная партийная и фракционная борьба не мешает тому, что фашизм и социал-демократия сообща применяют «самые беззаконные, жестокие военные меры подавления революционной ча-

сти пролетариата». Кто этого не понял в итоге десяти лет войн и революций, — «тот безнадежно обманывает и себя и рабочих».

Переплетение фашизма с меньшевизмом наиболее ярко проявляется в Германии, где на основе самой демократической конституции происходит систематическая борьба с коммунизмом. Фашизм и меньшевизм дружно и согласованно спасают республику крупного капитала. И тут как злая насмешка звучат слова тов. Троцкого: буржуазия «призывает не фашиста, а меньшевика и говорит ему: затри кровавые пятна, лей на раны бальзам утешения, успокаивай, обманывай, натягивай цветную паутину демократии»... Это, Эбертовская социал-демократия «затирает кровавые пятна, льет на раны бальзам утешения» — каторжными приговорами? Это полиция с.-д. Зеверинга «успокаивает» пролетариат? Или, быть может, план Дауэса несет измученному рабочему классу «бальзам утешения»? Вместе с фашизмом, меньшевизм продолжает политику классовой войны, а не мира. Кто этого не видит, — «тот безнадежно обманывает и себя и рабочих».

Что же касается Италии, то Муссолини еще летом в телеграмме с'езду инвалидов напоминал, что он в 1920 году был «*сторонником соглашения между социалистами, пополяри и фашистами*». Муссолини заявлял с'езду, что он и сейчас за соглашение — на основе взаимности. Вождь фашизма мог еще напомнить, что он в 1923 году *предлагал министерские посты вождям итальянского меньшевизма*. Несмотря на остроту борьбы между фашистами, с одной стороны, и старыми партиями, с другой, перспективы переплетения итальянского фашизма с меньшевизмом вполне реальны. А судьбу и фашизма, и меньшевизма, и кормящего всех их капитализма решит пролетарская революция.

Итак, вредной иллюзией являлось утверждение тов. Троцкого, будто фашизм мирным, парламентским путем ликвидировался; — фашизм переживал кризис, который не мог быть для него смертельным, — без превращения в общий революционный кризис всего капитализма. В некоторых странах фашистско-консервативные партии были отодвинуты от власти. Но фашизм *сохранялся, как партия, как движение*, — для постоянной всесторонней борьбы с пролетариатом, для постоянного давления на государственный аппарат, в целях обеспечения *устойчивости реакционного курса*. Неверным было также утверждение, будто меньшевизм *сменил* собою фашизм. Переплетающиеся друг с другом фашизм и меньшевизм составляют двуединую опору империализма. Всех их ликвидирует *только* революция.

Основные причины „левого" курса.

Смены фашизма меньшевизмом не было, но бесспорно было некоторое ослабление правого, фашистского фланга буржуазии и столь же бесспорное усиление ее левого — меньшевистского, демократического, соглашательского — фланга. Чем об'яснялся этот несомненный факт? Сила или слабость империализма крылась в этой новой передвижке политических сил? Об'яснение, которое давал тов. Троцкий, сводилось к тому, что буржуазия одержала решитель-

ную победу,—она позволяет себе роскошь полиберальничать. Фашист сделал свое кровавое дело — он получает отставку, социал-демократии поручается разливать по миру «бальзам утешения». В речи на собрании физиков 28 июля тов. Троцкий говорил:

> «Смена фашистской главы главою нормального буржуазного «порядка» предопределялось тем, что атаки пролетариата и первая (1918—1921 г.г.) и вторая (1923 г.) были отбиты. Буржуазное общество устояло, и к нему вернулся известный прилив самоуверенности. Буржуазия не так угрожаема сегодня в Европе непосредственно, чтобы вооружать и пускать в действие фашистов. Но она чувствует себя недостаточно твердо, чтобы править от собственного лица. Вот почему между двумя действиями исторической драмы,—для заполнения исторического антракта,—и нужен меньшевизм» («Правда», 5 августа 1924 г.).

Вспомним, что говорил т. Троцкий в речи на с'езде лекарей и ветеринаров: «эпоха империалистской войны, колоссальных потрясений, небывалых стачек, революционных столкновений, восстаний» — кончилась, победы пролетариата нет, буржуазия приобрела и экономическую и политическую прочность. О перспективах германской революции т. Троцкий говорил в самых безнадежных тонах: там дело решительно проиграно. Ну, если дело так обстоит, если окончился период даже «небывалых стачек», то чем, в самом деле, рискует буржуазия? Почему ей не перейти к «нормальному» режиму,—с «бальзамом утешения», с «цветной паутиной демократии»?

Две атаки — говорит т. Троцкий — отбила буржуазия. Однако, вот что заслуживает серьезнейшего внимания. После периода 1918—1921 г.г. буржуазия, как только почувствовала, что «устояла», сразу перешла в наступление, повсеместно усилилась политическая и экономическая реакция, массы были приведены в состояние пассивной обороны, вернее дезорганизации и деморализации. Что мы видим в 1924 году,—после того, как буржуазия вторично «устояла»? Она не решается повторить опыт наступления 1921—1923 г.г., наоборот, на первый план выдвигает меньшевизм, демократию, сама приходит в состояние обороны. Почему это происходит? Да потому, что европейская буржуазия не чувствует себя победительницей, что она стоит перед огромными затруднениями, с которыми справиться фашистско-пуанкаристскими способами оказалось делом невозможным. Если бы буржуазия чувствовала себя сильной, она, прежде чем «отпустить» фашизм, нанесла бы окончательный удар революционным силам пролетариата, закрепила бы свою победу, и уже после известного промежутка времени подумала бы о «нормальном режиме»... Буржуазия не хочет обманывать себя, — в 1924 году она чувствует себя слабее, чем в 1921—1923 г.г.—период «наступления капитала»: в начале 1924 года широкие пролетарские и мелко-буржуазные массы в ряде стран производят энергичное парламентское давление на империализм. Умный вождь русской буржуазии Милюков еще тогда предвидел, что в скором времени пар-

ламентский нажим перейдет в непарламентское наступление на капитализм. Буржуазия, очевидно, не желала ускорения того момента, когда ей пришлось бы выдержать «непарламентскую» атаку масс, поэтому, чтобы выиграть время, пошла временно на некоторые уступки, призвала демократические правительства и т. д.

По Троцкому фашизм отступил потому, что пролетариат на долгий ряд лет, если не десятилетий, побежден, что первая эпоха революций окончилась в пользу буржуазии. В действительности фашизм на самое короткое время отступил, буржуазия сманеврировала потому, что она не победила рабочий класс, массы напирают, кризисы, противоречия, бесчисленные нерешенные проблемы создают трудное положение, что революционная эпоха продолжается.

Троцкий думал, что буржуазия, окончив классовую войну победоносно, разоружилась, демобилизовала свою главную политическую силу — фашизм. В действительности, буржуазия и не думала о разоружении, ибо она прекрасно знала, что выиграла только первые частичные сражения, а главные бои еще впереди. В ожидании этих главных боев, буржуазия отвела главные силы в ближайший тыл для перегруппировки. Тов. Троцкий маневры смешал с радикальной переменой стратегической обстановки, временное затишье принял за окончание войны.

Буржуазия взяла курс на «демократию», призвала снова меньшевиков не от большой самоуверенности, а от неуверенности и неустойчивости. Тов. Радек в своей статье «Барометр выборов» («Красная Новь», июнь—июль 1924 г.) подтверждает именно такой вывод. Главное значение выборов во Франции Радек видит в том, что массы «устали» от империализма, сдвинулись влево, «перестали быть базой для политики авантюр». Массы повернули налево, база под империализмом несколько сузилась, он испытывает затруднения, ибо должен свою разбойничью политику делать руками левого блока, в значительной степени зависящего от полевевшей рабочей и мелко-буржуазной массы. Стало быть, перед нами сдвиг не в сторону реакции, а от реакции, от стопроцентного империализма.

Каково положение в Италии — в стране классического фашизма? Здесь, — говорит тов. Радек, — «выборы показали силу, направленную против фашизма. Это — сила рабочего класса и мелкой буржуазии».

«Барометр выборов» показал полевение масс не только во Франции, Италии, но и в Англии. Радек продолжает:

«И Франция и Англия — это доказали выборы — находятся в процессе глубокого брожения. Контр-революционные силы в них очень ослабли, но сила революции только начинает организовываться». Итак, поворот налево во Франции, Англии и Италии являлся следствием не упрочения буржуазного господства, не результатом уверенности в себе со стороны капитализма, как это казалось тов. Троцкому, — поворот налево произошел от того, что силы контр-революции в этих странах ослабли.

«Демократически-пацифистская эра» означала не «рост самоуверенности» буржуазии, а рост противоречий, затруднений, рост давления масс на капитализм. Если бы эта пресловутая «эра» явилась в результате экономической и политической устойчивости буржуазии, она не крахнула бы так быстро, так позорно. Тов. Троцкий и здесь оказался во власти иллюзий, — уверовал в «устойчивость» буржуазии больше, чем на это были основания.

«Через какой этап мы проходим?»

«Через какой этап» проходила Европа летом 1924 г.? Наступившая «демократическая эра» являлась предреволюционной или пореволюционной? И тут мы подходим к одному интересному пророчеству тов. Троцкого. К своей книжке «Запад и Восток» тов. Троцкий приложил девять выдержек из его прежних речей и статей. Первая выдержка относится к 16 июня 1921 года (речь на заседании ИККИ), последняя — к 30 ноября 1922 г. (статья «Политические перспективы»). Выдержки приложены с единственной целью показать, что тов. Троцкий что-то предвидел, и предвиденье его блестяще оправдалось. Что же предвидел тов. Троцкий?

14 июля 1921 г. письмо к Кашену и Фроссару. Тов. Троцкий предсказывает:

> «У вас явно надвигается эпоха керенщины, режим радикально-социалистического блока, как первая смутная реакция против военной эпохи... Французская керенщина будет означать чрезвычайную расшатку государственного аппарата. Между империалистскими кликами и их кандидатами на роль Галифе, с одной стороны и нарастающей пролетарской революцией, с другой, — станет временно, в виде буфера, беспомощный блок радикалов и социалистов — Кайо, Лонге и компании. Это будет великолепное вступление в пролетарскую революцию».

2 марта 1922 года. Статья об едином фронте.

> «Идея «левого блока» висит во французской политике. Весьма вероятна пацифистская реакция в широких кругах буржуазного общества, т.-е., прежде всего, среди мелкой буржуазии».

3 ноября 1922 г. Статья «Противоречия» советской политики»:

> «Новая эпоха реформистски-пацифистских иллюзий, после иллюзий войны и победы, неизбежна во Франции и может стать прологом пролетарской революции».

15 ноября 1922 г. Поправка к проекту тактической резолюции IV конгресса Коминтерна:

> «В Англии предстоит, и притом в близком будущем, эра демократически-пацифистских иллюзий... В лице Ллойд-Джорджа потерпела крушение шарлатанская попытка «левого» импе-

риализма сыграть на дипломатическом поле полу-пацифистскую комедию... Подлинный расцвет пацифистских иллюзий только еще предстоит».

17 ноября 1922 г. Доклад на IV конгрессе Коминтерна:

«Методы открыто империалистские, агрессивные, — методы Версальского мира, Фоша, Пуанкаре, Керзона — явно упираются в тупик... Накопляются реформистски-пацифистские настроения».

30 ноября 1922 г. Из статьи «Политические перспективы»:

«Перелом внутренней политики во Франции и Англии, если он произойдет до победы коммунистов в Германии, может на известное время окрылить германскую социал-демократию. Шейдеман может снова притти к власти, — но это будет уже прямым вступлением к революционной развязке. Ибо совершенно очевидно, что бессилие реформистско-пацифистского режима в условиях нынешней Европы обнаружилось бы не в течение лет, а в течение месяцев и недель».

Каков основной смысл всех этих предсказаний тов. Троцкого, которые в основном одновременно были предсказаниями и Коминтерна? Политика империалистского грабежа и насилия, политика Керзонов и Пуанкаре потерпит крах. Тогда буржуазия попытается укрыться под сень демократии и реформизма. Массы заставят Керзонов и Пуанкаре отступить. Под давлением масс наступит «эпоха реформистски-пацифистских иллюзий». От иллюзий, связанных с империалистской политикой, массы перейдут к иллюзиям, связанным с реформизмом. Но реформизм обанкротится еще быстрее, чем обанкротился «чистый» империализм. Иллюзии изживутся. Перед рабочим классом и мелкой буржуазией не будет иных путей к спасению, кроме пролетарской революции. Реформизм, который наступит после краха империалистской политики, будет режимом предреволюционным, режимом капиталистической неустойчивости, неуверенности, колебаний, шатаний. Этот режим неизбежно будет питать пролетарскую революцию.

Оправдались ли эти предсказания? Да, оправдались. Макдональд, Эррио, Стаунинг (Дания), Давидович (Юго-Славия) пришли к власти в результате краха политики Керзонов и Пуанкаре, они были выдвинуты на передний план недовольством масс. Фашистский режим в Италии колебался под влиянием подземных толчков пролетариата и мелкой буржуазии. Активность пролетариата во Франции, Англии, Италии, Чехо-Словакии, на Балканах, Польше росла неуклонно. Крестьянство на Балканах, Чехо-Словакии, в Польше, во Франции все больше поворачивалось лицом к пролетариату и спиною к империализму. Началась «большевизация» компартий, что также было связано с общеполитической обстановкой. В десятилетнюю годовщину войны коммунизм выступил в качестве единственной революционной, антивоенной, анти-

империалистской партии. При этих условиях «демократический» режим явился выражением кризиса пуанкаризма и фашизма, следствием роста революционности масс.

Предсказания оправдались, но... когда они оправдались, тов. Троцкий отрекся от них. Он предсказывал демократический режим, как режим предреволюционный. Но когда этот режим установился, тов. Троцкий об'явил, что перед нами — режим пореволюционный. Власть Эррио-Макдональда — не керенщина, ибо «керенщина означает период агонии буржуазного государства». Сейчас этой агонии нет. Пролетариат Европы потерпел «тяжкое поражение»... в Германии (Л. Троцкий, «Запад и Восток», стр. 142, примечание к приложению). Буржуазия укрепилась, она идет к полному, «нормальному» господству. Но не сразу: «Между двумя действиями исторической драмы, — для заполнения исторического антракта, — и нужен меньшевизм («Правда», 5 авг.). Между первым, революционным, актом «исторической драмы» — «для заполнения исторического антракта» — буржуазия ввела либерально-демократическо-пацифистский режим. Этот режим служит прологом не к пролетарской революции, а к чистой, «нормальной» капиталистической диктатуре. Революционное движение идет не в гору, а под гору. Буржуазия революции не боится, она распускает «фашистские банды», она спокойно и уверенно идет к своему полному господству. От режима Эррио-Макдональда переход не к революции, а к реакции.

Вот как, оказывается, оправдалось пророчество тов. Троцкого! Он ожидал пролога к революции, получил эпилог революции. Но пророком себя все-таки считал, — не даром же девять выдержек приложил к своей книге! Пророком себя продолжал считать, ибо партия Макдональда ведь стояла у власти, и партия Кайо в лице лионского мэра Эррио возглавляет Францию в коалиции с партией Лонге. Формально Троцкий пророк. Но по существу, но фактически, не с точки зрения перемещения политических фигур, а с точки зрения установления тенденций исторического развития, ведь, тов. Троцкий расписался в полном банкротстве! С 16 июня 1921 года по 30 ноября 1922 года он предсказывает предреволюционный режим. В девяти выдержках документирует свои предсказания. А в примечании от 15 июля 1924 г. мелким шрифтом приписывает, что пророчество сбылось .. «немножко наоборот»: вместо предсказанного предреволюционного режима наступил режим пореволюционный, вместо пролога получился эпилог!

Но, может быть, мы ошибаемся, может быть, мы неправильно толкуем тов. Троцкого? Может быть мы «не так» поняли напечатанное мелким шрифтом? Проверим себя, обратимся к речи тов. Троцкого от 28 июля, произнесенной на собрании физиков и математиков.

В речи от 28 июля тов. Троцкий ставит вопрос о том, что такое керенщина, и отвечает:

«Такое наименование мы условно давали ожидавшемуся нами пришествию реформизма около трех лет тому назад, ожидая совпадения парламентских перемен влево во Франции и Англии с революциоными переменами в Германии.

Этого совпадения не получилось вследствие поражения немецкой революции осенью прошлого года. Когда определение керенщины повторяют иногда и теперь в применении к левому блоку или макдональдовщине, то это свидетельствует о непонимании обстановки и о злоупотреблении привычными словами».

К заявлению тов. Троцкого мы должны сделать одну весьма существенную фактическую поправку. Он уверял, будто наступление керенщины у него связывалось «с революционными переменами в Германии». Это неправда. Утверждаем категорически: наступление керенщины Троцким ожидалось вне зависимости от «революционных перемен в Германии».

17 ноября 1922 года, в докладе на IV конгрессе Коминтерна тов. Троцкий говорил:

«Наступление реформизма во Франции и Англии неизбежно вызвало бы в Германии новый прилив соглашательских и пацифистких надежд: с демократическими правительствами Англии и Франции можно-де договориться, можно получить отсрочку по платежам и даже скидку, можно при их содействии получить заем в Америке и пр. А кто же более приспособлен для соглашения с французскими радикалами, социалистами, как не германские социал-демократы?» («Запад и Восток», стр. 146).

Кажется, ясно? В Англии и во Франции у власти радикалы и меньшевики, в Германии это вызывает «новый прилив соглашательских и пацифистских надежд», в Германии принимаются за маклерскую работу «спецы» по этой части — «германские социал-демократы». Наступление англо-французской керенщины связывается не с «революционными переменами в Германии», а, наоборот, справедливо ожидается «новый прилив соглашательских и пацифистских надежд» в Германии, как результат англо-французской керенщины...

Какой же, все-таки, режим установился в Европе? «Что такое этот период межеумочного реформизма»? — спрашивает тов. Троцкий в речи 28 июля и, прежде чем на него ответить, замечает:

«Такой вопрос не может разрешиться только в плоскости суб'ективной, т.-е. в плоскости наших желаний, одной нашей готовности изменить обстановку. И здесь, как всегда, об'ективный анализ, учет того, что есть, учет того, что изменяется, что становится, должен быть предпосылкой нашего действия».

Тов Троцкий переходит к «учету того, что есть», и вот его выводы. «Реформизм» и «демократизм» в политике не сопровождается реформизмом

в социальной области: например, о 8-часовом рабочем дне говорят больше всего в антиреформистском духе: в смысле его отмены. Но зато стабилизируется валюта, и тем самым стабилизируется заработная плата — «одна из важнейших основ нынешней реформистско-пацифистской эры». Разумеется, вопрос о стабилизации зарплаты — весьма важный вопрос. Но ведь еще важнее вопрос об ее размерах. Между тем, «реформизм» 1924 г. характеризовался не только отменой 8-часового рабочего дня, но и повсеместными попытками понизить заработную плату. Это важнейшее обстоятельство тов. Троцкий упускал из виду.

Вторая «основа нынешней реформистско-пацифистской эры», по мнению тов. Троцкого, это — упрочение хозяйственного равновесия Европы. В Европу пришла Америка, которая является «хозяином капиталистического человечества». Этот всесветный хозяин Европу сажает на «паек». Европа упирается, но уйти из-под американской диктатуры не может. «Европейская социал-демократия становится на наших глазах политической агентурой американского капитала». Социал-демократия требует, чтобы европейская буржуазия выполняла волю «хозяина капиталистического человечества». При этих условиях «шансы европейского реформизма» зависят от шансов американского «пацифизма», от того, насколько Америке удастся провести свой «пайковый» план.

Но — «что такое этот период международного пацифизма»? Прямого ответа на этот вопрос тов. Троцкий не дал. Мы узнали только от него, что это не была «керенщина», что это был просто «антракт», после которого окончательно должна была упрочиться реакция. Во время «антракта» за кулисами, очевидно, американский капитал «монтировал» второй акт «исторической драмы»... Вот «через какой этап» мы проходили летом 1924 г.

Тов. Троцкий дал схему, внешне весьма стройную и безупречную, но внутренне совершенно пустую, бессодержательную. В Европе начал хозяйничать американский капитал. Это бесспорно. Но самостоятельные социально-политические и экономические факторы Европы продолжают действовать — усложняться, запутываться, обостряться. Приход Америки, между прочим, сам является одним из элементов обострения положения. Затем, Америка диктует, но Европа далеко не во всем подчиняется и подчиняться не может.

Подойдем к вопросу с другой стороны. Допустим, Европа в самом деле становится полуколонией Америки. Россия была полуколонией Антанты. Это значит, что европейский пролетариат будет испытывать двойную эксплоатацию, как испытывал двойную эксплоатацию российский пролетариат. Но полу-колониальное положение Европы не помешает пролетариату произвести революцию, как не помешала зависимость России от Антанты большевикам произвести революцию. Наоборот, двойная эксплоатация ставит перед пролетариатом категорическое требование: либо революционным путем сбросить с себя отечественное и чужеземное капиталистическое иго, — либо погибнуть. К европейской революции американский капитал имеет то отношение, что он эту революцию ускоряет, делает ее неизбеж-

ной. Тов. Троцкий на словах это признает, на деле в его схему «хозяин капиталистического человечества» входит как фактор, на неопределенное время эту революцию откладывающий.

Германская революция.

Осеннее (1923 г.) поражение германского рабочего класса тов. Троцкий считал катастрофой для всего европейского пролетариата. «Срыв германской революции,—говорил он в речи 28 июля,—открывает новый период в развитии Европы и отчасти — всего мира... На смену фашистам пришли пацифисты, демократы, меньшевики, радикалы». Как и почему это случилось — мы уже знаем: буржуазия победила, начинает либеральничать. Поражение германской революции для тов. Троцкого является решительным, окончательным. Вот что он говорил в речи 28 июля:

> «Более благоприятных предпосылок для революции пролетарита и для захвата власти история не создавала и вряд ли когда-либо создаст. Если бы заказать молодым нашим марксистским ученым придумать обстановку более благоприятную для захвата власти пролетаратом, то я думаю, что они не придумают, если, разумеется, захотят оперировать с реальными, а не сказочными, фантастическими данными. Но не хватало одного. Не хватало такой степени закала, дальновидности, решимости и боеспособности коммунистической партии, чтобы эти качества могли обеспечить своевременное выступление и победу».

Если германские коммунисты — напрашивается сам собой вывод — не смогли использовать такую исключительно-благоприятную, неповторяемую обстановку, то что же они могут сделать при иной, заведомо худшей обстановке? Нет, их положение безнадежно, тем более, что зарплата стабилизировалась и американский капитал берет в руки судьбу Европы...

Обстановка была благоприятная, даже «молодые наши марксистские ученые» лучшей не придумают. «Но не хватало одного»... Вот если «ученым» давать такие странные «заказы», то они вероятно неповторяемую «обстановку» дополнили бы прежде всего тем, чего только и не хватало. Ибо ведь недальновидная, нерешительная партия является составной частью «неповторяемой обстановки». Ведь эта партия не с неба свалилась, — она выросла на той же германской земле, на которой создалась «благоприятная» для революции обстановка.

Что же касается самой «обстановки», то неужели она так-таки и неповторяема? В чем состояло существо этой обстановки? В полном экономическом и политическом банкротстве буржуазии, в растерянности, в распаде, разложении ее старых партий, в частности, в расщеплении социал-демократии. Что тут неповторяемого? В какой из этих областей германская буржуазия сотворила чудо? Какую из стоящих перед ней основных проблемм разрешила она?

Тов. Троцкий стоит на той точке зрения, что пролетариату только раз в жизни улыбнется счастье, только раз история ему преподнесет «благоприятные условия» для своей революции. Если он тут прозевал — все тогда конечно. В речи на с'езде лекарей и ветеринаров тов. Троцкий говорил:

> «Нельзя себе представить дело так, что история механически создает условия революции и преподносит их затем, по востребованию партии, в любой момент на блюде: получай и распишись в получении. Этого не бывает. Класс должен в длительной борьбе выковать такой авангард, который сумеет разобраться в обстановке, который узнает революцию, когда она постучится в дверь, который в нужный момент сумеет понять задачу восстания, как задачу искусства выработать план, распределить роли и нанести буржуазии беспощадный удар».

Словом, суб'ективный фактор революции должен быть готов тогда и в такой мере, когда и в какой мере готов фактор об'ективный. «Класс должен в длительной борьбе выковать такой авангард»... Ну, а если класс, угнетенный, находящийся в материальном и духовном плену у буржуазии, не смог к «подходящему» моменту «выковать» «такой авангард»? Что же, история отсрочки не дает? Второй раз она «условий революции» уже не «преподносит»?

Каким безнадежным делом была бы пролетарская революция, если бы рассуждения тов. Троцкого были верны! К счастью, они совершенно не верны. История не так «строга», не так безжалостна к пролетариату, как это изображает тов. Троцкий. История дает угнетенному классу «отсрочку». Ибо и после того, как пролетариат не смог использовать благоприятный момент, основные проблемы, вызвавшие кризис буржуазии, сохраняются. В эпоху войны и революций новые кризисы нарастают и разражаются быстро.

Упустить момент—это не значит погубить все дело революции. Поэтому не прав тов. Троцкий, когда он в своей книге о Ленине заявляет: «Если бы мы не взяли власть в октябре, мы бы не взяли ее совсем». В марте 1924 г. он написал эти слова, видимо, для того, чтобы сказать: раз немецкие коммунисты не взяли власти в октябре 1923 г., они «не возьмут ее совсем».

Однако даром упущение подходящей обстановки не проходит. Инициатива переходит к противнику, который начинает наносить пролетариату серьезные удары. Что обязательно в этот период для класса и его партии,— так это учиться на уроках, не впадать в панику и неуклонно готовиться к новым боям. — В эпоху войн и революций обстановка меняется быстро.

В тоне полной безнадежности говорил тов. Троцкий о германской революции. В этом отношении прямо-таки тягостные впечатления производит его речь на собрании лекарей и ветеринаров. Произошло «роковое упущение». В результате всех неудач — «внезапное отступление с первоклассных позиций без боя — самое жестокое из всех возможных поражений». Мы не входим сейчас в рассмотрение вопроса о том, правильно ли

поступила германская компартия, отступив без боя. Но почему вообще отступление без боя считается «самым жестоким из всех возможных поражений»? — В июле 1917 г. наша партия по существу отступила без боя. Движение началось стихийно, столкновения произошли стихийно, — но сознательно партия боя в тот момент не хотела, и она от боя уклонилась. Общего между российским июлем 1917 г. и германским октябрем 1923 года то, что и в том и в другом случае партия отступила без боя, и в том и другом случае отступление в общем было проведено в порядке, и в том и другом случае аппарат партии и живые силы революции были сохранены, перестроены и подготовлены к новым боям. Почему такое отступление является «самым жестоким из всех возможных поражений»? — К чему такое чудовищное преувеличение, которое граничит с паникой?

«В конце 1923 года, — продолжает тов. Троцкий, — коммунисты потерпели в Германии величайшее поражение, никак не меньшее, чем наше поражение в 1905 году».

Что означает поражение 1905 года? — Активные силы пролетариата разбиты, партия разгромлена, в стране действуют военно-полевые суды, черносотенные банды бесчинствуют повсюду, — победа царизма полная, решительная. Разгон II Государственной Думы и изменение избирательного закона (3/16 июня 1907 г.) формально закрепляет победу царистско-помещичьей реакции. Революционная обстановка в России исчезает, — укрепление реакции в России сопровождается усилением реакции во всей Европе. Наступает эпоха реакции.

Разве что-либо подобное мы видим в настоящее время в Германии? — Разве пролетариат разбит, разве его партия разгромлена, разве буржуазия одержала полную решительную победу? — В 1907—1910 г.г. российский пролетариат не мог подняться, настолько сильно он был обескровлен, обезглавлен, парализован. Перед ним стояла несокрушимая внешняя сила. Германскому пролетариату никакая внешняя сила не помешает подняться к решающей борьбе. Он обладает гигантской всесокрушающей силой, которая еще не была пущена в ход, не была испробована как следует быть.

Троцкий напоминает, что российскому пролетариату понадобилось 12 лет, чтобы совершить вторую революцию. «Германский пролетариат, — говорит он, — потерпел «величайшее поражение», — ему нужен известный и притом значительный промежуток времени, чтобы переварить это поражение, усвоить его урок и оправиться от него». Сколько понадобится времени? — «Пять лет? — Двенадцать лет? — Никакого точного ответа на этот вопрос дать нельзя». Тов. Троцкий справедливо указывает, что «темп развития в смысле радикального изменения политической обстановки стал после войны гораздо более быстрым, лихорадочным, чем до войны». Однако несколько неожиданный после об'явления прошлогоднего поражения катастрофой вывод: «торжество контр-революции в Германии не может быть длительным».

Суть вопроса заключается в том, что в Германии, как и во всей Европе, не решен вопрос о власти, нет прочного «торжества контр-револю-

ции». В Германии у власти стоит блок срединных, промежуточных партий, одновременно применяющий фашистские и «демократические» способы борьбы с рабочим классом в целях спасения капитализма. Дело не в том только, что в наше время «темп развития» иной, чем был до войны, — дело в том, что наше время — время революционной неустойчивости во всей Европе, в отличие от 1907—1910 г.г., когда мы имели период реакционной устойчивости.

Пролетариат не сказал еще решающего слова в Европе, — не сказал его и в Германии. Сегодня он своим неоформленным движением, не всегда отчетливым давлением держит буржуазию в состоянии колебаний и шатаний, — в историческое завтра он вступит с капитализмом в решающую борьбу. Не назад, к реакционному «порядку» и покою идет рабочий класс Запада, а вперед, к революционным бурям и волнениям.

Самый опасный вид реформизма.

Тов. Троцкий подвергает критике европейскую социал-демократию. В речи на собрании физиков он говорил:

> «Европейская социал-демократия становится на наших глазах политическим агентством американского капитала. Ожиданно это или неожиданно? Если вспомнить, — тут и вспоминать нечего, — что социал-демократия есть агентура буржуазии, то станет ясно, что социал-демократия должна была логикой своего политического вырождения стать агентурой самой сильной, самой могущественной буржуазии, буржуазии всех буржуазий. Это и есть американская буржуазия».

Европа становится американской колонией, как Россия была колонией буржуазной Европы. Европейская социал-демократия совершенно естественно «из роли американского капитала в Европе делает новую религию». Точно так же российская социал-демократия из роли англо-французского капитала в России делала «новую религию». Но это не только не мешало, но прямо толкало русских меньшевиков и эсеров к всемерной поддержке российского капитализма, тесно связанного с англо-французским[1]). И тов. Троцкий ошибается, когда он думает, что служение американской сверх-буржуазии обусловит оппозиционность европейской социал-демократии в отношении собственной буржуазии. Америке европейские меньшевики служить будут, но пренебрегать интересами «родного» капитализма не посмеют, не станут, хотя бы потому, что он тесно связан с капитализмом заокеанским, и банкиры

---

[1]) Кстати. Относительно российских меньшевиков и эсеров Троцкий в речи 21 июня высказал прямо поразительную мысль. Говоря об английских рабочих лидерах, которых очень хвалит английская буржуазия, тов. Троцкий замечает:

„У нас в рабочем классе лидеров, которые бы заслужили такие похвалы буржуазии, нет и не бывало, даже если мы вспомним о том, что у нас в известный период эсеры и меньшевики играли немалую роль, потому что наша буржуазия, за вычетом наиболее острых и решающих моментов, когда

Америки заинтересованы в прочности буржуазных устоев в Европе. Нельзя распространять иллюзий относительно характера деятельности европейской социал-демократии. А Троцкий этим занимается. В речи перед физиками он говорил:

«Услуга за услугу. Меньшевики при этом сами не мало выигрывают. В самом деле, германской социал-демократии на-днях еще, в периоды острой гражданской войны, приходилось брать на себя прямую вооруженную защиту своей буржуазии, той самой, которая шла рука об руку с фашистами. Носке является ведь символической фигурой для послевоенной политики германской социал-демократии. А сегодня? Сегодня у нее роль иная. Сегодня германская социал-демократия позволяет себе роскошь оппозиции».

Вчера приходилось воевать за буржуазию, сегодня в оппозиции. А факт переплетения меньшевизма с фашизмом смазан. Отмечается, что кровавый Носке более не военный министр, но забывается, что кровавый Зеверинг — усмиритель мартовского восстания 1921 года — состоит прусским министром полиции. Забывается, что вся внутренняя и внешняя политика Германии, целиком направленная против рабочего класса, осуществляется при непосредственном участии социал-демократии. Забывается, что социал-демократический президент Эберт не может быть элементом серьезной оппозиции против возглавляемой им самим буржуазной республики, а Эберт от социал-демократии не отделим.

Но если б даже тов. Троцкий дал правильную критику меньшевизма, то это не имело бы слишком большого значения. Суть вопроса заключается в том, что в наше время наибольшую опасность для революции представляет реформизм не меньшевистский, а... коммунистический. Да, да—самый опасный вид реформизма—это реформизм, поднимающий голову внутри коммунизма, это «правый уклон» в Коминтерне.

Меньшевистский реформизм — да его по сути дела нет в природе! Меньшевистская партия из реформистской стала консервативной, реакционной, фашистской, охранительной. Партия, предающая 8-часовой рабочий день, не имеет права называться даже реформистской партией. Во всяком случае это партия не рабочего, а буржуазного реформизма. И еще вопрос, кто пойдет дальше по пути реформ: буржуа Асквит и Ллойд-Джордж или

приходилось очень уж туго, даже эсерами и меньшевиками была недовольна".

Это—прямое прикрашиванье российского меньшевизма и эсеровщины. Ибо кому не известно, что таких лидеров меньшевизма, как Плеханов, Дан, Гвоздев, Потресов, Маслов, Церетели, всегда хвалила буржуазия в лице Изгоевых, Струве Милюковых,—хвалила за „умеренность", за „европеизм", за склонность к соглашениям и компромиссам... Об эсеровских лидерах и говорить не приходится: это были вовсе уж „свои люди" для буржуазии.

«социалист» Макдональд. Во всяком случае английский консерватор Гарвин имел все основания заявить: «Я за рабочее правительство, ибо оно лучшее консервативное правительство» [1]). Социал-демократический реформизм опасен постольку, поскольку опасен буржуазный реформизм вообще, меньшевистская партия опасна постольку, поскольку опасна всякая буржуазная партия, проникающая в ряды рабочего класса. Из числа буржуазных партий меньшевистская наиболее, пожалуй, опасная, ибо это наилучше приспособленная для обмана пролетариата партия. Но при всем том меньшевизм внешний, а не внутренний враг пролетарской революции, он давно уже стоит по ту сторону классовой баррикады.

С точки зрения революционной консолидации рабочего класса, с точки зрения укрепления, расширения и превращения в решающую силу коммунистической партии, опасен именно реформизм внутренний, коммунистический, опасно воспроизведение под флагом коммунизма старого классического социал-демократизма, с марксистской словесностью и революционной фразеологией, но без революционной воли и, главное, без организации. Опасно воспроизведение в коммунизме левого центризма, полуменьшевизма, представляющего собою наиболее трудно поддающийся разоблачению и, следовательно, наиболее вредный вид оппортунизма и реформизма. Словом, более всего опасен тот уклон, который пытается внести теорию и практику реформизма в революционную партию.

Коммунистическая партия — единственная гарантия того, что рабочий класс победит, единственная его надежда и спасение. И вот, если внутри этой партии укрепится реформизм, если из ее рядов будут распространяться «демократические иллюзии», если оттуда будут раздаваться голоса на счет «успокоения» и «бальзама утешения», если и коммунизм будет угашать бдительность пролетариата, — тогда величайшее поражение обеспечено, тогда капитализм заранее может праздновать уже не мнимую, в усталом воображении Троцкого родившуюся, победу, а настоящую историческую победу над рабочим классом на многие годы и десятилетия.

Вот почему не может быть никакой идейно-политической пощады внутреннему реформизму — самому вредному, самому опасному реформизму.

---

[1]) См. К. Радек, Барометр выборов — „Красная Новь“, июнь - июль, стр. 237.

У истоков троцкизма.

А. Мартынов.

Злой рок тяготеет над многими видными левыми социал-демократами, вступившими в партии III Интернационала. Они в течение ряда лет до войны и во время войны по разному боролись с проявлениями оппортунизма внутри социал-демократии, оставаясь, однако, на ее почве. Когда они впоследствии вступили в III Интернационал, они, на основании своих прошлых заслуг в борьбе с оппортунистами, были глубоко убеждены, что вносят ценный идейный вклад в компартии, который должен войти, как новая составная часть в их большевистокую идеологию. Но раньше или позже обнаруживалось, что этот вклад был даром данайца, что их «левизна» не большевистская, что она никак не мирится с большевизмом. В аналогичном положении находился и находится тов. Троцкий, который, хотя, в отличие от западно-европейских левых социал-демократов, и прошел школу революции еще в 1905 г., но прошел ее не в большевистском лагере, а в меньшевистском, как левый меньшевик.

Было бы недостойным занятием выкапывать из архива старые меньшевистские прегрешения тов. Троцкого после того, как он вступил в большевистскую партию и оказал ей крупнейшие услуги. Особенно недостойно было бы такое занятие для меня, бывшего меньшевика-центровика, вступившего в РКП не накануне ее решительных боев, как тов. Троцкий, а после решительной победы. Но в том-то и дело, что т. Троцкий никогда не стал в полной мере большевиком. Вступив в большевистскую партию, он не подверг критической переоценке своих старых взглядов ни публично, ни в собственном сознании. Мало того, он чем дальше, тем больше старается навязать свой «троцкизм» большевистской партии, колебля, таким образом, самые ее основы. При таких условиях всякий, кому дороги или стали дороги судьбы большевизма, обязан занять определенную позицию по отношению к т. Троцкому и не имеет права молчать. Каждый большевик тем более должен бить тревогу по поводу выпадов тов. Троцкого, что это — личность яркая, что он имеет крупные революционные заслуги и, потому, пользуется авторитетом.

Три года тому назад тов. Троцкий в письме к тов. Ольминскому по поводу старых своих произведений до-большевистского периода писал: «И сейчас я мог бы без труда разбить мои полемические статьи против меньшеви-

ков и большевиков на две категории: одни — посвященные анализу внутренних сил революции, ее перспективам... и другие — посвященные оценке фракций русских социал-демократов, их борьбе и пр. Статьи первой категории я и сейчас мог бы дать без поправок, так как они вполне и целиком совпадают с позицией нашей партии, начиная с 1917 года. Статьи второй категории явно ошибочны. Я нахожу, что и переиздавать их не стоило бы».

Свою ошибку в оценке обеих фракций тов. Троцкий так формулирует: «Неправ я был коренным образом в оценке меньшевистской фракции, переоценивая ее революционные возможности и надеясь на то, что удастся изолировать в ней и свести на-нет правое крыло». По отношению же к большевикам ошибка тов. Троцкого заключалась, дескать, в том, что он не предвидел «возможности столь быстрого поворота их от революционно-демократической позиции к революционно-социалистической».

Смысл этого заявления таков: за весь долгий период борьбы между меньшевиками и большевиками вплоть до Октября один только тов. Троцкий, стоявший над фракциями, занимал правильную позицию в основном вопросе о характере и движущих силах русской революции, позицию, сформулированную им в его теории «перманентной революции». Он грешил лишь тем, что переоценивал способность меньшевиков и недооценивал способность большевиков встать на его, тов. Троцкого, революционно-социалистическую точку зрения.

Я, наблюдавший политическую деятельность тов. Троцкого в течение многих лет вблизи, с близкого расстояния, должен заявить, что тов. Троцкий искренно, но глубоко заблуждается, что он не познал самого себя.

Я утверждаю и надеюсь доказать это в настоящей статье, во-первых, что тов. Троцкий не только переоценивал возможности революционного развитияи меньшевиков, но и сам в очень существенных вопросах, имевших решающее значение, стоял на меньшевистской позиции. Во-вторых, что его теория «перманентной революции» гораздо ближе стояла к концепции и тактике меньшевиков 1905 г., чем ко взглядам большевиков; в-третьих, что и правовернейшие меньшевики в известные моменты защищали эту теорию в 1905 г. Именно поэтому тов. Троцкий мог в течение 14 лет, несмотря на неоднократные размолвки, не обрывать своей организационной связи с меньшевиками, оставаясь неизменно чуждым большевикам, и вступил в большевистскую партию только тогда, когда меньшевики сделали новый крупный шаг в сторону оппортунизма, когда они заняли определенно контр-революционную позицию, стали по ту сторону баррикады и, тем самым, по мнению тов. Троцкого, сами поставили себя вне старой партии.

* * *

Начну с периода старой «Искры» и раскола РСДРП на II с'езде. Молодой тов. Троцкий стал сотрудничать в старой «Искре», как политический деятель, уже настолько определившийся, что Ленин готов был ввести его в качестве седьмого члена в редакцию, хотя и с маневренной целью, чтобы об-

легчить выделение из нее центральной «тройки», в которую он тов. Троцкого не намерен был ввести.

Тов. Троцкий в «Искре» сразу выявил себя, как талантливый публицист, но особенно склонный к психологизму и к фельетонной манере (пример: его «Письма обо всем»), в отличие от тов. Ленина, писавшего всегда в деловом тоне (примеры: «С чего начать?», «Что делать?»).

Далее тов. Троцкий с самого начала выявил свою «левизну», но «левизну» специфическую. Поскольку дело касалось «межевания», отмежевывания социал-демократии от эсеров, с одной стороны, от либералов, с другой, тов. Троцкий проявлял максимальное усердие среди «искровцев». Но одновременно он проявлял, по сравнению с другими «искровцами», большую беззаботность относительно трудностей революции, которых нельзя было заговорить, которые надо было преодолеть, в частности, большую беззаботность к задаче привлечения пролетариатом себе союзников в борьбе. Характерно было для тов. Троцкого, что он немедленно после 9 января 1905 г. писал, что революция уже уперлась во всенародное восстание, что «никакие местные демонстрации не могут уже теперь иметь серьезного политического значения», что «после петербургского выступления должно иметь место только всероссийское выступление», что «русская революция подошла к своему кульминационному пункту».

У меня нет под руками номеров старой «Искры», но в меньшевистской «Искре» из семи статей тов. Троцкого — пять посвящены жестокой критике либералов. В своей книжке «О Ленине» тов. Троцкий рассказывает: «Вера Засулич жаловалась, что мы, марксисты, своей преждевременной критикой и «травлей» только запугиваем либералов. — «Вот смотрите, как они стараются»,—говорила она, глядя мимо Ленина, но имея в виду прежде всего именно его». Я могу засвидетельствовать, что Вера Ивановна, хотя, впрочем, позже, по поводу брошюры Троцкого — «9 января», за эту «травлю» больше всего упрекала именно его, Троцкого. В этой брошюре, которую тов. Троцкий начал писать в конце 1904 г., он говорил о либералах в таком тоне: «А либеральная печать? Эта жалкая, шамкающая, пресмыкающаяся, лживая, извивающаяся, развращенная и развращающаяся либеральная печать»... Вера Засулич не могла без раздражения и волнения говорить об этом «либералоедстве».

Левизна тов. Троцкого выражалась и в страстности его полемических статей вообще. В книжке «О Ленине» он рассказывает, что Ленин, разошедшийся с Плехановым по вопросу о популярном органе, но не пожелавший обострять с ним спора, сказал Троцкому: «По вопросу о популярном органе пусть уж лучше Плеханову возражает Мартов. Мартов будет смазывать, а вы станете рубить. Пусть уж лучше смазывает». Это была меткая характеристика стиля Троцкого: он был хороший «рубака».

При таких левых качествах тов. Троцкого казалось бы, что он на II с'езде партии, в момент раскола, должен был стать на сторону Ленина и «твердых» искровцев. Но вышло не так. В самых боевых вопросах: в вопросе об образовании партийного крепкого центра в лице заграничной редакционной «тройки» и в вопросе о партийной дисциплине (1-й параграф Устава о член-

стве партии) тов. Троцкий сразу и без колебаний стал на сторону «мягких», искровцев, будущих меньшевиков.

Чем это об'яснить? Прежде всего — установим некоторые факты. Ленин настаивал на том, чтобы редакция Центрального Органа состояла из тройки— Ленина, Плеханова и Мартова, для обеспечения твердого идейного руководстаа партией. Мартов настаивал на том, чтобы она состояла из шестерки, чтобы в нее также входили П. Аксельрод, Вера Засулич и Потресов (Старовер), желавшие заодно с Мартовым передать руководство партией практическому центру в России, хотя и менее устойчивому и подверженному случайностям ареста.

Мотивируя свое предложение на с'езде, Ленин говорил: «До какой степени глубоко мы расходимся здесь политически с тов. Мартовым, видно из того, что он ставит мне в вину это желание влиять на Цека, а я ставлю себе в заслугу, что я стремился и стремлюсь закрепить это влияние организационным путем... И меня нисколько не пугают страшные слова об «осадном положении в партии», «об исключительных законах» против отдельных лиц и групп и т. п. По отношению к неустойчивым и шатким элементам мы не только можем, мы обязаны создавать «осадное положение»... В своей книге «О Ленине» тов. Троцкий приводит диалог, ярко характеризующий в том же смысле позицию Ленина в этом вопросе. Ленин говорил Троцкому:

« — Полемика «русских» цекистов против Ц. О. недопустима.

« — Так это же получится полная диктатура Ц. О.? — спрашивал я (тов. Троцкий).

« — А что же плохого? — возражал Ленин. — Так оно при нынешнем положении и быть должно»...

И Мартов, с своей стороны, так же истолковывал смысл плана Ленина насчет редакционной тройки. Возражая против него, он говорил на с'езде: «Фактически вся партийная власть передается в руки двух лиц; я слишком мало дорожу званием редактора, чтобы согласиться состоять при них в качестве третьего».

Итак, по плану Ленина «вся власть» в партии в то время должна была сосредоточиться фактически в руках двух лиц — его и Плеханова.

Что же их связывало? Тов. Троцкий в книжке «О Ленине» рассказывает, что «Плеханов, в ответ на горькие и недоуменные упреки П. Аксельрода по поводу Плехановского союза с Лениным, сказал: — «Из такого теста делаются Робеспьеры». Это именно притягивало Плеханова к Ленину. И Ленин в Плеханове, прежде всего ценил то, что он был марксистский якобинец. Мы знаем теперь, из опубликованных в Ленинском сборнике материалов о программной дискуссии в 1902 году, что между Плехановым и Лениным были сильные трения в период старой «Искры». Ленин упрекал Плеханова в том, что он написал проект программы в слишком академическом тоне, что его программа более напоминает учебник, чем руководство практической борьбы. Из этого академизма Плеханова, из того, что он оторвался от русской почвы и застыл на своем лозунге, что русская революция будет бур-

жуазная, — лозунге, в свое время сыгравшем громадную историческую роль в борьбе с народничеством, — впоследствии возникли глубокие разногласия между Плехановым и Лениным. Но в то время, во время II с'езда, эти разногласия еще не обнаружились. В то время Ленин глубоко ценил Плеханова прежде всего за то, что он в отличие от всех европейских социал-демократов воскресил якобинский дух Маркса и Энгельса.

В этом отношении Ленин тогда был учеником Плеханова, который вскоре, впрочем, перерос своего учителя. Надо помнить, что Плеханов был первый социал-демократ, который в проект программы внес положение о «диктатуре пролетариата». До того во всех без исключения западно-европейских социал-демократических программах говорилось только «о завоевании политической власти пролетариатом». Надо помнить, что Плеханов первый предсказал, что мы стоим перед началом мировой борьбы между социалистической «Горой» и социалистической «Жирондой». Надо помнить, что Плеханов был первый социал-демократ, который, совершенно в духе Маркса, на II с'езде нашей партии осмелился заявить: «Если бы ради успеха революции потребовалось временно ограничить действие того или другого демократического принципа, то перед таким ограничением преступно было бы останавливаться. Как личное свое мнение, я скажу, что даже на принцип всеобщего избирательного права надо смотреть с точки зрения указанного мною основного принципа демократии. Гипотетически мыслим случай, когда мы, социал-демократы, высказались бы против всеобщего избирательного права... Революционный пролетариат мог бы ограничить политические права высших классов подобно тому, как высшие классы ограничивали когда-то его права... Если бы выборы в парламент оказались неудачными, то нам нужно было бы постараться разогнать его не через два года, а если можно, то через две недели».

Вот что связывало в то время Ленина и Плеханова. Но именно это оттолкнуло от них, и особенно от Плеханова, тов. Троцкого. На с'езде между Троцким и Плехановым произошел такой инцидент: когда Мартов отказался участвовать в редакционной «тройке», Троцкий, обращаясь к Плеханову, спросил: «Где же вы найдете третьего?». Плеханов ответил: «Не оскудела земля русская талантами». На это тов. Троцкий возразил в дерзком тоне: «Тов. Плеханов, не говорите речей в ложно-классическом стиле».

Тов. Троцкий не любил «ложно-классического» стиля Плеханова. Но Плеханов еще больше не любил фельетонного стиля тов. Троцкого. В результате после раскола сотрудничество Троцкого с Плехановым в «Искре» стало невозможным. Он вынужден был уйти из «Искры» и уехать. В это время я лично познакомился в Берлине с тов. Троцким. Тов. Троцкий, ушедший из «Искры», всячески уговаривал и уговорил меня там вступить в «Искру» (меньшевистскую). Во время этих переговоров я рассказывал т. Троцкому, что II с'езд произвел на меня впечатление попытки копировать французский Конвент 1793 г. и что под впечатлением этого с'езда я пишу брошюру — «Две диктатуры», в которой я доказываю, что Ленин непременно попытается повторить опыт французских якобинцев и установить в России революционную

диктатуру и что, если это ему удастся, — это неизбежно приведет к банкротству российской социал-демократии, ибо и диктатура французских якобинцев потерпела крушение благодаря тому, что поставила себе утопическую цель — на заре капиталистического развития ликвидировать классовые противоречия при помощи гильотины, а мы пока тоже собираемся сделать лишь буржуазную революцию.

Тов. Троцкий вполне согласился со мной насчет вредности Ленинского якобинизма и в своей книжке — «Наши политические задачи», которая вскоре после этого появилась, — развил это в последней главе, начинающейся с тезиса: «Не якобинец социал-демократ, а якобинец или социал-демократ».

Уже из этого отрицательного отношения тов. Троцкого к якобинизму видно, что он не понимал или, по меньшей мере, очень сильно недооценивал то большое основное дело, которое выполняла старая «Искра» под руководством Ленина. Это дело может быть кратко формулировано: она стремилась возвысить Российскую Социал-Демократическую Рабочую Партию до роли гегемона в русской революции. Я говорю о гегемонии партии, а не класса, ибо наша партия в то время была еще по своему составу в очень значительной степени интеллигентской. Но Ленин, ставивший себе задачу осуществления гегемонии партии, понимал, и история это впоследствии вполне подтвердила, что по мере того, как в нашу партию будут вовлекаться рабочие, и по мере того, как будет расти ее связь с рабочими массами, ее гегемония превратится в гегемонию пролетариата в русской революции.

Идея гегемонии пролетариата в русской революции была не нова, ее высказывали еще в 90-х годах Плеханов и Аксельрод. Но Ленин в период старой «Искры» впервые стал ее всерьез осуществлять. Ленин отдавал себе отчет в том, что наш немногочисленный фабрично-заводский пролетариат один, без союзников, не в силах будет довести русскую революцию до победного конца. Не случайно он еще в своей книге «Развитие капитализма в России», в отличие от одновременно появившейся книги Тугана-Барановского «Фабрика», доказывал, что русский промышленный капитализм имеет глубокие корни в экономике нашей деревни и что, поэтому, удельный вес нашего промышленного пролетариата несравненно бóльший, чем численный процент наших фабрично-заводских рабочих по отношению ко всей массе населения. Ленин в то время, правда, еще не поставил вопроса о союзе пролетариата и крестьянства — этот вопрос он поставил после того, как развернулось аграрное движение в России, но и тогда уже он указывал, что деревенская беднота сможет быть попутчиком пролетариата вплоть до социалистической революции, а зажиточные слои крестьян смогут быть его союзниками в демократической революции, в борьбе против остатков крепостничества. Кроме того Ленин в то время еще не отказался от попытки толкнуть и либералов на более решительную борьбу с царским самодержавием (см. его статью — «Гонители земства и Аннибалы либерализма»). Исходя из этих соображений, Ленин в своей книге «Что делать?» писал: «Социал-демократы должны итти во все классы населения, должны рассылать во все

стороны отряды своей армии». «Итти во все классы населения мы должны в качестве теоретиков, и в качестве пропагандистов, и в качестве организаторов». «Мы должны одновременно руководить активной деятельностью разных оппозиционных слоев, диктовать для них положительную программу действий» и т. д.

Ленин понимал, что хождение социал-демократов «во все классы» связано с большими опасностями для революционной социал-демократии, тем более, что ко времени основания «Искры» уже сформировались буржуазно-либеральное и мелко-буржуазно-радикальное (эсеровское) политические движения, которые конкурировали с социал-демократией, которые стремились путем критики марксизма вышибить из рук социал-демократии ее могучее идейное оружие. Поэтому Ленин, чем больше он искал союзников для пролетариата, тем более беспощадно боролся против проникновения буржуазной или мелко-буржуазной идеологии в партию, против малейшего проявления оппортунизма внутри социал-демократии, за железную партийную дисциплину и за создание гибкого, но твердого, непоколебимого руководства партией отборным кадром профессиональных революционеров-марксистов. Так Ленин, исходя из необходимости привлечь для пролетариата союзников в революционной борьбе и из обязанности нашей партии играть роль гегемона в революции, пришел к марксистскому, пролетарскому якобинизму, который он сформулировал в словах: «Якобинец, неразрывно связанный с организацией пролетариата, сознавшего свои классовые интересы, — это и есть революционный социал-демократ».

Как же тов. Троцкий в момент раскола относился к этой основной задаче старой «Искры»? В своей книжке «Наши политические задачи», вышедшей после раскола в 1904 г., он писал: «субективно «Искра» ставила себе самые широкие цели: прежде всего возвышение стихийного рабочего движения на степень политического и затем руководство — именем пролетариата, класса-освободителя—всеми теми, кому дорого имя—«свобода» (№ 3). «Политическая газета, как социал-демократическая, должна была служить светочем революционному пролетариату, как демократическая — путеводной звездой борющейся демократии. Но оказалось, что невозможно на литературном пути достигнуть тех политических эффектов, которые не отвечают соотношению политических сил». Дальше он пишет: «В № 35 в превосходной статье тов. Старовера «Искра» отдает себе отчет в происшедших об'ективных переменах, под влиянием которых сложился ее собственный облик. Поворот в умах демократии, — говорит Старовер, — совершившийся факт. Идея пролетариата, руководящего освободительной борьбой, сменяется идеей освободительной борьбы, в которой пролетариату отведено подчиненное место» («О двуликой демократии»).

Итак, тов. Троцкий в 1904 г. вполне солидаризировался с «превосходной» статьей Старовера (Потресова), утверждавшей, что задача осуществления гегемонии пролетариата, которую суб'ективно ставила

себе «Искра», потерпела банкротство [1]). Какова же была об'ективная заслуга старой «Искры»? Ее тов. Троцкий так формулирует в своей книжке: «Искра» оказала: необходимо размежеваться, — и она размежевывала и отмежевывала. Но это означает не то, что «Искра» вырабатывала тактические приемы непосредственного политического размежевывания пролетариата и буржуазии — в этом направлении она сделала крайне мало, — нет, она применяла реставрированные «Зарею» марксистские теоретические основы для размежевания принципиальных сторонников пролетариата и потенциальных «сторонников» буржуазии в среде демократической интеллигенции». Эту об'ективную заслугу «Искры» тов. Троцкий признавал в 1904 году. Но теперь, говорил он, нужно сделат шаг вперед: «Теперь вопрос формулируется так: какая задача должна составить душу нового периода: дальнейшее ли «размежевание» — теперь уже в ограниченном кругу интеллигенции, об'единенной общей программой в социал-демократическую партию — или же выработка методов непосредственного политического отделения пролетариата (а не только его «идеи») от буржуазии (а не только ее «идеи»)? Мы настаиваем на втором ответе». «Задачей нового периода, — говорит Троцкий,— является развитие политической «самодеятельности» пролетариата, «в политическом противопоставлении более сознательных слоев пролетариата организациям господствующих классов в самом процессе общеполитической борьбы с царизмом. Именно на этом пути мы можем придать классовый характер нашей политической борьбе».

Итак, с одной стороны, отказ, по меньшей мере на ближайший период, от той задачи, которую субъективно поставила себе старая «Искра» — от борьбы за гегемонию социал-демократической партии, с другой стороны, дальнейшее развитие той задачи, которую она об'ективно выполняла, переход от «размежевания» интеллигенции к размежеванию между самими классами — пролетариатом и буржуазией.

Сопоставляя то, что Троцкий говорил здесь об об'ективной задаче, которую выполняла старая «Искра», и дальнейших выводах из нее, с тем, что он говорил о субъективной задаче «Искры», потерпевшей, дескать, крушение, мы должны прийти к следующему заключению: тов. Троцкий понимал, что предпринятое старой «Искрой» размежевание между социал-демократами, с одной стороны, социалистами-революционерами и либералами, с другой, в рядах интеллигенции было делом неотложным и что это была необходимая предпосылка для дальнейшего размежевания между самим пролетариатом и другими классами — буржуазией и крестьянством. Но он отказывался понимать, что борьба старой «Искры» за гегемонию социал-демократии в прогрессивной интеллигенции была тоже неотложным делом, ибо она была необходимой предпосылкой для будущей гегемонии пролетариата над другими классами.

---

[1]) Из статьи Потресова неясно было еще, потерпела ли эта идея банкротство на ближайший период, или навсегда. Впоследствии выяснилось, что Потресов похоронил ее навсегда.

Скользя по поверхности русской политической жизни, не понимая конкретного соотношения классовых сил в России, не понимая трудностей, стоящих перед русской революцией, не понимая, что русский пролетариат не сможет победить в революции, не привлекши на свою сторону союзников и не руководя ими, Троцкий во всей работе старой «Искры» ценил только одно: то, что она усердно отмежевывала социал-демократию от других партий. Но он совершенно не сумел оценить другую, тесно связанную с нею, задачу старой «Искры» — завоевать себе, а через то в близком будущем и представляемому ею классу, гегемонию в демократическом движении. Эту задачу он при первой же неудаче, сигнализированной Потресовым-Старовером, отбросил в сторону, как, в лучшем случае, преждевременную. Но отказаться от борьбы за гегемонию пролетариата значило, хочешь этого или не хочешь, отдать гегемонию в руки либералов, столь ненавистных тов. Троцкому, значило скатиться в болото оппортунизма. И «левый» тов. Троцкий, ярый либералоед и «межеватель», в это болото скатился.

Во имя развития «самодеятельности» пролетариата и «непосредственного» противопоставления самих рабочих буржуазии, он во время и после раскола в указанной книжке заодно со всеми меньшевиками вопит: «Прочь политическое заместительство!», «Долой казарменную, фабричную дисциплину в партии!», «Долой бюрократический централизм!», «Долой якобинство!». Долой, словом, все то, что для вдохновителя старой «Искры», для Ленина, служило гарантией того, что социал-демократия, «идя во все классы» и зовя их на борьбу, не подчинится идеологии этих классов.

Ленин строил монолитную партию. Меньшевики превращали ее в парламент мнений, и Троцкий это приветствовал. «Меньшинство, — писал он, — завоевало для себя, — а так как кампания его велась под принципиальным знаменем, то, значит, и для других оппозиционных течений на предбудущие времена, — право гражданства».

Ленин вел беспощадную борьбу с «экономизмом» на том основании, что он принижал задачи партии, отдавая гегемонию в руки либералов. Тов. Троцкий в указанной брошюре восстанавливает в правах «экономизм», как законный этап в органическом развитии партии, законный, поскольку экономисты непосредственно руководили профессиональной борьбой рабочих масс и суб'ективно отстаивали интересы рабочего класса: «Если оглянуться назад, — пишет он, — на смену течений и направлений, в острой борьбе которых иные «революционные» наблюдатели усматривали симптом «разложения» нашей партии, то источником глубочайшего нравственного и политического удовлетворения должен явиться тот факт, что чередование взаимно отметавших друг друга направлений — в общем и целом — определялось всегда одной и той же верховной контролирующей идеей: социал-демократия сознательно «хочет быть и остаться классовым движением организованных рабочих масс». «Первым, в сущности, примером, — говорит он далее, — когда представители нового течения в партии сознательно стремятся утвердиться не на костях, а на плечах своих предшественников, рассматривая в общей перспективе партийного развития, является так называемое меньшинство.

И это — добрый симптом». Для тов. Троцкого смена «экономизма» «искровством», а «искровства» «меньшевизмом» есть три последовательные ступени развития партии, при чем во всех этих этапах он с «глубочайшим удовлетворением» отмечает одну и ту же верховную контролирующую идею— желание «быть и остаться классовым движением организованных рабочих масс».

Тов. Троцкий свою книжку посвятил «дорогому учителю Павлу Борисовичу Аксельроду». Павел Борисович Аксельрод, однако, прочитав эту книжку, сказал мне, что он очень недоволен этим посвящением: напрасно, дескать, Троцкий взялся излагать мои взгляды. И действительно, тов. Троцкий, неоднократно ссылаясь в этой книжке на П. Б. Аксельрода, как на своего учителя, до крайности обкарнал его взгляды. Тов. Троцкий усвоил из тактических взглядов Аксельрода только необходимость развития «самодеятельности» рабочего класса и «противопоставления рабочих буржуазии на практике, в политических кампаниях». Но этим не исчерпывались взгляды П. Аксельрода. Аксельрод еще в конце 90-х годов доказывал, что одной из главных, основных задач социал-демократии является задача приобретения союзников пролетариатом и осуществление гегемонии пролетариата. В этом смысле Аксельрод был предшественником Ленина. Но П. Б. Аксельрод поставил эту задачу в дореволюционное время, когда никто из социал-демократов еще не говорил даже о республике в России, когда у социал-демократии не было еще политических конкурентов и когда осуществление гегемонии пролетариата соответственно представлялось П. Аксельроду в очень идиллическом виде. Когда же после 1901 г. в России запахло революцией и восстанием, когда выступили на сцену либералы — «освобожденцы» и эсеры, изо всех сил старавшиеся оттеснить социал-демократию на задний план, когда задача осуществления гегемонии потребовала ожесточенной идейной войны с этими «друго-врагами», тогда идиллические взгляды П. Б. Аксельрода на гегемонию выродились у него и его учеников-меньшевиков в оппортунистическое соглашательство с либералами, в то время, как Ленин, не свертывая революционного знамени, нащупывал и нащупал революционного союзника пролетариата в лице подымающегося на восстание крестьянства. Таким образом сложились два течения — меньшевистское и большевистское, которые оба имели исторические корни в русской действительности, оба имели историческую почву под ногами, с той разницей, что одно было оппортунистическое и шло на пользу либеральной буржуазии, а другое — революционное, шедшее на пользу пролетариату.

Тов. же Троцкий, усвоивший только одну часть взглядов П. Аксельрода, склонявший во всех падежах слово пролетариат («самодеятельность пролетариата», «противопоставление пролетариата буржуазии» и т. д.), но игнорировавший вопрос о союзниках пролетариата в борьбе, беззаботно игнорировавший конкретно-историческую обстановку русской революции, те великие трудности, которые ей нужно было преодолеть, и ту железную организацию, которая нужна была нашей партии, чтобы она была способна на их преодоление, со своей левой фразеологией повис в воздухе в самом близком, однако, соседстве с меньшевиками, организационные взгляды которых он все-

целю разделял. Полное совпадение организационных взглядов меньшевиков и тов. Троцкого, несмотря на его относительно большую «левизну», нас нисколько не должно удивлять: «левый» тов. Троцкий отвергал ленинский «организационный план» потому, что он не видел трудностей революции. Трезвые меньшевики отвергали «организационный план» Ленина потому, что та скромная революция, которую они собирались сделать, действительно не наталкивалась на большие трудности.

* * *

В 1904 г., когда в революционном движении произошла заминка, «левизна» тов. Троцкого, как мы видели, была на ущербе. После 9 января 1905 г., когда наступил бурный период русской революции, «левизна» тов. Троцкого достигла зенита. В 1904 г. он назвал «превосходной» статью Старовера, констатировавшего, «как совершившийся факт», что в освободительной борьбе пролетариату отведено «подчиненное место». В 1905 г. он говорил, что пролетариат один придет к власти в настоящей революции. Однако, если мы ближе присмотримся к тому, в чем выражалась его «левизна» в 1905 г., то мы найдем тесную преемственную связь между его новыми и старыми взглядами.

В 1905 году тов. Троцкий занял видное место в революционном движении на двояком основании — как один из авторов теории «перманентной революции» и как активный деятель в Петербургском Совете Рабочих Депутатов.

Деятельность тов. Троцкого в Петербургском Совете Рабочих Депутатов была одним из славных эпизодов его революционной карьеры. Этот эпизод, однако, ни в какой связи не стоит с его специфическими взглядами, с «троцкизмом». Те 50 дней, которые история отмерила Петербургскому Совету Рабочих Депутатов, были слишком недостаточным сроком, чтобы в нем могли выявиться какие-нибудь политические разногласия. Петербургский Совет вырос из стихийного под'ема петербургских рабочих, из великой октябрьской забастовки. Задачи, которые он себе ставил, не выходили за пределы нашей демократической программы-минимум. Эти задачи заключались в борьбе за ниспровержение царского самодержавия, за 8-часовой рабочий день, за свободу печати и т. д. Тактика Петербургского Совета неумолимо диктовалась условиями момента, необходимостью с величайшей поспешностью организовывать оборону против наступления контр-революции в лице «черной сотни», маневрировать против союза царского самодержавия с капиталом, выразившегося в локаутах после ноябрьской забастовки, поспешно привлекать на свою сторону армию путем сочувственной забастовки кронштадтским матросам, которым угрожал военно-полевой суд и т. д. Ни меньшевики, ни большевики, ни эсеры, имевшие своих официальных представителей в Исполкоме, не обнаруживали никаких разногласий по вопросам тактики Совета, ибо эта тактика прямо навязывалась ему боевым настроением рабочих и быстро надвигавшейся развязкой. Хрусталев, который председательствовал в Совете в течение 43 дней, до своего ареста, так формулировал скромную роль

руководителей Совета: «Политическая мысль рабочего класса, попадая с низов в советскую лабораторию, отшлифовывалась, оформливалась и в законченном виде возвращалась в рабочие кварталы». Тов. Троцкий, который вступил в президиум Исполкома после ареста Хрусталева, по своему характеризовал скромную, преимущественно агитаторскую роль вождей петербургских рабочих в то время: «Мы были и остаемся барабанщиками и трубачами великого класса. Мы гордились его первыми шагами. Мы никогда не сомневались в нем. Мы не покидали его в минуты бедствия»...

Свое политическое лицо, свое политическое направление тов. Троцкий в то время выявил не в Совете, а в литературе, где он неоднократно развивал свою теорию «перманентной революции», и именно эта теория была характерна и остается поныне характерной для политической физиономии тов. Троцкого. Настоящим автором этой теории, собственно, был не Троцкий, а Парвус. Но было бы большой несправедливостью утверждать, что тов. Троцкий из импрессионизма усвоил эту теорию. Отнюдь нет. Поскольку в основе этой теории лежало убеждение в возможности и необходимости изолированного прихода к власти пролетариата без союзников, она, как мы уже видели, находилась в преемственной связи со взглядами тов. Троцкого в 1903 — 1904 г.г., когда он также игнорировал роль союзников пролетариата в ходе революции.

Теория перманентной революции уже неоднократно излагалась на страницах нашей печати. Мы, тем не менее, позволим себе еще раз подробно изложить ее в развернутом виде на основании многочисленных высказываний тов. Троцкого.

Тов. Троцкий, во-первых, в споре с меньшевиками доказывал и, надо сказать, с полным основанием, что их надежды на активную революционную роль нашей городской буржуазной демократии совершенно тщетны, ибо Россия в своем экономическом развитии по сравнению с Западной Европой перескочила через целый большой этап мануфактурного периода и соответственно этому лишена того мощного экономического слоя ремесленников, который в свое время играл такую крупную революционную роль на Западе, не говоря уже о том, что городская буржуазная демократия нигде вообще не может уже играть теперь прежней революционной роли при наличии могильщика капитализма — фабрично-заводского пролетариата. Тов. Троцкий даже доказывал в споре с большевиками, и на этот раз неосновательно, что и крестьянство не может играть значительной революционной роли в России. Тов. Троцкий не отрицал, конечно, что пролетариат сможет опереться в своей борьбе на стихийное движение крестьян. Но лишь на первом этапе революции и лишь постольку, поскольку крестьянское движение остается стихийным, классово неосознанным. «Пролетариат у власти, — писал он, — предстанет перед крестьянством, как класс освободитель... Русское крестьянство будет, во всяком случае, не меньше заинтересовано в течение первого наиболее трудного периода в поддержании пролетарского режима («рабочая демократия»), чем французское крестьянство было заинтересовано в поддержании

военного режима Наполеона Бонапарта, гарантировавшего новым собственникам силою штыков неприкосновенность их земельных участков». Но «если отсутствие сложившихся буржуазно-индивидуалистических традиций и антипролетарских предрассудков у крестьянства и интеллигенции и поможет пролетариату стать у власти, то, с другой стороны, нужно принять во внимание, что это отсутствие предрассудков опирается не на политическое сознание, а на политическое варварство, на социальную неоформленность, примитивность, бесхарактерность. А все это такие свойства и черты, которые никоим образом не могут создать надежного базиса для последовательной активной политики пролетариата». Еще ярче это чисто стихийное значение крестьянского движения для революции, которое тем больше будет падать, чем больше будет расти политическая классовая сознательность различных групп крестьянства, формулировал единомышленник т. Троцкого — Парвус — в газете «Начало» в редакционной статье «Наши задачи», им написанной: «Победа революции подвигает на политическую сцену крестьянство. Оно способствовало революции, умножая политическую анархию, но не было в состоянии концентрировать свою политическую борьбу. Теперь оно внесет в борьбу партии всю путаницу своих экономических требований и экономических невозможностей. Капиталистический строй не в состоянии разрешить крестьянский вопрос».

При таких условиях победоносная революция в России может вынести к власти только пролетариат и больше никого. «Русская революция, — говорил тов. Троцкий, — создает, на наш взгляд, такие условия, при которых власть может (при победе революции должна) перейти в руки пролетариата, прежде чем политики буржуазного либерализма получат возможность в полном виде развернуть свой государственный гений».

Но пролетариат, придя к власти, не может политически себя «самоограничить» и вынужден будет логикой создавшегося положения «стереть грань между нашей программой-минимум и программой-максимум», ибо «политическое господство пролетариата несовместимо с его экономическим рабством». Уже одна борьба за 8-часовой рабочий день и против безработицы вызовет локауты со стороны капиталистов и заставит рабочих взять в свои руки фабрики и заводы. На тот же социалистический путь пролетариат должен будет выступить при решении аграрного вопроса: «Пролетариат никоим образом не сможет принять к руководству программу «уравнительного распределения», которое, с одной стороны, предполагает бесцельную, чисто формальную экспроприацию мелких собственников, с другой стороны, требует вполне реального раздробления крупных имений на мелкие части. Такая политика, будучи непосредственно хозяйственно расточительной, имела бы в своей основе реакционно утопическую заднюю мысль и сверх всего политически ослабила бы революционную партию», «разумеется, вмешательство пролетариата в организацию сельского хозяйства начнется не с прикрепления работников к разрозненным клочкам земли, а с эксплоатации крупных имений за государственный или коммунальный счет».

К чему же приведет эта социалистическая политика пролетариата? На это т. Троцкий отвечает: «Пролетариат... взявши в руки власть... придет во враждебное столкновение не только со всеми группировками буржуазии, которые поддерживали его на первых порах революционной борьбы, но и с широкими массами крестьянства, при содействии которых он пришел к власти. Противоречия в положении рабочего правительства, в отсталой стране с подавляющим большинством крестьянского населения смогут найти свое разрешение только в международном масштабе». «Как далеко может зайти социалистическая политика рабочего класса при хозяйственных условиях в России? Можно одно сказать с уверенностью: она натолкнется на политические препятствия гораздо раньше, чем упрется в техническую отсталость страны. Без прямой государственной поддержки европейского пролетариата рабочий класс России не сможет удержаться у власти и превратить свое временное господство в длительную социалистическую диктатуру. В этом нельзя сомневаться ни одной минуты. Но, с другой стороны, нельзя сомневаться в том, что социалистическая революция на Западе позволит нам непосредственно и прямо превратить временное господство рабочего класса в социалистическую диктатуру». Такова в развернутом виде теория перманентной или непрерывной революции тов. Троцкого.

С внешней стороны эта теория была очень левая, более левая, чем «демократическая диктатура пролетариата и крестьянства», которую в 1905 году выдвинули большевики. Но странным образом оказалось, как читатель сейчас увидит, что как раз правое крыло социал-демократии — меньшевики — в 1905 году наиболее близко подошли к этой самой теории. Меньшевики в своих предпосылках расходились с тов. Троцким только в одном пункте: они верили или, точнее, хотели верить, уговаривали себя, что г о р о д с к а я буржуазная демократия сможет сыграть в России роль движущей силы революции. Поэтому они рассчитывали, что русская революция сможет, подобно Великой Французской, подыматься «со ступеньки на ступеньку», выдвигая к власти сначала либералов, потом радикалов. Меньшевики в своих предпосылках расходились с тов. Троцким только в оценке революционных возможностей нашей городской буржуазной демократии. Во всем остальном меньшевики с самого начала стояли на той же точке зрения, что и т. Троцкий: они так же оценивали крестьян, как чисто стихийную революционную силу, они так же считали, что экономические вожделения крестьян—социализация земли—имеют т о л ь к о экономически реакционное значение, они так же считали, что, если бы пролетариат очутился у власти, он в ы н у ж д е н был бы итти к социализму и что, если бы наша революция ограничилась н а ц о н а л ь н ы м и рамками, это при хозяйственной отсталости России привело бы к банкротству социал-демократии: обо всем этом я писал еще в «Двух диктатурах», в книжке, которая, некоторым образом, стала credo меньшевизма. Меньшевики в своей исходной точке расходились с тов. Троцким только в одном, хотя и очень важном, вопросе — в оценке революционных возможностей русской городской буржуазной демократии. Но сколько меньшевики ни заклинали эту городскую буржуазную демократию, она упорно отказы-

валась играть хоть сколько-нибудь заметную революционную роль. Поэтому меньшевики уже на своей «общерусской конференции» 1905 г. «на худой конец» оставили себе лазейку в «перманентной революции». В резолюции, принятой этой конференцией, мы читаем: «Только в одном случае социал-демократия по своей инициативе должна была бы направить свои усилия к тому, чтобы овладеть властью и, по возможности, дольше удержать ее в своих руках — именно в том случае, если бы революция перекинулась в передовые страны Западной Европы, в которых достигли уже известной зрелости условия для осуществления социализма. В этом случае ограниченные исторические пределы русской революции могут значительно раздвинуться и явится возможность выступить на путь социалистического преобразования». Тут в меньшевистской резолюции говорится еще чрезвычайно осторожно о перманентной революции, как возможной лишь в одном исключительном случае.

Когда же революционная волна поднялась высоко, после октябрьской забастовки в дни свободы, меньшевики заговорили об этом гораздо смелее. Не случайно, не только я и Мартов, но и такие правые меньшевики, как Потресов и Е. Смирнов, могли в то время хорошо ужиться в одной редакции «Начала» с Парвусом и Троцким в то время, как попытка об'единения с большевиками и создания общего органа лопнула при первом же опыте редактирования первого номера. Даже оригинальное предложение — разделить газету вертикальной чертой с тем, чтобы на одной полоске писали большевики, а на другой — меньшевики, не сдвинуло воза с места. С Троцким же и с Парвусом в редакции «Начала» у нас никаких трений не было. Меньшевики даже согласились, чтобы Парвус написал для первого номера газеты редакционную статью, формулирующую платформу меньшевистского органа и в этой редакционной статье—«Наши задачи»—Парвус, хотя и в сдержанных тонах, излагал теорию перманентной революции. В этой статье мы читаем: «Непосредственная революционная задача пролетариата в России—осуществление такого государственного строя, при котором были бы обеспечены требования р а б о ч е й д е м о к р а т и и. Рабочая демократия заключает в себе самые крайние требования буржуазной демократии, но придает некоторым из них особый характер и присоединяет новые, чисто пролетарские... Наша задача — расширить экономические требования крестьянства, ведя его на путь социалистического переворота... Дальнейшие революционные успехи российского пролетариата на пути к осуществлению рабочей демократии, которые будут уже успехами всемирного пролетариата, могут дать толчек к решительной борьбе между социально-революционными организациями пролетариата и государственной властью в Западной Европе... Тогда мы будем стоять перед задачей расширить нашу революционную программу за пределы рабочей демократии».

Но о «перманентной революции» в «Начале» писал не только Парвус, об ней писал в этой газете и я в номерах 7 и 11 в редакционных статьях, озаглавленных — «Крестьянский вопрос и революция». Происхождение этих статей было следующее: на митинге в здании Вольно-Экономического Обще-

ства мне пришлось вступить в полемику с эсерами — с Бунаковым и, если память мне не изменяет, с Черновым. Они критиковали социал-демократию за то, что она не смеет выйти за рамки буржуазной революции, противопоставляли нашей программе свою программу «социализации земли». Эту программу я, как и все меньшевики, считал абсолютно неприемлемой, как экономически реакционную, ведущую к переходу от крупного хозяйства к мелкому. Чтобы обойти слева эсеров, чтобы парализовать впечатление их речей. которые я считал демагогическими, я открыл перед аудиторией другую перспективу — не социализации земли, а настоящего социализма в условиях развития перманентной революции.

Эти свои взгляды я и изложил вскоре в упомянутых двух статьях. Там я писал: «Вполне возможно, что, при известной длительности гражданской войны, наша революция, начавшись как революция демократическая, закончится как революция социалистическая. С этой возможностью мы должны непременно считаться... Вульгарно понимающие марксизм против этого взгляда обыкновенно возражают: характер революции определяется степенью развития производительных сил; у нас т е х н и ч е с к и невозможна в близком будущем социалистическая революция, потому что у нас не созрели для этого достаточно производительные силы страны... Но нужно помнить, что развитие классовой борьбы происходит гораздо более конвульсивно, что оно подвержено в гораздо большей степени тому, что мы называем элементом «случайности», чем развитие производительных сил. Как быстро классовые противоречия могут развиваться в эпоху революции, как быстро общество может пройти разные этапы своего политического развития, лучше всего показывает история французской революции. Нужно помнить также, в какой международной обстановке совершается наша революция.

В заключении своей второй статьи в № 11 «Начала» я писал: «Одна лишь «узкая» и «нетерпимая» социал-демократия решительно отвергает возможность смягчения классовых противоречий в рамках буржуазного общества. Она одна в настоящее время смело выставляет лозунг — непрерывная революция, она одна приведет трудящиеся массы к последней и решительной победе». Так писал в то время я — твердокаменный меньшевик, нисколько не вступая в коллизию со своей меньшевистской совестью! Это казалось очень «левым» и, если не ошибаюсь, тов. Луначарский по поводу этих статей шутил: «„Начало" помчало». Теперь для меня совершенно ясно, что эта «левизна» была мнимая величина.

Для того, чтобы в этом убедиться, достаточно сопоставить теорию «перманентной революции» с большевистской концепцией революции того же периода.

Тов. Троцкий ставил успех русской революции в полную зависимость от победы социалистической революции на Западе. Русская революция, говорил он, собственными силами в н а ц и о н а л ь н о м м а с ш т а б е победить не сможет, ибо у нее будет мужицкая контр-революция за спиной и европейская реакция пред собой, но, с другой стороны, «нельзя сомневаться», что социалистическая революция на Западе явится к нам на выручку. Тов. Троцкий,

таким образом, строил все свои расчеты на вере в утешительную перспективу западно-европейской революции.

Ленин в то время тоже писал: «Мы сделаем из русской политической революции пролог европейского социалистического переворота». Но, во-первых, по мнению Ленина, «мы сделаем» это, когда собственными силами победим и продержимся и когда «при условиях революционно-демократической диктатуры мы мобилизуем десятки миллионов городской и деревенской бедноты». Во-вторых, Ленин считался и с другой возможностью. Столь же возможным он считал, что после нашей победы наступит контрреволюция, которая, однако, тем меньше сможет реставрировать старый строй, чем основательнее мы выметем в России весь наш феодально-крепостнический мусор. Тов. Троцкий больше надеялся на историческую «неизбежность», Ленин—на партийную активность. Несостоятельность утверждения тов. Троцкого, что русская победоносная (но, по собственному его мнению, внутренне бессильная) революция неизбежно должна была бы вызвать социалистическую революцию на Западе, в настоящее время в достаточной мере доказана историей. Даже Октябрьская победа 1917 г., одержанная союзом пролетариата и многомиллионного крестьянства, одержанная в обстановке развала капитализма после мировой войны, еще пока не вызвала победоносной революции на Западе. Даже в современных условиях западно-европейская социалистическая революция рождается в великих муках. Революция же 1905 года вызвала сильные революционные отклики, как известно, только на Востоке — в Персии, Турции и Китае.

Тов. Троцкий мечтал о том, что будет после победы русской революции. Ленина больше занимал вопрос, как добиться этой победы. Положение в 1905 году было трудное. Пролетариат очень быстро революционизировался, в частности, петербургский пролетариат от 9 января до октября как будто политически переродился. Но резервы не поспевали. Крестьянское движение, правда, ширилось и принимало острые формы, но оно в течение 1905 года носило характер политически неосмысленных, чисто аграрных восстаний. Как известно, революция 1905 года потерпела поражение именно потому, что крестьянство не поспело за пролетариатом, потому что оно стало политически самоопределяться только в период Государственной Думы, когда пролетарский авангард в Петербурге и Москве уже был разбит.

Как же тов. Троцкий относился к этой политической ситуации в 1905 году? Он опять-таки истолковывал ее в утешительном смысле. Он говорил, что пролетариат придет к власти, опираясь на стихийное движение крестьянства, которое, именно благодаря своей малосознательности, благодаря своему «политическому варварству» еще лишено «анти-пролетарских предрассудков». Как будто достаточно, чтобы крестьянство не имело антипролетарских предрассудков для того, чтобы крестьянская армия отказалась расстреливать рабочих, как будто крестьянская армия не могла расстреливать и не расстреливала рабочих в 1905 г., потому что наше крестьянство слишком медленно изживало свои монархические, анти-демо-

кратические предрассудки. Тов. Троцкий так беззаботно относился к задаче освобождения крестьян от монархической идеологии, к задаче активного привлечения крестьян на сторону демократической революции, что задолго до победы этой революции выкидывал флаг социалистической, несмотря на то, что он сам же признавал, что призрак социализма оттолкнет крестьянство от революции. «Вера» в революцию служила ему заменой целесообразной тактики для ее приближения и, если б наша партия исповедывала эту «троцкистскую веру», она бы кратчайшим путем пришла... к поражению.

А как оценивал Ленин положение в 1905 году? Он не утешал себя начертанием приятных перспектив, он ни на минуту не скрывал от себя и от партии, что положение трудное. На III с'езде партии, летом 1905 года, Ленин говорил: «Можно подумать, что дела социал-демократов обстоят великолепно и вероятность их участия во временном революционном правительстве очень велика. На самом деле это не так. Обсуждать этот вопрос (об участии во временном революционном правительстве) с точки зрения ближайшего практического осуществления было бы дон-кихотством».

И, тем не менее, Ленин на том же с'езде, и даже накануне его, выдвинул и со свойственной ему страстностью защищал лозунг «демократической диктатуры пролетариата и крестьянства». Почему же он так поступал? Потому, что он питал огромное доверие к своей партии, к ее способности в пределах исторически возможного изменить соотношение сил в сторону, благоприятную для революции. Он не опьянял и не усыплял себя радужными мечтами, а с холодной головой оценивал ситуацию и твердой рукой принимался за выравнение линии развития революции. Это была всегдашняя ленинская метода. Я помню его первую речь в Смольном в 1917 г., после его выхода из подполья в день взятия власти: «Ну, вот, мы берем власть, — говорил он, — умеем ли мы управлять государством? Не умеем. Умеем ли мы управлять хозяйством? Нет, не умеем. Но мы на-у-чим-ся!» Этой же методы он держался и в 1905 году.

На основании анализа экономики России и характера нашего крестьянского движения Ленин пришел к заключению, что «аграрный вопрос составляет основу буржуазной революции в России и обуславливает собой национальные особенности этой революции». Но он не утешал себя тем, что этот аграрный вопрос может решиться только путем революции. Нисколько. Аграрный вопрос, — говорил он, — может быть решен двумя путями: либо «прусским» путем, путем реформы, если буржуазии удастся совершить сделку с царизмом, либо «американским» путем, путем аграрной революции, которая приведет к национализации всей земли. Либералы стремятся к решению вопроса первым путем. Крестьянство же и их идеологи—народники, эсеры — хотят итти по второму пути. Поэтому, чтобы привязать крестьян к нашей революции, мы должны помочь им пойти по этому второму пути; мы должны требовать учреждения сословных крестьянских комитетов, которые по-диктаторски, «по-плебейски» расправились бы с остатками крепостничества и полицейскими порядками; мы должны поддержать аграрные требования народни-

ков, не смущаясь той утопической оболочкой, которой они облечены, беря в идеи «социализации» «уравнительности землепользования» то, что в ней есть революционного, пользуясь ею для того, чтобы направить крестьян на борьбу с феодальным крепостническим неравенством. Мы должны выдвинуть лозунг «демократической диктатуры пролетариата и крестьянства», помогая крестьянству подняться к власти для того, чтобы оно, стоя у власти, совместно с пролетариатом раздавило помещичье-капиталистическую контрреволюцию. Таким образом Ленин стремился, ухватившись за туманные, политически неосознанные требования крестьян, осмыслить их, изменить соотношение сил в России, подтянуть и подтолкнуть крестьянство и привлечь его к сознательному участию в демократической революции.

Что направление, взятое большевиками в 1905 году, было правильное, что они верно поняли, в чем главный рычаг нашей революции, на который нужно нажимать, подтердилось позже, во время первой и второй Государственной Думы. Несмотря на то, что меньшевики все время боролись против большевистской политики рабоче-крестьянского левого блока, блока между социал-демократами и эсерами, несмотря на то, что меньшевики более склонны были поддерживать либералов, как представителей «экономически прогрессивной буржуазии», меньшевистские депутаты во второй Государственной Думе — Церетели и Джапаридзе — в печати публично сознались, что им в Думе приходилось гораздо чаще блокироваться с трудовиками, чем с кадетами, ибо в большинстве случаев выходило, что не кадеты, а трудовики поддерживали демократические требования социал-демократии. Повторяю, факты подтвердили правильность направления большевиков, но рабоче-крестьянский блок стал укрепляться, к сожалению, слишком поздно, уже после того, как главные силы пролетариата были разбиты.

Тов. Троцкий обосновывал невозможность осуществления «демократической диктатуры пролетариата и крестьянства» тем, что после победы революции неизбежно возникнут непримиримые противоречия между крестьянством и пролетариатом, ибо наш пролетариат самой логикой борьбы вынужден будет итти к социализму, а мелко-буржуазное крестьянство против этого неизбежно будет бороться. На эти же затруднения, связанные с осуществлением демократической диктатуры пролетариата и крестьянства, указывал Ленину не только Троцкий, но и все меньшевики. Ленин на это отвечал: «Нас пугают победой. Нам говорят, что мы не смеем победить. Но нужно быть величайшим филистером и пошляком, чтобы отказываться от решительной победы только потому, что она принесет нам новые затруднения!»—Впоследствии Ленин по этому поводу говорил: «Я в своей жизни придерживался правил Наполеона: «On s'engage et puis en voit» («сначала ввяжемся в драку, а потом видно будет»)». Но верно ли вообще, что, если бы у нас в 1905 году осуществилась «демократическая диктатура пролетариата и крестьянства», мы стояли бы перед непреодолимыми затруднениями, как это утверждал тов. Троцкий и другие меньшевики (я в том числе)? Теперь история этот вопрос уже разрешила и разрешила не в пользу Троцкого, а в пользу Ленина. Троцкий говорил, что пролетариат, придя к власти, неизбежно, уже

по самой логике борьбы, должен был бы приступить к осуществлению социализма. Очень жаль, что германский пролетариат, пришедший к власти в 1918 г., ни малейшей охоты не проявил подчиниться этому «закону», формулированному тов. Троцким. Я не хочу этим сказать, что и русский пролетариат в 1905 году проявил бы такое же чрезмерное «самоограничение», как германский в 1918 году. Условия у нас не те. Но что он мог бы при достигнутой степени политической сознательности, при хорошей большевистской школе и при правильном руководстве авангарда, избегать и избегнуть мер, которые вызвали бы непосредственный конфликт между ними и крестьянством, это весьма вероятно. С другой стороны, как показал 7-летний опыт нашей Советской Республики, и крестьянство может при умелой политике правительства (а Ленин ни на минуту не отказывался от гегемонии социал-демократии в правительстве и при режиме демократической диктатуры пролетариата и крестьянства) не порывать с пролетариатом даже тогда, когда он непосредственно приступил к социалистическому строительству.

Вся эта тактика большевизма предполагала огромную инициативу со стороны большевистской партии, величайшую ее активность, умение в каждый момент, при каждом политическом повороте, вмешаться в стихийный исторический процесс, чтобы изменить в пользу революции соотношение классовых сил. Чтобы довести революцию 1905 года до победного конца по ленинскому пути, большевистская партия должна была углубить раскол между крестьянством и либеральным буржуазно-помещичьим блоком, должна была раздуть крестьянское движение до размеров «плебейского» восстания, должна была подтянуть крестьян и привлечь их на сторону революционной борьбы пролетариата, выяснить крестьянам связь между их аграрными требованиями и политическими требованиями пролетариата, должна была зорко следить, чтобы пролетариат и его партия не делали ни одного шага, который мог бы оттолкнуть крестьян, должна была побуждать пролетарскую партию итти навстречу не только «рассудку» крестьян, но и «предрассудкам» их (например, уравнительному землепользованию), если это может служить на пользу революции, должна была после победы революции установить режим революционной диктатуры для подавления сопротивления контр-революционных сил. Для того, чтобы выполнить такую колоссальную задачу, партия должна была быть проникнута якобинским духом, должна была сочетать тонкий марксистский анализ и марксистскую революционную диалектику с якобинизмом, свойственным великой народной революции. Для того, чтобы выполнить эту задачу, большевистская партия должна была быть строго централизованной и сохранять железную дисциплину. Но об этом ни большевики, ни их вождь Ленин ни на минуту не забывали. Эти организационные принципы большевизма были для Ленина началом всех начал. Еще в 1904 г., когда я в первый раз познакомился с Лениным, и когда из нашей беседы выяснилось, что мы в политических вопросах во всем сходимся, и что я расхожусь с ним только в вопросе об организации партии, он мне сказал: «Ну, вот, вы во всем согласны со мной. Вы отрицаете только наш орга-

низационный план, а в этом вся суть; значит, нам не о чем больше разговаривать».

Каков же был «организационный план» тов. Троцкого, каковы были его взгляды на организационную дисциплину, «свободу мнений» и «свободу группировок», на централизм и «демократизм», на якобинизм и т. д., в то время, в 1905 году, когда он был в зените своей «левизны», когда он развивал свою теорию перманентной революции, когда он взял прямой курс на социализм, в отличие от обеих фракций? Ответ на этот вопрос дан уже тем, что тов. Троцкий находился в то время в меньшевистской фракции и в редакции меньшевистского центрального органа, что он в этом органе «Начало» выдвигал лозунг — «Единство во что бы то ни стало» (т.-е. единство большевиков с меньшевиками). Ответ на этот вопрос дан тем, что тов. Троцкий в 1905 — 1907 г.г. расценивал якобинцев Великой Французской революции и их эпигонов совершенно так же, как он их расценивал в 1903 — 1904 г.г. в своей книжке — «Наши политические задачи». В 1906 году тов. Троцкий писал в своей статье «Итоги и перспективы»: «Мы, мировая армия коммунизма, давно уже свели исторические счеты с якобинством. Все нынешнее международное пролетарское движение сложилось и окрепло в борьбе с преданиями якобинизма. Мы подвергли его теоретической критике, вскрыли его историческую ограниченность, его общественную противоречивость, его утопизм, разоблачили его фразеологию, мы порвали с его традициями, которые на протяжении десятилетий казались священным наследием революции. Но против нападок, клевет и бессмысленных надругательств бескровного флегматического либерализма мы возьмем якобинизм под свою защиту».

Теперь, я думаю, нетрудно понять, что́ именно тов. Троцкого в 1905 г., несмотря на его «левизну», связывало с меньшевиками. Тов. Троцкий охотно рисовал себе радужные революционные перспективы, он н е с о м н е в а л с я, что русская революция вызовет социалистическую революцию на Западе, что русский пролетариат сможет, опираясь на несознательное движение крестьян, притти к власти, он славословил пролетариат, он гордился его первыми шагами, он охотно и умело выполнял роль «барабанщика и трубача великого класса» и он, я не сомневаюсь, столь же охотно жизнь бы свою отдал за этот класс на своем посту «трубача». Но в то время высшего под'ема революции и меньшевики чистой воды, не троцкисты, это тоже делали, хотя и не так талантливо, как тов. Троцкий. Ведь в то время и меньшевики устраивали восстания в Гурии, в Севастополе, на «Потемкине» и т. д. Но перед партией стояли более сложные, хотя подчас менее эффектные, трудные задачи, задачи акушера революции при трудных родах. Чтобы выполнять эти задачи, нужно было не умение увлекаться и импровизировать, а умение с холодной головой, без всякого романтизма расценивать ситуацию, умение делать в каждый момент правильный учет классовых сил, умение нащупывать все слабые, уязвимые места революции, умение привлекать на сторону пролетариата надежных союзников, в данной исторической ситуации — крестьянство, умение не только критиковать буржуазию, но беспощадно бороться против малейшего проникновения буржуазной идеологии в нашу собственную партию, умение же-

лезной метлой выметать из нее малейшие следы оппортунизма и «соглашательства».

Чтобы выполнять эту трудную задачу, необходимо было иметь монолитную партию с централизованной и строго координированной работой всех организаций, с сильным и властным центром, с железной дисциплиной, с готовностью всех членов партии себя самоограничивать в интересах целого.

Все эти тактические и организационные методы большевизма были почти так же чужды тов. Троцкому, стоявшему на крайне левом фланге меньшевизма, как и всем меньшевикам. Поэтому тов. Троцкий, который по своей беспочвенности, по своему романтизму не был способен, несмотря на все его яркие таланты, создать собственную партию или хотя бы сильную фракцию и неизменно терпел крушение во всех своих попытках это сделать, шел с меньшевиками во время революционного под'ема и не покидал их во время революционного упадка в качестве левого спутника.

Когда после поражения революции 1905 года Череванин выпустил свою нашумевшую ликвидаторскую книжку, полную обвинений против партии, и не только против партии, но и против рабочего класса за их «революционные иллюзии», которые, дескать, погубили русскую революцию, тов. Троцкий обрушился на него со всей страстностью в защиту левой тактики 1905 г. Череваниным, однако, возмущался не только тов. Троцкий, за него краснели в то время и мы, меньшевики-центровики, но молчали из фракционной дипломатии.

Но время шло. Вместе с тем появлялись «новые птицы и новые песни». Проходил год за годом, и ожидавшаяся нами вторая волна революции все не подымалась. Большевики в это трудное время сумели терпеливо ждать, охраняя свои основные кадры и охраняя революционные лозунги, несмотря на то, что они не находили себе отклика в массах. А тов. Троцкий? В 1912 году, когда после ленских событий уже намечался новый под'ем рабочего движения, т. Троцкий, так красноречиво обличавший в 1908 году ликвидатора Череванина, в статье — «Пролетариат и русская революция (о меньшевистской теории русской революции)», вновь пошел в Каноссу, вновь протянул руку меньшевикам и приобщился к «ликвидаторскому» движению, выставив ликвидаторский лозунг петиционной кампании в Государственную Думу и взяв на себя инициативу организации т. н. августовского блока, в котором первую скрипку играли петербургские ликвидаторы, об'явившие, что наша старая подпольная партия сгнила на корню, и что ее смрадный труп лишь отравляет воздух, которым дышит социал-демократия.

* * *

Новый поворот налево тов. Троцкий делает, когда начинается мировая война; но и на этом повороте тов. Троцкий остается в ближайшем соседстве с меньшевиками, на их крайне левом фланге, и это опять, как мы увидим, не случайно.

Война и неслыханное предательство II Интернационала вызвали разброд среди русских меньшевиков. Большинство их стало социал-патриотами,

на левом же крыле их сложилась группа «меньшевиков-интернационалистов» (Мартов, Мартынов, Астров, Семковский). Меньшевики-интернационалисты говорили, что война откроет новую эпоху — эпоху социалистических революций, что мы должны выкинуть общий лозунг—«долой войну! да здравствует революция!» но наши ближайшие требования—«ни победы, ни поражения, а восстановление, statu quo ante»: когда государства останутся при старом разбитом корыте, тогда-то и начнется революция, говорили мы.

Тов. Троцкий был согласен с этими положениями, кроме последнего. Тут он шел дальше меньшевиков-интернационалистов. После войны, — говорил он, — невозможно уже будет восстановить старые государственные границы, основанные на старых аннексиях. Мир заключит революционный пролетариат, сметая старые границы.

Тов. Троцкий, как мы видим, рисовал более революционные перспективы, чем меньшевики-интернационалисты. Но важно было не только рисовать революционные перспективы. Важно было ответить на вопрос: Что же делать? как развязать революцию? как разбить создавшийся заколдованный круг? как толкнуть на революционный путь пролетариат, который в каждой стране боялся начинать, чтобы не вызвать военного разгрома своего отечества?

На этот вопрос Ленин дал смелый и гениальный по своей дальновидности ответ: «Революция во время войны есть гражданская война, а превращение войны правительств в войну гражданскую, с одной стороны, облегчается военными неудачами («поражением»), а с другой стороны, — невозможно не стремиться к такому превращению, не содействуя таким образом поражению». «Революционный класс в реакционной войне не может не желать поражения своему правительству». Смысл лозунга Ленина был таков: Революция не может начаться о д н о в р е м е н н о во всех воюющих странах. Она начнется там, где сопротивление буржуазии слабее. В таком положении находится Россия, и потому именно мы, русские, должны начать революцию,— говорил он. Это непосредственно приведет к нашему военному поражению, но мы не должны этим смущаться; мы, напротив, сами должны желать поражения своему правительству, зная, что этим дело не кончится, что это отнюдь не будет означать о к о н ч а т е л ь н у ю победу государства, ведущего войну с нашим правительством, ибо победоносная революция, начавшаяся в стране побежденной, не остановится перед границами страны-победительницы.

Аналогичное решение Ленин давал национальному (и колониальному) вопросу: Вы боитесь, что наше военное поражение приведет к распаду великой России, к отделению от нее Финляндии, Польши, Украины и т. д.? Мы этого не должны бояться. Мы сами должны требовать их права на отделение, мы сами должны порвать цепи, которыми их приковали к Великороссии. Но это приведет к экономическому регрессу и расщеплению нашей российской пролетарской армии? Нисколько: после того, как национально угнетенные народы будут освобождены, их пролетарские отряды будут экономически заинтересованы, чтобы вновь собрать разорванные части, но уже в д о б р о в о л ь н ы й союз и на новых началах.

Так решал трудный вопрос развязывания революции в обстановке войны Ленин. Нащупав самое уязвимое место революции (боязнь, что она откроет фронт неприятелю), он взял быка за рога, и мы знаем теперь, что это решение проблемы, данное Лениным еще в 1915 году, нашло себе впоследствии блестящее подтверждение в ходе русской революции.

А как относился к этим «пораженческим» лозунгам Ленина тов. Троцкий? Желание поражения России, — писал он, — есть «ничем не вызываемая и ничем не оправдываемая уступка политической методологии социал-патриотизма, который революционную борьбу против войны и условий, ее породивших, подменяет крайне произвольной в данных условиях ориентацией по линии наименьшего зла». Тов. Троцкий истолковывал «желание поражения России», как «желание победы Германии», как социал-патриотизм на-изнанку. Он видел в этом лозунге лишь искание линии «наименьшего зла», а не линии «наибольшего блага»... для революции, кратчайшего пути к революции и, притом, революции мировой.

Чтобы дать пролетариям всех европейских стран импульс к единовременной революции, исключающей хотя бы эпизодическую победу одной коалиции и поражение другой, тов. Троцкий в противовес как социал-патриотическим, так и «пораженческому» лозунгам — выдвинул лозунг образования «Соединенных Штатов Европы», который он экономически обосновывал тем, что европейский капитализм в империалистическую эпоху уже перерос национальные рамки.

На первый взгляд этот лозунг был такой же ультра-левый, такой же радикальный, как его лозунг «перманентной революции» 1905 г. В самом деле что может быть радикальнее перспективы единовременного уничтожения всех государственных границ Европы? Ленин, однако, ясно доказал в своем споре с тов. Троцким, что его лозунг есть только революционная фраза, отвлекающая внимание от действительного революционного решения самой трудной задачи в условиях войны, отвлекающая внимание от «последовательного призыва к революционным действиям против своего правительства во время войны», без чего «миллионы революционнейших фраз... не стоят ломаного гроша».

В самом деле, что означал лозунг тов. Троцкого? Если имеются в виду Соединенные Штаты Европы еще при капитализме, то этот лозунг,— говорил Ленин,—либо неосуществим, либо реакционен: «Соединенные Штаты Европы при капитализме равняются соглашению о дележе колоний. Но при капитализме... невозможен иной принцип дележа, кроме силы... Нельзя делить иначе, как... «по капиталу», как «по силе». А сила изменяется с ходом экономического развития... При капитализме невозможен равномерный рост экономического развития отдельных хозяйств и отдельных государств. При капитализме невозможны иные средства восстановления время от времени нарушенного равновесия, как кризисы в промышленности, войны в политике». «Временные соглашения между капиталистическими державами, конечно, возможны, — говорил Ленин, — но в этом смысле лозунг «Соединенные Штаты Европы» реакционен, ибо в этом смысле он может означать

только «соглашение европейских капиталистов... о том, как бы сообща давить социализм в Европе, сообща охранять награбленные колонии против Японии и Америки».

Возможно, однако, что тов. Троцкий ставил свой лозунг в связь с победой социалистической революции в обстановке мировой войны. Но в таком случае надо бы говорить не о Соединенных Штатах Европы, а о Соединенных Штатах Мира, ибо социалистическая революция в Европе не может победить без освобождения путем революции колониальных и полуколониальных народов в Азии и Африке. Однако и в этом случае (победа социализма) и в исправленном виде (Соединенные Штаты Мира) этот лозунг был бы нецелесообразен, ибо «он мог бы породить неправильное толкование о невозможности победы социализма в одной стране».

Итак, в лучшем случае лозунг тов. Троцкого — Соединенные Штаты Европы — так же, как его лозунг «непрерывной революции», несмотря на свой видимый радикализм, отвлекал внимание от основной революционной задачи момента — развязывать революцию в той стране, где условия для нее были благоприятны, идя на военное поражение и не дожидаясь, пока условия для революции созреют в других странах Европы.

После сказанного должно быть понятно, почему тов. Троцкий и во время мировой войны не шел с большевиками, а оставался на левом фланге меньшевизма, так же, как и в 1905 году.

Ленин с самого начала войны наметил тактику, которая шла по линии развития революции, как это впоследствии блестяще подтвердилось, но шла «против течения» в социалистическом мире и пред'являла огромные требования нашей партии — взять на себя инициативу мировой революции, пренебрегая наиболее глубоко вкоренившимися предрассудками почти всех социалистов мира. Поэтому он уже в Циммервальде и Кинтале вступил на путь раскола со всем II Интернационалом, направил главные, наиболее беспощадные свои удары против каутскианства, усыплявшего пролетариат своим пацифизмом, и начал сколачивать «левое крыло циммервальдийцев», которое было зародышем III Интернационала. Тов. же Троцкий, рисовавший отрадные революционные перспективы, не видел главных трудностей родов революции, революционными фразами обходил эти трудности и не думал о том, как их на деле преодолеть. Поэтому ему позиция Ленина в то время представлялась «сектантской», поэтому он находил возможным во время войны сотрудничать с Мартовым в парижском «Нашем Слове», поддерживать попрежнему меньшевистскую фракцию Чхеидзе в Государственной Думе и итти в союзе с западно-европейскими «центристами» в Циммервальде. Еще в 1914 году он находил возможным писать по поводу письма Каутского: «И если Каутский — как и Гаазе или Ледебур — является нашим и наших ближайших единомышленников Германии политическим союзником, то письмо его снова напоминает нам, что союз с Каутским должен в настоящих условиях дополняться систематической идейной борьбой против его бесформенного и выжидательного пацифизма».

Только тогда, когда вождь меньшевистской думской фракции «циммервальдиец» Чхеидзе своим выступлением в Самтреди против «беспорядков» заслужил одобрение губернатора, т. Троцкий на него резко напал в парижском «Нашем Слове», чем вызвал уход из редакции «Нашего Слова» Мартова, считавшего нужным до конца прикрывать Чхеидзе. И только тогда, когда подавляющее большинство меньшевиков вообще заняло в 1917 году определенно контр-революционную позицию, тов. Троцкий окончательно оборвал свою организационную связь с меньшевиками — русскими и западноевропейскими — и вступил в большевистскую партию, открывая новую, лучшую страницу в своей политической жизни.

* * *

Я не буду описывать дальнейших зигзагов в политической карьере тов. Троцкого. Об этом достаточно много писалось, и это не входит в тему моей статьи, трактующей лишь об истоках троцкизма, т.-е. о политической деятельности т. Троцкого в период его сожительства с меньшевиками. Скажу только, что, по моему убеждению, тов. Троцкий все время и поныне, несмотря на все новейшие его зигзаги, остался по существу тем же, чем был и раньше, точно так же, как в 1905 году, несмотря на свое сильное полевение, он остался по существу тем же, чем был в 1903 — 1904 г.г., когда он ликвидировал гегемонию пролетариата. Разница лишь в том, что во время Октябрьской революции еще ярче вспыхнули его таланты и еще несравненно крупнее были его заслуги, как «трубача и барабанщика великого класса».

Значит ли это, что тов. Троцкий и теперь «левый меньшевик»? Конечно, нет, ибо в эволюции самого меньшевизма количество перешло в качество, ибо меньшевизм теперь стал определенно предательским, контр-революционным направлением. Именно это окончательно оттолкнуло тов. Троцкого от меньшевиков летом 1917 года и побудило его вступить в большевистскую партию.

Значит ли это, что «троцкизм» не опасен теперь для большевистской партии? Отнюдь не значит. Правда, тов. Троцкий и теперь не способен, как никогда не был способен, по самому характеру своей романтической идеологии, создать сколько-нибудь сильную и многочисленную фракцию, связанную с рабочим классом. Но «троцкизм» опасен тем, что он совершает отрицательную работу расшатывания основ большевистской партии, что он пытается пробить в нашей партии брешь, в которую против воли и против ожидания т. Троцкого могли бы залезть не троцкисты, а только настоящие меньшевики. К счастью, наша партия достаточно сильна и достаточно бдительна, чтоб своевременно задушить эту опасность в самом зародыше. И это, может быть, будет счастьем для самого тов. Троцкого: он, наконец, должен будет серьезно переоценить свои взгляды и сказать себе:

История оправдала не троцкизм, а ленинизм.

ЗА РУБЕЖОМ

Англо-советские отношения

М. Павлович.

§ 1. Выборная кампания конца 1924 г. Подложное письмо Зиновьева.

Избирательная кампания, происходившая в конце октября 1924 года, носила такой ожесточенный характер, какой не имели до сих пор парламентские выборы в Англии. В выборах принимало участие небывало большое число избирателей. Особенно оживленное участие в выборах принимали женщины, голосовавшие в значительно большем количестве, чем при каких-либо прежних выборах. На выборах стали друг против друга два класса: рабочий класс с одной стороны, буржуазия консервативная и либеральная—с другой. Никогда еще рабочие массы Англии не были настроены так активно, как этот раз. Но вожди рабочей партии в лице Макдональда и его преемников сделали все от них зависящее, чтобы обеспечить победу врагов рабочего класса, противников сближения с СССР. Никто другой, как Макдональд, был главным пособником консерваторов в знаменитой истории с подложным письмом Зиновьева.

Письмо это являлось фальсификацией от первого до последнего слова. В телеграмме тов. Раковскому тов. Литвинов предложил заявить от имени советского правительства, что мнимое письмо Коминтерна представляет бессовестную подделку, имеющую цель сорвать англо-советский договор, что ввиду использования этой подделки в официальном документе советское правительство будет настаивать на принесении ему соответствующего извинения и привлечения к ответственности как частных, так и официальных лиц, прикосновенных к означенной подделке.

Макдональду было ясно, что пресловутое письмо Зиновьева представляет собой подложный документ, сфабрикованный и пущенный в оборот при содействии чиновников его министерства, но лидеру рабочей партии хотелось показать, что и он умеет говорить с московским правительством языком Керзона, что он, как выразился т. Каменев, хороший вояка против коммунизма. «Письмо Зиновьева» было опубликовано за два дня до окончания выборов с таким расчетом, чтобы ответ советского правительства мог прийти уже после завершения избирательной кампании. Что сам Макдональд сомневался в подлинности письма — это явствует из его речи в Кардифе, речи в которой Макдональд сказал:

— Если письмо Зиновьева — подделка, то это свидетельствует о том, какой мерзостью мы окружены. Если же оно — настоящее, то можете быть уверены, что пока существует рабочее правительство, и я стою во главе его, это правительство будет бороться с твердой решимостью против всяких попыток иностранных правительств вмешиваться в наши внутренние дела.

Письмо Зиновьева сделалось боевым кличем последних дней английской избирательной кампании. Оно явилось в руках либералов и консерваторов главным козырем в борьбе не только против Советского Союза и коммунистической партии, но одновременно и против самого правительства Макдональда. Последний сам вложил в руки своих противников оружие против рабочей партии и вырыл себе могилу на октябрьских выборах 1924 г. Чтобы убедиться в этом, достаточно привести некоторые выдержки из английских газет:

«Дейли Экспресс» указывало, что «нота министерства иностранных дел по поводу письма Зиновьева является политической бомбой и может воспламенить общественное мнение еще более против русских, а следовательно, и против тех, кто защищает русский заем, в том числе против Макдональда».

«Дейли Кроникль» утверждало, что «письмо Зиновьева определенным образом доказывает всю нелепость договоров, которые за месяц перед тем были подписаны Макдональдом, и является лучшим оправданием политики либералов, решивших из чувства патриотизма стать между нацией и безумием Макдональда, подписавшего договор с Москвой».

Консерваторы как нельзя лучше воспользовались подложным письмом Зиновьева и двурушническим поведением Макдональда, чтобы нанести рабочему правительству сокрушительный удар. В целом ряде статей и речей консерваторы призывали британский народ проснуться, чтобы ему не перерезали горла «наемники «Зиновьева», и призывали каждого мужчину и каждую женщину итти во имя спасения страны к избирательным урнам и голосовать за консервативное правительство, которое сумеет разделаться с презренными большевиками и их достойными английскими товарищами, в том числе и с двурушниками из рабочей партии и рабочего правительства.

Каковы же были последствия гнусного подлога с письмом Зиновьева и позорного поведения в этой истории главы рабочего правительства Макдональда с точки зрения результатов избирательной кампании? На этот вопрос тов. Зиновьев в своей речи на губернской конференции военных коммунистов 25 ноября 1924 г. дал следующий ответ:

— Произошли выборы. В итоге голосования консерваторы получили 7 с лишним миллионов голосов, а партия Макдональда—5 с лишним миллионов голосов. Англичане говорят, что так называемое «письмо Зиновьева» дало консерваторам по крайней мере один миллион голосов. Другими словами, оно в значительной степени решило судьбу выборов, потому что если у кон-

серваторов отнять этот миллион и приложить к голосам рабочей партии, то получается разница в 2 миллиона—как раз те два миллиона, которые решили исход выборов. Таким образом, говоря попросту, английские консерваторы пришли к власти при помощи фальшивого паспорта и откровенного подлога. Они сфабриковали письмо и пустили его во всех газетах».

Таким образом выборы кончились неожиданной по своим размерам победой консерваторов и столь сокрушительным разгромом либералов, который превзошел все ожидания.

§ 2. Консервативное правительство и СССР.

Правительство Макдональда продержалось 9 месяцев. Этот период, несмотря на всю трусость и двурушничество Макдональда, прошел **под знаком сближения** с СССР, ибо рабочий класс, выдвинувший Макдональда, и так называемое «рабочее правительство», не позволил бы своим избранникам, ставшим у власти, вести открыто враждебную политику против Советского Союза. Естественно, что Макдональду приходилось лицемерить и изображать из себя искреннего сторонника сближения с СССР.

Иначе повело себя консервативное правительство с первого же момента перехода власти в его руки. Во время избирательной кампании консерваторы дали бой рабочей партии на платформе отношения к Советской России и теперь могли утверждать, будто страна высказалась против СССР. Не успели консервативные члены правительства занять свои министерские кресла, как они взялись за «письмо Зиновьева» и назначили комиссию для расследования вопроса о большевистской пропаганде и вообще отношениях с СССР. Английское правительство заявило в ноте Чемберлена тов. Раковскому, что оно считает письмо Зиновьева подлинным и опубликовало следующий текст ноты советскому правительству по поводу англо-советского договора 8 августа:

«Правительство подвергло пересмотру договоры, заключенные его предшественниками с советским правительством и подписанные 8 минувшего августа. Имею честь уведомить вас, что, после надлежащего обсуждения, правительство нашло, что оно не может рекомендовать эти договоры на рассмотрение парламента или предложить их королю для ратификации.

Подписано: *Чемберлен*».

Что же представляет собой это консервативное правительство, которое на другой день после своего образования разорвало договор 8 августа, мертворожденный продукт девятимесячных родов правительства Макдональда, и начало открытую войну против Советской России?

Либеральная газета «Манчестер Гардиан», разбирая социальный состав буржуазных партий нового английского парламента, отмечает, что депутаты-консерваторы распределяются по своему социальному положению

следующим образом: банковские деятели — 18, углепромышленники — 6, нефтепромышленники — 2, помещики — 22, представители текстильной промышленности — 18, пивовары — 9, купцы — 43, представители машиностроительной промышленности — 16, представители химической промышленности — 1, представители транспортных обществ и судовладельцев — 12, представители газетных предприятий — 6, лица, живущие на проценты с капитала (рантьеры), — 116; кроме того среди консерваторов имеется: 65 адвокатов, 6 журналистов, 3 педагога, 1 служитель культа, 26 офицеров армии, 9 офицеров флота, 7 лиц, имеющих ученую степень доктора.

Среди 615 членов парламента насчитывается 414 членов правления и директоров различных торговых и промышленных предприятий. Из этих 414 депутатов 214 человек согласно бюллетеню рабочего бюро изысканий (Labour Research Departament) непосредственно связаны с крупно-капиталистическими верхами, с 509 различными предприятиями крупного типа. В палате лордов число директоров достигает 425. Таким образом 839 капиталистических предприятий представлены в законодательных учреждениях непосредственно своими руководителями. Само собой понятно, что среди этих директоров находятся и такие, которые одновременно возглавляют различные финансовые и промышленные предприятия, тесно связанные между собой. Все эти директора об'единены федерацией британской промышленности, которая насчитывает в парламенте 74 своих представителя вместо 59, которых она имела в прошлом парламенте.

«Федерация британских промышленников» является капиталистической организацией, охватывающей свыше 100 фирм с капиталом в 5 миллиардов фунтов стерлингов (около 50 миллиардов рублей золотом). Ясно таким образом, кого представляет консервативное большинство в обеих палатах.

Что касается самого правительства, то физиономия Болдуина, сторонника покровительственных тарифов и усиленных вооружений, Керзона, ярого врага Советской России и автора пресловутых ультиматумов по адресу СССР, авантюриста Черчилля, растратившего с благословения Ллойд-Джорджа 100 миллионов ф. стерл. на интервенцию, лорда Беркенхеда, пропагандиста идей сильнейшего воздушного флота Англии для обеспечения ее гегемонии, и, наконец, министра иностранных дел Остина Чемберлена, достойного сына своего знаменитого отца, главы английского империализма — сами говорят за себя и о всех этих героях и вождях консервативной Англии, оплота мировой реакции и наступательной политики против СССР и всех народов Востока распространяться не приходится, тем более, что не только вся предшествующая деятельность этих джентльменов, но и первые шаги их на новых постах достаточно говорят за себя. Не успел Болдуин занять снова пост премьера, покинутый им в 1923 году, как он разразился в палате общин обстоятельной речью, в которой развил целую программу оградительных пошлин, дав понять при этом, что общеимперская экономическая

комиссия, созданная рабочим правительством, будет использована для разработки протекционистских планов. А чтобы ярче подчеркнуть, что консервативное правительство берется за проведение в жизнь целиком старой программы, потерпевшей поражение на предшествующих выборах 1923—1924 г.г., Болдуин снова заговорил о постройке новых крейсеров, о решении превратить Сингапур в сильную военно-морскую базу, наконец, об отсрочке эвакуации Кельнской зоны. Последнее решение несомненно было принято по соглашению с французскими империалистами и свидетельствовало о том, что Англия Болдуина и Керзона идет на уступки перед натиском французского империализме на европейском континенте, желая сосредоточить все свои силы для самой энергичной наступательной политики в Азии и всей восточной части африканского континента.

После этого английскому правительству оставалось сделать только какой-нибудь энергичный жест, чтобы весь колониальный мир, все народы Востока увидели прыжок британского льва и его острые когти. Желанный повод броситься на намеченную добычу скоро представился.

Воспользовавшись убийством в Каире (19 ноября 1924 г.) неизвестными бомбистами английского генерала Листека, главнокомандующего египетской армии и генерал-губернатора Судана, правительство Болдуина, Керзона и Чемберлена через посредство верховного британского комиссара Аленби пред'явило египетскому премьер-министру Заглуш-паше ультиматум с требованием: 1) извинений за убийство генерала; 2) строжайшего наказания всех лиц, причастных к убийству; 3) уплаты возмещения в размере 500 тысяч фунтов стерлингов (пяти миллионов рублей); 4) запрещения политических демонстраций; 5) отозвания египетских офицеров и египетских воинских частей из Судана и, наконец, 6) оставления в Египте английских юридических и финансовых советников.

Ответ на этот ультиматум должен быть дан в 24-часовый срок.

Мировая война подготовила базу для осуществления грандиозной идеи, великой рельсовой сети К (Капштадт, Каир, Калькутта). Английские владения протянулись широкой и непрерывной лентой по всей восточной части африканского континента от мыса Доброй Надежды и Капштадта до Египта, а отсюда по территориям Азии через Палестину, Заиорданье, Ирак, южное побережье Персии до Индии. В этой системе Великобританской азиатско-африканской империи Суэцкий канал и Судан играют столь важную роль, что Англия никогда не уступит добровольно этих областей кому бы то ни было и в том числе Египту. Пока египетское правительство являлось просто марионеткой в руках верховного английского комиссара и египетский народ покорно носил английские цепи, до той поры никакой опасности не угрожало всей системе английской империи в столь жизненном пункте ее, как бассейн Нила и Суэцкий канал. Но с того момента, как в Египте начало развиваться национально-освободительное движение, которое с каждым днем принимало все более враждебный английским планам характер и выразилось в пред'явлении Макдональду египетским премьером Заглул-пашей целого ряда «дерзких» и неприемлемых с британской точки

зрения требований [1]), английские консерваторы решили при первом удобном случае принять самые решительные меры против национального движения в Египте, чтобы одним ударом восстановить свои старые позиции в зоне Суэцкого канала и вместе с тем показать всему Востоку, что у британского льва не притупились еще его страшные когти и зубы. Убийство сердара Листека явилось удобнейшим предлогом для нового правительства показать Египту и всему Востоку мощь Великобритании, добиться для укрепления престижа империи окончательного подчинения Египта Англии, прекращения англо-египетского кондоминиума в Судане и превращение последнего в английскую колонию. Английское правительство нашло очень подходящее оправдание для осуществления своего плана устранения египтян из Судана, ссылаясь на то, что необходимость этого шага признавало само правительство Макдональда. Английское правительство опубликовало «Белую Книгу», в которой сообщает, что правительство Макдональда пыталось осуществить план устранения египтян из Судана и не осуществило этого только потому, что не находило удобного повода для подобного выступления. Правительство Болдуина этот повод нашло. В «Белой Книге» сообщается, что Макдональд вслед за переговорами с Заглул-пашей в Лондоне, послал еще 7 октября письмо английскому верховному комиссару в Египте, в котором писал, что ныне совершенно изменился дух англо-египетского сотрудничества в Судане. Если пропаганда египетских подданных, находящихся на службе суданского правительства будет продолжаться и дальше, то их присутствие в Судане при существующем режиме явится источником опасности для общественного порядка: «Безопасность путей сообщения в Египте остается жизненным интересом Англии, — писал дальше Макдональд, — и абсолютная уверенность, что Суэцкий канал останется открытым для свободного прохода английского флота как в мирное, так и в военное время, есть основание, на котором строится вся наша оборонительная стратегия».

Ультиматум Египту явился лишь началом новой английской оффензивы против всего Востока. Европейская пресса продолжала еще печатать длиннейшие статьи об английской расправе с Египтом, о кровавом усмирении взбунтовавшихся египетских войск в Судане, как появились телеграммы о новом энергичном жесте правительства твердой руки, но уже по отношению к другой восточной стране, именно Персии. В связи с успешной деятельностью правительства Персии в борьбе за создание единого национального персид-

[1]) Требования, выставленные Заглул-пашей при переговорах с Макдональдом, были следующие: 1) вывод всех британских войск из Египта, 2) удаление британского финансового и судебного „советников", 3) устранение всякого британского контроля над внешними отношениями Египта, 4) отказ британского правительства от притязаний на охрану интересов иностранцев и национальных меньшинств в Египте, 5) наконец отказ британского правительства от своих притязаний на охрану Суэцкого канала и признание им суверенитета Египта над Суданом. Предъявление этих „неслыханных и бунтовщических" требований вызвало взрыв бешенства в английской консервативной прессе и угрозы по адресу египетского правительства, а вместе с тем и удвоенную атаку против рабочей партии, благодаря-де попустительству которой какие-то египтяне осмеливались говорить подобным языком с Англией.

-ского государства и подавлением войсками Риза-хана восстания феодального владыки Арабистана, шейха Хейзаля, правительство Болдуина отправило ноту персидскому правительству с требованием прекратить военные действия шейха Хейзаля, угрожая в противном случае английским десантом в Персидском заливе для защиты нефтяных интересов Англии в Персии.

Расправа с Суданом и Египтом, ультиматум Персии, английские планы создания морской базы в Сингапуре, признание подлинности «письма Зиновьева», разрыв англо-советского договора от 8 августа, подписанного Макдональдом, отсрочка эвакуации Кельнской зоны под предлогом тайных немецких вооружений, — все это знаменательные акты английской консервативной политики, тесно связанные между собой, все это звенья одной и той же дипломатической цепи, все это этапы одного и того же походного движения-оффензивы против СССР и народов Востока. Именно в создании единого фронта империалистических держав против народов Востока и СССР, как «очага пропаганды, возбуждающей национальное чувство восточных народов», и заключалась основная цель столь нашумевшей поездки в начале декабря 1924 г. в Париж и Рим английского министра иностранных дел Чемберлена.

И любопытно, что буржуазная пресса Англии, Италии, Франции, Бельгии не делала секрета из этого плана Чемберлена.

Так еще перед поездкой Чемберлена в Париж и Рим французская газета «Матэн» (2 декабря 1924 г.), подчеркивая значение предстоящего визита английского министра иностранных дел, писала: «Для консервативного английского правительства самым важным вопросом является вопрос о позиции, которая должна быть занята по отношению к СССР, рассматриваемому, как источник пропаганды, возбуждающей национальное чувство восточных народов. Правительство Болдуина хочет предложить Франции и Италии, как державам, владеющим мусульманскими странами, принять меры, согласованные с мерами Англии в Египте, в целях общей защиты западных держав и их колоний против распространения большевизма».

В статье от 12 декабря 1924 г. орган британской компартии «Уоркерс Уикли», комментируя секретные переговоры, происходящие в Париже и Риме, говорит:

«Британский империализм стремится создать единый фронт между собой и своим конкурентом, т.-е. французским империализмом, с одной стороны и Италией с другой, при чем Италия вступит в компанию в качестве младшего участника. Целью всего этого является стремление укрепить положение Великобритании на Востоке и завоевать новые территории для эксплоатации. Единый фронт этого рода неизбежно означает единый фронт против Советской России, ввиду того, что она является единственной надеждой эксплоатируемых колониальных народов. Однако новая Антанта еще далеко не совершившийся факт. Во всяком случае вкоренившийся антагонизм между французским и британским капитализмом продолжает существовать».

Комментируя приезд Чемберлена в Рим, итальянская газета «Идеа Националe» писала:

«Чемберлен находится среди нас в качестве представителя правого правительства, желающего установить контакт с наиболее крупным националистическими правительствами на континенте. Перед великими державами Европы стоит задача защиты существующего порядка, которому угрожает, с одной стороны, подстрекательство большевиками мусульманских народов, с другой — организация большевистской Россией коммунистических выступлений в Центральной Европе от Балтийского моря до Адриатического, даже в центре Франции.

«Оборона от этой опасности, — продолжает газета, — может найти опору в консервативном Лондоне и в фашистском Риме. Однако итальянские оппозиционные партии ставят на второе место эту грандиозную задачу по борьбе с большевистским варварством. Они предпочитали заниматься разоблачением деятельности генерала Бальбо, требованиями предать суду Де-Боно и прочими пустяками».

Все эти цитаты не оставляют никакого сомнения насчет попыток консервативного правительства Англии договориться с державами большой Антанты—Францией и Италией—насчет общей линии по отношению ко всему Востоку и «главному зачинщику» бунтовщического поведения колониальных народов—Советскому Союзу. Неизвестно только, приведут ли эти попытки Чемберлена и Керзона к конкретным результатам. Уже из только что цитированных нами строк из газеты «Идеа Националe» явствует, что в Италии значительная часть самой буржуазии не особенно интересуется широкими планами борьбы на всем военном фронте с Советским Союзом. Однако все же поездка Чемберлена в Рим дала уже кой-какие результаты в форме согласованного выступления Италии, Англии и Юго-Славии против признания албанским правительством полномочий полпреда СССР тов. Краковецкого.

Не ограничиваясь интригами в столицах больших держав, правительство Болдуина-Чемберлена-Керзона плетет сеть интриг против СССР в Польше, Румынии, Литве, Эстонии и т. д., стремясь снова воссоздать старый план блока малых держав (фронт по диагонали) против СССР, план единого противосоветского кордона от Финляндии через Эстонию, Литву и т. д. до Румынии.

Прибалтийские государства уже давно находятся в полнейшей фактической зависимости от Англии и в финансовом, и в военном, и в политическом отношениях и являются опорными пунктами английского империализма на Балтийском море, в Финском заливе. Но для ущемления СССР этого еще недостаточно, и мы видим, как английские политики начинают усиленно ухаживать за Румынией и Польшей.

Польские газеты сообщают ряд фактов, свидетельствующих о намерениях Англии заменить в отношении Польши роль Франции, престиж которой сильно пал в милитаристических польских кругах с момента признания Эррио СССР, и подчинить своему влиянию польскую армию.

Лорд Каван, начальник английской армии, обратился (декабрь 1924 г.) к военному министру Польши ген. Сикорскому с весьма любезным письмом, в котором предлагает, чтобы польские офицеры посылались военным министерством на выучку не только во Францию, но и в Англию. Лорд Каван обещает предоставить польским офицерам любое число вакансий в различных родах оружия.

Английский посол ни с того, ни с сего сделал весьма продолжительный визит Пилсудскому, как вероятному «вождю» польской армии, одно имя которого является символом польского «Drang nach Osten», движения на Восток, в смысле наступления на СССР с целью захвата новых территорий.

Представитель английской авиации усиленно пропагандирует в Польше «общность великих целей Англии и Польши на Востоке». Все чаще и чаще наезжают в Польшу различные английские военные специалисты по всяким родам оружия, «для ознакомления с постановкой военного обучения и с состоянием военной техники в Польше».

Очевидно, что английские консерваторы не прочь бы самыми тесными узами связаться с Польшей и другими пограничными с СССР государствами для создания единого фронта по диагонали, непрерывной цепи от побережья Финского залива и Балтийского моря через Эстонию, Латвию, Литву, Польшу, наконец Румынию до Черноморского побережья, с целью если не открытого нападения, во всяком случае энергичного нажима на Советский Союз, нажима достаточно сильного, чтобы отвлечь внимание СССР от Востока.

Естественно, что английская консервативная партия, переносящая центр тяжести своей политики на колонии, относится с особой неприязнью к СССР, другу угнетенных народов. Совершенно правильно председатель Совнаркома СССР т. Рыков в своей речи 1 декабря 1924 г. на торжественном заседании студентов Закавказского землячества, по случаю четвертой годовщины советизации Армении, подчеркнул, что ключ к пониманию англо-советских осложнений лежит в нашей общей национальной политике к восточным странам и народам, политике, построенной на началах полного равноправия.

Понятно, что представители колониальной партии, сторонники ориентации на Азию и Африку с ненавистью относятся к СССР. Значит ли это, что английские консерваторы стремятся к открытому разрыву с нами, к прекращению всяких дипломатических и хозяйственных сношений с нами? Отнюдь нет. Сколько бы английские консерваторы ни утверждали, что к торговле с СССР Англия относится безразлично, так как де процент этой торговли во всей сумме английского мирового товарооборота слишком ничтожен, чтобы об ее развитии следовало беспокоиться, на самом деле очевидно, что эта аргументация не выдерживает критики.

Во-первых, уже теперь англо-русский товарооборот превышает 200 миллионов золотых рублей в год. По данным нашего торгпредства в Великобритании, приведенным в корреспонденции тов. Михельса из Лондона («Известия», 25 ноября 1924 г.), общий оборот всей нашей внешней торговли за 1924 год, если судить по цифрам первых 8 месяцев этого года, будет составлять, примерно, 25—26 миллионов фунтов стерлингов.

Во-вторых, среди самой буржуазии существуют открытые сторонники расширения англо-советских торговых сношений. Экономическая необходимость с железной силой толкает английскую буржуазию к расширению рынков экспорта. Вот почему даже премьер Болдуин вынужден был в своей речи 9 декабря в ответ оппозиционным ораторам в связи с тронной речью, высказаться в пользу продолжения торговых сношений с СССР, правда, «на основе торгового соглашения 1921 г.».

Наконец, если бы даже вся английская буржуазия единодушно желала полного разрыва дипломатических и хозяйственных сношений с СССР, все же английским капиталистам приходится считаться с волей рабочего класса Англии, требующего сближения с Советским Союзом, и не доводить дела до открытой борьбы.

Как явствует из анкеты «Известий» об отношении английских писателей и политиков к отказу консервативного правительства ратифицировать англо-советский договор, многие английские политики не сомневаются в том, что консервативному правительству придется смягчить свою политику по отношению к СССР.

Не подлежит сомнению, что британские капиталисты, заинтересованные в угольном, железном и стальном производстве, очень скоро заставят даже самое торийское правительство опять приступить к переговорам.

Россия, как рынок для британских мануфактур, кораблей, рельс, паровозов, вагонов и всякого рода машин, представит столько искушений, что угольные и стальные магнаты Великобритании не смогут противостоять им.

Многие промышленные капиталисты, в особенности машиностроительные фирмы, напротив, употребляют все свое влияние, чтобы развить в применении к русскому рынку схему экспортных кредитов, и, возможно, что, в конце концов, они в той или иной форме поддержат также заем для СССР в духе предложенного правительством Макдональда.

Но, конечно, не в интересах тех или других капиталистических групп, ищущих расширения торговли с СССР, лежит залог мирного развития англо-советских отношений. Уже мировая война доказала, что самые тесные экономические связи и самые оживленные торговые сношения не могут помешать дипломатическим столкновениям, даже вооруженным конфликтам между странами. И, конечно, не английские либералы, не отдельные группы капиталистов стали бы препятствовать интервенции в России и открытой войне с СССР, если бы обстоятельства благоприятствовали такому обороту англо-советских отношений и сулили успех этой авантюре.

Английский рабочий класс, заставивший правительство Макдональда признать соглашение с СССР основной частью программы рабочей партии, не сложит оружия и будет бороться за сближение с Советским Союзом. В этом единственная и самая надежная гарантия мирного развития англо-советских отношений, несмотря на все великобританские угрозы и неумолчное бряцание господ Керзонов и Чемберленов английским оружием.

Однако долго ли еще будет продолжаться со стороны правительства Болдуина-Керзона теперешняя провокационная политика по отношению

к СССР? На этот вопрос лондонский корреспондент французского буржуазного журнала «L'Europe nouvelle» («Новая Европа») в номере от 20 декабря 1924 г. дает следующий любопытный ответ:

«Великобритания, которая, начиная с 1918 года, поддерживала дело сближения с Россией, переменилась теперь ролями с Францией, являвшейся в течение этого периода главным врагом сближения с СССР. Теперь, наоборот, Франция идет по пути, оставленному Англией. Однако надо отдать справедливость Чемберлену, что эта отрицательная политика по отношению к России — и это не составляет секрета ни для кого — претит ему, и Чемберлен предпочел бы продолжать конструктивную политику Макдональда. Но за избирательные крайности приходится расплачиваться, и консервативные программы не оставляют Чемберлену другого выбора, как прервать переговоры с Россией до того момента, пока избиратели не забудут многое из того, что говорилось во время избирательной кампании».

Международное кооперативное движение.

Л. Хинчук.

Международный Кооперативный Союз, об'единяющий в настоящее время 37.000.000 членов, являясь численно одной из самых крупнейших организаций, фактически играет весьма незначительную роль на политической арене.

Основание союза было заложено 19 августа 1895 г. в Лондоне, а окончательно он был организован на конгрессе в Париже в 1896 г. На нем присутствовало 255 делегатов, представлявших следующие страны: Англию, Италию, Голландию, Бельгию, Германию, Испанию, Францию, Швейцарию. Был также один представитель из России — старый кооператор Левитский.

Возникает вопрос о взаимоотношениях Международного Кооперативного Союза и Второго Интернационала. Только на 15-м году существования Союза была сделана попытка со стороны копенгагенского конгресса установить свои отношения к кооперации.

Эти отношения выразились в следующей резолюции: «Принимая во внимание, что потребительные общества не только могут приносить своим членам непосредственные материальные выгоды, но и призваны к тому, чтобы путем вытеснения посреднической торговли и собственного производства для организованного потребления экономически усиливать рабочий класс и улучшать уровень его жизни, а вместе с тем, воспитывая рабочих для самостоятельного ведения своих дел, таким образом подготовляет почву для демократизации и социализации производства и обмена, конгресс заявляет, что кооперативное движение, хотя оно само по себе и не может никогда привести к освобождению труда, может тем не менее явиться действительным оружием в классовой борьбе, которую пролетариат ведет для достижения своей неизменной цели — завоевания политической и экономической власти для обобществления всех средств производства и обмена и что пролетариату весьма выгодно воспользоваться этим оружием.

Поэтому конгресс с особенной настойчивостью призывает всех партийных товарищей и всех рабочих, организованных в профессиональные союзы, становиться действительными членами кооперативно-потребительного движения, работать внутри кооперативов в социалистическом духе, препятствуя этим тому, чтобы потребительные кооперативы из ценного средства организации и воспитания рабочего класса превратились в средство осла-

бления духа социалистической солидарности и дисциплины. Ввиду этого конгресс вменяет в обязанность членам партии проводить в своих кооперативах:

чтобы прибыль употреблялась не исключительно на возврат ее членам, но и на образование фондов, дающих потребительным кооперативам возможность переходить самим или в лице их союзов и обществ оптовых закупок к кооперативному производству и заботиться о воспитании и образовании своих членов, а также и о поддержке их в случаях нужды;

чтобы заработная плата и условия труда служащих устанавливались по соглашению с профессиональными союзами;

чтобы собственные предприятия кооперативов были организованы образцово во всех отношениях и

чтобы при покупке товаров обращалось должное внимание на те условия, при которых эти товары были произведены.

Должны ли кооперативы и в какой мере прямо из своих средств поддерживать политическое и профессиональное движение, — следует предоставить решать отдельным кооперативам каждой страны.

Признавая, что услуги, которые кооперативное движение может оказать рабочему классу, тем значительнее, чем более сильно и организованно будет само это движение, конгресс постановляет, что кооперативы каждой страны, стоящие на точке зрения этой резолюции, должны образовать единые союзы.

Конгресс, наконец, заявляет, что интересы рабочего класса в его борьбе против капитализма требуют, чтобы отношения между политическими, профессиональными и кооперативными организациями становились все более тесными, не нарушая, однако, этим самостоятельности данных организаций».

Вышеприведенная резолюция обозначает собою фактический сдвиг в отношении Второго Интернационала к кооперации, так до этого времени он на кооперативы в лучшем случае смотрел равнодушно, а иногда и прямо враждебно. Правда, в этой резолюции сквозит еще недоверие, ибо конгресс рекомендует вступление в кооперацию рабочих с целью «воспрепятствовать кооперативам из ценного средства организации и воспитания рабочего класса превратиться в средство ослабления духа социалистической солидарности и дисциплины».

Но все же копенгагенская резолюция знаменует собою признание ценности кооперации.

Характерно, как ответил Международный Кооперативный Союз на 8-м своем конгрессе в Гамбурге в 1910 г. В то время как копенгагенский конгресс требовал использования кооперации в качестве орудия классовой борьбы, — гамбургский кооперативный конгресс провозгласил политический «нейтралитет», под прикрытием которого кооперация имела возможность вести антисоциалистическую политику.

Там была вынесена следующая резолюция:

«8-й международный конгресс кооперации, отказываясь входить в обсуждение каких-либо политических вопросов, приветствует решение междуна-

родного социалистического конгресса в Копенгагене, которое подтверждает единство и самостоятельность кооперативного движения, признает огромную ценность и значение потребительской организации для рабочего класса и призывает всех трудящихся стать активными членами потребительских обществ и оставаться верными кооперации. Международный конгресс кооперации твердо верит, что это решение значительно укрепит все кооперативное движение».

Ясно, что Международный Кооперативный Союз тщательно избегал завязать прочные взаимоотношения даже со Вторым Интернационалом, предпочитая политический «нейтралитет» классовой солидарности рабочих.

До империалистической войны последний кооперативный конгресс имел место в Глазго в августе 1913 г.

На политическом горизонте уже появились бурные предвестники войны, и участники конгресса уделяли много времени вопросам мира.

Альберт Тома, который в эпоху империалистической войны проявил много шовинистического угара и принимал энергичное участие в снаряжении французской армии, произнес на этом конгрессе следующую речь:

«Мы не сомневаемся в том, что если безумие отдельных лиц когда-либо опять ввергнет мир в войну, наше движение будет в состоянии с успехом воспротивиться такому плану. Мы не сомневаемся, что кооперативное движение при всех обстоятельствах окажется достаточно большим и мощным, чтобы оказать успешное сопротивление безумию отдельных правительств».

Все эти речи и резолюции представляли собою не что иное, как набор громких фраз, и выявляли полную несостоятельность вождей кооперации осуществить свои «благие намерения».

С империалистической войной распался кооперативный интернационал.

На предложение генерального секретаря издать манифест против войны, согласно решениям конгресса в Глазго, большинство стран не согласилось.

С самого начала войны кооперация была об'ята безумным шовинистическим угаром и вместо борьбы с правительствами оказывала последним в различных странах самую активную поддержку.

Вожди Международного Кооперативного Союза почти во всех странах вошли в состав правительств с лозунгом «войны до победного конца», являясь главными организаторами в деле продовольствия и снаряжения армии.

Альберт Тома стал министром снаряжения во Франции, Клайнс—министром продовольствия в Англии, Август Мюллер — в Германии, Вандервельде — в Бельгии, Реннер — в Австрии и т. п.

Собрание кооперативов и вся кооперативная печать превратилась в органы пропаганды империалистической войны.

Несмотря на то, что в конце 1918 г. закончилась империалистическая война, лишь в октябре 1920 г. удалось созвать первое заседание Исполкома Международного Кооперативного Союза в Гааге.

Центральный Комитет Союза собрался лишь в апреле 1921 г. в Копенгагене. На этом заседании было решено созвать в августе 1921 г. в Базеле первый после империалистической войны международный конгресс.

Самым боевым вопросом на этом конгрессе был вопрос об отношении к советской кооперации. До Базельского конгресса советскую кооперацию «представляли» эмигранты-кооператоры, оставившие советскую Россию в 1917 — 1918 г.г.

Неоднократные попытки Центросоюза установить взаимоотношения между советской кооперацией и Международным Кооперативным Союзом оканчивались неудачей. Центральный Комитет Союза предложил Базельскому конгрессу признать представителями советской кооперации «тех лиц, которые получили мандат от свободных демократических организаций», т.-е. эмигрантов-кооператоров, совершенно оторванных от советской кооперации. После долгих дебатов, конгресс отверг предложение ЦК и признал (731 голосом англичан, итальянцев и чехо-словаков против 461 голоса немцев и французов) Центросоюз единственным правомочным представителем советской кооперации.

В марте 1922 г. представители английских, французских, чехо-словацких и швейцарских кооперативов посетили советскую Россию и ознакомились с советской кооперацией.

В официальном докладе, за подписью председателя делегации, генерального секретаря Союза—Мея и всех ее членов, сообщалось, что «советская кооперация велика, мощна, деловита и демократична».

В период времени между Базельским и Гентским (в сентябре 1924 г.) конгрессами представителям советской кооперации приходилось принимать участие на заседаниях Исполкома и ЦК Союза.

На этих заседаниях мы возбуждали вопросы о защите итальянской кооперации от разгрома фашистов; о защите болгарского коммунистического кооператива «Освобождение» от разгрома правительства Цанкова; о защите рабочего класса и кооперативного движения в Руре, оккупированном французами и бельгийцами, и т. п.

Мы требовали установления связи с Профинтерном, Международным об'единением красных профсоюзов подобно тому, как это имело место с Амстердамским об'единением профсоюзов.

Наконец, мы требовали предоставления нам специального доклада на конгрессе о кооперации и рабочем движении.

Наша работа приходилась не по нутру кооперативным бюрократам — старым вождям кооперации, которые никак не могли примириться с нашей революционной классовой политикой. Немцы, в лице ультра-реакционных кооперативных бюрократов Кауфмана и Каша, требовали исключения Центросоюза (советской кооперации) из Международного Кооперативного Союза. В такой обстановке готовился Гентский кооперативный конгресс, в котором мы должны были принять самое деятельное участие.

XI Международный Кооперативный Конгресс состоялся в Генте 1 сентября с. г. и имел следующий порядок дня:

Отчет о деятельности Союза со времени Базельского конгресса;

Изменение устава Союза;

Выборы Центрального Комитета;

Взаимоотношения между различными видами кооперации;

Задачи и границы кооперативного производства в обществах потребителей и в обществах оптовых закупок;

Положение женщины в кооперативном движении;

Роль кооперативных банков в развитии кооперативного движения.

Главную и основную дискуссию вызвал отчет о деятельности Союза.

Вопросы, по которым выступала российская делегация, были:

«Нейтральность» Аллианса;

Об'единение с Профинтерном;

Вопрос о войне и взаимоотношения с Лигой Наций;

Постановка вопросов классового характера.

Конгрессу предшествовали заседания Исполкома и Центрального Комитета, где предварительно подготовлялись резолюции к докладам.

В Исполкоме мне пришлось быть одному. По всем вопросам пришлось выступать и вносить наши резолюции, которые либо отвергались, либо переносились на заседание ЦК.

На заседании ЦК нами был поднят вопрос о защите Болгарского О-ва «Освобождение» от преследований правительства Цанкова. Центральный Комитет вынес двусмысленную резолюцию.

По вопросу о кооперативной политике мы внесли следующую резолюцию:

«Разрушения и убытки, причиненные империалистической войной народному хозяйству всех стран и особенно кооперативным организациям, далеко еще не изжиты. Все острее ощущаемая борьба между капиталистическими классами различных стран, которые стремятся к новым завоеваниям, обогащениям и т. п., несет угрозу трудящимся классам всех стран новыми ужасами войны. Конгресс того мнения, что восстановление мирового хозяйства и нормальное развитие кооперативного движения возможны только путем решительной классовой борьбы рабочих в тесном сотрудничестве с трудящимся крестьянством для преобразования капиталистического строя в социалистический.

Конгресс поручает Центральному Комитету и Исполкому принять всевозможные шаги в этом направлении».

Ввиду того, что, согласно § 24 устава, резолюции для конгресса должны вноситься за 4 месяца до конгресса, данная резолюция была передана бюро конгресса для решения об ее дальнейшем направлении.

Далее, в ЦК произошла ожесточенная схватка по вопросу о взаимоотношениях Аллианса с Центральными профессиональными союзами, с Амстердамским сб'единением и с Профинтерном. Англичане стояли на точке зрения полной самостоятельности Аллианса и предлагали отвергнуть соглашение с Амстердамом. Мы настаивали на соглашении с Профинтерном. В результате прений была принята компромиссная резолюция. Конгресс обращает внима-

ние на необходимость осторожного отношения к практическим шагам, возникающим на почве соглашения с обоими профессиональными интернацоналами, но рекомендует вести переговоры с ними. Соотношение сил в ЦК было таково: 9 голосов подано за нашу резолюцию и 28 голосов — за компромиссную. Англичане сняли свою резолюцию.

Еще более ожесточенные прения вызвал вопрос о «нейтральности» Алльянса. Мы защищали позицию единства рабочего движения и участия кооперации в классовой борьбе пролетариата. Англичане и немцы ожесточенно и дружно нападали на нас. «Напрасно, — говорили они, — русские занимают время ЦК своими резолюциями. Мы не мешаем русским кооператорам проводить свою политику в их стране, пусть же они не мешают нам оставаться нейтральными».

Французы также решительно высказались за нейтральность кооперативного движения.

Мы внесли следующую резолюцию:

«Имея в виду:

что развитие кооперативного движения как в отдельных странах, так и в международных формах находится в теснейшей зависимости от развития всего рабочего движения в целом;

что об'ективные условия современного кооперативного движения неизбежно вовлекают кооперацию в многообразные отношения с другими организациями рабочего класса;

что деятельность МКС полностью подтверждает, что признание политического нейтралитета кооперации на словах означает на деле одностороннюю солидарность с определенными политическими и профессиональными организациями;

что выход из создавшегося противоречивого положения в вопросе о нейтралитете кооперации заключается единственно в том, чтобы открыто и последовательно проводить в кооперативном движении как в национальных, так и международных формах принципы классовой солидарности пролетариата и единства пролетарской классовой политики, —

конгресс постановляет:

кооперация в отдельных странах в международном своем об'единении должна отказаться от формального нейтралитета и входить в соглашения со всеми другими классовыми организациями пролетариата и трудового крестьянства по вопросам совместных действий в деле экономического и политического освобождения рабочего класса и трудового крестьянства от ига капитализма».

По вопросу о Лиге Наций мы внесли следующую резолюцию:

«Ввиду того, что связь с Лигой Наций, которую имел в виду Базельский конгресс, на практике до сих пор не дала никаких результатов и в будущем тоже не может привести к таковым, так как преследуемые Лигой Наций и подобными организациями цели противоречат стремлениям Аллианса, который должен являться организацией трудящихся рабочих и крестьянских масс, делегация СССР предлагает в будущем отказаться от связи с Лигой Наций».

Этому вопросу ЦК уделил мало времени и снял с обсуждения.

Украинская делегация от имени Грузии, Азербейджана, Армении, России, Галиции и Чехо-Словакии внесла предложение о включении русского языка в число официальных языков Союза.

Центральный Комитет не считал возможным отвергнуть это предложение и принял решение отложить этот вопрос.

Заседание Центрального Комитета и Исполкома явилось таким образом прелюдией к конгрессу. Намечены были две твердые линии, которые и проходили красной нитью через весь конгресс. Одна линия — английская, так называемая Рочдельская, твердо устанавливающая полную самостоятельность кооперативного движения, полную «нейтральность» и аполитичность.

Другая линия — наша, требующая единства рабочего движения, включая в него и кооперативное, проведения классовой политики в кооперативном движении, осуществления максимальной связи с профессиональным и политическим движением рабочего класса и трудящегося крестьянства. Свою идеологию, свои принципы мы проводили до конца как в Исполкоме, так и в Центральном Комитете и на конгрессе.

При всех наших выступлениях весь зал настораживался и с большим вниманием при полной тишине выслушивал наших ораторов.

Прежде чем перейти к контрессу, несколько слов о к о н ф е р е н ц и и м е ж д у н а р о д н о й г и л ь д и и ж е н щ и н-к о о п е р а т о р о в. На этой конференции только десяти странам были предоставлены решающие голоса, а остальные присутствующие 8 стран, в том числе и СССР, получили совещательный голос. В прениях по докладу о роли женщин в кооперации приняли участие, кроме делегаток Украины и России, также и другие коммунистические делегатки Германии и Чехо-Словакии, которые проводили нашу общую линию необходимости проведения и участия кооперации в классовой борьбе, в то же время высказываясь против автономности женских кооперативных организаций. Далее проводилась точка зрения, что кооперация будет иметь решающую роль и влияние лишь после того, как власть перейдет в руки пролетариата в международном масштабе, базируясь на опыте российской кооперации.

Второй доклад о всеобщем мире вызвал оживленные прения, в которых приняли участие коммунистические делегатки Германии и России, которые говорили об ужасах будущей войны и указывали, что необходимо бороться против войны не словами, а действиями, что только рабочий класс заинтересован в недопущении войны и поэтому кооперативному движению необходимо перестать быть аполитичным, а, наоборот, кооперация должна присоединиться к общему рабочему движению, в целях низвержения капитализма, как это сделал российский пролетариат.

На конференции произошел следующий интересный инцидент. По предложению голландской делегатки, конференция послала поздравление Датскому правительству по поводу его решения о разоружении. Когда же выступила российская делегатка с вопросом, почему конференция не шлет поздравления Советскому правительству, которое фактически одно только и борется за

мир, — конференция уклонилась сделать такой шаг, а вынесла очень туманную резолюцию о борьбе против войны.

XI международный кооперативный конгресс.

Конгресс открывается приветственной речью Бертрана от имени федерации кооператоров в Бельгии и Союза бельгийских кооперативов, принадлежащих к бельгийской рабочей партии. В Бельгии, говорит он, 257 потреб. обществ с 387.710 чел. Общество оптовых закупок делает оборот в 84 милл. франков. От имени кооператива «Voruit» Ансель благодарит конгресс за принятие приглашения устроить конгресс в Генте, в котором зародилось бельгийское кооперативное движение.

Далее с приветственными речами выступает целый ряд ораторов: Теас — от имени французского министра труда Годера, Альберт Тома — от имени Международного Бюро Труда, Мертенс — от имени Амстердамского об'единения профсоюзов, Шоу — от имени Общества международной свободной торговли. Этим заканчивается торжественная часть конгресса.

Следующее заседание открывается председателем с оглашения декларации о политическом нейтралитете. Он указывает, что кооперативное движение должно иметь нейтральную базу, на которой об'единяются кооператоры различных политических и религиозных воззрений. Время от времени Аллианс может сотрудничать с другими организациями, основанными на других принципах, но это не должно нарушать принципов кооперативного движения. Если мы хотим, — говорит он, — осуществить наши задачи, мы должны преисполниться духом интернационализма, духом братского сотрудничества всех народов, всех религий, всех политических, экономических и социальных направлений. Мы должны добиваться осуществления наших задач «духовным оружием». Нашим принципом должны быть «единство принципов», свобода в спорных вопросах и «примирение во всех вопросах».

Вот декларация, знаменующая собой соглашательский дух ее авторов, принцип **классового сотрудничества** вместо **классовой борьбы**.

Делегат Украины т. Геттлер вносит предложение о признании русского языка официальным языком Аллианса. Это предложение поддерживается делегацией Чехо-Словакии.

Председатель предлагает принять предложение ЦК отложить решение этого вопроса, так как четыре официальных языка потребуют слишком много времени на переводы. Предложение председателя принимается конгрессом.

С разрешением проблемы о разоружении выступил представитель нашей делегации т. Бару, который потребовал по данному вопросу специального доклада. Точка зрения российской делегации, — говорил он, — основана на старом принципе пролетарского кооперативного движения, по которому кооперация обязана поддержать пролетариат в его борьбе против эксплоатации капитала, борясь за низвержение капиталистического общества и создание строя, базирующегося на кооперативной солидарности. Мелко-буржуаз-

ный пацифизм не был в состоянии в 1914 г. задержать вспышку мировой войны, и мелко-буржуазная пацифистская теория полностью провалилась во время империалистической войны. Международный конгресс в Базеле в 1921 г. принял слишком осторожную резолюцию о мире. Эта резолюция обязывает каждую национальную организацию поддерживать оборону своей страны, а между тем всякая империалистическая война, носит ли она оборонительный или наступательный характер, является преступлением, и рабочие организации должны всеми средствами бороться против этого преступления. Оккупация Рура доказала, что резолюция, принятая конгрессом мира в Гааге в 1922 г., остается на бумаге и не проводится ни одной из тех организаций, которые за нее голосовали. Во время оккупации Аллианс обратился с несколькими словесными протестами к Пуанкаре относительно разрушения кооперативов, — и этим ограничилась вся его пацифистская деятельность.

Мы не допустим, чтобы кооператоры-рабочие во имя интересов капиталистического общества были бы вновь втянуты в войну. Мы призываем кооператоров вместе с нами вести беспощадную борьбу за уничтожение буржуазного строя, мы призываем их сомкнутыми рядами вместе с профсоюзами стать в защиту революционных классовых задач пролетариата, в защиту мира. Только решительная готовность бороться против войны совместно со всеми массовыми организациями пролетариата, готовность вести систематическую подготовку масс к этой борьбе может быть залогом успешности борьбы против империалистических войн.

Весь конгресс выслушивает речь т. Бару с огромным вниманием. Представитель Германии, идеолог застарелой кооперации, Кауфман, требует, чтобы речь, ввиду ее политического характера, не была переведена на другие языки. Председатель, несмотря на наши протесты, соглашается с Кауфманом, и речь эта остается без перевода. Но речь была произнесена, и она привлекла к себе еще больше интереса именно благодаря этому инциденту.

Нашей делегацией с присоединившимися делегатами от Англии и Чехо-Словакии было подано заявление в бюро конгресса послать приветственный адрес 35 тыс. бастующих шахтеров в Боринаже. Наше заявление было отклонено. Мы решили пожертвовать 1000 ф. ст. бастующим шахтерам от имени делегации Союза ССР.

По вопросу о взаимоотношениях с Лигой Наций выступил т. Фейгин, который от имени советской кооперации заявил, что кооперация не нуждается в признании Аллианса Лигой, так как она является организацией пролетарских и крестьянских масс всех стран. Аллианс может и должен искать союзников лишь в лице рабочих и крестьянских пролетарских организаций, связь же с Лигой Наций не только бесполезна, но и вредна интересам Аллианса. Аллианс должен отказаться от какой бы то ни было связи с Лигой Наций, так как только в полном союзе с пролетарскими классовыми организациями он сумеет выполнить свои задачи в международном масштабе.

Следующее выступление было т. Вульфсона по вопросу о связи с профессиональными интернационалами (Амстердамом и Профинтерном).

Он обращает внимание конгресса на огромное значение сотрудничества кооперации и профсоюзов. Кооперация не будет иметь возможности, более того, будет совершенно бессильна, если она не установит полный и единый фронт в своей деятельности с международными центрами профессионального движения. Члены профсоюзов являются членами кооперативов, и этим, главным образом, об'ясняется быстрое развитие и мощь нашего кооперативного движения. Исполком в этом вопросе не предпринял всех шагов, которые он мог и должен был предпринять в целях установления более тесной связи с обоими международными центрами профессионального движения: он указал, что советская делегация, совместно с чешскими и английскими делегатами, чтобы выразить свое отношение к профдвижению, предложила бюро конгресса послать приветственный адрес 35 тыс. бастующим шахтерам в Боринаже, что, однако, было отвергнуто президиумом конгресса. Далее т. Вульфсон указывает, что еще в феврале 1923 г. председатель Центросоюза Хинчук на заседании Исполкома предложил привлечь Красный Интернационал Профсоюзов (Профинтерн — Москва) к соглашению, установленному между Аллиансом и Амстердамом; и, однако, до сих пор такого привлечения Профинтерна ни Исполком, ни ЦК не осуществили. Попытка об'яснить это явление тем, что Профинтерн является организацией политической, не имеет значения, ибо наше мнение состоит в том, что вообще не представляется возможным строго разграничить экономические вопросы от политических, и поэтому мы отстаиваем необходимость связи Аллианса не только с профессиональными, но и с политическими организациями рабочего класса. Профинтерн, в состав которого входят не только коммунисты, тоже того мнения, что общие цели рабочего класса достижимы лишь при едином фронте всех рабочих организаций. Мы настаиваем, чтобы настоящий конгресс оказал деятельную поддержку борьбе, которая теперь ведется миллионами пролетарских членов кооперации за образование «единого международного фронта всех сознательных рабочих организаций», так как только таким путем единый фронт сумеет успешно бороться с международным капиталом. В заключение т. Вульфсон вносит следующую резолюцию: «Международный Кооперативный Союз вступает в сношения с Московским Интернационалом профсоюзов (Профинтерн) подобно тому, как уже установлены отношения между Международным Кооперативным Союзом и Международным профессиональным об'единением в Амстердаме». В результате прений конгрессом принимается расплывчатая резолюция о взаимоотношениях кооперативного и профессионального движения; при этом все же конгресс считал необходимым подчеркнуть связь Аллианса с обоими Интернационалами (Амстердамом и Профинтерном).

По данному вопросу возникли существенные прения: германский, французский и английский делегаты, в лице Кауфмана, Пуассона и Рея, выступали с ожесточением против положений, выставленных нашими делегатами; но в то же время на их защиту выступил один английский коммунист Оуен, который произнес блестящую речь за международный единый фронт пролетариата и за союз с русским рабочим классом, заявляя, что

от решения этого вопроса зависит будущность всего кооперативного движения.

По этому же вопросу, на английском языке, выступает другой российский делегат т. Мельничанский, к словам которого аудитория прислушивается с величайшим вниманием. Он говорит, что русские предложения все же требуют того, что раз существуют сношения с Амстердамом, то таковые же должны существовать и с Москвой. Он указывает, что в тот момент, когда английские тред-юнионисты ищут связи с русскими профсоюзами, — кооперативное движение не должно стоять в стороне и обязано поддержать новую международную ориентацию рабочего класса. Предложение английской делегации оставить данный вопрос открытым и не решать его здесь на конгрессе, чтобы иметь возможность его сначала изучить, — чрезвычайно нецелесообразно. Мы живем в такую эпоху, когда события меняются довольно быстро: в течение последних месяцев мы были свидетелями многих, быстро сменяющихся новых событий и явлений. Должны ли мы ждать, пока будут изучены данные вопросы? — В случае необходимости ведения переговоров о совместных действиях с профсоюзами, эти переговоры обязательно должны вестись не только с Амстердамом, но и с Профинтерном; а что совместные действия необходимы, — это ясно для всех.

После еще нескольких незначительных выступлений вопрос этот подвергся голосованию. За русскую резолюцию было подано 179 голосов, а за английскую (требование отвергнуть всякие сношения с профессиональными организациями) — 222 голоса. В результате была принята компромиссная резолюция Центрального К-та. В основном она сводится к следующему: «Осуществление предложений о сношениях с международными профсоюзами откладывается, чтобы избегнуть всех затруднений, могущих возникнуть ввиду настоящего состава Алльянса и повести к нарушению его нейтралитета. Конгресс тем не менее подтверждает необходимость предложенной общей деятельности с международными профессиональными союзами (Амстердам и Москва) по специальным вопроса при условии, что каждый вопрос должен быть предварительно представлен в Исполкоме.

Болгарский делегат Исааков произнес горячую обвинительную речь против фашизма. Он характеризовал неслыханный юридический произвол со стороны правительства Цанкова, которое при помощи специального судопроизводства осмелилось распустить Рабочий Кооперативный Союз «Освобождение». Он обратился со страстным призывом к конгрессу, чтобы тот своим авторитетом и практическими мероприятиями поддержал борьбу против врагов рабочего класса и помог болгарским рабочим восстановить их кооперативную организацию.

Конгресс не допустил прений по данному вопросу и подтвердил точку зрения Центрального Комитета Алльянса, который уже взял под свою защиту ликвидированное Цанковым Болгарское Общество «Освобождение».

Следующим вопросом, занявшим внимание конгресса, был вопрос об увеличении числа членов Исполкома с 7 до 9. Предложение защищается председателем Центросоюза Хинчуком, который указывает на абсолютную не-

справедливость решения Базельского конгресса 1921 г., когда русские не были допущены в руководящий орган Альянса; эта несправедливость должна быть устранена по отношению к стране, которая насчитывает 10 миллионов членов кооперации; Россия и Украина должны получить по одному представителю в Исполкоме Альянса.

Генеральный секретарь Мей указал, что имеется еще 19 государств, которые имеют право быть представленными в Исполкоме; кроме того, выборы в Исполком являются персональными, а не от отдельных стран. С протестом снова выступает Хинчук, который в опровержение взглядов Мея ссылается на то, что за советской кооперацией было признано право иметь места в Центральном К-те; такое же право должно быть признано за советской кооперацией и в Исполкоме.

В результате голосования, 319 гол. против 183 было принято предложение об увеличении числа членов Исполкома только на одного: с 7 до 8.

По вопросу о роли женщин в кооперации докладчицей выступила Эмма Фрейлих; этот доклад был лишен классовой точки зрения. После нее выступила наша делегатка т. Островская, речь которой была заслушана с большим вниманием: в своей речи она об'яснила действительную роль работниц в кооперативном движении в России. Точка зрения т. Островской энергично поддерживалась чешской делегаткой Каменской, но конгресс демонстрировал свой мелко-буржуазный характер, значительным большинством отклонив поправку т. Островской, настаивавшей на необходимости активного участия работниц в общем кооперативном движении в целях улучшения условий жизни рабочего класса. Характерно отметить, что советская делегация лишь с большим трудом добилась баллотировки этой поправки, так как председатель конгресса долго отказывался ставить на голосование эту поправку, как носящую «политический» характер.

Одним из гвоздей конгресса был вопрос о «нейтралитете». По данному вопросу, как и по всем остальным, выявились две основных точки зрения: английская — твердо стоящая на исключительно нейтральной базе кооперации, и наша — так же твердо отвергающая английскую точку зрения. По данному вопросу выступил т. Киссин, который заявил от имени советской делегации, что последняя категорически высказывается против резолюций английского союза. Исключение составляет одно положение резолюций, а именно то, которое говорит о невмешательстве одной национальной кооперативной организации в дела другой. Это последнее предложение мы принимаем. Однако, принимая это положение, мы никоим образом не отказываемся от своего права в своей прессе, а также на конгрессах, собраниях, конференциях и т. д. защищать и проводить свою точку зрения.

Теперь о самой резолюции.

Что мы понимаем под нашим требованием отказа союза от нейтралитета? Под анти-нейтралитетом мы отнюдь не понимаем совместную работу Союза только с одной какой-либо партией рабочего класса. Но в вопросах общих для рабочего класса, в той борьбе, которую его организации ведут

с капиталистическим строем, мы требуем, чтобы Союз стал на сторону рабочего класса.

Чем мы обосновываем свое предложение?

Кооперативное движение создано почти исключительно рабочим классом, создано им в результате неимоверных усилий и жертв. И было бы нарушением элементарных интересов рабочего класса, было бы преступлением по отношению к нему, если бы организация, созданная им в период решительной борьбы, не стала бы на его сторону.

Нет почти ни одной национальной организации, которая в своей стране оставалась бы нейтральной. Не только в России, но и в Бельгии, Австрии, даже в Англии кооперативные организации были вынуждены положением вещей принять активное участие в политической и экономической борьбе, — борьбе на стороне рабочего класса. Если немецкие кооператоры утверждают, что их кооперация остается нейтральной, то это неверно. Правда, они не на стороне рабочего класса: они находятся по ту сторону баррикад. И если кооперативное движение каждой страны, действующее в национальных рамках, вынуждено отказаться от своего нейтралитета, то тем более должен встать на путь отказа от нейтралитета Международный Союз. Ибо, на самом деле, что будет представлять собой Союз без участия в общих хозяйственных и хозяйственно-политических вопросах? Да и Аллианс на деле уже отказался от нейтралитета; только он проводит это без достаточной последовательности; если вы обратитесь к утвержденному вами отчету ЦК, то вы увидите в целом ряде мест трактование вопросов не на почве нейтральности; так, вы одобрили позицию Союза касательно разоружения, одобрили позицию по отношению к генуэзской конференции, мирный конгресс в Гааге и т. д., а разве это не политические вопросы? Будьте откровенны и скажите, что у Союза нейтралитета нет; вопрос состоит в том: по эту сторону баррикады находится Аллианс, или по ту сторону, т.-е. с рабочим классом, или против рабочего класса?

Этим исчерпываются основные моменты работы конгресса. Можно определенно сказать, что мы, делегаты советской кооперации, должны быть довольны результатами конгресса: мы целиком и до конца проводили нашу коммунистическую точку зрения на кооперацию и на ее взаимоотношения с профессиональным движением, на кооперативную политику, на связь кооперативного и рабочего движения, на установление единого фронта в борьбе рабочего класса, и т. д., и т. п.

Кроме того, необходимо указать, что все свои работы делегация СССР проводила коллективно, энергично подготавливая все выступления, столковываясь на специальных, ежедневно устраивавшихся заседаниях по всем основным вопросам порядка дня конгресса. При этом наши совещания ограничивались не только одними делегатами СССР, но и всеми коммунистами и сочувствующими нам делегатами других национальных кооперативных организаций. Спайка у нас была полная. С огорчением мы должны констатировать только одно разногласие, бывшее у нас с нашими чешскими товарищами-коммунистами по вопросу о взаимоотношениях с профсоюзами и о нейтрально-

сти кооперации. В данных вопросах чешские товарищи были не с нами, так как у них имелся императивный мандат всей их кооперативной делегации, в которой они составляли меньшинство; принципиально они, конечно, были на нашей стороне, но боязнь (как они выражались) разрушить свою организацию помешала им голосовать с нами по вышеуказанным вопросам.

По окончании конгресса было заседание Центрального Комитета, на котором состоялись выборы председателя и Исполкома. При выборах назвали кандидатуру прежнего председателя Гедгардта, при чем мною было заявлено, что кооперация СССР, начиная с Базельского конгресса и до Гентского, — а также на самом Гентском конгрессе, — испытала на себе много несправедливостей и мало об'ективного отношения со стороны Аллианса. Мы соглашаемся голосовать за Гедгардта, но при условии, что таких несправедливостей и такой необ'ективности российская кооперация больше испытывать не будет. Таким образом Гедгардт был выбран единогласно председателем и в своем слове отметил, что он уже стар (68 лет), но что он примет все меры, чтобы об'ективно относиться ко всем.

При выборах Исполкома встал вопрос только о новом члене исполкома (восьмом). Здесь было две кандидатуры: моя и одного венгерца. Характерно, что в своей защитительной речи венгерец указал, что Аллианс должен избрать именно его — венгерца — как по заслугам Венгерского О-ва Оптовых Закупок, членом правления которого он состоит, так и потому, что он не внесет раскол в ряды Исполкома. (Это, конечно, было направлено в сторону представителя советской делегации, могущего при избрании его в члены Исполкома внести раскол.)

Результаты голосования были следующие: за венгерца было подано 4 голоса: его собственный, одного представителя Латвии и двух представителей Финляндии. Все остальные члены Центрального Комитета (свыше 50 человек) голосовали за мою кандидатуру.

После заседания Центрального Комитета было заседание Исполкома, на котором были приняты в Аллианс два новых общества, а именно: Украинский Коопстрах и Украинская Книгоспилка. Отклонили принятие в члены Аллианса Болгарского Фармацевтического О-ва Софии, равно как и другого Болгарского О-ва; точно так же отклонили принятие в члены Аллианса Кредитного Союза в Варшаве.

Таким образом закончились работы российской делегации в Генте.

Нам удалось оторвать до 30 и больше голосов от разных кооперативных организаций, которые голосовали за наши резолюции и наши предложения. Можно быть уверенными, что следующий конгресс, несомненно, даст значительно бо́льшие результаты в смысле революционизирования кооперативных масс, и на следующем конгрессе мы будем иметь гораздо больше сторонников из других кооперативных организаций.

ИЗ ПРОШЛОГО ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ

Из книги „Мятеж“ [1]).

Дм. Фурманов.

Предисловие.

«Мятеж», это — кусок революционной борьбы, подлинный кусок с мясом, с кровью, рассказанный просто, искренно, честно-правдиво и во многих местах чрезвычайно художественно. Перед вами встает страна, далекая страна, о которой мало кто знает — Семиречье: ее степи, горы, ущелья, горные равнины.

Встают живые люди, расслоенные на классы, национальности. Русские крестьяне, казаки, в силу обстановки, созданной царским правительством, жестоко эксплоатирующие киргиз, несчастных, забитых, замученных, темных и бесконечно нищих. Баи, киргизские кулаки, мироеды, муллы жадной сворой, наравне с казаками и крепким крестьянством, сосут своих единокровных, держат в железных когтях и непроходимой темноте.

И вот в этой богато-родящей пестрой и сложной стране идет революционная борьба — строительство. Революционная борьба велась в разной обстановке, в разных условиях — у Ледовитого океана, в дымном Петрограде, на черноземных центральных равнинах, в знойном Кавказе и Крыму, в далеком, полном ярких восточных красок Туркестане. И всюду наша партия, РКП, проявила удивительную приспособляемость, гибкость, учет окружающей обстановки, исходя всегда из основных своих незыблемых коммунистических положений и этим победила. В «Мятеже» удивительно правдиво и ярко даны эти свойства партии в обстановке полуэкзотической, совершенно отличной от нашей российской, не говоря уже об обстановке промышленных городов, где рождалась, росла и крепла партия. Оттого эта книга может многому научить.

Читается с захватывающим интересом, хотя в ней строго вставлены подлинные документы, приказы.

А. Серафимович.

---

[1]) Летом 1920 г. в г. Верном Семиреченской области вспыхнуло восстание против Советской власти. Печатаемые очерки тов. Дм. Фурманова изображают отдельные моменты этого восстания.

I.

Мятежники.

Шумно бушевала крепость. Она напоминала собой встревоженный табор, когда он под близкой опасностью готовится к бою, в звонком зуде, второпях, оттачивает тонкие кинжалы, широкоперые шашки, недосягаемой, высочайшей напрягся нотой и дрожмя-дрожит в предчувствии неминуемой близкой сечи. Эта лихорадочная беготня, этот ревущий, неумолчный гомон, воспламеняющие крики, чьи-то, кому-то, обрывочные, безнадежные, бессвязные приказы охрипшей глоткой, раздраженные вопросы, дикие, но бессильные угрозы: звериным ревом дрожит над крепостью мятежный гул. Никакого начальства. Никакого управления. Долой все, к чорту: крепостная масса сама разрешит все свои вопросы! О том говорили дикие крики и сумасшедшая суета.

Но уже просвечивали первые признаки организации. Чутьем чуяли мятежники, что без организации ничего не поделать. Долго еще не уходиться разгульному самодовольству, еще долго крепость станет сама, гулом и воем своих собраний, обсуждать вопросы, но к тому идет, и придет время, когда зажмет железная рука разбушевавшиеся толпы, заклещит их недвижимо дисциплиной плети, шашки, свинцовой пули и поведет, прикажет итти.

И пойдут: покорные, безвольные, не видя и не понимая своего нежданного пути.

* * *

Ночью, у казарм, когда только выступали — раскололись мненья: одни говорили, что надо тотчас итти на штаб дивизии, захватить его и арестовать или тут же прикончить все начальство.

Другие урезонивали и до подхода 26 полка не решались на этот шаг, зато крепость захватить считали весьма полезным:

во-первых — прибрать в ней к рукам оружие;

во-вторых — укрепиться, приготовиться к встрече;

в-третьих — подогреть на выступление остальные части;

наконец — разбудить деревни, привлечь и вовлечь сразу в дело массу крестьянства.

Со своей точки зрения правы были, конечно, первые. В интересах восставших надо было действовать решительно уже с первого момента. Что-нибудь одно: или у Штадива есть силы и тогда от сил этих не укроешься в крепости, ожидая 26-й полк; или у Штадива нет достаточных сил и тогда — зачем ждать подхода новых сил, когда управишься легко и теми, что есть налицо? Правы были первые: быстрым ударом надо было грохнуть в Штадив, нас всех арестовать, а может быть, и расстрелять. Власть захватить немедля и полностью, произвести массовые аресты, заявить об единой собственной

власти — словом, всем и во всем показать, что за тобой победа. А мятежники — так они сделали? Ничего подобного: они только наполовину заявили о своей победе, а дальше — открыли с нами целую серию переговоров и совещаний, как в тину, затянули себя в споры и обсужденья, в этой тине они увязли. Мы их в эту тину и тащили, ибо при данных обстоятельствах только здесь было наше спасение, спасение нашего дела. Мятежники выступали с грозными словами, но грозных дел совершить не сумели. Их сбивало с толку предположение, что в Особом у нас и в Трибунале — много сил: не даром после того, как вооружились они награбленным из транспорта оружием и готовы были итти из казарм в Крепость — выслали сначала сильные дозоры к Особому и Трибуналу — ждали оттуда удара.

Но удара не было. Тихо, без криков, без песен походных, чуть позванивая оружием — проходили они в густом мраке ночи, рота за ротой, в Крепость. Там разбили склады, растащили из них оружие. Крепостная стража и не подумала сопротивляться — посторонилась, дала дорогу, а потом и сама присоединилась к восставшим.

Как только вошли — эх, забегали, шныряя по всем углам, загалдели, вверх дном кувыркнули тихую жизнь Крепости, врезали в глухое безмолвие ночи лязг, и свист, и ржанье коней, и крикливую, обжигающую брань. Взвыла, заржала, застонала, зазвенела июньская ночь. Во взбаламученной Крепости один за другим, все быстрей нарастали, все грозней завывали пенные, мятежные валы.

В Крепости, в центре людского потока — Петров и Караваев.

Петров — коренаст, крутобок, детина атлетический. Небольшая голова, стриженая накругло — посажена глубоко и плотно в мускулистые тяжелые плечи. Ладонь — как лопата: широченная. Ноги коротки, но крепки и жилисты, легко бросают корпус на ходу. Вся фигура, как слитая — словно осаженная в землю, ядреная, выносливая. В сощуренных, хитрых, зеленых глазках — мысль, а за мыслью дрожит и бьется беспощадная, звериная жестокость. Фронтовик. В бою — боец, неустрашимый рубака. В кругу товарищей — скандалист, забияка, выпить не дурак, охотник поображничать.

Во всем подстать ему Караваев: забулдыжная, лихая голова: этому ничто ни почем. Не даром из песни самое у него любимое: «Все отдам — не пожалею». И это верно. В бою — и храбр, и находчив, и выручит в беде, и жизнь отдаст с горяча — не пожалеет.

А вот тихую, без грома боевого — жизнь и любит, и не отдаст без слез, станет просить, как просил потом на суде:

«Пощадите. Простите. Исправлюсь. Смою пятно. Клянусь»...

Ростом низок, крепко скроен, как барсук. Широкоплеч. Жилист и гибок, в движении ловок, словно джигит. И на коне, как джигит, ему конь с седлом, что мяснику табуретка: верное место. Черные волосы сухи, густы и жестки. Низкий лоб не сулит добра. Хищные зубы из-под багровых обветренных губ — так сверкнут за лукавой улыбкой, аж жуть берет: глотку прогрызет и кровь всю высосет. Вампир. Над губами — словно зола понасы-

папа, приютились короткие, темные усики; под ними, как бык в стену лбом, уперся в грудь непокорный, крутой подбородок. В черных, быстрых, хитрецких глазах — и забубенная радость жизни, ухарская плясь под рыдающую гармошку — и безумная, грани не знающая удаль, все пожирающая страстная отвага. Говор караваевский — частый, трескучий, торопливый говорок. Лукавая, насмешливая улыбка все сбивает с толку и не знаешь: правду говорит или глумится, свое держит на уме Караваев. Он с Петровым подымал казармы, это они строили ночью в строй красноармейцев, подбрасывали винтовки, отсчитывали патроны, и дозоры слали в разные стороны, и вели на Крепость, подвели, ввели и там всю суматоху кружили вокруг себя.

К ним в батальон приходил Чеусов, из «коммунистов», работал в милиции, был начальством. Не боялись его восставшие, знали что за «коммунист»: с т а к и м и коммунистами можно...

Чеусов им говорил про свои нужды, про несчастия милиции, про пакостное начальство, что наехало из центра, поддакивал насчет «страдающих без вины красноармейцев», которых-де притесняют и насилуют и загоняют, вместе охал и ахал, вместе с казармами проклинал и крыл на чем свет стоит разные «верхи». Словом, был у них «свой человек». И нужный человек. Годов ему 35 — 38. На желтом, сухом лице свинцом отливают карие, остывшие глаза. Темнорусы, негусты волосы — над высоким, просторным лбом. Темнорусы пышно-пуховые усы — он их ладонью то-и-дело вздыбливает из-под губ. В движеньях медлителен и раздумчив, не быстр и в решеньях, но может вскипеть негодованьем — тогда ударит сплеча. Грамотность небольшая, о ней не беспокоится, живет не ученьем, а больше своими мыслями и тем, что видит-слышит кругом. Это запоминает и понимает быстро. Чеусов приходил в Казармы, знал, куда идут красноармейцы, но с ними не пошел—пришел прямо в Крепость. И как пришел — за дело: речи-речи-речи, разговоры, разные советы, указанья — вошел в дело плотно, учуял, обсмаковал, взялся за вожжи.

* * *

В батальоне, в Джаркентском, 27-го, когда он выступал, было много чужого народу — вооружали всех набежавших: тут были одиночки комендантской команды Штадива, были из батальона 25 полка, что здесь стоял, было много ребят из Караульного батальона. Из Караульного же были Вуйчич и Букин. Оба играли потом немалую роль.

В Туркестане по местам, иссохшим от зноя, растет корявое, сучковатое, изгорбленное дерево:

с а к с а у л.

Вуйчич напоминал саксаул: так был неуклюж, тощ и высок и согнут — перегнут в разные стороны, словно кто-то ломал его и не сломал вовсе, а только перекрутил, как железный прут.

Красноармейские иссаленные, во все цвета заштопанные штаны, как на шесте мешок, болтались на худых, долгих ногах, сползая, словно хвостиками, двумя подвязками на босые, широкие, грязные ступни с черными и, верно уж, вонючими пропотелыми пальцами. Рубашка коротка ему, долговязому: чуть

прикрыла пуп и влезла рукавами на самые локти тонких, сухих, нездоровых рук. Руками на ходу бестолково болтает, как плетьми. Голова словно птичья головка: шустрая, мелкая, беспокойная. Волосенки жидкие — то ли русы, то-ли рыжи — видно, что голову наспех, у забора обдергивали — стригли полковые ножницы. Лицо у Вуйчича в густых, заплесневелых веснушках, желто-буры впалые иссохшие щеки, нос — разваренной картошиной, длинна по гусиному сальная, потная шея: верно, чахоточный. Глаза мертвы, тусклы, невеселы, никогда не веселы, и никогда им не сверкнуть, как сверкнут волчьи Караваевские, — у Вуйчича словно налили под веки мутную густую влагу, и глаза в ней беспомощно завязли, затонули, обессилили и чуть ворочаются в глубоких орбитах: медленно, зловеще, налитые злобой и непокорностью, буйволиным упрямством.

Неотлучно с Вуйчичем — Тегнеряднов. Молодой парень, что-нибудь под 25. Лицо как лицо: средних качеств, сразу не бросается, ничем не выделяется из тысяч других. Быстрые движенья, быстрая речь, настойчивая жестикуляция — все говорит о молодой, неизрасходованной силе. Молодость — это первое, что ударяло от Тегнеряднова. От молодости и его энергия: прет наружу свежая силища, здоровье нетронуто жизненным искусом. Тегнеряднов равнялся по Вуйчичу: тот не думал и говорил, Тегнеряднов делал, исполнял. Они все время вместе. Один был нужен другому.

Из Карбатальона был и Букин.

Страшилище. Чудище. Пугало. Росту голиафовского. Широты в плечах — соответственной. Рыжие густущие усищи — словно крылья мельницы: размашистые, большущие, шевелятся, как живые. Это не пышные Чеусовские игрушки, а настоящие голиафовские, серьезные усы, на которых легко провисеть полчаса трехлетнему ребенку. И где-то в деревне у Букина в самом деле был такой, Алешка-сынишка, которого так любил он брать в неуклюжие могучие руки, когда цеплялся тот за отцовские усы, вздымал над головой и дико ревел пьяной октавой — под беспомощный плач сухощавой, малокровной перепуганной жены:

— Алешка, Алешка, сукин сын... Возьму вот тебя, мать-твою раскрошу — как шмякну об пол — ничего не останется...у...у...гу...подлец.

И он ласкал его рыжими крыльями-усами, а Алешка плакал навзрыд от боли и со смертельного перепугу от ласковых отцовских слов.

Возле Букина всегда было стоять как будто страшновато: хватит вот сверху кулачищем по башке и — конец. Тут и поляжешь бесславно костьми. Его большущая, круглая голова — все черты его здоровенного, буро-матового лица, каждое движенье увесистой коряги-руки так тебе и говорили:

Лучше не тронь. Не тронь, говорю, а то вот кокну и — дух вон, лапти кверху.

На плоском, тупом лице — мясист и крепок обрубок-нос; под самым носом густые усищи разжелтил табачищем: ежеминутно нюхает, прорва. Зубы — крокодильи: куда тут Караваевские, у того зубишки перед Букинскими — словно перед волчьими у малого хорька: Букин сожрет и Караваева со всеми

потрохами. И с зубами сожрет. Все переварит этакое пугало. Глаза Букинские, как будто темно-зеленые, но цвет их менялся от настроений: в ладном настроеньи они рассыропливаются в бледно серые, а когда гневен Букин — темнеют глаза, грозовеют, как тучи, становятся мрачно-черны, наливаются страстной звериной жадностью. В разговоре краток и крут. Не голос у Букина, — рычанье хрипучее, а речь у него такая всегда увесистая, окончательная:

— Уб...б...бью, св...в...в...вол...л...лчь...

— Ра...р...рас...с...стерзаю люд...длец...ц...ца...

От Букина все время пахло могилой.

Был с крепостниками Александр Щукин. Из офицеров. Но из серненьких офицеров, из тех, которые несли на себе «империалистическую»... Одно званье что офицер, душком гнилым только чуть-чуть попахивал, а на деле остался сиволапым, заскорузлым, от земли. Он все хорохорился, гоношился, как петух — всем и всеми был недоволен, в том числе и крепостными соратниками, все ему казалось, что везде и всякие дела идут и плохо, и медленно, и ведут-то их неумело:

— Эх, кабы мне всю волю, я бы...

Но всей воли ему не давали, а сам взять не умел: мелко плавал. Ростом Щукин мал, лицом серо-желт, глазами постоянно взволнованно-тороплив, движеньями непоседлив и суетлив, речью бессвязен, умом не далеко ушел: середняк, одно слово.

В Крепости был потом комендантом, а брат его, Вася — так Вася и есть:

— Хренок-топорик, назвали мы его, когда попался потом в руки. Толку незначительного, хотя и секретарствовал у восставших в Боевом Совете. Трусок, мещанчик, мечтает о такой жизни — в Крепость попал за компанию с братом.

Затем явился, — не сейчас не в этот час восстания, а позже — Чернов:

Федька Чернов, как его звали в Крепости. Чернов черен, как чернила, весь черный лицом, волосами, бровями, усами, бритой густой щетиной бороды. Годов не много, под 30; не ходит — бегает и не лает, а катится, как шар: круглый, упругий, подвижной. Служил он прежде сам в дивизионном особотделе, чекистом себя называл горделиво, но от особого же и пострадал за разные пакостные делишки. Теперь готов был в разнуздавшейся мести — все перебить в Особом, а заодно и все, что с ним и в нем, и около: мстить так мстить: по-черновски! Был Федька «комиссаром» Крепости. Специальностью избрал погром Особого Отдела и Трибунала. Потом, когда по приговору вели расстреливать — плакал, как девочка слабонервная, молил о пощаде, не выдержал пути. Хулиган-скандалист по натуре—Федька и в Крепости со всеми перебранился. Бунтовал-шебуршил, подбивать на «штучки» большой был мастер и охотник.

Кроме них, были и другие руководители. Но про них не теперь, — в своем упомянем месте. Те, которые названы — первые главари. И самые, к

тому же, колоритные. Это — вожди, но лучше сказать, не вожди: — зачинщики. Так точнее, правильнее. У вождя — большие горизонты, у вождя широкие планы, он знает что делает, что надо и что будет делать. Он видит вперед.

А эти были просто зачинщики. Они зачинали сегодня то, что завтра взорвалось бы всё равно и без них. Они только более красочно и бурно отражали в себе подлинное настроение взбунтовавшихся: и в этом смысле олицетворяли общие интересы. Но их хватало только на бунт. Встать, рвануться, оглушить — это их дело, это по плечу. А дальше не хватало ни мысли, ни опыта, ни знанья: путь был глух и неясен. Они знали, из-за чего поднялись, но вовсе не знали, как и что устранить, что надо собирать и создавать заново. Их на дорогу — н а с в о ю д о р о г у — вывел бы кто-то другой, всего верней Щербаков и Анненков. Но тем и значительно было восстание, что в о ж д е й оно не имело, что вырвалось из берегов само собою, что оно отражало в вихре своем — интересы целого огромного слоя: кулацкого крестьянства, не желающего над собой ничьей опеки, стремящегося размахнуться волю.

Зачинщики-главари только стояли впереди, но ведь надо же кому-то и впереди стоять, не всем сзади. И те из красноармейцев, что были «покулачестей» — эх, как охотно шли они за ними. А крепкие мужички? Да эти в один мит все распознали и унюхали: недаром и лошадей в Крепость нагнали, и фуражу, и хлеба навезли, и сами винтовки брали — с собой ли по селам увозили, или тут с ними оставались, в Крепости.

За сутки в Крепость народу набралось... 5 тысяч. Целое войско. И гнев, и протёст у них тут у всех, и желанья — общие.

* * *

Как только Петров с Караваевым привели восставших в Крепость, ясно стало, что надо спешить разрабатыват какой-то план каких-то действий. Пока они возились около оружия, бегали-осматривали Крепость и окрестность, прикидывали, как обороняться «в случае, ежели што...», облюбовывали лучшие места, советовались и готовились к решительным делам — в Крепости открылось собрание и на этом собрании сразу же встал вопрос о власти:

Какую власть — временную или постоянную? Как ее назвать? Кого избрать? Что ей делать? И что делать с той властью, что теперь осталась в городе?

Шуму было, шуму — как полагается. Чеусов держал речи — одну за другой. Выступали Вуйчич, Букин, Щукин, другие. Утолковались на том, что постоянную власть сразу создавать нельзя, надо временную.

Потом—и срочно—созвать областной с'езд—и уж тогда—постоянную.

Назвать... Как власть назвать? О, тут миллион проектов и предложений:

Революционный штаб... Штаб Революции... Штаб «горных орлов»... Комитет «Свободы и Равенства»... Всеобщий Совет Революции... Боевой Комитет Революции...

Бузили-бузили и выбрали:

«Боевой Революционный Комитет», а сокращенно:

Боеревком.

Но многие звали:

«Боевой Совет, Боесовет». Нам неизвестно, может и изменили когда-нибудь позже это на заседаниях, но за все время звали и так и этак, на первом же собраньи крепко окрестили:

Боеревком.

Чеусова — председателем. Это уж официально и во всеуслышание. А прежде, говорят, небольшая кучка и Вуйчича председателем избрала, но это мимолетно, кратковременно, незаметно.

До Щукина тоже какого-то Скокова комендантом считали крепостным, но настоящий комендант, постоянный, до последнего дня мятежа — Александр Щукин.

В Боеревком и Вуйчича избрали, и Букина, и Петрова с Караваевым, и еще набрали несколько человек. Что делать — не знали. Собрались члены Боеревкома после общего собрания в маленькую комнату крепостного дома и обсуждали:

Что же делать теперь?

Ну, вышли; ну, пришли; а дальше, дальше что?

— Прежде всего связь к полкам — к 26-му и 4-му, который тоже идет сюда. Снарядили летунов, письма им дали, словами зарядили наглухо—айда.

—Затем — караулы во все стороны, и наново разослать и усилить те, что есть.

— Подсчитать крепостные силы и привести их в боевую готовность.

— Определить, что за силы у Военсовета.

— Связаться с селами-деревнями.

— Закрыть из Верного выхода и входы.

— Издать серию приказов...

Посадили секретарем Щукина Василия, заставили его обстрагивать корявые предложения и вклеивать их в протоколы, а по протоколам этим — требовать исполнения от тех, кому что приказывается.

Заработала машина... Часть официальная, впрочем, была у них всегда в пренебрежении, и под разными распоряжениями подписались кому как вздумается: где один председатель, где секретарь, а где и за секретаря подмахнет кто-нибудь случившийся у стола, потом оба подпишутся, а то сразу человек 6 — 8, это уж для большего весу и на бумагах немалого значения.

Как только население узнало, что Крепость захвачена восставшими, от разных организаций сейчас же помчались туда вестники, представители, делегаты: разузнать точно в чем дело, бить челом победителю, просить милости и разрешения встать под высокую руку. Прибежали, например, скорее всякого здорового — представители инвалидов:

— Так и так... одно видели до сих пор утеснение от Советской власти, ни торговать не дает, ни сама не кормит — насилие одно. А потому — мы навсегда с вами и ежели потребуется — мы с оружием в руках...

Члены Боеревкома одобрили и ободрили новых своих союзников и те мало-по-малу перекочевали в крепость, ютясь около тучных крестьянских телег, понаехавших из деревень.

Потом вестник прилетел от Верненского исправительного дома:

— Мы, дескать, борцы за свободу народную, а сидим в тюрьме — за што, спрашивается? Комиссары там разные—ничего себе: бриллианты, золото воруют, а тут и часишки какие-нибудь взять нельзя: сейчас же в тюрьму... С...с...с...волочь... Мать...мать...

И потом — насилье всякое: бьют по мордам, по бокам, плетками — день и ночь все бьют... С...с...с...волочи!

Серые глазки Чеусова запрыгали под густыми ресницами. Злоба душила спазмами:

— Вот мы им покажем, трах... тах... тах!!!

И он ухарским росчерком, как пишут полковые фронтовые канцеляристы, набросал приказ в исправительный дом, вручил его прибежавшему вестнику:

ЗАВЕДУЮЩЕМУ ВЕРНЕНСКИМ ИСПРАВИТЕЛЬНЫМ РАБОЧИМ ДОМОМ.

Военно-Революционный Совет предписывает не претеснять находящихся под арестом и если только один из числа арестованных будет кем бы то ни было уничтожен без ведома совета будет отвечать своей шкурой.

Председатель совета *(Чеусов).*
Тов. председателя *(подпись).*

16 июня 1920 г.
Крепость.

Потом посидели-подумали и решили, что в военсовете все равно, шпана сидит и трусы; соберут, дескать, они монатки, и поминай как звали: кто на конях, кто на машине. Нет, задержать надо подлецов. Никуда не пустим. И Чеусов пишет верному человеку в село, в Казанско-Богородское. А его никак не миновать по пути в Ташкент:

ВОЕННАЯ СРОЧНАЯ

КАЗАНСКОБОГОРОДСК. НАЧАЛЬНИКУ МИЛИЦИИ.

Вр. Военно-Революционный Совет приказывает вам ни одного пассажира не пропускать по направлению Ташкента без документа, подписанного Советом, которых задерживать и докладывать Совету для указаний.

Председатель Военно-Революционного
Совета *Чеусов.*
Секретарь *Горлов.*

12 июня 1920 г.

Тут как раз подоспела наша первая делегация — не знали, что с ней делать, что говорить. А потом решили:

— Чего глядеть, сажай в тюрьму, пущай сидит.

И посадили. Но потом раздумались. Додумались, что и через наших делегатов кой-что можно выудить, пользу какую-то для крепости извлечь. Совещались совершенно секретно. И порешили в Штадив послать свою делегацию — вот ту самую, которая...

После того из крепости и в крепость визиты то-и-дело: открылась полоса парламентских переговоров!

II.

Держись!

Вот она, многотысячная, вооруженная толпа — сбилась, гудит, ревмя-ревет, словно стадо голодных зверей. Тут «недовольных»... 100%! У каждого свой зуб против Советской власти.

Кто за то, что от дома против воли на фронт отлучают, кто за разверстку, кто отомстить Трибуналу охотится, или Особому, кого не обули во-время, кому помешали хапнуть, кому сам строй не люб новый, — словом, всяк сверлит свое.

Ну-ка, сунься в этакое пекло!

Собрались вожаки, обступили телегу. Влез Букин, зычно об'явил:

— Собранье открывается. Сегодня будем здесь обсуждать вопросы, про которые говорит Ташкент... командующий там и члены Ревсовета... Слово даем председателю Военного Совета дивизии...

Он назвал мою фамилию. Поднялся я, встал в рост, окинул взором взволнованную рябь голов, проскочил по ближним лицам — чужие они, злые, злые, злые...

Мы с Мамелюком в мятежном потоке. Окружили нас тесной, ревущей, зычно-гудящей толпой. Вот они, рядом... И с какой беспредельной злобой исподлобья взглядывает на нас угрюмый Букин, как лукаво, ненадежно ухмыляется Чеусов под пышными усами, как хитро сверкают перламутровые Караваевские глазки. Куда ни глянь: насмешка, злая, негодующая. Куда ни глянь — угроза.

Мы в пучине разгневанной стихии... Вот подхватит сейчас и помчит нас, помчит, как легкие щепки на гребнях бушующих волн.

— Товарищи. Нам командующий фронтом приказал итти сюда и говорить с вами. Ваши и наши представители вчера на заседании договорились по всем вопросам, которые волновали крепость. Эти решения мы сообщили центру и имеем оттуда ответ. О результатах вчерашнего совещания и об ответе центра и будет теперь наша речь. Не станем выхватывать отдельные мелочи и спорить по ним. Я прошу сделать так: один за другим, последовательно — я переберу все вопросы вчерашнего заседания, расскажу, как и что мы по каждому из них решили, как на каждый вопрос отозвался Ташкент и что теперь приказывает вам и нам делать...

Первый вопрос заключается в следующем...

И я рассказал им в чем дело. За первым вопросом второй, за вторым третий...

Сначала, первые минуты — особенно трудно: галдели, не слушали, перебегали с место на место, вызывающе брящали оружием, смеялись громко промеж себя, харкали, крякали, вскрикивали резко, освистывали, ухали дико, презрительно, не слушая речь.

Но мчался, врезался в толпу поток таких волнующих слов:

— Продразверстка... Особотдел... Расстрелы... Переброска... Просвистывать эти слова не было никому охоты — наоборот, захотелось всем слышать и знать, во все вступиться.

— Надо слухнуть, чего там брехает, — видимо, каждый решил про себя.

И всего через 5 или 6 минут такая восстановилась тишина, будто тут и не тысячи стояли, а кучка в десять человек, и будто это вовсе не мятежная, — гневная толпа, а внимательные, близкие приятели...

И уже легко было говорить: крепко бодрило это чуткое внимание притихшей толпы...

— Кто сказал, что вы против Советской власти? Как можете против Советской власти итти вы, красные бойцы, чьими трупами усеяны и чьею кровью политы Копальско-Лепсинские горы и равнины?!. Это подлая ложь, что вы враги Советской власти! Вы ее истинные друзья, потому что создана она на костях ваших братьев, красных героев, отдавших за нее жизнь!

Это, разумеется, было верно. Два года изнурительной борьбы тому были порукой. Но это же теперь, во дни мятежа, на половину оказалось и не верно. Надо было отбросить, забыть пока вторую половину вопроса и говорить только о первой, говорить только о заслугах бойцов-Семиреков, надо было взволновать одних, осрамить других, заставить раздуматься третьих над тем, что они теперь вольно или невольно делают.

Тихо, недвижно, в глубоком молчании застыла толпа, жадно ловила слова, ее пронимавшие до сердца...

Я говорил уж второй час...

Вдруг на телегу вскочил Вуйчич:

— Товарищи... Срочно прекратить митинг... Роют окопы... Показались Киргизские роты, вооруженные пулеметами... И еще идут на крепость броневики!!!

Ахнула толпа. В миг, как сон разлетелось молчание, и зазвенела она, загудела-заухала тысячами криков, приказаний, команд...

За секунды перед тем спокойно стоявшая, она вдруг забесилась, как сумасшедшая, заметалась в разные стороны...

— Пройдемте в Боессовет, — сказал Чеусов.

Мы переглянулись с Мамелюком и, ничего не поняв, — пошли сквозь мечущуюся в панике массу красноармейцев... Только вошли в помещение, как за нами вошел и Вуйчич.

— Ошибка оказалась, — заявил он, не глядя на нас. — Тревога-то ложная вышла... Никого нет... Только зря напужали...

И криво, нехорошо ухмыльнулся.

Тут мы сразу поняли все:

Вожаки-мятежники сами устроили эту ложную тревогу. Им надо было сорвать митинг. Они полагали, что в самом начале сорвет его сама толпа, которую перед тем они ловко нашпиговали. Но толпа не сорвала — наоборот, она слушала сосредоточенно, внимательно, серьезно.

И была опасность, что мы, представители Военного Совета — заговорим, «околдуем» эту толпу, овладеем сначала ее вниманием, а потом, может быть, и расположением, сочувствием...

Может быть, в т а к о м состоянии — мы сумеем навязать ей, внимающей чутко толпе, — свои мысли, свою волю.

Э, да тут грозная опасность, не зевай!

И главари порешили расшибить то впечатление, которое мы уже успели произвести — они ловко оборвали митинг. Вспугнутая крепость похваталась за оружие, кинулась к пулеметам, приготовилась встретить неведомого врага.

А когда узналось, что тревога ложная — до того ли тут было, чтобы снова созывать митинг и снова беседовать? Кому была охота?.. Так и сорвали. А мы — сидим в Боесовете и скушно, тошнотворно обсуждаем какие-то вовсе второстепенные вопросы. Мы недоумеваем — зачем теперь и кому мы тут нужны? Скоро и это все об'яснилось. За столом и вокруг стола народу сидело-стояло множество. Заседание Боесовета было летучее, наспех сколоченное, проще сказать — подстроенное. Особенно суетливо и нервно вел себя Вуйчич — он то-и-дело выскакивал и куда-то убегал. Потом минут через 15 пришел вместе с Тегнеряндовым, и оба быстро протискались прямо к нам:

— А знаете, — обратился Вуйчич, — знаете про то, что красноармейцы требуют разнести все советские учрежденья? Они... они приказали нам вас арестовать... От имени всех красноармейцев... да... арестовать...

Было совершенно очевидно, что «все красноармейцы» вовсе тут не при чем — нас арестовывала кучка негодяев. Но что ж поделать?

Я обратился к Чеусову:

— Это что ж, тов. Чеусов, значит — и Боесовет согласен на наш арест, это с вашего разрешенья?

— Нет...

Он смутился, явно растерялся...

— Мы ничего не знали... Это... это ничего неизвестно.

— Так вы спросите их, — указали мы Чеусову на Вуйчича и других. Но Тегнеряднов крикнул:

— Ладно, довольно болтать, иди без разговоров!

И, зайдя сзади, нас стали выталкивать в дверь. Чеусов и другие — ни слова. Вся эта комедия разыграна была с ведома Боесовета и скрыть этого он вовсе не сумел.

Вышли... Шли двором. На нас недоуменно смотрели встречавшиеся красноармейцы; видно было, что большинство ничего не знает о нашем аресте. Но не станешь же к ним теперь обращаться за помощью! Пришли в казематку, протолкнули нас всех в узкую, полумрачную каморку. Там сидело уже ранее арестованных человек 15, все больше политические работники дивизии и партшкольцы. В уголку, в самом конце каморки, встретились пять дружков: Бочаров, Кравчук, Пацынко, Мамелюк и я.

— Плохо дело, ребята...

— Ни к чорту не годится...

— Теперь возьмут еще человек пяток-десяток, — в Штадиве никого не останется...

— И что только будет тогда...

— Да уж, без удержу...

— А удрать тут некуда?

Такой мы вели меж собой разговор.

Приподымались по стене, ползали по грязному полу, обшаривали каморку...

— Можно всего ожидать...

— Конечно... от такой шпаны...

— Тш-ш-ш... тут у них, может, шпики сидят...

— Да, потише, ребята — вишь, кто-то заглядывает в окно...

К решетчатому окну подошли несколько человек - красноармейцев и заглянули, но вряд ли им было что-нибудь видно в казематный полумрак. И с этих пор, как заглянули двое—уж все время подходили новые и тоже заглядывали; один другому, слышно, сообщали:

— Попались главари-то... Сидят...

И, позванивая оружием, снаружи приникали к решетке, силились нас рассмотреть, перешучивались, отмачивали словечки, иные слали проклятья, угрожали, обещая недоброе. Сидим мы, вполголоса поговариваем. О чем тут говорить — в такие минуты? Положенье наше яснее ясного: в лапах у мятежников, в казематке, тронуться некуда, говорить не с кем, просить нечего и не у кого — мы тут совершенно беспомощны. И самое большее, что сможем сделать — это умереть, как следует, если уж к тому идет дело.

Признаться, мы все ждали худого конца. И как его было не ждать? Если уж так легко сорвали митинг — и не возобновили его; если уж так легко взяли нас и посадили — отчего ж и не кончить нас столь же легко? Мы всецело у них в руках. Мы—да еще десяток в Штадиве—единственное им препятствие на пути к установлению своей власти... В чем же дело? Отчего не предположить, что нас выведут и расстреляют? Ведь, это — такая небузданно-дикая толпа. И никаких принципов. Никакого, по существу, руководства. Отчего не предположить? И мы ждали. Сам собою угас, прекратился разговор. Наши соседи тоже притихли — верно, думали о том же, что и мы, того же ждали... В каморке мертвая тишь. Чернел, сгущался полумрак. Я придвинулся к окошку, снял сапоги, протянулся, примостился и — по привычке — вытащил клочок бумаги, вкривь и вкось начал записы-

вать свои мысли в столь необычном состоянии. Я не видел строк, писал наугад. Но хотелось записать именно теперь, в самый этот редкостный момент жизни...

Так прошло часа два... Вдруг за дверью, в коридоре, какая-то возня. Слышно, как быстро подошли к нашей каморке несколько человек и о чем-то заговорили со стражей, — нас оберегало двое с винтовками, стоявшие за дверью. Не то спрашивали, не то уговаривали, не то бранились — не разберешь. И тут же завизжала, растворилась тяжелая дверь. Чужой голос зычно рявкнул во тьму каморки:

— Здесь Фурманов?

Мы замерли. Насторожили уши. Сразу у меня словно оторвалось и упало сердце. Во рту будто полили холодными мятными каплями, дрогнула и задергалась нижняя губа, судорогой, как электрическим током, дернуло ноги и руки, взгляд застыл и впился в дверь, откуда рявкнул голос — все тело напряглось, застыло, окаменело.

Мы промолчали. А зычный голос снова:

— Фурманов, здесь?

— Здесь, — отвечаю ему из темного угла. И голосу стараюсь придать здоровую, крепкую бодрость.

— Выходи...

— Куда?

— Выходи...

— Я босой...

— Все равно — выходи босой...

И вдруг нам всем стало ясно:

— Уводят расстреливать!

Я на прощанье друзьям:

— Ведут кончать... Прощайте, ребята.

— Ну, што ты... это, верно, на допрос... — успокоил-было Мамелюк. И Бочаров, и Кравчук тоже что-то шепнули утешительное, а слабонервный Пацынко дрожал в смертельном ужасе и ни слова не мог выговорить, только прижался к стене и как-то странно, страшно глядел оттуда прямо мне в лицо, будто говорил:

— Кончено... А за тобой и меня поведут...

Но что же делать, что делать?

Я сжал руку первому Мамелюку:

— Прощай...

А в голове молнией мысль:

— Умереть надо хорошо... Надо умереть не трусом... Но как не хочется, о, как не хочется умирать!..

— Я не пойду, — вдруг заявил я им неожиданно для самого себя. — Приведите кого-нибудь из членов Боеревкома — с ним пойду, а с вами без него не пойду...

Но в эту минуту произошло что-то странное. Мы увидели, как эти пришедшие, что столпились в просвете дверей, занервничали, заторопились

и не стоят на месте... И вдруг они опрометью кинулись из каземата... Мы ничего не понимали... А к дверям уж кто-то торопился, мы услышали чьи-то новые шаги...

— Ба, Муратов...

Он мигом сорвал с носа пенснэ, быстро проговорил:

— Товарищи, мы вас сейчас освободим.

— Как... Муратов... Как освободим?

— Так вот, сейчас выпустим...

Мы слушаем и не верим тому, что слышим.

— Каким образом, Муратов? Скажи!

— Потом, потом...

Нас под конвоем увели из тюрьмы.

III.

Тревожные часы.

Штадив за эти часы — часы нашего отсутствия — пережил драму. Когда мы уехали в крепость, там, в Штадиве, оставался всего десяток работников. У нас было условлено, что они установят с крепостью связь и все время будут следить за ходом и результатами нашей работы. Они наметили несколько человек из верных ребят, связались с Агидуллиным, который в этих делах показал себя большим мастером и решили не выпускать нас из виду.

Первый разведчик сообщил неопределенное:

— Пришли в крепость и чего-то там ждут...

Второй — точнее. И нечто утешительное:

— Открылся митинг... Наши говорят, а крепость вся молчит и слушает...

Было около шести вечера. Связь вдруг оборвалась, никто не приходил из крепости, ничего не сообщал... В чем дело?

— Алло, алло, — звонят по телефону.

— Это что — из крепости?

— Да, что еще?

— Скажите, как идет митинг?

— Как надо...

— Ну, а где наши... из Штадива... Фурманов, Мамелюк и другие? — нельзя ли кого позвать к телефону.

Молчание.

— Алло, алло... Вы слушаете?

Молчание.

Трубка брошена. Крепость не хочет отвечать.

И раз, и два, и три, и пять звонили в крепость. Там кто-то берет трубку, начинает разговор, но лишь попросят позвать кого-нибудь к телефону — в ответ гробовое молчание.

Наконец, примчался из крепости вестник:

— Наших арестовали. Посадили в тюрьму...

— Как, за что?

— Ничего не знаю, только собрание спешно оборвали... сказали, что киргизы на крепость идут... а их всех посадили зараз...

В Штадиве жизнь полетела вверх ногами. Сейчас же все под ружье. А всех — ничтожная горстка. Уставили пулемет, приготовились встретить. В первые же минуты ждали, что налетят:

— Раз арестовали наших, — решили они, — раз посадили в тюрьму — значит, сейчас ударят на штаб!

Тут были Позднышев, Белов, Ная, жена Кравчука, Масарский, Альтшуллер, Колосов, Алеша, Лидочка, Аксман, Горячев, Рубанчик, Никитченко, кто-то еще, несколько человек. Они решили умереть, но не даваться живыми в руки.

— Тов. Белов, — крикнул на бегу Масарский, — все равно не удержимся... У меня тут секретные бумаги Особотдела... Сожгу?

— Жги! — машинально согласился Панфилыч.

Через минуту на дворе заполыхали языки пламени — Масарский запалил ящики и корзины, доверху набитые «секретами».

В ранних сумерках ненастного дня, только искры заметались по двору и над крышами домов, только дым повалил густой и черный, а зарева не было. В отблесках жаркого костра шмыгали здесь и там человеческие фигуры, кто-то зарывал в землю лишний «Кольт», чтоб не достался врагу, кто-то под навесом надворного сарая прятал связки казенных денег. Мелькали хаковые гимнастерки, под гулкий шопот и треск бумажного костра в диком танце метались люди, мимо окон Штадива, по двору, по крыше с крыши долой и мимо изгороди в штаб. Пугливо, недоуменно озираются кони, фыркают на костер, вертят нервно сытыми крупами, дергают уздечками шаткую изгородь. Бомбы наготове, револьвер за поясом, другой — в кармане, про запас, винтовка рядом, в углу заряженная, а там высунулась гладкая, злая шейка пулемета: ждет...

Штаб переживал агонию...

Позднышев у провода. Он сообщает Ташкенту, что представители военсовета арестованы в Крепости, что каждую минуту можно ожидать налета мятежников. Ташкент просит к проводу Белова. Подбежал Панфилыч — оттуда говорили:

— Я — Новицкий. Комфронт приказал спросить вас, как дела... У аппарата Куйбышев и тов. Фрунзе (они, видимо, внезапно подошли).

— Здравствуйте. Я — Белов. Положение таково. С вашим приказом в крепостной гарнизон пошел в полном составе военный совет дивизии, за исключением меня и Позднышева. Сведений от них официальных никаких не имели. Получили первое сведение, что конфликт улаживается, потом, что все наши делегаты арестованы и третье, — что крепость, т.-е. крепостной гарнизон, идет; сейчас слышно по улицам пение воинских частей. Посланная разведка сейчас донесла, что происходит движение по городу. Со всеми мерами охранения стараемся выяснить: послан специальный человек. Но, во-

обще, все в панике и стараются не исполнять официальных указаний. Если через час мы не сумеем подойти к аппарату, то наверняка будем все в западне. Особым отделом сожжены все дела. На всякий случай принимайте меры, какие угодно. Если конфликт не уладится, то впредь... исполнения своего приказа... (тут что-то пропущено). Пока больше сообщить не могу. Нас верными осталось человек 20 ответственных работников... Предатели рассыпались по городу. Город оцеплен, из него выбраться трудно. Я постараюсь пробраться навстречу к полку. Белов.

— Говорит Фрунзе. Как только выяснится положение в сторону окончательного неповиновения гарнизона, вы должны выбраться из города и направиться в сторону Джаркентско-Копальского тракта, с задачей: удержать в наших руках все части, расположенные там. Туда же вы должны дать приказ направиться и вашим ответственным сотрудникам. Захватите с собой телеграфный аппарат и связывайтесь с Семипалатинском, с первого, возможного пункта. Блажевичу мною отдан приказ спешно двигаться на Верный. Думаю, что выбраться из него вполне возможно и что это сделать необходимо. Помните, что если сумеете выбраться, то этим, может быть, удастся удержать от выступления остальные части. Пишпекский район беру на себя. Отдайте приказ по всем частям области о неподчинении их распоряжениям самозванного крепостного совета. Прикажите всем частям севера от Верного перейти в подчинение комгруппы Семипалатинской, Блажевича, от коего и получат приказания. Частям Пржевальского и Пишпекского уездов перейти непосредственно в мое подчинение. Эти приказания, особенно на север, должны быть отданы во что бы то ни стало. Как только выяснится положение... Имейте в виду, что детальные директивы мы давать вам не можем. Обязательным остается приказание выбраться из Верного и создать военно-гражданский центр в другом пункте области, по вашему выбору. Фрунзе... Пардон, там ли Белов?

— Да, здесь. Сделаем все, что сумеем. Постараюсь во что бы то ни стало выбраться из Верного. С вашего разрешения, нельзя ли сделать следующее, пока выясняем — окружат и выбраться будет безусловно не легко. В данный момент больше имеется шансов на то, что я выйду из города. Не найдете ли возможным передать командование дивизией, например, облвоенкому Шегабутдинову, а самому выехать из Верного на Копальский тракт?

— Вообще ваш выезд непосредственно к частям дивизии я считаю очень желательным. Передачу командования Шегабутдинову теперь же, пока положение неясно, считаю недопустимой. Можете в крайнем случае передать командование наштадиву, а сами выезжайте согласно моих прежних приказаний. Наштадив должен выполнить все ваши распоряжения, вообще же решение вопроса предоставляю вам, сообразуясь обстановкой. Кто у вас наштадив? Фрунзе.

— Наштадив у меня Янушев. Передавать командование ему нежелательно в том отношении, что при каком угодно исходе снова будут провоцировать, что командовать будет неизвестный для них человек, да к тому

же офицер. В крайнем случае, полагаю сделать так: войска Джаркентского и Пишпекского района передам вам, непосредственно в ваше распоряжение...

— Пардон, войска каких районов? Войска Джаркентского не может быть.

— Извиняюсь, забита голова. Пржевальского и Пишпекского района. Остальные части передам в подчинение комбригу 9. Это будет лучший выход.

— Хорошо, но комбриг должен быть подчинен Блажевичу. Кстати, как фамилия комбрига и где его штаб? Фрунзе.

— Фамилия комбрига 9 — Скачков, штабриг находится в селении Гавриловке. Все же постараюсь как-нибудь уяснить положение, чтобы своим от'ездом не испортить дела. Обо всех изменениях положения, если не будем захвачены, будем извещать регулярно и через короткий промежуток времени. Срок между донесениями полагаю установить час. Больше у меня ничего.

— Если даже положение улучшится, все равно—выезжайте на север, сдав командование лицу по вашему выбору. Еще вопрос: какова роль Шегабутдинова? Фрунзе.

— Об этом донесем дополнительно; думаю, что он попал туда по несчастью, и он, по нашему мнению, оказал там большое влияние, сдерживая красноармейцев, как надо, от пьянства и тому подобное. Белов. Больше у меня ничего нет, разрешите уйти от аппарата и приступить к выяснению положения. Белов.

— Хорошо, секретное слово вставляйте незаметно, в первых двух фразах один раз, мы будем делать то же самое...

Затем, повидимому, был обмен примерными секретными фразами. Говорил из Ташкента не то Куйбышев, не то наштаб Благовещенский. И та, и другая сторона поняли условность разговора, взаимно расшифровались. Условились еще раз, что ровно через час Белов уведомит о положении, если только вообще это будет возможно, если их всех не арестуют здесь же, на месте...

Затем сохранился обрывок одного совершенно панического разговора по проводу, но кто его вел и когда именно — установить нельзя, нет никаких следов. Кто-то из Верного:

— Позовите к аппарату Новицкого, Куйбышева, Фрунзе, всеобщую власть Ташкента...

— У аппарата остальных нет. Я — Новицкий. Начинайте.

Повидимому, штадив повторил свое требование о «всеобщей власти Ташкента». Новицкий отвечал:

— Отлично. Я понимаю, что нужно к аппарату всю высшую власть. Пока никого нет, вызвали в штаб, а потому ответьте: не желаете ли вы начать предварительный разговор со мной, и, кроме того, нужно ли присутствие председателя Турцика... крайкома...

— Да вообще я прошу: позовите к аппарату всю высшую власть...

Тут какая-то заминка. А дальше:

— Какую высшую власть, — спрашивает Новицкий, — военную или гражданскую?

— Ну, да, конечно, военную, зачем нам гражданскую? Вот, например, Куйбышева, Новицкого, председателя Турцика, всех сюда надо позвать поскорей, поняли или нет теперь-то?

— Председатель Турцика — гражданская власть, а не военная, — урезонил Новицкий. — Вы сами себе противоречите...

Из Верного огрызнулись, и, видимо, еще крепче повторено было требование «позвать всех».

— Так вы понимаете, — тщетно, хоть и разумно, убеждал паникера Новицкий, — что в скором времени все прибыть не могут, а потому предлагаю вам начать разговор...

Неизвестно, состоялся ли этот разговор. На этом ленты оборваны. Кто себя вел так панически — чорт его знает. И даже точно неизвестно, в какой момент мятежа велся этот разговор.

Белов обдумывал положенье в связи с тем, что ему вот-вот придется исчезнуть из Верного. Советовался с Янушевым, начальником Штадива. Советовался с Позднышевым. А в открытые окна Штаба доносился с улиц тревожный гуд скакавших отрядов. И вдруг из крепости прибежал Медведич — он там все время был около тюрьмы, пока сидели мы, арестованные:

— Освободили всех, повели куда-то на заседанье... Надо быть, в ихний Совет...

В Штадиве все радостно встрепенулись. Блеснула надежда, что все минует благополучно. Кинулись к телефонной трубке:

— Это крепость?

— Да. Что надо?

— Позовите кого-нибудь из освобожденных...

— Алло... Алло... Это ты?

И слышу звонит мне в трубку, замирая, знакомый голос друга.

— Я-я... Скоро буду — тогда поговорим.

Там ждали нас. В глубокую ночь, окончив заседание, мы прискакали в Штадив. И сразу к проводу:

— Алло... Ташкент... Ташкент...

Крались серые сумерки в матовые окна.

IV.

Митинги.

— Айда на телегу!

Через бурно взволнованную массу, плотно пригрудившую теперь к помещению Боеревкома, мы протискались на середину Крепости, к телеге, откуда держались речи. В толпе мелькали здесь и там узкоглазые бронзовые лица киргиз.

Алеша Колосов привел партийную школу и кольцом построил ее вокруг телеги. Таким образом ближние ряды были из своих. Мелькали и от-

дельные знакомые лица городских «партийцев» — городская организация сегодня утром пришла сюда целиком — она тоже протискивалась вперед, к телеге — из открытого врага превратившись в нашего попутчика... Толпа со всех сторон притиснулась тесно к телеге, а мы на ней стоим, как пойманные, как приговоренные, и озираемся кругом, и видим со всех сторон только злобой и ненавистью сверкающие взоры...

— Надо выбрать председателя...

— Ерискин... Ерискин... Ерискин... — загалдели дружно кругом. Было ясно, что кандидатура была задумана раньше.

Кого-то выбрали секретарем, кажется, Дублицкого. Выбрали Ерискина, а того и не знали, что удивительным образом он привязан к Белову, что слово беловское для него — закон: так любил, уважал Панфилыча Ерискин еще за давнюю работу на красных фронтах.

И того не знали, что Ерискин вчера вечером был у нас — мне и Белову рассказывал секреты крепостные и на сегодня обещал «честным словом» свою помощь.

Недели две назад Ерискин за что-то был посажен трибуналом и всего за несколько дней до восстания убежал из заключенья и скрывался где-то в горах под Талгаром. Авантюрист по натуре, хитрый, смышленный парень, храбрый боец, он, разумеется, вовсе не был нашим сознательным сторонником. Им руководила единственно привязанность к Белову да надежда, что положительной своей работой теперь, во дни мятежа — он искупит свою прежнюю вину и получит прощенье от Советской власти.

Итак, Ерискину — председательствовать! Черноволосый, черноглазый, с лукавой ухмылкой смуглого, красивого лица, он ловким, гибким дьяволом заскочил на телегу. Рядом с ним очутился Павел Береснев. Этот угрюмо молчит: что он думает, Павел Береснев, этот лихой партизанский командир 18-го года? В нем еще много сил, к нему еще много любви у бойцов, и, если захочет, многое может сделать человек. Но ничего нельзя разобрать по его хмурому, насупленному лицу: опустил голову вниз, сидит и молчит, будто вовсе не здесь сидит, на бурном митинге, а где-нибудь в селе, на заваленке, мирно беседуя с соседями, шелуша праздничные подсолнухи...

— Какая повестка? — крикнул Ерискин. — Да, тише, товарищи! Что за чорт — чего орете! Тише надо — у меня глотка не луженая... Какая повестка?

Ерискин держался, как командир, он не просил толпу — приказывал ей. Это свидетельствовало о силе, о влияньи: всякому встречному так здесь говорить не позволят.

— Какие там повестки, — загалдели с разных сторон, — нет никаких повесток... Давай приказы, читай. Наши приказы, айда. И что там из Ташкенту есть...

Тысячи глоток ответно взвыли:

— Приказы... Приказы...

Наконец, договорились: прежде всего зачитать крепостной приказ за № 1... Там говорилось о «новой власти», о том, что других властей отныне

нет и вся власть захвачена Боерevкомом... Этот приказ приятно щекотал нервы бунтовщиков, и, пока читали, кричали они:

— Правильно... Вся власть наша... Чего там...

Обсуждать тут, разумеется, было вовсе нечего и, пошумев, погалдев в волю, условились, по предложенью Ерискина, принять этот приказ «к сведению». Что это означало — надо думать — не понимал никто, в том числе и сам Ерискин.

— Дальше... дальше: «слово дается представителю Военного Совета (он назвал мою фамилию) для освещения 12-ти пунктов наших требований и для раз'яснения ответа из центра»...

Передернулась толпа. Может, и крепко нас она ненавидела, однако ж послушать была охотница. И потому с первых же слов притихла, замерла, словно припала к земле и вслушивалась чутко, опасаясь недослышать какую-нибудь нужную, важную весть. От 10-ти до 4-х, целых шесть часов, крутили мы ее, эту буйную толпу, словно водили, маяли под водой попавшую на крюк огромную рыбу, прежде чем выхватить оттуда внезапным, ловким движеньем. Всю силу сообразительности, все уменье, весь свой опыт, все, что было в мозгах, и в сердце, и во всем организме — и голос, и движенья, — все приноровили и все напрягли мы до последней степени, до отказа.

Бывает:

После такого напряженья заболевают белой горячкой.

Словно острый нож, когда он входит в живое чуткое тело и крадется к сердцу, чтоб его пронзить — впивались в сердце толпы наши слова — то спокойные и деланно-веселые, то замирающие, то угрожающие, говорящие о наказаньи, о неминуемой расправе за восстанье.

Нам отдельными одобрительными откликами со всех сторон отзывались неприметно разбросанные в массе «попутчики» или партшкольцы: вся толпа сбивалась с толку. Эти возгласы одобренья она принимала за свои, недоумевала, не понимала, как это могло случиться, что столь быстро разрядилось общее гневное настроение. От мелких вопросов мы подступали к крупным, к самым боевым, опасным, решающим вопросам. По мелочам выступали буэотеры-ораторы: из кожи лезли, сипли и хрипли в криках, но на этих вопросах все ж не удалось им взорвать гнев толпы.

Попутно с двенадцатью вопросами касались мы и Ташкентского ответа — увязывали сразу и вместе то, что можно было увязать. Пункт докладывался, раз'яснялся, по нему вносилось наше предложенье. Затем горячились в прениях, кричали, петушились, хорохорились, исступленно угрожали, а в конце концов, разве только с малыми изменениями, принимали то, что говорили мы.

Уж отмахали добрую половину вопросов. Вот они, снова подступают, ближе и ближе к нам эти роковые ступени, на которые жутко ступить, на которых буйно бьется мятежная толпа:

Трибунал, Особый, разверстка, расстрелы, уход из Семиречья... На котором же тут тяжелей, и где тут главная опасность?

Близимся чутко, нервно, сторожко к решающим вопросам, словно бурю в открытом море на легком челне мчимся на рифы, к подводным камням и не знаем, как обойти их, остаться живу, не разбиться вдребезги о страшную преграду.

— Товарищи, будем откровенны, перед собою прямо и смело поставим этот вопрос:

Надо или не надо бороться с врагами Советской власти? Надо ли бороться с теми, кто вот здесь, по голодному и разоренному Копало-Лепсинскому району терзал и мучил вас эти годы. Если враг подкрался, если враг наточил свой нож и вот-вот кинется, всадит тебе по рукоять — неужели станешь стоять и ждать когда прикончат тебя, как беспомощного барана? Ой нет. Ты примешь какие-то меры, ты постараешься себя оберечь. И не только скрыться, убежать — этого мало — ты постараешься обезоружить, обессилить своего врага, чтоб он больше никогда не угрожал... А если и этого мало, если он не поддался тебе — сокрушишь его, обессилишь; если же вреден смертельно — прикончишь, потому что из двух выбирай: или ты, или он — кому-то жить одному. Так уж лучше ты сам захочешь жить, а врага кончишь. На то нам нужны, товарищи, и эти карательные революционные органы: особый отдел и трибунал...

Легким ветерком прошелестел в толпе глухой, далекий гул.

— Их назначенье, — продолжаем мы чуть громче, — бороться с врагами Революции. Кто же станет бороться, как не они? Кто станет выискивать шпионов, тут где-нибудь в тылу, или в бригаде, в полку — на фронте? Кто станет выслеживать и раскрывать разные заговоры, а эти заговоры враги наши организовать мастера и, только отвернись, — сейчас смастачат? Особотдел и трибунал словно уши наши и глаза: они все должны слышать и видеть, во время должны все узнать, предупредить, забить тревогу, спасти нас от близкой грозной опасности.

— Товарищи, если вашей бригаде, положим, грозит измена, предательство... Если особотдел накрывает предателей, спасает бригаду, спасает сотни и тысячи жизней... Если он, положим, расстрелял этих предателей, кто из вас станет плакать по негодяям? Никто...

— А нашего брата?.. — донеслось угрожающе откуда-то издалека.

Это был первый, сигнальный крик. Мы понимаем: ответить — значит завязать спор, перебить речь, а это вредно.

И потому, как ни в чем не бывало, продолжаем:

— Надо понимать, товарищи, для какой цели существуют эти органы, с кем они борются, кого наказывают... Это же...

— Знаем кого! — сердито крикнул голос в передних рядах.

— Нашего брата стреляют, — отозвался другой.

— А офицеров здесь не трогают... Им — работать пожалуйте... На жалованье...

— Позвольте, позвольте слово! — кричал на ходу красноармеец, ловко работая локтями, быстро подступая к телеге. Перед ним расступались, охотно пропускали вперед.

нет и вся власть захвачена Боеревкомом... Этот приказ приятно шекотал нервы бунтовщиков, и пока читали, кричали они:

— Правильно... Вся власть наша... Чего там...

Обсуждать тут, разумеется, было вовсе нечего и, пошумев, погалдев в волю, условились, по предложенью Ерискина, принять этот приказ «к сведению». Что это означало — надо думать — не понимал никто, в том числе и сам Ерискин.

— Дальше... дальше: «слово дается представителю Военного Совета (он назвал мою фамилию) для освещения 12-ти пунктов наших требований и для раз'яснения ответа из центра»...

Передернулась толпа. Может, и крепко нас она ненавидела, однако ж послушать была охотница. И потому с первых же слов притихла, замерла, словно припала к земле и вслушивалась чутко, опасаясь недослышать какую-нибудь нужную, важную весть. От 10-ти до 4-х, целых шесть часов, крутили мы ее, эту буйную толпу, словно водили, маяли под водой попавшую на крюк огромную рыбу, прежде чем выхватить оттуда внезапным, ловким движеньем. Всю силу сообразительности, все уменье, весь свой опыт, все, что было в мозгах, и в сердце, и во всем организме — и голос, и движенья, — все приноровили и все напрягли мы до последней степени, до отказа.

Бывает:

После такого напряженья заболевают белой горячкой.

Словно острый нож, когда он входит в живое чуткое тело и крадется к сердцу, чтоб его пронзить — впивались в сердце толпы наши слова — то спокойные и деланно-веселые, то замирающие, то угрожающие, говорящие о наказаньи, о неминуемой расправе за восстанье.

Нам отдельными одобрительными откликами со всех сторон отзывались неприметно разбросанные в массе «попутчики» или партшкольцы: вся толпа сбивалась с толку. Эти возгласы одобренья она принимала за свои, недоумевала, не понимала, как это могло случиться, что столь быстро разрядилось общее гневное настроение. От мелких вопросов мы подступали к крупным, к самым боевым, опасным, решающим вопросам. По мелочам выступали буэотеры-ораторы: из кожи лезли, сипли и хрипли в криках, но на этих вопросах все ж не удалось им взорвать гнев толпы.

Попутно с двенадцатью вопросами касались мы и Ташкентского ответа — увязывали сразу и вместе то, что можно было увязать. Пункт докладывался, раз'яснялся, по нему вносилось наше предложенье. Затем горячились в прениях, кричали, петушились, хорохорились, исступленно угрожали, а в конце концов, разве только с малыми изменениями, принимали то, что говорили мы.

Уж отмахали добрую половину вопросов. Вот они, снова подступают, ближе и ближе к нам эти роковые ступени, на которые жутко ступить, на которых буйно бьется мятежная толпа:

Трибунал, Особый, разверстка, расстрелы, уход из Семиречья... На котором же тут тяжелей, и где тут главная опасность?

Близимся чутко, нервно, сторожко к решающим вопросам, словно в бурю в открытом море на легком челне мчимся на рифы, к подводным камням и не знаем, как обойти их, остаться живу, не разбиться вдребезги о страшную преграду.

— Товарищи, будем откровенны, перед собою прямо и смело поставим этот вопрос:

Надо или не надо бороться с врагами Советской власти? Надо ли бороться с теми, кто вот здесь, по голодному и разоренному Копало-Лепсинскому району терзал и мучил вас эти годы. Если враг подкрался, если враг наточил свой нож и вот-вот кинется, всадит тебе по рукоять — неужели станешь стоять и ждать когда прикончат тебя, как беспомощного барана? Ой нет. Ты примешь какие-то меры, ты постараешься себя оберечь. И не только скрыться, убежать — этого мало — ты постараешься обезоружить, обессилить своего врага, чтоб он больше никогда не угрожал... А если и этого мало, если он не поддался тебе — сокрушишь его, обессилишь; если же вреден смертельно — прикончишь, потому что из двух выбирай: или ты, или он — кому-то жить одному. Так уж лучше ты сам захочешь жить, а врага кончишь. На то нам нужны, товарищи, и эти карательные революционные органы: особый отдел и трибунал...

Легким ветерком прошелестел в толпе глухой, далекий гул.

— Их назначенье, — продолжаем мы чуть громче, — бороться с врагами Революции. Кто же станет бороться, как не они? Кто станет выискивать шпионов, тут где-нибудь в тылу, или в бригаде, в полку — на фронте? Кто станет выслеживать и раскрывать разные заговоры, а эти заговоры враги наши организовать мастера и, только отвернись, — сейчас смастачат? Особотдел и трибунал словно уши наши и глаза: они все должны слышать и видеть, во время должны все узнать, предупредить, забить тревогу, спасти нас от близкой грозной опасности.

— Товарищи, если вашей бригаде, положим, грозит измена, предательство... Если особотдел накрывает предателей, спасает бригаду, спасает сотни и тысячи жизней... Если он, положим, расстрелял этих предателей, кто из вас станет плакать по негодяям? Никто...

— А нашего брата?.. — донеслось угрожающе откуда-то издалека.

Это был первый, сигнальный крик. Мы понимаем: ответить — значит завязать спор, перебить речь, а это вредно.

И потому, как ни в чем не бывало, продолжаем:

— Надо понимать, товарищи, для какой цели существуют эти органы и с кем они борются, кого наказывают... Это же...

— Знаем кого! — сердито крикнул голос в передних рядах.

— Нашего брата стреляют, — отозвался другой.

— А офицеров здесь не трогают... Им — работать пожалуйте... На жалованье...

— Позвольте, позвольте слово! — кричал на ходу красноармеец, ловко работая локтями, быстро подступая к телеге. Перед ним расступались, охотно пропускали вперед.

— Нет слова... — об'явил громко Ерискин: — надо сначала кончить доклад аратору...

— А мне нада, — заявил тот еще громче.

— Дать, дать слово... — загалдели кругом...

— Что такое, одному можно, другому нельзя?

— Всем можно. Вали, говори...

И вскочивший на телегу красноармеец задыхающимся, прерывистым криком рассекал пронзительно воздух:

— Я, может, все и не скажу... я только знаю одно: нашего брата везде стреляют... А кто им дал право, кто они такие, что понаехали с разных концов? Мы без трибунала вашего проживем... Наехала с-сволочь... разная... р-р-расстр-реливввать...

Толпа дрожала в лихорадке — высвистами, выкриками, улюлюканьем, шумным волненьем обнажала свою резкую нервность... Выступавший больше ничего не сказал; выпалил гневное, разжег страсти, соскочил с телеги — пропал в толпу.

Выступали и что-то кричали Чернов, Тегнеряднов, Караваев. Но их не слушали, громко галдели. Тогда во весь свой могучий рост со дна телеги поднялся Букин:

— А я вот што, — прорычал он осанисто и быстро затряс по воздуху какими-то предметами. — Это все вчера нашли: деньги царские, да кресты поповские... Да вон какую... — И он поболтал на цепочке компас, не зная, как его назвать...

Толпа заревела пуще прежнего. Вряд ли кто рассмотрел бумажки и крестики — выли просто на Букинский вой. Просто знали: раз Букин выступил, значит, что-нибудь громит. Тут бесенком под Букина вынырнул Вуйчич.

— А это што? Ага... га... га...

И он отчаянно затряс над головой две пары офицерских погон, утащенных при разгроме Особого Отдела...

— С офицерами вместе — вот они какие. Продались за наши денежки.. Погоны прячут — сами их наденут...

И кто-то крикнул ему в подмогу:

— Всех офицеров на суд подавай... Сами разберем — кого куда. Аль кончить, аль в Сибирь кого. В Сибирь пошлем, в Семипалатинск — нам они здесь не нужны... Пускай околевают там... свол...лочь...

Толпа прорвалась:

— Чего глядеть — арестовать...

— Арестовать их всех, из Центру... ага-га-га... Ге-ге.

— Расстрелять тут же... Го-го-го.

— Нечего ждать — вали...

И вдруг встрепенулись, метнулись ближние ряды, резнул пронзительный звон оружья, щелкнули четко, зловеще курки... Глянул я быстро Никитичу в лицо — оно было бледно.

— Так неужели кончено? — сверкнула мысль...

А тело вдруг нервно напряглось, словно я готов был прыгнуть с телеги — через головы, через стены, за крепость...

— Товарищи! — крикнул чужим, зычным голосом, — Ревсовет приказал .

Вдруг сомкнулась кольцом вокруг телеги партийная школа и твердо уперлась, сдерживая буйный натиск толпы. Все исчислялось мгновеньями, все совершалось почти одновременно.

Видим, как взметнулся в телеге Ерискин и в тот же миг пронзили воздух резкие слова:

— Да это что? Ах, вы сукины дети!!.

Неожиданный окрик застудил на мгновенье толпу, она будто окаменела в своем страстном порыве. Момент исключительной силы.

— На што выбирали меня? — крикнул Ерискин. — Раз председатель — я никому не позволю... никому не дам... Што за разбой!.. Ишь, раскричались... Если только кто-нибудь их тронет, — указал он в нашу сторону, — тогда выбирайте другого, а я не стану... И, чорт с вами, — из крепости уйду!!

Слова произвели большое впечатление. А тут еще Павел Береснев:

— Товарищи, — говорит, — так нельзя: к вам люди пришли говорить по-хорошему, а вы что. Разве так обращаются? Я тоже уйду из крепости, если што...

— Слово, слово мне! — крикнул Букин.

— Лишаю слова, — твердо об'явил ему Ерискин и повторил еще раз во всеуслышанье: — Букину слова не даю: лишаю!

Никто не протестовал. Это была очевидная, бесспорная победа...

— Для продолженья речи слово даю говорившему оратору.

И он рукой дал мне знать, чтоб продолжал.

А я смотрю — и не узнать толпу: стихла, будто виноватая.

Скачут, как пузыри, мелкие выкрики, но это уж — пустяк. Смешной, весь буйный гнев ушел в берега.

И, как беззубая старуха, онемелая толпа чавкала пустым холодным ртом жалкие слова: она потеряла гнев, а с гневом потеряла силу.

Гиппократово лицо.

Г. Лелевич.

Смерти предшествуют различные признаки... Черты лица опускаются, нижняя челюсть отвисает... Веки опускаются, но не закрываются... Все лицо кажется более длинным, подбородок острее и более выдающимся; лицо желтоватого цвета, иногда синеватого, холодное, чаще покрыто холодным потом (Гиппократово лицо).

Большая энциклопедия «Просвещения», том 18, стр. 553—554.

Внешние признаки начавшейся агонии, — так называемое гиппократово лицо, — свойственны отнюдь не только отдельным существам, но и целым общественным категориям. Когда начинается предсмертная агония какого-нибудь общественного класса, какого-нибудь общественного строя, на его лице тоже весьма отчетливо выступают признаки смерти, его физиономия тоже начинает напоминать гиппократову маску. Та же роковая печать проступает и на «физиономии» идеологии разлагающегося класса. Если присмотреться внимательно к современной русской буржуазной литературе, можно заметить, что последняя отнюдь не напоминает сейчас той пышной и полнокровной красавицы, какою она была во времена хотя бы Островского. Русская, буржуазная литература находится сейчас в том положении, в котором обреталась дама, изображенная на известной картине Ораса Верне и так ярко описанная Меем:

...Черная коса
Растрепана, полураскрыты губы,
И стиснуты немой и жгучей болью зубы,
И проступает пот на теле, что роса...

Я уже дважды касался основных черт этой умирающей литературы, сосредоточившейся сейчас по преимуществу на страницах «Русского Современника» и «России» (см. № 7—8 «Молодой Гвардии» за прошлый год и № 5 —6 «Большевика»). Но тогда я подходил к вопросу преимущественно с идеологической и даже политической точки зрения. Между тем, писатели «Русского Современника» и «России» представляют значительный интерес и с точки зрения их мироощущения, и с точки зрения их стиля. И в этих двух областях их творчество отличается всеми признаками близкой смерти.

В мироощущении представителей правого фланга русской литературы прежде всего бросается в глаза крайний пессимизм. Даже помимо конкретных высказываний писателей по тому или иному вопросу, самый подход их к действительности, самое восприятие окружающего проникнуты унылой безнадежностью. Употребляя прекрасное сравнение тов. В. Воровского о цветном стекле, через которое каждый писатель смотрит на мир, приходится сказать, что современные русские буржуазные писатели смотрят на мир через черное стекло. Возьмем филигранные стихи Бориса Пастернака (№ 3 «России»):

...Ты будешь спать, мне обещала ночь,
Мой друг, мой дождь, нам некуда спешить.
У нас есть время. У меня в карманах
Орехи. Есть за чем с тобой в степи
Пол-ночи скоротать. Ты видел? Понял?
Ты понял? Да? Не правда ль,—это то?
Та бесконечность? То обетованье?
И стоило расти, страдать и ждать,
И не было ошибкою родиться?..
. . . .
...Зачем же так печально опаданье
Безумных знаний этих? Что за грусть
Роняет поцелуи, словно август,
Которого ничем не оторвать
От лиственницы...

Разве это не типичное настроение представителя умирающего класса, сына «конца века», человека, органически неспособного почувствовать всю полноту жизни, стоящего в раздумьи перед миром и печально размышляющего о смысле бытия? И таково мировосприятие, таков жизненный «тонус» большинства писателей «Русского Современника» и «России». Их взгляды или обращены в прошлое, или с тоской и неверием направлены в грядущее. Они с полным правом могут применить к себе слова Тютчева: «Душа моя — элизиум теней».

Естественно, что эти сумрачные пессимисты, эти страдающие бледной немочью художники органически лишены уравновешенности и здоровья. Они изломаны, их психика надорвана, изгибы их переживаний причудливы и искажены, и не даром один из типичнейших буржуазных упадочников Владислав Ходасевич так описывает свое впечатление от собственного отражения в вагонном окне:

...Проникая в жизнь чужую,
Вдруг с отвращеньем узнаю
Отрубленную, неживую,
Ночную голову свою...

Не знаю, быть может, Владислав Ходасевич индивидуально совершил ошибку, быть может, он, как человек, обладает весьма привлекательной и даже обаятельной внешностью, но социально он оказался безусловно прав. Он верно различил в зеркале черты современной литературы своего класса.

Современная буржуазная литература, взглянув в зеркало, действительно может увидеть лишь «отрубленную, неживую, ночную голову». Не менее характерны и стихи Федора Сологуба (№ 2 «России»), в которых старый поклонник дьявола и певец сексуальных извращений утверждает, что спастись из отвратительного мира трех измерений можно только при помощи «пламенного недуга», только при помощи эпилептических припадков:

Дарит нам время лишь одну
Навеки скованную рельсу,
С нее умчаться в ширину
Не возмечталось и Уэльсу.
И только пламенный недуг,
Остановив мгновенье, сбросит
С тяжелой рельсы душу вдруг
И в ширину времен уносит.

На-ряду с пессимизмом и болезненностью, для современного писателя буржуазного лагеря характерен какой-то своеобразный упадочный фатализм. Ему совершенно недоступно мироощущение активного человека, чувствующего себя хозяином собственной судьбы, кузнецом своего счастья, господином жизни. Он менее всего пригоден для того, чтобы, по выражению Безыменского, «взяться за повод дней». Наоборот, по выражению того же Безыменского, «дни влекут его за собой». Он чувствует себя пешкой в руках какой-то непосредственной и враждебной ему силы, и в его иссушенном мозгу даже не возникает мысли о подчинении этой силы своей воле. В этом отношении чрезвычайно интересна новая повесть Алексея Толстого «Ибикус». Скверно в ней не то, что приключения неправдоподобны, а обрисовка характеров поверхностна, — скверно то, что наша современность представлена в этой повести как какой-то фантастический хоровод стихий, как какой-то сверх-исторический хаос, в волнах которого, повинуясь предопределению, лавирует безвольный и ничтожный, но удачливый Семен Иванович, эта ухудшенная редакция Ибсеновского Пер-Гюнта. Вряд ли приходится удивляться этому оригинальному фатализму. Когда какой-нибудь класс является носителем исторического прогресса, когда он строит общественную жизнь по своей воле, когда перед ним открывается захватывающее будущее, тогда его писатели пронизывают свои произведения могучей активностью. Когда же какой-нибудь класс приближается к гибели, когда его существование приходит в противоречие с развитием производительных сил, когда этот класс начинает разлагаться, тогда, понятно, его художники могут отличаться только безволием, пассивностью, фатализмом. Их мироощущение, это — мироощущение щепки, которую швыряют во все стороны волны разбушевавшегося океана.

С этой покорностью судьбе тесно связана и четвертая отличительная черта мироощущения современных буржуазных художников: м и с т и к а, и р р а ц и о н а л ь н о с т ь. «Материальная основа буржуазии, — писал когда-то покойный пролетарский критик Федор Калинин, — частная собственность и частные средства производства развивались в период империализма в обобществленную форму, которая создала внутри буржуазного строя противоречия,

отрицающие частную собственность и всю связанную с ней систему отношений между людьми и всю их идеологию. Естественно, что при таком условии есть причины чураться разума и его логики» (См. П. Бессалько и Ф. Калинин, «Проблемы пролетарской культуры», стр. 83). Отрицательное отношение к «разуму и его логике» естественно сопровождается стремлением к мистике, к фантастике, к грезам. Действительно, мистика и фантастика самых разнообразных сортов и качеств пропитали насквозь всю современную буржуазную литературу. Недаром Сергеев-Ценский (№ 1 «России») самым серьезным образом повествует о том, как на одном старинном хуторе, благодаря вещему выстрелу дедовского ружья, была обнаружена невинность женщины, заподозренной в краже. Не даром Осип Мандельштам (№ 3 «России») следующим образом зарисовывает «концерт на вокзале»:

Нельзя дышать—и твердь кишит червями,
И ни одна звезда не говорит—
Но, видит Бог, есть музыка над нами!
Дрожит вокзал от пенья Аонид—
И снова паровозными свистками
Разорванный скрипичный воздух слит.
Огромный парк. Вокзала шар стеклянный.
Железный мир опять заворожен.
На звучный пир в Эллизиум туманный
Торжественно уносится вагон.
Павлиний крик и рокот фортепьянный.
Я опоздал. Мне страшно. Это—сон.
И я вхожу в стеклянный лес вокзала:
Скрипичный строй в смятеньи и слезах;
Ночного хора дикое начало
И запах роз в гниющих парниках—
Где под стеклянным небом ночевала
Родная тень в кочующих толпах...
И мнится мне: весь в музыке и пене
Железный мир так нищенски дрожит;
В стеклянные я упираюсь сени;
Горячий пар зрачки смычков слепит;
Куда же ты? На тризне милой тени
В последний раз нам музыка звучит!

В этом стихотворении важна не смехотворная напыщенность, с которой Мандельштам умудряется перенести в центр современной техники образы античного мира. Главное в нем это — явное ощущение крушения реального мира, ощущение страшного предела, грани, за которой начинается агония, ощущение близости конца. Мандельштам прав: «в последний раз им музыка звучит». Для поэтов «Русского Современника», как для Гамлета, «распалась связь времен».

«Русский Современник» и «Россия» переполнены фантастикой, самой разнообразной. Вот, например, — фантастика старого подражателя заграничным «писателям ужаса» Грина. Его рассказ «Крысолов» (№ 3 «России») отличается от фантастических новелл Эдгара По, Гофмана и Вилье-де-Лиль-Адана, главным образом, меньшей талантливостью, меньшим мастерством и более бредовым характером вымысла. Испорченный телефон, который вдруг

в полночь начинает действовать, забытые номера телефона, кстати произносимые телефонной барышней в нужный момент, заговор крыс, умеющих превращаться в людей, плюс соответствующая порция повышенной температуры, — таковы аттрибуты гриновской фантастики. Все это — всерьез, с «устрашающими» интонациями в голосе, с «зловещим» сдвиганием бровей и «демоническим» блеском глаз. Иного сорта фантастика Каверина, который — в рассказе «Бочка» — ухитрился весь земной шар поместить в огромную пустую винную бочку. Критик-формалист Ю. Тынянов пишет: «У Каверина есть любопытные рассказы. Фантастика ему нужна для легкости, его фантастика юмористична... В новом его рассказе «Бочка» — мир упрятан в винную бочку и вместе с ней катится — и спотыкается. Это немного легкомысленно, немного непочтительно, но за то весело. Когда писать становится трудно, когда даже фантастика становится стопудовой, — легкомыслие не вредно» («Русский Современник», № 1, стр. 298). Если Грин спасается от своей неспособности художественно показать нашу современность в фантастику жуткую, то Каверин спасается в фантастику легкомысленную. Грину страшно, Каверину весело. Но и этот страх, и это «веселье» одинаково далеки от здорового мироощущения, одинаково болезненны и упадочны. Бросаясь в омут фантастики, современные буржуазные и находящиеся под их влиянием писатели очень часто прибегают к методу даровитейшего из немецких фантастов Гофмана. Влияние Гофмана сказывается не в усвоении тех или иных его частных стилистических приемов, а в усвоении о с н о в н о г о м е т о д а его фантастики. Гофман почти не прибегал к изображению сил «потустороннего мира», но он так показывал факты реальной действительности, что они теряли свою реальность, приобретали бредовой, фантастический характер. Так же обращается с действительностью Всеволод Иванов в рассказе «Долг», и когда Виктор Шкловский обрушился на меня за указание на наличие гофманских элементов в этом рассказе, он только лишний раз обнаружил, что, справляясь кое-как с описанием отдельных формальных приемов, он в то же время ровным счетом ничего не понимает в общем значении и характере художественной литературы.

Таково мироощущение современных буржуазных художников. Пессимизм, извращенность, болезненность, жалкая покорность судьбе, мистицизм, иррациональность, — таковы их отличительные черты. Эти художники — художники выродившегося, гибнущего, распавшегося, распыленного мира. Естественно, что это распадение, это вырождение сказались не только на содержании, но и на формальных приемах писателей «Русского Современника» и «России».

Наиболее ярким проявлением формально-стилистического распада современной буржуазной литературы следует признать р а с п а д ж а н р о в. Существующие жанры (основные виды литературы: эпос, лирика, роман, новелла и т. д.) распадаются. Это чувствуют сами буржуазные писатели, это чувствуют и их теоретики. Сейчас происходит процесс, диаметрально противоположный тому процессу, который происходил в буржуазной литературе 3—4 столетия тому назад. Когда писатели молодой полнокровной буржуазии строили новую

столь же полнокровную и целостную литературу, тогда их работа приводила к собиранию и созданию жанров. В частности, тогда из сборников отдельных рассказов, отдельных новелл постепенно создавался современный роман. Виктор Шкловский в своей любопытной брошюре «Развертывание сюжета» показал на примере «Дон-Кихота» Сервантеса и «Хромого Беса» Лесажа, как из груды отдельных новелл постепенно возвышалось огромное здание романа. Теперь мы наблюдаем иное: теперь жанры, созданные буржуазией в период ее расцвета, распадаются на свои составные части. Этот распад жанров особенно тревожит наших буржуазных критиков. Ю. Тынянов в № 1 «Русского Современника» с ужасом писал: «Пильняк — оползень; только на основе полного жанрового распада, полной жанровой неощутимости мог возникнуть этот рассыпанный на глыбы прозаик, каждая глыба которого стремится к автономии. И когда оползень хочет снова взобраться на устои,— это ему не удается. Последняя книга Пильняка, «Повесть о черном хлебе», неудачна именно потому, что в ней Пильняк стремится собраться, стремится дать повесть. Но повесть, начиненная кусками, расползается».

На ту же тему писал и В. Шкловский в № 3 того же журнала: «Русская проза сейчас распадается на составные части так, как недавно распадалась поэзия в руках первых футуристов: на заумный язык, образы и т. д. Сюжетные вещи наполняются нейтральным материалом, материал, когда-то наполнявший их, печатается отдельно в виде дневников, заметок».

Эти признания буржуазных литературных теоретиков избавляют от необходимости подыскивать примеры распадения жанров в современной буржуазной и подпавшей под ее влияние литературе. Сами писатели правого фланга чувствуют, что они зашли в художественный тупик. Именно результатом развала жанров является настойчивое стремление некоторых буржуазных и близких к ним писателей обязательно «обнажать» свои художественные приемы, нарочито уничтожая всякую иллюзию правдивости повествования. Так, Пильняк в своем рассказе «Ледоход» (№ 3 «Русского Современника») в середине своего повествования вдруг излагает те — совершенно непохожие — жизненные факты, которые он потом коренным образом переработал, изменил и связал в рассказе. Затем он изрекает: «Да. Так. Н-но... надо кончать рассказ. И этого охоты уже нет делать, ибо мною же разрушена та «правда», что была в рассказе, «правдою» выписки обо мне и Всеволоде и того, откуда взялся этот рассказ... вот пример, что нету единой, абсолютной правды на этом свете». И после этой тирады Пильняк заканчивает свой рассказ. Ясно, что это «обнажение» приема не является выходом из тупика, ибо оно может в лучшем случае пощекотать тонкие ноздри пресыщенного эстета, но оно в корне пресекает всякую возможность влиять на психику читательской массы.

Ощущение тупика заставляет современных теоретиков буржуазной литературы искать какого-то нового, более подходящего жанра. В своей интересной статье «В поисках жанра» (№ 3 «Русского Современника») Б. Эйхенбаум утверждает, что «чередной кругооборот ведет нас сейчас от старых форм романа и новеллы к хронике, к воспоминаниям, к эпизодам, к письмам, к тем

жанрам, где слово не заменить кинематографом». Это стремление формалистов провозглашать основным новым жанром литературы такого рода произведения, как мемуары, хроники, заметки из записной книжки и т. д., вполне понятно: современный буржуазный и близкий к нему художник не имеет стройного мировоззрения и мироощущения. Он весь изломан, взвинчен, хаотичен. Основной смысл нашей эпохи ему чужд, непонятен, ненавистен. Неудивительно, что он не в состоянии дать синтетической поэзии современности. Для такого упадочного художника легче всего давать разрозненные, не обобщенные, не вдвинутые в перспективу, не профильтрованные кусочки жизни. Как раз этим сейчас и занимается Максим Горький. Но ведь без синтеза, без творческого обобщения нет искусства. Нет, выход, намечаемый Эйхенбаумом и другими формалистами, это лишь выход из одного тупика в другой.

Единственный отряд художественной литературы, который сейчас действительно имеет серьезное будущее, это пролетарская литература [1]), которая тоже еще не создала нового жанра. Я считаю бесполезным сейчас гадать, каков будет этот новый жанр пролетарской литературы (а то, что он будет создан не в очень далеком будущем, совершенно бесспорно). Ясно одно, — что исходной точкой этого нового жанра послужат не разрозненные моментальные фотографии писателей времен упадка, а скорее всего целостные гармоничные жанры буржуазной литературы времен расцвета капитализма.

Такой же распад, как в области жанров, царит в буржуазной литературе и в области остальных элементов стиля. Бальмонт — когда-то в стихотворении «Гармония слов» очень хорошо вскрыл причины формального распада современной буржуазной литературы:

Почему в языке отошедших людей
Были громы певучих страстей?
И намеки на звон всех времен и пиров,
И гармония красочных слов?
Почему в языке современных людей
Стук ссыпаемых в яму костей?
Подражательность слов, точно эхо молвы,
Точно ропот болотной травы?
Потому что, когда, молода и горда,
Между скал возникала вода,
Не боялась она прорываться вперед,
Если станешь пред ней, то убьет.
И убьет, и зальет, и прозрачно бежит,
Только волей своей дорожит.
Так рождается звон для грядущих времен,
Для теперешних бледных племен.

Круг развития литературы класса — от зарождения через расцвет к упадку — выявлен здесь превосходно. Если величавый «звон» и «гром пе-

[1]) Разумеется, и многие промежуточные писатели имеют серьезное будущее— постольку, поскольку они приближаются к пролетарской литературе.

вучих страстей» буржуазной литературы времен Пушкина начал заменяться еще во времена Бальмонта «стуком ссыпаемых в яму костей», то сейчас эта замена завершена окончательно. Общеизвестно распадение буржуазной поэзии на составные элементы. Если Пушкин в одинаковой мере заботился об идее, ритме, образах и эвфонии своих стихов, то в наши дни символисты культивировали часто исключительно эвфонию, имажинисты—исключительно образ, часть футуристов—исключительно ритм. Особенно распространенной формой распадения поэтического стиля сейчас является «хлебниковщина» и «пастернаковщина». Пастернак отнюдь не занят культивированием одного из элементов формы, он работает и над ритмом, и над образами, и над эвфонией. Но он не способен отдельные, хотя бы и прекрасно-сделанные, строки или строфы соединять в целостные и прозрачные стихотворения. Когда его читаешь, можно восторгаться отдельными рифмами, ритмическими переходами или образами, но совершенно невозможно получить цельное художественное впечатление. К сожалению, «хлебниковщиной» и «пастернаковщиной» болен целый ряд молодых поэтов, безусловно способных дать действительно художественные произведения, а не рифмованные шарады и скверные коллекции хороших строк. Сейчас в «пастернаковщине» завяз талантливый и много обещавший Николай Тихонов. Очень характерна в этом отношении «Ночь в гостях» (№ 3 «Русского Современника»). Это стихотворение по своим мотивам напоминает ряд стихов из старой книги Тихонова «Брага», но «пастернаковская» манера письма совершенно не дает ему возможности произвести впечатление, хотя бы отдаленно напоминающее впечатление, произведенное «Брагой». «Пастернаковщина» губит и Дм. Петровского, в отдельных стихах которого сквозь упадочную оболочку прорываются хорошие, молодые, революционные ноты.

Таким же проявлением распада стиля является вся так называемая «орнаментальная проза», заменяющая стройное и четкое развитие действия нанизыванием разрозненных картинок, образов, сравнений, отступлений, рассуждений.

Какой бы стороны современной буржуазной и близкой к ней литературы мы ни коснулись, всюду натыкаемся мы на то же «гиппократово лицо», на роковые признаки начавшейся агонии, на классовую обреченность. К современным писателям правого фланга можно применить слова Тютчева:

Несметно было их число,
И в этом бесконечном строе
Едва ль десятое чело
Клеймо минуло роковое.

Живым людям, живым талантам нечего делать в этом стане мертвецов. Каждая лишняя минута, проведенная в этой атмосфере тления, может смертельно подействовать на писателя. Не только в идеологическом, но и в формальном отношении литература «Русского Современника» и «России» бесплодна и обречена.

М. Горький как литературный критик.

А. Свободов.

За время своего сотрудничества в газете «Нижегородский Листок», в период с 1896 по 1902 г.г., М. Горький, кроме значительного числа рассказов, очерков и фельетонов, поместил еще ряд критических заметок по поводу литературных новинок. Встречаются заметки о Чехове, Тане, Бальмонте, В. Брюсове, Оливии Шрейнер и др. В биографической литературе о Горьком об этом совершенно не говорится, а потому является небез'интересным посмотреть, как относится Горький-критик к разбираемым писателям, что находит он ценного в том и другом произведении, и какие требования пред'являет к литературе через М. Горького новый читатель, вышедший из трудовых классов общества.

М. Горького, в противоположность Короленко, не удовлетворяет только бытовая, этнографическая сторона нашей беллетристики — рассказы из жизни сибиряков или наших инородцев. Как раз в тот период появлялись рассказы Короленко из сибирской и тюремной жизни; на ту же тему были рассказы Елпатьевского, Мельшина (Якубовича), Серошевского и др. Появлялись рассказы Тана о чукчах («Чукотские рассказы»). Вот в связи с разбором последнего автора М. Горький и обрушивается на областную инородческую беллетристику и жаждет другой, обобщающей литературы, которая бы выявляла действенное лицо русских. «Не печально ли, — пишет Горький в 1899 г. [1]), — в самом деле то обстоятельство, что разные инородцы, населяющие необ'ятные пространства Сибири, являются натурою для художественных работ большинства наших талантливых писателей, тогда как мы, россияне, давно уже поступили во владение одного только А. П. Чехова? Не жалко ли видеть, что такие яркие краски и сильные, смелые кисти принуждены изображать зоологическую жизнь, примитивные чувства и мысли полуживотных, полулюдей, тогда как вокруг нас закипает жизнь, пробуждаются новые сознания, возникают новые смелые запросы, нарождается новый человек, он же читатель, пытливый и жадный до книг. Этот читатель требует ответа на коренные вопросы жизни и духа, он хочет знать, где правда, где справедливость, где искать друзей, кто враг. И вместо книг,

---

[1]) „Нижегор. Листок“, 1899 г., № 329.

посвященных этим вопросам, новому читателю предлагают рассказы Тана о чукчах».

Кто же этот новый человек, о котором здесь говорит М. Горький? От имени каких это новых читателей, «пытливых и жадных до книг», выступает литературный критик?

Конечно, это не «размагниченный интеллигент» [1]), к которому Горький относился отрицательно; это и не самодовольное, сытое мещанство, которое он ненавидит всеми фибрами своей души [2]); конечно, это не Маякины и Африканы Смолины, представители именитого, но вороватого купечества, которые, по словам Фомы Гордеева, не «жизнь сделали, а тюрьму», а это те, за кого журналист Ежов (из повести «Фома Гордеев»), присутствуя на маевке с типографскими рабочими, поднимает тост: «Будущее ваше, друзья мои. Будущее принадлежит людям честного труда... Это вы должны создать новую культуру, все свободное, живое и яркое». Вот интересы этих новых читателей, представителей труда, у Горького всегда на первом месте. Пишет ли он большую критическую статью или небольшую библиографическую заметку, он всегда отстаивает и имеет в виду трудового читателя. Так, по поводу изданий Дорошенко «О новой библиотеке» [3]), отмечая прекрасные цели издания — дать дешево хорошую книгу читателю, он тем не менее указывает, что надо издавать еще дешевле. «А когда речь идет, — писал Горький в этой заметке, — о читателе, который каждую копейку добывает тяжким трудом, приходится обращать внимание г. г. издателей на гроши, хотя видишь и знаешь, что они, издатели, проникнуты глубоко симпатичным стремлением — дать новому читателю хорошую книгу дешево. Но нужно еще дешевле».

Если книга для нового читателя должна быть дешевой и доступной, то по своему тону и содержанию она должна давать ответы «на коренные вопросы жизни и духа». Областная же, этнографическая литература не удовлетворяет Горького. Судя по первой статье, он как будто бы сдержанно относится и к монополии А. П. Чехова. Но, когда в 1900 г. появился рассказ Чехова «В овраге», то Горький приветствует его статьей и отмечает то новое, что стало ярко проявляться у Чехова. В этой статье Горький высказал следующие мысли: «А когда умрет Чехов, — писал Горький [4]), — умрет один из лучших друзей России, друг умный, беспристрастный, правдивый, — друг, любящий ее, сострадающий ей во всем, и Россия вся дрогнет от горя и долго не забудет его, долго будет учиться понимать жизнь по его писаниям, освещенным грустной улыбкой любящего сердца, по его рассказам, пропитанным глубоким знанием жизни, мудрым беспристрастием и состраданием к людям, не жалостью, а состраданием умного и чуткого человека, который все понимает».

---

[1]) „Нижегор. Лист.“, 1901 г., № 86—о „Размагниченном интеллигенте“.

[2]) „Нижегор. Лист.“, 1898 г., № 354—„Фарфоровая свинья“; 1900 г., № 357—„О беспокойной книге“, „Мещане“.

[3]) „Нижегор. Лист.“, 1898 г., № 352.

[4]) „Нижегор. Листок“, 1900 г., № 29.

Что же касается особенностей творчества Чехова, то критик указывает прежде всего на близость его к действительности, к натурализму. «В рассказах Чехова нет ничего такого, чего не было бы в действительности. Страшная сила его таланта именно в том, что он никогда ничего не выдумывает от себя, не изображает того, чего нет на свете, но что быть может и хорошо, может быть и желательно». Но при всей натуралистичности Чехова критик видит у него еще что-то, что резко отличает его рассказы от протоколизма, золяизма. Все действительные явления жизни освещаются у него « с высшей точки зрения» и проникнуты особым чеховским настроением, а потому приобретают в глазах читателя важное значение. «У Чехова есть нечто большее, чем миросозерцание, — говорит Горький.—Он овладел своим представлением жизни и таким образом стал выше ее. Он освещает ее скуку, ее нелепости, ее стремления, весь ее хаос с высшей точки зрения». Эту точку зрения критик усматривает в том, что у Чехова «все чаще слышится в рассказах грустный, но тяжелый и меткий упрек людям за их неуменье жить; все красивее светит в них сострадание к людям, и это главное. Звучит что-то простое, сильное, примиряющее всех и вся...» и «каждый новый рассказ Чехова все усиливает одну глубоко ценную и нужную для нас ноту — ноту бодрости и любви к жизни».

Для солнечного Горького все ценно, что говорит о бодрости и любви к жизни. Он, как выразитель настроений тогдашнего рабочего класса [1]), ясно чувствовал бодрость поступи новых людей, их активность и решительность в борьбе с капитализмом и самодержавием и их горячую влюбленность в жизнь. Не даром в своем «Буревестнике» (1901 г.) он так сильно и ярко воспел красоту мощи бесстрашного буревестника: «Он кричит, — и тучи слышат радость в смелом крике птицы. В крике этом — жажда бури... Им, гагарам, недоступно наслажденье битвой жизни»... Вот почему Горький-критик и обрушивается на всяческое смирение, на хныканье и стоны. Личность должна быть сильной, мощной и гордой. Он пишет прочувствованную статью в честь Сирано де-Бержерак, героя драмы Ростана [2]). Критик хорошо знает, что личность не имеет значения в ходе истории, но, тем не менее, он убежден, что «личность может ускорить движение жизни, если захочет этого». И как раз Сирано де-Бержерак и представляет такую сильную личность. Он борется с путами жизни. Горький так характеризует эту борьбу: «Борьба с этими чужеядными наростами на теле жизни, борьба с пошлостью и глупостью людей, со всем тем, что не честно, не красиво, не просто — вот борьба, которую вел всю жизнь Сирано». Этот образ героической личности XVII века интересен и для современников начала XX столетия. Горький сознательно сопоставляет Бержерака с русской действительностью и делает поучительный для нас вывод: «Знать себе цену всегда хорошо и для каждого из нас — уметь постоять за себя необходимо нам отчаянно, в дни холопства, растления духовного, теперь, когда достоин-

---

[1]) См. Нил в „Мещанах", Гвоздев в „Озорнике".

[2]) „Нижегор Лист.", 1900 г., № 4.

ство ценится, право же, не выше, чем ценилось оно тогда, во время де-Бержерака».

Привлек внимание Горького и другой образ — Жульен Дарто, герой произведения Эдмонда Эстонье [1]). Дарто с сильной, но недисциплинированной волей, с хорошо развитым чувством собственного достоинства, сын мужика, получил хорошее техническое образование и из орудия капиталистического общества, которое готовило и воспитывало его в своих целях, становится сознательным врагом этого общества. Его цель — власть, а главная задача — месть. Дарто не брезгует никакими средствами. «Власть, правосудие, религию — я всю куплю», — самоуверенно заявляет Дарто. Горький не передает содержания произведения, чтоб «не поощрять умственной лени и празднословия русского читателя», но старается выявить только основную мысль художественного произведения и высказать свои соображения по поводу его. Дарто — не положительный герой, и о гибели его критик не жалеет. «Он погибнет — этот Дарто — чорт с ним, к слову сказать... Но каждое падение этих людей будет оставлять трещину в той стене, которою одни люди оттородились от других, каждое падение будит чье-то сознание, возмущает чье-то человеческое достоинство». Горький глубоко убежден, что в жизни есть справедливость, своя логика фактов. А потому — «все, что унижает человека, низвергая его в грязь и как раба уродуя его, и все то, что мешает человеку жить согласно желаниям духа его, все это падает пред силой справедливости, которая действует в жизни медленно, как дождь и ветер, уничтожающий высокие горы, но верно действует и восторжествует».

Горячо встречает Горький только что появившуюся в русском переводе пьесу Гауптмана «Пред восходом солнца», которая как раз ставилась на сцене нижегородского театра. Эту статью автор писал перед самым от'ездом в Крым в 1901 г., после тюремного сиденья и во время еще продолжавшегося жандармского следствия. Гауптмановская пьеса по своему содержанию вполне подходила к настроению нового русского читателя. Лозунг героя пьесы, соц.-демократа Лота — был таков: «моя борьба — борьба за всеобщее счастье». Лот — прямолинейная, здоровая натура, который всецело отдается рабочему движению и ведет непримиримую войну с алкоголизмом. Судьба как раз привела его в семью алкоголиков. Его возлюбленная — слабовольная девушка Елена, отец которой, мачеха и сестра — все алкоголики. Когда у Лота раскрываются глаза, то он решается оставить невесту. Возможность наследственности у Елены его страшит. Уход Лота вызывает смерть Елены. По поводу ее гибели Горький замечает: «Ее не жалко, ибо погибает тот, кто должен погибнуть, чьей гибели жалость не предотвратит. Кто не может жить для жизни, не нужно, не стоит жалеть о его смерти». Общая же оценка пьесы высока. «Гауптману на этот раз удалось написать удивительно яркую картину,—пишет Горький.—Вообще на наш взгляд это лучшая из пьес Гауптмана, так часто лишенных ясности и простоты и страдающих

---

[1]) „Нижегор. Лист.“, 1900 г., № 261.

какой-то недоговоренностью». Здесь нужно исправить одну неточность, допущенную критиком. Выходит, что Гауптман написал «Пред восходом солнца» после других своих пьес; на самом же деле — это было его первое крупное произведение (1889 г.) [1], но только у нас в России оказалось переведенным не в числе первых. В остальном — художественное чутье Горького-критика оказалось правильным и совпало с подобными же оценками других критиков. Так, Брандес писал об этой пьесе следующее: «Пьеса превосходна правдивостью разговоров и изображенных в ней типов. Это настоящее мастерское произведение». Итак, простота, ясность, определенность и цельность образов — таковы требования, какие пред'являет Горький к художественному произведению. Но этого еще не достаточно. Если художественное произведение, при всех своих внешних достоинствах, будет только отображать жизнь, ее будни, ее мусор, а не будет, силою творческого воображения писателя, звать к лучшей и новой жизни, поднимать выше обыденных интересов, то такое произведение еще не много значит в глазах нового читателя. Литература не только «познание жизни», но она должна быть вождем, руководителем и воспитателем масс. И здесь — между гауптмановским героем Лотом и горьковским «Читателем» полное родство. Лот в разговоре с Еленой о литературе (Золя, Ибсен) не удовлетворен теми рецептами, какие он предлагает больному читателю. «Я, — говорит Лот, — здоровый человек и требую от поэзии светлого, освежающего напитка. Я не больной. А Золя и Ибсен предлагают лекарства». Ему, оказывается, больше нравится книга Дана «Борьба за Рим», так как «она описывает людей не такими, какие они есть, а какими они должны быть». Родственные мысли высказаны и М. Горьким в его автобиографическом рассказе «Читатель» (1898 г.). Там изображен усердный новый читатель, который требует от писателя ясности, определенности взглядов и руководящих идей. «А если ты стоишь на одном уровне с жизнью, настойчиво спрашивает читатель, если ты не можешь силою воображения своего создать образы, которых нет в жизни, но которые необходимы для поучения ее — какая польза в твоей работе и чем оправдаешь ты звание свое?» («Читатель»). Новый читатель ищет в литературе ответов на запросы духа: «где же призыв к творчеству жизни, где уроки мужества, где бодрые слова, окрыляющие душу?» — так категорично и определенно спрашивает все тот же читатель.

И М. Горький в своих произведениях старался дать эти бодрые слова, старался зажечь сердца читателей. Горящее сердце Данко для него символический или, вернее, аллегорический образ. И не случайно, что у Горького так много аллегорий: «О чиже и дятле», о «Буревестнике», «Пред лицом жизни», «Фарфоровая свинья» и т. д.

В этом отношении важно отметить большую статью Горького об аллегориях Оливии Шрейнер [2]). В этой статье наш критик является защитником аллегорической формы и высказывает, наперекор утверждению некоторых

---

[1]) „Сочинения Гауптмана“, изд. Маркса, т. I, стр. 32.

[2]) „Нижегор. Лист.“, 1899 г., № 348.

историков литературы, что аллегория умерла, другую точку зрения, а именно — что аллегория жива и нужна современному читателю. Живучесть аллегории подтверждается, по его мнению, рассказами Немоевского, Эшенбаха, Стриндберга, даже Короленко («Сказание о гордом Аггее»). А нужна аллегория потому, что посредством ее всего удобнее в данных условиях высказывать ту или другую нравоучительную мысль. Горький ясно сознает трудность аллегорической формы, но видит и большие преимущества. Первое преимущество то, что «в форме аллегории можно удобнее и проще сказать то, что хочешь», и «под аллегорией можно ловко скрыть сатиру, колкость, смелую речь, в нее можно вложить огромное идейное содержание». Затем у аллегории есть и другое преимущество — «аллегория позволяет быть схематичным». В то время, как нужно и огромное философское образование и глубокий художественный талант, чтоб в реальных образах и картинах выразить серьезное содержание, тогда как «в рамки аллегории можно уложить такую грандиозную тему, обрисовав ее, разумеется, легкими чертами и развивая ее механически, внешним штрихом, без психологии явления, без того проникновения в душу, в суть их». При этих преимуществах аллегории нельзя упускать и больших трудностей. Предвзятость идеи может свестись к простому скучному нравоучению. Чтоб избежать этой крайности, для этого нужно иметь особый талант и большое художественное чутье меры, гармонии. Только тогда и будет жизненна аллегория, только тогда она и будет возбуждать мысли и чувства читателей. «Нужно обладать, — говорит Горький, — очень своеобразным талантом для того, чтобы писать аллегории, и нужно иметь тонкий художественный такт, чтобы не свести аллегорию на степень туманного и скучного нравоучения». С этой точки зрения аллегории Оливии Шрейнер удовлетворяют всем требованиям и восхищают критика. Он анализирует содержание некоторых из них, как, напр., «Охотник». «Дары жизни», приходит к выводу, что Оливии Шрейнер превосходно удается об'единить в ее аллегориях крупное идейное содержание с художественным изложением. Простота и ясность — вот первое внешнее достоинство ее маленьких рассказов; бодрость настроения и глубокая вера в силу человеческого духа — вот внутреннее значение ее аллегории».

Высказанные Горьким-критиком взгляды на аллегорию лучше помогают понять одну из сокровенных черт художественного творчества и самого писателя Горького — это его пристрастие к аллегориям. Ведь среди имен писателей-аллегористов, о которых говорилось выше, видное место в литературе новейшего времени принадлежит, бесспорно, М. Горькому. И в газете «Нижегородский Листок» за рассматриваемый период было помещено несколько аллегорий: «Фарфоровая свинья» [1]), «Песня покойников» [2]), «Пред лицом жизни» [3]), «О беспокойной книге» [4])... Заслуживает внимания аллегория «Пред лицом жизни», где выведены два человека: один, умоляющий

[1]) „Нижегор. Лист.", 1898 г., № 354.
[2]) Там же, 1900 г., № 1.
[3]) Там же, 1900 г., № 354.
[4]) Там же, 1900 г., № 357.

жизнь дать ему счастье, примиряющее — «мое хочу» с «твоим должен», а другой — требующий и властно ищущий справедливости. Первому слышится отрицательный ответ, а другой на свое требование: «где справедливость? дай ее сюда. Все остальное после я возьму, пока нужна мне только справедливость» — слышит от жизни бесстрастный ответ: «Возьми». Аллегория написана сжато, сильно и ярко. И здесь, как и в критических статьях, Горький говорит от лица новых людей, говорит не как нищий, просящий подаяния, а как равный и сильный, требующий по праву и умеющий отстаивать свое право.

Этот подход к литературе слышится и в статье Горького о Бальмонте и В. Брюсове[1]). Тогда только что появились «Горящие здания» Бальмонта и «Tertia vigilia» В. Брюсова. Эти произведения примыкали к новому тогда течению декадентства и большинством читателей да и критиков встречались крайне несочувственно. Горький старается сперва отмежеваться от таких брюзжателей, затем отмечает красивые и глубокие стихи у Бальмонта и Брюсова и под конец высказывает свое несогласие с их идеологическими взглядами, относящимися к мистическим и религиозным вопросам.

Горького возмущает манера некоторых критиков, по выхваченным двум-трем фразам из стихотворений Бальмонта и Брюсова, — позволять издеваться над ними. Такой прием не допустим нигде и не применим ни к кому, а тем паче к поэтам. Горький развивает свой взгляд на поэта и на бережное отношение к нему. «А нужно уважать человека, — писал Горький, — даже когда он злодей, даже когда он преступник, убийца, — его судят, принимая во внимание и хорошее его. В данном же случае мы имеем дело с поэтом, с неким «я», которое, как паук, неустанно ткет из духа своего бесконечную нить размышления и, сам себя уловляя в сеть противоречий своих, всенародно казнит и мучает душу свою, с жадностью отыскивая в ней незыблемую точку опоры, с коей мир можно было бы оправдать весь, как гармоническое целое, как симфонию гениального музыканта». Высказав свои принципиальные взгляды на творчество поэта, критик внимательно подходит к разбору стихотворений Бальмонта и Брюсова. У первого из них он находит ряд красивых стихов, как, напр., «Купец» или «Тихий Амстердам», а у Брюсова — «Сказанье о разбойнике» и «На новый колокол» и др. Некоторые стихотворения Бальмонта вызывают полное удовлетворение критика: «Хорошо это, как молитва ребенка, как мудрый лепет чистой души, недоступный пониманию литературных будочников, кои, якобы охраняя заветы истинной поэзии, традиции Пушкина и прочие хорошие вещи, опошленные их прикосновением, плюют во все стороны пахучей желчью своей бездарности». У В. Брюсова Горький отмечает более серьезное отношение к поэзии, но «Брюсов все же и теперь является пред читателем в одеждах странных и эксцентричных, с настроением неуловимым и с явно искусственным пренебрежением к форме и красоте стиха». Особенное возражение со стороны критика вызывает идейная сторона стихотворений Бальмонта и Брюсова —

---

[1]) Там же, 1900 г., № 313.

их религиозный уклон и религиозные темы. Горький ставит вопрос: «насколько серьезно и искренне это, так ясно заметное в последнее время, стремление к религиозным мыслям и сюжетам?» Перед Горьким две возможности об'яснения этих проблем. «Что это? — спрашивает критик, — искренний ли голод души современного человека, уставшего от безверия, или хитроумная уловка буржуазного общества, которое, будучи обеспокоено все ярче и ярче выступающими противоречиями, желает успокоить совесть свою и, облекаясь в мантию фарисеев, ловко прячется от роковой логики событий под покров милосердия божия». Из этих двух возможных об'яснений — для Горького более очевидно — второе. А потому он заканчивает статью строгим предупреждением: «Если верно последнее, то я считаю нужным напомнить одно мудрое изречение, «бог шельму метит», стало быть, не спрячешься, как ни вертись». Так отчетливо и определенно отмежевывается Горький от идеологии символистов, и в то же время указывает на те большие достижения, какие имеются в некоторых стихах Бальмонта и Брюсова. Несогласие с идеологией символистов, с их устремлениями «за пределы предельного», и социологический подход к искусству высказан был критиком в ряде фельетонов еще в 1896 г. Там много задору, резких суждений о тогдашних декадентах, символистах, и при этом критик все время остается верен себе, требуя, чтоб искусство оставалось ясным и простым, без всяких чудачеств и мистических туманностей. Темой для бесед в ряде фельетонов послужили картины Врубеля, выставленные на Всероссийской Выставке в Н.-Новгороде 1896 г. В № 202 «Нижегор. Листка» (1896) Горький поместил фельетон «Беглые заметки», где резко отнесся к «уродствам» Врубелевской кисти, а попутно задел и современное ему декадентство. «О, новое искусство. Помимо недостатка истинной любви к искусству, ты грешишь еще и полным отсутствием вкуса». Фельетон вызвал отпор со стороны местной и столичной прессы. В журнале «Неделя» Дедлов защищал Врубеля от нападок нижегородцев. Горькому, поэтому, пришлось не раз возвращаться к затронутой теме и от Врубеля перейти к рассмотрению задач и целей искусства. Точка зрения Горького не является оригинальной, он вполне разделяет взгляд на искусство Гюйо, на которого, как на авторитет, и ссылается. В этом отношении для нас важно пропагандирование более правильных взглядов на искусство и борьба его с представителями «чистого, свободного искусства». Все эти взгляды более полно высказаны им в фельетоне «Беглые заметки» (№ 250). Уже в предыдущих статьях было видно, что критик подходит к литературе, искусству не как к забаве, пустому препровождению времени, а как к важному организующему фактору социальной жизни. Здесь эта точка зрения выявлена полнее. «Роль искусства — педагогическая, цель его — установить возможно более полную общность ощущений и чувств». А так как в жизни и без того много тяжелого, больного, неясного, то искусство должно способствовать рассеянию, уничтожению этих мрачных сторон, а никак не увеличению их. Для критика мало понятно декадентство, его идеология, и он задает вопрос: «какое же отношение к социальному, к искусству, имеющему своей целью воспитание духа и чувств человека,

какое отношение к искусству, стремящемуся облагородить жизнь, могут иметь картины Врубеля и Галлена, стихи Гиппиус и Бальмонта, и вообще все то, что делают в области искусства люди, ищущие несуществующего и стремящиеся «за пределы предельного»?».

Социологический метод давал возможность критику правильнее подходить к писателям и течениям и определять их место и значимость для развития читающих масс, главным образом, рабочего класса конца XIX века. С этой точки зрения Горький останавливается только на тех произведениях, которые говорят о сильной личности, борющейся с мертвящими условиями капиталистического общества, или на тех, которые внушают читателю бодрость, энергию, любовь к жизни. Литература не только отражает жизнь, но и воспитывает, зажигает веру в возможное будущее. Для этой цели, в известных случаях, подходящей формой является аллегория, как более удобная, при сжатости и схематичности, для выражения глубоких нравоучительных мыслей. Критик обращает свое внимание и на внешнюю сторону произведения, требуя простоты, ясности и цельности художественных образов.

Правильнее будет охарактеризовать точку зрения Горького-критика — как буревестническую. И в этом заключается немаловажная заслуга Горького как критика.

КРИТИКА и БИБЛИОГРАФИЯ

Мария Шкапская. Кровь-руда. Издание второе. В. С. П. Москва 1925 г. Стр. 29. Тираж 3.000 экз.

Мария Шкапская. Земные ремесла. В. С. П. Москва 1925 г. Стр. 30. Тираж 3.000 экз.

Стакан Марии Шкапской не велик, но она пьет из своего стакана. Во всех ее книжках навязчиво звучит только одна единственная тема, но эта тема своеобразна и выделяет автора из ряда других русских поэтов. Тема эта была достаточно четко сформулирована еще в ее первой книжке: „Mater dolorosa". Это—тема тоски женщины, не осуществившей своего материнского назначения; это—тема боли о неродившихся детях. Эта своеобразная тема неизменно разрабатывалась Шкапской в мистическом плане. Дальнейшие книжки Шкапской, это—развитие все той же основной темы. Из рецензируемых книжек первая („Кровь-руда") появилась впервые в Берлине в 1922 году и становится вполне доступной советскому читателю только сейчас, вторая—новинка.

Нельзя сказать, чтобы старая тема фигурировала в этих книжках совершенно в старом виде. Она углублена и, до известной степени, объяснена. Боль о нерожденных детях, носящая в поэзии Шкапской характер форменной „навязчивой идеи", имеет в своей основе не что иное, как теорию переселения душ:

> **Миллионы веков назначенных я томилась в чужих телах, нагруженных земными задачами и потом обращенных в прах.**
>
> **Но, кончая свой век коротенький, на закате земного дня, сыновьям своим или дочери отдавали они меня.**
>
> **Благодарными связана узами, но в себе этот мир сберегу ль? От ладьи с драгоценным грузом передам ли кому-нибудь руль?**

Итак, переселение душ — реальность, и глубокий смысл рождения детей — в том, что, при рождении, детям передается часть души. И поэтому, не выполняя своего женского назначения, не рождая ребенка, женщина совершает тяжелый грех, обрекая душу на мучительное томление, не давая ей перевоплотиться. Эти не воплотившиеся души живут томительной жизнью в мировом пространстве и ищут воплощения:

> Бесплотная невидимая стая,—свиваясь облаком вокруг любовных пар,—колдуют легкие, умело вызывая и в теле трепеты, и на ланитах жар.
>
> А после сторожат в ночи зачатный час, чтобы войти и воплотиться в нас.

Таково „глубокое" обоснование постоянной тоски Шкапской о нерожденных детях!

Более существенным новым элементом в книжках Шкапской является мотив, дающий ключ к пониманию социальной природы мироощущения поэтессы. Шкапская—поэтесса „конца века", поэтесса вырождающегося поколения, поэтесса оскудевших людей. Она с тоскою и болью мечтает о здоровом варварстве первобытного человечества, о полнокровных и полносильных животных людях:

> **Острилось и жгло меня страстное жало, и в буйном пожаре неистовых дней я древних детенышей в яме рожала и им эту чашу с краями отжала червонной и вспененной крови моей.**
>
> **И был нескончаем запас ее красный, и в ясные ночи и в темные дни вскипала она неуемно и страстно, и новые дети родились мои.**

> Но вот постепенно, скудея с веками, медлительно в плоть докатилась мою, и ныне последние бледные капли я в малые чаши с отчаяньем лью.

Шкапская с отчаянием чувствует, что оскудение родящей силы тесно связано с общим декадансом, с общим вырождением, и не даром лучшее стихотворение в книжке „Кровь-руда": „Ведь были мы, первые..."— посвящено воспоминаниям о периоде здоровой дикости. Но если это первобытное здоровье давно иссякло, если утонченная поэтесса вырождающейся барской интеллигенции очень слабо чувствует в себе наследие полнокровных первобытных пращуров, то тяжелое мучительное наследство уже вырождающихся поколений болезненно тяготеет над ней:

> Перебираю родовой архив. — Во мне ведь та же кровь — без срыва и без смены, отмщаются до моего колена ошибки бабушек и дедушек грехи.

И еще иначе говорит об этом другое стихотворение:

> Деды дедов моих, прадеды прадедов, сколько же было вас прежде меня? Сколько на плоть мою вами затрачено с древних времен и до этого дня?
>
> Длинная, трудная, тяжкая лестница, многое множество, тьмущая тьма,— вся я из вас,—не уйдешь, не открестишься, — крепкая сложена плотью тюрьма.
>
> Ношей тяжелой ложитесь мне на плечи, — строю ли, рушу ли, бьюсь иль люблю, — каплями пота, кровавыми каплями, вы прорастаете в волю мою.

Шкапская права, тяжелой ношей легло ей на плечи наследие разлагающегося барства. Плеханов как-то заметил по поводу стихов Зинаиды Гиппиус, что такие стихи могут быть порождены только бледной немочью. Действительно, Гиппиус еще задолго до того, как превратилась в белогвардейскую эмигрантку, была представительницей больного искусства вырождающегося класса, и Мария Шкапская стоит в конце того нисходящего пути, в начале которого стояла Гиппиус. Если упадочная Гиппиус была эпигоном полнокровной буржуазно-дворянской литературы, то Шкапская — эпигон упадочничества. Некоторый диссонанс в ее последнюю книжку вносит лишь поэма „Человек идет на Памир". Правда, основная мысль этой поэмы, — вещь отнимает у женщины детей, — вполне совпадает со старой темой Шкапской. Но, на-ряду с этой мыслью, в поэме намечается и некоторое стремление выбраться из своего гинекологического уголка и дойти до понимания того, что в жизни человечества есть вопросы более важные, чем вопрос о невыполнении той или иной женщиной своего материнского назначения. Однако пока это стремление остается только стремлением. Шкапская еще вся во власти „бледной немочи" декаданса, и наше прекрасное „завтра" для нее все еще—„святая ложь".

Поэтические средства Шкапской не отличаются разнообразием и яркостью. Стих ее неровен и часто недопустимо неряшлив. Манера печатать стихи прозой, без выделения стихотворных строк, может несколько затруднить чтение стихов вслух, но менее всего способна заменить оригинальность и самобытность формы. Впрочем, вряд ли можно ожидать, что Мария Шкапская достигнет ценных формальных результатов, оставаясь в пределах своей единственной— и в достаточной мере упадочной — темы. Трудно сказать, сумеет ли она освободиться от „бледной немочи". Если сумеет, это будет спасением для ее поэтического дарования и приятным сюрпризом для нашей поэзии.

Г. Лелевич.

М. Колосов. Комсомольские рассказы. Изд. „Мол. Гвардия" 1925. Стр. 66. Тираж 8.000 экз.

Марк Колосов рассказывает о комсомольцах, о смене, о юных революционерах. Язык его рассказов — простой, искренний, задушевный. Чтоб показать революционный энтузиазм своего молодняка, он не нуждается в героическом фоне, в больших событиях; он умеет видеть революцию и новое — в каждодневном, в буднях.

Комсомольцы выбирают представителя в фабком, —

Ваньке — 13, а в союз принимают с 14 лет, —

На заводе выпускают стенную газету. — Вот, к примеру, незаметные события наших будней, на которых Колосов останавливает свое внимание.

Но он умеет эти события освещать по новому, по иному.

Так, например, — стенгаз.

Конечно, еще одна стенная газета — событие небольшое; это — не бой, не революционный подвиг. Но вот, вместе с Колосовым, вы всматриваетесь пристальней:

— Петька.

Петька—19-летний молотобоец. а имеет маленькую, непривыкшую думать, голову. И Петька, конечно, никогда не читал газет. Стенгаз для Петки — откровение. Это его первое увлечение. Он с головой уходит в работу по созданию газеты. Он не досыпает ночей. Он переживает небывалые в его жизни, новые, радостные чувства...

И вдруг становится очевидно, что не для всех стенгаз — дело маленькое. Что для иных — это событие в жизни, это — первый шаг к иной одухотворенной жизни.

Становится понятной вся глубина Петькиной трагедии, когда его дорогое детище безвременно гибнет, — гибнет из-за не тех, для кого стенгаз — ничто, так только — неприятная обязанность.

И тогда справедливым укором встают тяжелые слова Петьки:

> — Разве я тебе товарищ?.. Для тебя она ни более барахло, а наша кровь пролита по этих строчках, наша кровь!..

Таковы по общему строю фабулы все рассказы Колосова: в них, казалось бы, маленькие и серые факты нашего быта вдруг предстают большими и значительными. Предстают в напряженной эмоциональной насыщенности живой жизнью нового поколения. Того поколения, для которого все эти факты — каждодневные бои за новый быт.

Колосов это новое поколение не идеализирует. Оно у него революционно не потому, что действительно высоко-сознательно и дошло до понимания истории и Октября. Ванька и сам не знает, почему его тянет в комсомол; может, „с того только, что все — комсомольцы" („Тринадцать"). Петька вступил в союз, надеясь „подняться на уровень..." („Стенгаз") и т. д.

Это — сама жизнь, весь быт послеоктябрьской России — от завода, клуба и товарищей — до семьи — воспитывает из рабочих подростков „Октябревичей".

Они также просто и преданно любят свой комсомол, партию, „Ильича", как в старое время барчук-дворянчик сызмальства воспитывался и привыкал любить старую Россию и старые порядки.

И Колосов может правдиво, без прикрас и ложного пафоса, рассказать об этом новом, органически революционном поколении, потому что и сам он вырос и оформился уже в послеоктябрьской России: (революция застала его 13 — 14-летним мальчиком).

Формально Колосов уже в значительной степени сложился. Рассказы его крепко связаны в целом (общая композиция): события, описания, диалоги, сценки — все эти составные элементы всегда даны по существу основного устремления действия, не отклоняются в сторону, не раздваивают внимания. На фоне современной орнаментальной прозы, где за обилием отдельных эпизодов вещи обыкновенно теряют единство и стремительность — это явление положительное. Так же умело Колосов пользуется диалогом: разговорный язык его персонажей живой и характерный.

Менее удачны описания. В них порой чувствуется надуманность и излишнее обилие производственных образов (см. стр. 53, 54).

Из влияний следует указать на Бабеля. Так, например, рассказ „Креп" весь построен по методу Бабелевских писем. К чести Колосова—рассказ этот из лучших. Письмо военмора Носкова читается с напряженным вниманием. Вообще чувствуется, что Колосов внимательно и серьезно работает над своими вещами.

В целом книжка Колосова заслуживает большого внимания. Это голос нового, иначе оценивающего события, поколения. Автор не вышел за границы Комсомолии, но то, что он дал, говорит о чутком, свежем и правдивом таланте.

И. М. Машбиц-Веров

Ф. Березовский. Мать. Повесть о вчерашнем. Изд. „Молодая Гвардия". Тираж 9.000 экз. Стр. 86.

Кажется, после М. Горького тема „Мать" никем не разрабатывалась. Тов. Березовский любовно и внимательно отнесся к своей теме. „Мать" Березовского — мать молодого коммуниста подпольщика и — жена рабочего (слесаря). Она совершает ряд больших и полезных для революции работ, а под конец — и геройских поступков. И она все это делает вовсе не из „идеальных" стремлений, не потому, что она сознательная коммунистка (она в партии не состоит). Телесная, почти физиологическая, любовь к сыну, к мужу; плоть и кровь живого человека — женщины, матери, жены, — вот что толкает ее на определенный, революционный путь. Мать хочет помочь сыну и мужу, хочет их спасти...

Некоторые сцены повести переданы с такой силой, что вызывают почти физическую тревогу, жалость, боль... Такова сцена обыска и избиения Степаниды казаками, ищущими ее мужа и сына; также то место, где маленькая Ольга убеждается, что отец ее заживо погребен в ее же руками приготовленном для него подпольи. Есть также в повести очень ценные картины из быта времен Колчака. Например — картины посадки на поезд при чехо - колчацких порядках и ночных похождений („расчеты" с чехами) в вагонах...

Язык повести — простой, ясный. События развертываются быстро. Лишних сцен нет.

Нередко, к сожалению, встречающиеся бедные в смысле словесно - образном, а также сентиментальные места — вполне, однако, искупаются искренностью автора. Повесть может быть широко рекомендована для юношеского чтения.

И. М. Машбиц-Веров.

Вл. Бахметьев. Маленькие рассказы о большой жизни. Изд-во „Земля и Фабрика". 1924 г. Тираж 5.000 экз. Стр. 120.

Маленькие рассказы Бахметьева читаются с интересом. В них — о „большой жизни" новой, революционной России. Автор имеет богатый опыт и знание этой жизни, — распоряжается очень большим материалом, хотя и не всегда с большим искусством. Первые рассказы книги — введение — еще о старом: о ссыльных, об империалистической войне.

К сожалению, на жизни ссыльных по всей видимости, хорошо знакомой автору, Бахметьев останавливается мало. Об этом — только два беглых эскиза, два наброска: рассказ „Таежное" и этюд для сцены „На заре". В „Таежном" — психология толпы беглых каторжан и прочего безработного, голодного люда. Автор смело выводит напряженно-интересный, хотя и рискованный, момент из психологии этой толпы: момент, когда она готова предать „своих" рабочих — вождей стачки — за... водку. В „этюде" — далекая сибирская тюрьма и ее обитатели в первые дни революции — в ожидании амнистии...

Об империалистической войне — „Рассказ инвалида".

Простым мужицким сказом рассказывает мужик инвалид о войне. Он не старается „произвести впечатление". Просто, естественно, с необходимостью развиваются события. И тем ужаснее предстает кровавое безумие этих событий. Тем проще и понятнее, почему „тронулся большевик" в этом и в миллионах других мужиков...

Однако, указанные темы (ссыльные, тюрьма, империалистическая война)—только прелюдия к книге Бахметьева. Гораздо ближе автору современность,— революция. Ей — посвящены все остальные рассказы.

К революции Бахметьев подходит с самых разных сторон. Это не значит, что он смотрит на нее неопределенно-бегающими глазами: понимание революции у Бахметьева одно определенное — понимание коммуниста. Но автор умеет давать события в их преломлении через разный быт и психику.

Начиная с эпического, „объективного" описания первых дней революции (рассказ „В доме губернатора"), автор постепенно выводит разнообразный ряд типов и жизней. И здесь опять сталкиваешься с богатым жизненным опытом Бахметьева. В „Конце Ворошилина" — интеллигент - партиец с его рефлексией и сомнениями... В рассказе „Прах" — буржуазия перед наступающими красными.... В рассказах „На дыбах" и „Встреча" — крестьянство в годы революции: партизанщина, зеленовщина... В рассказе „В степи" — активно борющиеся рабочие и т. д.

Художественное выполнение („мастерство“) Бахметьева не всегда соответствует напряженному интересу темы и богатству содержания его вещей.

Меньше всего автору удаются рассказы из жизни буржуазии и интеллигенции. Его рассказы из жизни этой среды („Прах“, „Конец Ворошилина“) оставляют ощущение незаконченности, неудовлетворенности. Психологически, они не вполне правдивы. Его интеллигент-коммунист Ворошилин, ответственный работник, слишком уж — раздвоен, лиричен, мечтательно-задумчив (из-за несвоевременной задумчивости — гибнет), болтлив... Вот, к примеру, образчик его речи — тирада, с которой он обращается к другому коммунисту (товарищу, рабочему) в момент — по всему судя — чрезвычайно опасный (город обстреливается белыми, наполовину ими уже занят, бои происходят на улицах). Ворошилин едет с тов. Никитиным за подкреплением:

> ... Понимаешь... за тобой — целый поток переживаний, страсти... и ты — капелька этого моря, но... последняя... ... И вот, ты глядишь перед собою и видишь, — не видишь, а чувствуешь холодное дыхание: впереди черная пустота, ты заглядываешь в нее, ты как бы повис над нею... Момент,—понимаешь— момент, и... все прошлое твоего рода... (стр. 60).

Столь словообильное лирическое излияние как будто несколько неуместно. Это чувствует и Бахметьев:

— Все? — Никитин засмеялся:

— ...Ну, знаешь, не ожидал я от тебя...

Но, к сожалению, несмотря на недоумение Никитина, читателя даже, кажется, самого автора — Ворошилин до конца выдерживает свою роль в напряженном сентиментально-лирическом и элегическом духе...

Так же мало удачны интеллигенты Бахметьева в других вещах („На заре“ и др.). Но если ему сравнительно мало удаются интеллигенты (и буржуазия), то зато очень убедительны, ярки и правдивы типы Бахметьева из крестьян и рабочих. Здесь автор часто подымается до высокого мастерства. Особенно удается Бахметьеву так называемый „мужицкий сказ“. Диалог мужиков у него всюду — яркий, характерный, живой, а „Рассказ инвалида“, весь написанный мужицким сказом, является одной из лучших вещей этого жанра.

Необходимо отметить еще одну — основную — черту Бахметьева — его героический революционный пафос. Все его рассказы дышат этим пафосом. Его сибирские партизаны (рассказ „На дыбах“), вздыбленные в лютой борьбе с чехами и казаками — с физической ощутимостью представляют живой, органический героизм крестьян... Его рассказ „В степи“ на фоне радостно лирического, бодрого настроения выводит насыщенную трагизмом героическую гибель кучки рабочих и подростка в неравной борьбе с казаками...

Но героизм и пафос Бахметьева обладают удивительно хорошим свойством: они всегда просты и естественны. Вероятно, это происходит потому, что автор не выдумывает ни пафоса, ни героев. Он рисует наблюденное, взятое из жизни и показывает, как мужицкий быт и горе рабочее просто и естественно вызывают героизм.

И. М. Машбиц-Веров.

А. Безыменский (группа пролетарских писателей „Октябрь“). Комсомолия (страницы эпопеи). „Красная Новь“ М. 1924. Стр. 40.

Нашу эпоху опишет тот, кто ее знает. А для этого недостаточно смотреть со стороны на развернувшиеся на наших глазах, величайшие в истории человечества, события. Тот, кто был активным участником борьбы русского пролетариата, кто сам разрушал старое и строил новое, тот сможет не только рассказать о внешних сторонах, но и показать внутреннюю сущность величайшей революции.

Мы не сомневаемся, что пролетарская литература через некоторое время даст нам монументальные произведения, целиком охватывающие нашу эпоху, но было бы легкомысленно ставить для этого очень близкий срок. Слишком грандиозна и всеохватывающа та ломка старого мира, которую мы начали в Октябре, чтобы в несколько лет художественно исчерпать ее результаты. Но уже сейчас мы можем заметить, как от небольших лирических стихотворений и поэм, от небольших рассказов пролетарские писатели переходят к более широким полотнам, художественно претворяющим отдельные этапы пролетарской революции.

„Комсомолия“ Безыменского принадлежит к произведениям последнего рода. Она правильно названа самим автором — „страницами эпопеи“, и это сознание частичности, ограниченности выполненной автором художественной работы придает „Комсомолии“ Безыменского своеобразную значительность: за этими страницами мы чувствуем гораздо большее, — жизнь, которую целиком не охватил и не мог, при всем своем желании, охватить Безыменский, но которая делает жизненно-правдивой каждую строчку его поэмы.

Тон „Комсомолии“ — бодрый и жизнерадостный, очень часто боевой. В центре стоят ритмические узлы коллективных песен, уже переложенных на музыку и распеваемых комсомолом, — „Комсомольская чехарда“, „Песня швейных машинок“ и „Боевая“. В них собрана молодая, требовательная, иногда шаловливая, но, вместе с тем, суровая воля к жизни, труду и борьбе. Каждый комсомолец, принимавший участие в гражданской войне вместе с Безыменским, вновь вспомнит „про девятнадцатый годок“, вновь вернется к стране „великой и богатой“, почувствует, что „мы в Комсомолии живем“. В „Комсомолии“ он узнает себя и своих товарищей, вспомнит пережитые тревоги и достигнутые победы, работы над „тезисами“ и безалаберную, вольную, но по-своему крепко сколоченную жизнь в комсомольских клубах и тесных коморках. И перед каждым комсомольцем Безыменский встанет не только как большой, но и как свой, родной поэт, вместе с которым он может воскликнуть:

Вот она, вот она
Рабочая молодежь,
Родина моя —
Комсомол мой!

Если хотите, „Комсомолия“ Безыменского, это—тоже тезисы, но тезисы поэтические, не выдуманные, а из жизни взятые. Каждая строка, отрывок — тезис, каждая глава — раздел. Так они и называются: глава первая — „Кулацкое восстание“, глава вторая — „Райком“, глава третья — „Клуб“ и т. д., и т. д.

Но — „ячейкины дети“ по этим тезисам узнают историю своей организации, ее развития, ее роста. Это — исторический памятник миллиону комсомольцев, идущих на смену старым бойцам. Это история тех, кто

Раньше были „такие - сякие“,
А теперь вот, носы задрав,
Ходят парни уже не простые:
— Председатель!
— Политпросвет!
— Экправ!

Очень характерен в этом отношении парень, который „молчит, набравши в рот воды“, еще боится выступать, еще не привык вести за собой других. Но вот он привыкает:

Возьмет себе словцо к „порядку“,
А там поправочку внесет,
Рискнет „по прениям“, растает,
Не речи разведет — поток! —
И, наконец, доклад читает...

потому что

Не с неба падают к нам люди,
Они с земли, с земли растут.

Тот, кто еще недавно считал для себя достаточным воспевать лишь „конечные цели“ революции, витал в космических далях и брезговал опускать свой взор ниже Марса, тот, понятно, проглядел эту на земле от земли растущую молодежь. Безыменский во-время осмотрелся, в тесной толпе комсомольской братвы почувствовал теплоту плеча идущих и борющихся с ним рядом товарищей и увидел, как

...Растут и растут ребята,
Подымаются дети станков.
Нет,
Недаром кричал оратор:
„Молодежь — передовик передовиков“.
Раньше просто вничью будили,
А теперь на дела понесло...
Комсомол
Этой мощной силе —
Настоящее русло.

Сам герой поэмы думал вначале, что „революция — война с гидрами“, „знал только, что капитал — др-ракон“, но вот „революция пошарила по заводу“, выдрала его оттуда, как „луковицу с огорода“ и „переволокла в райком“. И, попав на большую работу, заводский паренек стал расти и расти. Вместе с ним растет целый ряд „выведен-

ных Безыменским комсомольских типов. Наиболее ярка комсомолка Маня, которая и пожить в двадцать лет любила, и первая добровольцем на фронт пошла, и, на фронте по головам поленом била бегущих мужчин", а теперь шьет вместе с другими шинели и белье красноармейцам. Тут и Ося, который служит осью комсомольской работы, у которого „в каждом вопросе жало станков", когда он производит обследование кустарей. Тут же и Ваня, которого избивает отец, когда он убегает на собрания, и многие другие.

На-ряду с этим мы видим целый ряд отрицательных, „полуновых людей". Васька, который сдал в бою и убежал с передовых линий, и Володька, отлынувший от мобилизации, который „при выборе суровом выбрал маму, не борьбу", и Алексей, которого голод заставил стащить на заводе материал для зажигалок. К слову сказать, сцена суда над Алексеем—одно из лучших в поэме мест. Но эти одиночки, которые отчасти окончательно гибнут для дела, отчасти выравниваются в общей работе, тонут в бодрой, работящей, преданной революции комсомольской массе.

На-ряду с этими отдельными типами перед нами проходят разные области комсомольской работы. В те годы наиболее характерной была боевая страда, и подавлению кулацкого восстания, мобилизации на фронт Безыменский отводит большое место. Но здесь же и клубная работа, и ликвидация безграмотности, которую проводят комсомольцы. Здесь же и быт комсомольцев, и партийная работа. В этом отношении „Комсомолия" Безыменского дает широкую картину жизни и работы Комсомола в целом, картину, которую до него еще никто не давал.

И достойным заключительным аккордом поэмы является ее последняя глава — „В путь".

Путь для Комсомолии знакомый и славный—в РКП:

Мы, Октября стальные дети,
Растем в тебе, чтоб вновь расти,
Чтоб в большевицком партбилете
Мандат на стройку дней найти.
Из нас бы каждый сердце вынул
Иль с радостью хоть где корпел,
Чтоб только быть достойным сыном
Огромной мамы — РКП!

И молодому комсомольцу, приходящему в организацию, „Комсомолия" облегчит этот путь.

В заключение необходимо отметить прекрасный вид издания „Комсомолии" Безыменского при сравнительно недорогой цене в 50 коп. Прекрасная бумага, четкий шрифт, множество художественных иллюстраций, наличность в тексте нот к некоторым песням делают эту книгу одним из лучших изданий, вышедших во время революции.

Семен Родов.

М. Е. Салтыков. Письма. 1845 — 1889. С приложением писем к нему и других материалов. Под редакцией Н. В. Яковлева, при участии Б. Л. Модзалевского. Труды Пушкинского Дома при Российской Академии Наук. Ленгиз. Л. 1924. VIII + + 329 + 37 стр.

Значение этой книги определяется как именем, ее возглавляющим, так и ее содержанием.

Нам известно уже довольно много писем Салтыкова, опубликованных в разных сборниках, журналах, газетах. Иногда они появлялись целыми сериями, как, напр., письма к В. М. Соболевскому (59 писем), к Стасюлевичу (128 писем). Но еще никогда не было опубликовано сразу и отдельной книгой так много неизданных писем Салтыкова: в этой книге их напечатано свыше трехсот. Естественно, что при таком обилии личность и творчество Салтыкова обрисовываются очень четко. Искренний, порывистый и резкий, он дает свободу перу в дружеских письмах, и его отзывы часто далеко расходятся с общепринятыми мнениями. В 1859 году он пишет Анненкову об „Обломове": „Прочел Обломова и, по правде сказать, обломал об него все свои умственные способности... Бесспорно, что „Сон"—необыкновенная вещь, но это уже вещь известная, зато все остальное что за хлам! что за ненужное развитие Загоскина! что за избитость форм и приемов!.. И спать с Обломовым, и есть с Обломовым, и все видеть и видеть перед собой этот заспанный образ, весь распухший, весь в складках, как будто на нем сидел антихрист!..". А в следующем письме — восторженный отзыв о „Дворянском гнезде", о „светлой поэзии, разлитой в каждом звуке этого романа". „Да

и что можно сказать о всех вообще произведениях Тургенева? То ли, что после прочтения их легко дышится, легко верится, тепло чувствуется? Что ощущаешь явственно, как нравственный уровень в тебе поднимается, что мысленно благословляешь и любишь автора"... Зато потом, двадцать лет спустя, с тою же горячностью Салтыков разносит тургеневскую „Новь": „Роман этот показался мне в высшей степени противным и неопрятным... Я совершенно искренно думаю, что человек, писавший эту вещь, выжил из ума, во-вторых, потерял всякую потребность какого-либо нравственного контроля над самим собой. Начать хоть с внешней стороны: это не роман, а бесконечная случайная болтовня, которую можно начать с какого угодно места и где хотите кончить... С внутренней стороны, это вещь еще более слабая. Лица консервативной партии (Сипягин, Каломейцев) описаны с язвительностью, напоминающей куаферское остроумие... Чувствуется, что вы сидите в куаферской и ловкий француз, заглядывая вам в глаза, старается насмешить вас насчет того лица, которое за пять минут перед тем сидело в том же кресле, подвергалось тому же процессу стрижки и завивки и пользовалось той же куафферской любезностью. Что же касается до так называемых „новых людей", то описание их таково, что хочется сказать автору: старый болтунище! ужель даже седые волосы не могут обуздать твоего лганья! Перечтите паскудные сцены переодевания, сжигания письма, припомните, как Нежданов берет подводу, и вдруг начинает революцию, как идеальный Соломин говорит: делайте революцию, только не у меня во дворе... Все это можно писать, лишь впавши в детский возраст". Столь же суров отзыв о Золя и Гонкурах в письме 1875 года: „Прочитал я на-днях „Manette Salomon" Гонкуров, и словно глаза у меня открылись. Возненавидел и Золя, и Гонкуров... Диккенс, Рабле и проч.—нас прямо ставят лицом к лицу с живыми образами, а эти жалкие... нас психологией потчуют. Трудолюбивы, должно быть, анафемски. Не едят, не пьют — все пишут и зачеркивают и нанизывают без конца. Это не романисты, а пакостники...".

Много в письмах признаний и о самом себе — стонов от цензурных насилий, жалоб на болезни. Например: „Я—Эзоп и воспитанник цензурного ведомства. Я объявляю это всенародно". Письма раскрывают принадлежность Салтыкову нескольких анонимных статей, рассказывают историю написания многих его произведений. Познание личности и творчества Салтыкова сильно обогащаются этими тремястами писем.

Но и для эпохи книга дает много. Сотрудничество в „Современнике", „Вестнике Европы", „Русских Ведомостях", редактирование „Отечественных Записок", близкие отношения с Некрасовым, Тургеневым, Анненковым, Михайловским и многими другими сказалось на содержании писем, и они дают обильный материал по истории русской журналистики, цензуры, литературы, общественности. В приложениях, напр., опубликовано объявление Салтыкова „Об издании в 1863 году в Москве журнала Русская Правда", договор между Краевским и Салтыковым об издании „Отечественных Записок" и многие другие.

Тексты изданы тщательно и снабжены очень полезными, обстоятельными, хотя и сжатыми комментариями; редактор, Н. В. Яковлев, с честью справился со своим трудным делом. Приложен обстоятельный указатель прежде напечатанных писем Салтыкова (я заметил только один пропуск: письмо к А. Я. Герду,—„Рус. Мысль" 1914, II, 131), а также указатели имен и адресатов. Даны редкие портреты Салтыкова, и внешний вид книги приятен. Она вышла из Пушкинского Дома, этого Пантеона русской литературы. Ленгиз следует поблагодарить за такое культурное издание.

Н. Пиксанов.

Леонид Гроссман. Театр Тургенева. Издательство Брокгауз - Ефрон. Л. 1924. 175 стр.

Не сразу раскрывается основное задание этой книги. Ее заглавие обещает читателю обзор всех отношений Тургенева к театру, безо всяких ограничений; в предисловии сказано: „Наша задача — наметить пути к изучению Тургенева - драматурга, т.-е. по возможности выяснить сложные законы двойственной жизни его драматических созданий". В самой книге говорится не только о драматическом творчестве Тургенева, но и о театральных постановках его пьес — до наших дней включи-

тельно, т.-е. больше, чем обещано. Однако, с другой стороны, дается и меньше того, что сулит предисловие. И только когда заканчиваешь чтение книги, становится ясно, что главным предметом внимания автора были так называемые „западные влияния" в драматургии Тургенева.

Такая тема не лишена научной ценности и своевременности. Известный общий труд А. Н. Веселовского: „Западное влияние в новой русской литературе" не захватывает Тургенева. Специальных исследований по „влияниям" на театральные пьесы Тургенева не имеется. Поэтому работа Л. П. Гроссмана стремится заполнить заметный, давно ощущаемый пробел.

Следует констатировать, что автор хорошо подготовлен к своей задаче. Давно работая по Тургеневу, Л. П. Гроссман отлично ориентирован в специальной русской тургеневской литературе. А для новой своей книги он произвел энергичные поиски и в западной, специально-французской, театральной историографии. Его высказывания о Скрибе, П. Мериме, Мюссе и других писателях для театра — свежи и компетентны. Его замечания о французских пьесах-провербах идут навстречу назревшей потребности в изучении русских „драматических пословиц" (на чем я настаивал в своей книжке об Островском). Любопытны сближения Тургенева с начинаниями на Западе в области комической оперы и оперетты. Наиболее обстоятельно разработан эпизод с воздействием пьесы Бальзака „Мачеха" на „Месяц в деревне". Здесь Л. П. Гроссман дает, во-первых, сжатую, но четкую характеристику той проблемы психологической драмы, какую ставил себе Бальзак, и того приема в критике и на сцене, какой встретила его пьеса. Исходя из того предположения, что Тургенев не мог не знать „Мачехи" и толков о ней в печати, Гроссман сличает обе пьесы, французскую и русскую, и приходит к убедительному выводу, что в „Месяце в деревне" Тургенева сильно отразилась „Мачеха" Бальзака. Исследователь сопоставляет списки действующих лиц (афиши) и убеждает нас в их параллелизме, формулирует основную схему, — и она оказывается тождественной здесь и там, перебирает типы „Мачехи": жених воспитанницы, домашний врач, муж в их основных чертах и удостоверяет их воспроизведение у Тургенева. Прием выпытывания старшей соперницей сердечной тайны у младшей, момент игры в карты, появление подростка среди взрослых и другие приемы и эпизоды тоже оказываются одинаковы в сопоставляемых пьесах. В распоряжении исследователя, правда, не было прямых удостоверений, что Тургенев изучал „Мачеху" Бальзака и признавал зависимость от нее „Месяца в деревне". Но перекрестный допрос двух пьес достаточно убедителен, и тургеневистам придется серьезно считаться с этим экскурсом.

Итак, и задание, и его выполнение в книге Л. П. Гроссмана следует признать заслугой автора.

Правда, не всё здесь разработано одинаково обстоятельно и бесспорно. Так, в поисках западных образцов, автор находит, что пьеса Тургенева „Неосторожность" — „типичный сколок с испанского театра" и соответствующая глава книги так и названа: „Пастиччьо испанского театра". Но тут же автор предлагает интересную историко-литературную справку о книге Проспера Мериме: „Театр Клары Газюль" и доказывает, что главные тургеневские персонажи чрезвычайно характерны для театра Мериме и что „Неосторожность" Тургенева „точно воспроизводит все основные признаки Театра Клары Газюль". Сам же автор называет пьесы Мериме только „искусными и талантливыми подделками под испанскую драму. И, конечно, следовало бы соответствующую главу книги означить не испанской драмой, а именем французского стилизатора. Правда, в той же главе бегло говорится о сильных возбуждениях, какие позднее переживал Тургенев, приступив к изучению Кальдерона в подлиннике. Но подлинная испанская драма не отразилась в творчестве Тургенева.

В другом случае Л. П. Гроссман готов утверждать, — правда, „в виде простого предположения",—что сценической моделью для „Завтрака у предводителя" „могла послужить одна из пьесок немецкого драматурга Карла Мальца". Какая именно, — он и сам не знает, так как ему не пришлось перечитать пьесы Мальца. Тем не менее, Parallelenjägerei так соблазнительна, что, процитировав одно совершенно глухое и беглое замечание Тургенева о Мальце в „Вешних водах", Гроссман начинает уве-

рять, что здесь „не трудно различить довольно точную характеристику“ „Завтрака у предводителя“.

Между тем (и это указывает сам автор), тема „Завтрака“ уже намечена в „Записках Охотника“.

И отсюда начинаются уже не отдельные конкретные возражения, а наше общее принципиально-методологическое сопротивление приемам изучения и изложения Гроссмана. Поставив интересную проблему: „смена стилей в театре Тургенева“, наш автор понял ее односторонне — как смену „влияний“, „подражаний“ — и именно западных (русских он касается бегло). В юношеской драме „Стено“ Тургенев подражает Байронову „Манфреду“. В „Неосторожности“ — П. Меримэ, в „Безденежьи“ — французскому водевилю, в „Завтраке“ — предположительно Мальцу, в „Провинциалке“, „Вечере в Сорренто“, „Где тонко, там и рвется“ — провербам Мюссе, в „Месяце в деревне“ — „Мачехе“ Бальзака и т. д. Там, где нечего сказать о „западных влияниях“, Гроссман сух и краток: таков случай с „Нахлебником“, о котором, однако, сам он говорит, что это — одно из „лучших достижений тургеневского театра“ и что „Нахлебник“ „вошел в мировой репертуар“. Впрочем, и здесь глухо сказано, что Тургенев, „с обычной своей восприимчивостью и гибкостью“, подхватил „новый литературный стиль пауперизма“, „явственно звучащий у Гюго, Бальзака, Сю, Жорж-Занд, Ауэрбаха“. Сколько западных образцов! Правда, тут же сказано, что то же новое направление „только что прославило имя молодого романиста Достоевского“, но забыто имя Гоголя и его „Шинель“. Как итог своих наблюдений, Гроссман высказывает формулу: Тургенев „прилежно экспериментирует в каждой возникающей и модной форме“. Автор готов даже считать „органическим“ свойством Тургенева усвоение западных модных стилей,—то, что несколько странно он же называет „европеизмом“ Тургенева (как будто русская литература не европейская).

Даже в тех случаях, когда историк литературы строго объективен, сдержан, не гонится за эффектными, хотя и натянутыми сближениями, изучение литературных влияний незаконченно и неплодотворно, если, наряду с заимствованиями со стороны не указаны оригинальные, органические в подлинном смысле, свойства и достижения изучаемого поэта (об этом мне приходилось настойчиво говорить в кн. „Грибоедов и Мольер“). Сказать, что „Нахлебник“ написан в „новом тоносе“ западной литературы — тоносе „пауперизма“, значит сказать далеко не все и не главное. Такой стилистической справкой никак не объяснишь, что „Нахлебник“ занял такое крупное место не только в русском, но и в западно-европейском репертуаре. И когда темой книги ставится „театр Тургенева“, мало установить западные влияния в нем. Необходимо изучить всю творческую работу драматурга, связать его пьесы с его рассказами и романами, с его русской драматургической школой, с русским бытом, со всей социально-исторической средой. Только тогда „западные влияния“ получат свое настоящее место и вес и не будут искажать всю перспективу. Автор не только уклонился от разработки всей сложной задачи, но и не формулирует ее как целое, часть коего потом будет изучать. В главе о „Месяце в деревне“ автор тратит все свое внимание на сличение комедии с „Мачехой“ Бальзака. Читателю остается неясен весь сложный процесс созидания пьесы — от возникновения первого замысла до последнего завершительного штриха, т.-е. то, что называется творческой историей произведения. Между тем, изучение разновременных редакций текста установило бы не только „пастиччьо“ из Бальзака, но и русские возбуждения, — напр., отображение В. Г. Белинского в образе Беляева, не говоря уже о всем бытовом материале. То же самое и с комедией „Где тонко, там и рвется“. Эта великолепная пьеса, зрелость и сила коей устраняют мысль об ученическом подчинении чужим „модным“ образцам, имеет свою поучительную творческую историю, замолченную Гроссманом, но раскрывающую самостоятельное, органическое творчество поэта.

Но если многое недодано из того, что обещалось заглавием, то предложено кое-что сверх обещанного. В конце книги имеется приложение: „Материалы к сценической истории Тургенева“. Здесь, в хронологическом порядке отдельных пьес Тургенева, даны сведения о выдающихся их постановках в Петербурге и Москве, „афиши“, т.-е. списки исполнителей в главных спектаклях,

сведения о количестве представлений, цитаты из рецензий об игре актеров и т. д. Особенно полно представлена „фиксация тургеневского спектакля „Месяц в деревне" в Художественном Театре (9 декабря 1909 года). Откликаясь на поставленную недавно Максом Германом проблему реконструкции отдельного спектакля как историко-театрального момента, Л. П. Гроссман воссоздает спектакль 9 декабря 1909 года во всех трех его основных частях: сцене, актерах и зрителях. Он пользуется при этом богатым архивом Художественного Театра. Конечно, это не монография о реконструкции данного спектакля; в отдельном исследовании материалы могли бы быть изложены полнее (напр., социология зрительного зала). Но нельзя не признать опыта Л. П. Гроссмана удачным, полезным и поучительным. Следует сказать, что сценической истории Тургенева в книге Гроссмана служат также обильные иллюстрации: снимки с постановок в крупнейших театрах обеих столиц (главным образом Моск. Худож. Театра).

Для историков и любителей театра все приложение будет интересным. Автор вообще вложил немало любви и труда в свою книгу. Отрываясь от магистрали, он производит иногда очень полезные экскурсы. Так им установлен любопытный факт, что проверб Мюссе „Каприз" впервые закреплен на сцене не во Франции, а в России, в русском театре (в Петербурге) и русской актрисой (А. М. Колосовой) и только потом водворился в Париже.

Пишет автор легко, изящно, живо, ясно, доступно, завоевывая этим своей книге — и театрально-литературному знанию — широкий круг читателей. Некоторое сопротивление вызывает несколько приподнятый, декламационный стиль (напр., „Кода" к главе о романтической драме, стр. 28) и некоторые изысканности, искусственности и преувеличения: „Кунктатор в сфере художественных ритмов", деспотический канон театральности", „план лирических переживаний", „блистательно возрожден", „заостряет трагизм необычной ситуации", „завершающий радостный аккорд его пьесы", „контрастно выделяющий", „ферментация планов", „замкнутая орбита его влияния терпит длительные затмения", репертуар, „разворачивающий образы", „тонкие бродила драматизма". Здесь есть опасность впасть в манерность или банальность.

Но в общем книга написана изящно, как изящна и ее внешность. Достоинства же содержания дают ей право на внимание и историков литературы, и деятелей театра, и, наконец, широкого круга читателей.

Н. Пиксанов.

Борис Соколов. Сказители. Гиз. Москва 1924. 123 стр.

Проф. Б. М. Соколов в своей книжке дает сводную характеристику певца народных былин — „сказителя". Сказители не раз уже характеризовались в научной и популярной литературе. Имеются и общие очерки, и отдельные характеристики - биографии (напр., И. Т. Рябинина, сост. Е. А. Ляцким). Но отдельной книжки, посвященной сказителям, у нас до сих пор не было. Да, кроме того, за последние десятилетия накопилось так много дробных материалов, не сведенных в целую картину, что потребность осмотреться в них и их подытожить велика и у специалистов - словесников, не говоря о широком круге читателей.

Поэтому было вполне естественно написать отдельную книжку о сказителях старин.

Б. М. Соколов соединяет в себе несколько достоинств, обеспечивающих хорошее разрешение такой задачи. Он является, во-первых, собирателем произведений народной поэзии, хорошо знакомым с той живой средой, в которой поются старины; он, напр., лично знал знаменитую архангельскую сказительницу Марию Дмитриевну Кривополенову. Это дает ему интимное понимание многих особенностей предмета. Во-вторых, он — один из видных исследователей былевого эпоса, автор многих статей о былинах. Отсюда его широкое знание печатных текстов былин и всей научной литературы о них. Наконец, Б. М. Соколов был много лет преподавателем и в средней школе, и на общеобразовательных курсах, и это дает ему понимание задач популяризации.

Автор широко понимает свою задачу. Он говорит и о происхождении былин и их бытовании в течение веков, о хранении былевой поэзии в народной традиции, о свободном, не знающем крепостного ига русском Севере, как блюстителе народно-

поэтической старины: он характеризует особый склад характера и дарований типичного сказителя, приемы былинного мастерства, и т. д. Особые главы посвящены отдельным выдающимся сказителям (Рябининым отцу и сыну, Тупицыну, Кривополеновой). Изложение замыкается характеристикой художественного значения народной словесности для всей русской поэзии, в том числе — и для современной. План книжки нельзя не признать стройным и многосторонним.

Выполнен этот план хорошо, с теми достоинствами, какие указаны выше. Добавлю еще, что книжка написана с любовью к предмету, что будет передаваться и читателям.

Есть, впрочем, в книжке некоторые недостатки и пробелы.

Стиль автора несколько излишне приподнят, многие „украшающие" эпитеты можно было бы удалить. Художественные приемы былинного сказа изложены бегло и неполно, всего на четырех маленьких страничках; что здесь можно многое сказать, видно, напр., из книги В. М. Жирмунского о рифме (П. 1924), где говорится о рифмах в былинах. В севернорусских былинах изобильны своебразные ударения, далеко не всегда угадываемые терепешним городским читателем. Незнание их портит ритмическое восприятие тех отрывков, какие приводит Б. М. Соколов; следовало во многих случаях расставить у д а р е н и я. Автор постоянно употребляет выражение „народный" („народная поэзия", „народные песни" и т. д.). Сам он отлично знает, что этот термин отвергается наукой и заменяется иным: „устный" („устная поэзия"). Можно употреблять выражение „народный" — как ходовое и условное. Но необходимо было предварительно объясниться с читателем и время от времени напоминать ему о происхождении былин.

Книжка Б. М. Соколова заинтересует читателя и возбудит в нем много новых вопросов. Поэтому жаль, что в конце книжки нет толкового указателя сборников былин и лучших научных (доступных) работ. Нет и нотных примеров былинных напевов.

Отпечатана книжка (в Нижполиграфе) очень изящно.

Н. Пиксанов.

Венок Белинскому. Сборник под редакцией Н. К. Пиксанова. Новые страницы Белинского, речи, исследования, материалы. Изд. „Новая Москва". М. 1924. Тираж 1.000 экз. Стр. 8 ненум.+288. Цена 4 рубля.

Этот разнообразно и интересно составленный сборник является несколько запоздалым откликом на прошлогодний юбилей по случаю семидесятипятилетия со дня смерти „неистового Виссариона". Первую часть книги занимает публикация новых, не входивших до сих пор в собрание сочинений, текстов В. Г. Белинского с примечаниями В. С. Спиридонова, Н. К. Пиксанова и И. Л. Поливанова. Из трех воспроизведенных обширных статей Белинского наиболее интересна последняя, написанная по поводу „Истории Малороссии". Николая Маркевича. Статья блещет типичными для знаменитого критика достоинствами и недостатками. Более трех четвертей ее не имеют прямого отношения к рецензируемому труду: Белинский говорит о братстве народов, о гармонии национального и общечеловеческого, о развитии русского языка, о патриотизме, о философии, о том, чем должна быть история вообще, и только в конце обращается к „Истории Малороссии" Н. Маркевича. Как всегда, все, что говорит Белинский, чрезвычайно интересно, хотя порою и несколько самоуверенно и, на наш взгляд, порою наивно. Но, разумеется, внимание сейчас обращается не на те места, где Белинскому можно было бы „возразить", что теперь не имеет никакого смысла, а на те блестящие мысли, которые с полным правом дают нам возможность видеть в великом критике нашего предшественника, самостоятельного мыслителя, думавшего, хотя и несколько смутно, о том, что впоследствии легло в основу марксистской философии истории. Напр., Белинский уже тогда понимал, что „в общем ходе истории, в итоге исторических событий нет случайностей и произвола, но все носит на себе отпечаток необходимости" (стр. 36); что „дело в деле, а не в лицах. Об лицах нельзя не упоминать, но героем истории должно являться или само событие, увлекающее за собою лица, или такое лицо, которое управляло событием, или в котором выражалось событие" (43).

Понимал он и многое другое вплоть до того, что для научного построения истории необходима предварительная детальная монографическая разработка и изучение отдельных проблем, как-то: „нравов, торговли, промышленности, права, политики, финансовой системы“ и пр. и остро язвил наших „славянофилов“ и „патриотов“, которые, „вместо этого, ограничиваются пересыпанием из пустого в порожнее, рассматривая такие вопросы, как происхождение Руси, и решая их произвольными гипотезами“ (стр. 34—35, прим.).

На-ряду со статьями надо упомянуть опубликованное письмо Белинского к Боткину и два письма Я. Полонского, одно к Белинскому, другое по поводу Белинского. К сожалению, комментатор этих писем И. Л. Поливанов оказался далеко не на высоте своего положения — приложенные снимки с подлинников обличают его крайнюю неопытность и невнимательность. Так в транскрипции писем Полонского мною замечено двадцать ошибок, неточностей и пропусков (11 в первом письме и 9 во втором), из которых наиболее грубые: „чутье“ вместо „чувство“ и „быт“ вм. „быть“. Несмотря на неразборчивость почерка Полонского, такая небрежность положительно не допустима. Воспроизводя вполне разборчиво написанное письмо Белинского, И. Поливанов также делает ошибки и пропуски: в начале этого письма, которое воспроизведено фототипически (приблизительно 1/8 всего текста) имеется пять ошибок и неточностей, в том числе пропуск целого слова („против обыкновения“, вм. „против твоего обыкновения“).

Вторую часть книги составляют стенограммы речей, произнесенных в торжественном соединенном заседании Российской Академии Художественных Наук и Общества Любителей Российской Словесности 13 июня 1923 г.

Наиболее интересна речь А. В. Луначарского, убедительно показавшего, сколь близок психологически был нам Белинский, порою приходя к „почти марксистской перспективе“ и мечтая об „активно мыслящем дисциплинированном меньшинстве“, которое повело бы Россию и человечество вперед, опираясь на глухое сочувствие масс и прибегая, если это окажется нужным, хотя бы к террору.

Интересна и речь П. С. Когана „От идеализма к материализму“, но он останавливается в ней как-то на половине: ярко охарактеризовав переход Белинского от идеализма к материализму, он не счел нужным останавливаться на анализе самого материалистического миросозерцания Белинского, для чего имеется богатый материал в письмах критика, особенно за 2—3 последних года его жизни. Речь проф. П. Н. Сакулина „Проблема искусства в критике Белинского“ построена очень оригинально, но производит несколько странное впечатление—оратор занят не столько анализом взглядов Белинского, сколько стремлением, прикрываясь Белинским, полемизировать с некоторыми современными течениями, и все время пытается говорить „о Лефе с Белинским в руках“, при чем отдельные утверждения П. Н. Сакулина, особенно некоторые его „навязывания“ Белинскому своих мнений, представляются далеко не вполне убедительными (напр., см. стр. 83—84). Последняя, очень краткая речь А. Южина-Сумбатова „Белинский и театр“ совершенно не исчерпала интересной и богатой темы — автор говорит лишь о знаменитом изображении Белинским игры Мочалова в „Гамлете“.

Третью, наиболее существенную и обширную часть книги занимают статьи о Белинском, разнообразные по содержанию Среди них, во-первых, можно выделить темы об отношении Белинского к искусству. Это статьи Л. Л. Сабанеева „Белинский и музыка“, А. В. Бакушинского „Встреча Белинского с Сикстинской Мадонной“ и И. Р. Эйгеса „Мышление в образах“. Статья Л. Л. Сабанеева свежа по теме, оперирует в достаточном количестве собранными фактами, но совершенно неубедительна по выводам, обличая в авторе полную несостоятельность, когда он пытается дать объяснения фактам и не может их объяснить. Так наивным идеализмом представляется его утверждение о „влиянии“ Белинского на русскую музыкальную критику от Серова до Энгеля. Связь была, но причины были более глубокими и коренилась в общности классовой психологии Белинского и наших позднейших демократов-интеллигентов. Антипатия Белинского к музыке Глинки должна объясняться, конечно, не тем, что Глинка был слишком „взыскан высочайшими милостя-

ми", а тем, что Глинка и Белинский были представителями совершенно различных психологий. Более близок к научному методу А. В. Бакушинский, поставивший себе целью уяснить отношение Белинского „к искусствам пространственным, живописи, ваянию и зодчеству", хотя также далеко не все, что он говорит, убедительно,—напр., предложенная им схема воздействия искусств на „обычного среднего человека" (стр. 111). Мало нового дает в своей статье Иосиф Эйгес, решивший „восстановить в памяти", что знаменитое определение поэзии, как „мышления в образах", принадлежит Белинскому и что с его слов это определение повторяли и развивали Гончаров и Тургенев.

Вторая группа статей рассматривает отношение к Белинскому отдельных писателей. Сюда относятся статьи Н. Л. Бродского и А. Я. Цинговатова. Н. Л. Бродский, всегда умеющий дать новый и интересный материал, убедительно показывает, что беседы Тургенева с Белинским отразились на изображении „людей сороковых годов", в частности, на „Гамлете Щигровского уезда", равно как и в других произведениях Тургенева. К сожалению, не владея марксистским методом, автор прошел мимо крайне интересной проблемы, которая сама собою напрашивалась—проблемы воздействия разночинной психологии Белинского на психику Тургенева-„барина", уже до некоторой степени оторвавшегося от своего класса. Не разработана также другая, не менее интересная, лишь едва проскальзывающая мысль о необходимости пересмотра роли знаменитого кружка Станкевича, о котором мы имеем несколько односторонние и тенденциозные сведения, и об отношении к этому кружку Белинского. Вторая статья А. Я. Цинговатова „Белинский в сознании Блока" строгой четкостью основной мысли производит хорошее впечатление. Собрав немногочисленные высказывания великого поэта эпохи упадка, Александра Блока, о великом критике, автор с полной убедительностью находит основную причину резкой и последовательной антипатии Блока к Белинскому в ярко выявленной разнице их классовых психологий. Третья группа статей занимается вопросом о литературных влияниях и воздействиях на Белинского и о его литературных симпатиях. Наибольшей похвалы заслуживает интересно и просто написанная работа Р. О. Шор „К источникам «Дмитрия Калинина». В качестве такого источника автор указывает пьесу Раупаха „Крепостные", утверждая, что известная по пересказу Чистякова первая редакция „Дмитрия Калинина" („Владимир Калинин") является „довольно точным изложением первых трех актов трагедии немецкого драматурга Раупаха" (206). В подтверждение этой мысли Р. О. Шор дает изложение, а местами и перевод пьесы Раупаха, при чем надо сказать, что этими материалами вышеприведенное категорическое заявление автора подтверждается в весьма малой степени: сходство между пьесами Раупаха и Белинского лишь отдаленное и легко может быть объяснено воздействием на обоих писателей однородных фактов—жизненных и литературных. Впрочем, выводы Р. О. Шор довольно скромны („ничто не препятствует допустить, что пьеса Раупаха—скорее всего в пересказе—была знакома Белинскому"), и с ними вполне можно согласиться.

Статья интересна еще и тем, что вводит в литературный обиход почти никому не известное произведение с ярко выявленным социальным протестом. Благородная фигура Раупаха, состоявшего профессором С.-Петербургского университета, была известна по знаменитому делу об его увольнении совместно с проф. Германом, Арсеньевым и Галичем за пропаганду на лекциях идей, „разрушительных для общественного порядка и благосостояния". Теперь он выступает в качестве интересного социального писателя и, возможно, учителя Белинского. Две статьи провинциальных ученых М. П. Алексеева и В. Л. Комаровича посвящены отношениям Белинского к английской литературе и к французскому утопическому социализму. Озаглавив свою работу „Белинский и Диккенс", М. П. Алексеев, словно подражая известной манере Белинского писать не на тему, больше говорит о проникновении в Россию английской литературы, чем о Диккенсе и Белинском. По собранным фактам статья довольно ценна, но научно объяснить и осветить свой материал автор не умеет, ограничиваясь чисто информационной стороной. Статья растянута и изложена довольно

скучно. В несколько меньшей степени эти же недостатки имеются и в работе В. Л. Комаровича „Идеи французского утопического социализма в мировоззрении Белинского". Оба автора не стоят на высоте современных методологических требований; они обнаруживают значительную эрудицию, но как-то не умеют с нею справиться, выказывая к тому же часто безнадежно-идеалистический подход к материалу. Признаком своего рода „дурного тона" надо считать и обильные цитаты на иностранных языках, которые авторы не считают нужным переводить, совершенно забывая о новом читателе, не имевшем возможности научиться свободно читать по-французски. Из других материалов назовем статью М. К. Клемана „Белинский в неизданных письмах Галахова к Краевскому", П. Е. Будкова „Белинский и Некрасов" и Н. Ф. Бельчикова „Белинский и М. Штирнер", из которых первые две приводят некоторые свежие факты, освещающие журнальную работу Белинского и его товарищей, а последняя не дает ничего нового, лишь напоминая известные страницы из мемуаров Анненкова, излагающего мнение Белинского о знаменитом анархисте.

В книге дан ценный иллюстративный материал—особенно интересен впервые воспроизводимый портрет юного Белинского, работы К. А. Горбунова. Издана книга очень изящно, в стильной обложке работы художника Н. Н. Вышеславцева, набрана красивым шрифтом. Досадное впечатление производят лишь частые корректурные недосмотры, некоторые из которых говорят о невежестве корректора и невнимательности авторов и редактора,—напр., известный биограф Гоголя Шенрок именуется то „Шекрок", то „Шепрок" (стр. 190), псевдоним знаменитой французской романистки бессистемно набирается то правильно „Жорж-Санд", то традиционно, но неправильно „Жорж-Занд" (см., напр., стр. 248, 261) и пр. Тираж книги странно мал — всего 1.000 экземпляров. Цена же непомерно велика. Издатели могут быть покойны: за 4 рубля едва ли разойдется даже и напечатанная тысяча экземпляров.

Н. Н. Фатов.

Пушкин. Сборник первый. Редакция Н. К. Пиксанова. Пушкинская Комиссия Общества Любителей Российской Словесности. Государственное Издательство. М. 1924. 8°. Стр. VIII + 344 + 32.

Почти два года тому назад возобновившая свою деятельность Пушкинская Комиссия при Общ. Люб. Росс. Словесности приступила к изданию сборников, которые будут служить ее органом и включать в себя труды Комиссии, т.-е. исследования и доклады ее членов, затем протоколы ее заседаний, критико-библиографические обзоры пушкинской литературы, пушкинскую хронику и т. д. Первый сборник вышел в свет, и мы горячо приветствуем это начинание Комиссии. Такого рода орган необходим уже хотя бы потому, что известное издание Академии Наук „Пушкин и его современники" что-то заглохло, если только не совсем прекратилось. Да если бы оно и возобновилось, чего мы усиленно желаем и что мы будем также горячо приветствовать, все равно это не сделало бы издание сборников Московской Комиссии излишним: работы по изучению Пушкина найдется для всех.

Сборник открывается прекрасной статьей председателя Пушкинской Комиссии Н. К. Пиксанова: „Пушкин и Общество Любителей Российской Словесности", в которой автор пересматривает вопрос об отношении Пушкина к Обществу, что настоятельно нужно было сделать, так как, по справедливым словам исследователя, „случайности, недоразумения и внешние обстоятельства набросили темное облачко на взаимоотношения Пушкина и Общества".

Статья П. Н. Сакулина „Памятник нерукотворный" представляет собою длинный экскурс, посвященный всестороннему истолкованию пушкинского стихотворения „Я памятник себе воздвиг нерукотворный" и вызванный к жизни известным, идущим совершенно вразрез с общепринятым, истолкованием М. О. Гершензона. Последний, напомню для ясности, полагает, что в IV строфе „И долго буду тем любезен я народу" Пушкин высказывает не свое личное мнение о том, чем ценна его деятельность, а мнение народа об этой деятельности, мнение, очевидно, неправильное, и что в слове „любезен" скрывается даже сарказм поэта. П. Н. Сакулин стоит на тради-

ционной точке зрения, что в этой IV строфе Пушкин высказывает собственное мнение о своих заслугах и что никакого сарказма в слове „любезен" не скрывается. Я не могу, конечно, подробно останавливаться на разборе данного исследования П. Н. Сакулина, кстати сказать, в основном взгляде разделяемого и другими, как это видно по протоколам Общества, напечатанным в данном сборнике.

В следующей статье „Сны Пушкина" М. О. Гершензон, пользуясь пушкинскими образами, как материалами, подчас строит свои теории, которые он, однако, готов выдавать за пушкинские. В названной статье он изучает пять сновидений, изображенных поэтом в своих произведениях, именно: сон Руслана, сон Марьи Гавриловны в „Метели", сон Гринева, Григория Отрепьева и сон Татьяны и на основании этих изучений, по его собственным словам, открывает в творчестве Пушкина философию сновидения, которая, впрочем, как заявляет сам М. О. Гершензон, „сложилась у него (Пушкина) тоже безотчетно и вместе логически, работою разума в темной глубине души".

Я опять-таки не думаю подробно останавливаться на этой философии сновидения. Сделаю только несколько замечаний. Прежде всего укажу, что исследователь почему-то не привлек в круг своего внимания шестое сновидение, изображенное Пушкиным, именно сон Марии в „Гаврилиаде", хотя оно и не идет вразрез с первыми пятью. Далее замечу, что к этим построениям философии у М. О. Гершензона все таки нужно относиться осторожно. Гершензон нередко очень вольно обращается с текстом Пушкина, вкладывая в него свое содержание и не обращая внимания на слова самого Пушкина. Остановлюсь на одной детали. Анализируя сон Татьяны, Гершензон заявляет, что во сне Татьяна „многое знает об Онегине, чего не сознает на яву, и ее сон являет нам эти ее знания в зримых образах... Она знает, что в сердце Онегина тлеет ненависть к Ленскому, которая когда-нибудь вспыхнет пожаром". Любопытнее всего заявление нашего исследователя, что в чувстве Татьяны, „несомненно, есть крупица правды. Онегин не может, не должен любить Ленского". Исследователь как будто не доверяет словам Пушкина „сердечно юношу любя" и ставит их в кавычки. Так, человечески-понятным кажется ему, что „в минуту досады на Ленского он (Онегин) дал волю своему злому чувству, — раздразнил Ленского, закружил Ольгу... Это была только мальчишеская выходка, но она имела глубокие корни: вот почему дело сразу приняло такой серьезный оборот. Иначе Онегин не допустил бы дуэли, он, как взрослый, успокоил бы обиженного ребенка; и, даже допустив дуэль, он обратил бы ее в шутку. Но чувство темное, сильное, злое направляло его руку, когда он первый поднял пистолет и выстрелил — не на воздух, а под грудь врагу, т. е. уверенно-смертельно".

Все это как будто очень стройно и верно. Между тем, уже не обращая внимания на то, что в дело дуэли замешался Зарецкий, М. О. Гершензон совершенно пропустил одно замечание Пушкина о том, что помешало Онегину и Ленскому „разойтиться полюбовно":

Но дико светская вражда
Боится ложного стыда...

Эти стихи ясно говорят, какое чувство „темное, сильное, злое" руководило тогда Онегиным, но эти стихи для нашего пушкиниста как бы не существуют, он пропускает их мимо, потому что они не укладываются в его теорию. Такое недопустимое отношение к тексту Пушкина и заставляет осторожно относиться к философским построениям М. О. Гершензона, которые являются своего рода надстройкой над Пушкиным, совершенно в них не повинным.

Богатейшей по содержанию, хотя несколько суховато написанной, является статья В. Я. Брюсова „Пушкин мастер"; особенно ценная и потому, что здесь характеризует мастерство Пушкина не просто известный пушкинист, а и сам поэт, сам признанный мастер чеканного слова.

Статья Л. П. Гроссмана „Онегинская строфа", в которой автор дает многогранную характеристику строфы, какой написан „Евгений Онегин", между прочим вызывает следующее замечание. Аналогия данной строфы с сонетом, какую проводит Л. П. Гроссман, представляется натянутой. Дело не в том, что, по словам самого исследователя, „онегинская строфа не выдерживает сравнения с классическим типом строго канонического сонета, напр., Петрарки

или Эредиа", она не выдерживает такого сравнения с сонетами и самого Пушкина. Она по-своему может быть необыкновенно изящной и выдержанной, но в ней нет той величавой строгости, какою отличаются пушкинские сонеты: вот почему и аналогия с сонетом кажется здесь очень отдаленной и искусственной.

Сделаю одно замечание по поводу прекрасной статьи Н. Ф. Бельчикова: „Пушкин и Гнедич в 1832 году", которая неоспоримо и окончательно доказывает, что стихотворение Пушкина „С Гомером долго ты беседовал один" не может относиться ни к кому, кроме Н. Н. Гнедича, переводчика Илиады. Как справедливо указывает Н. Ф. Бельчиков, воспроизведенный в сборнике факсимиле-автограф этого стихотворения определяет догадку Ф. Е. Корша, что в III строфе

Смутились мы, твоих чуждаяся лучей.
В порыве гнева и печали
Ты проклял нас, бессмысленных детей,
Разбив листы своей скрижали...

последний стих должно читать: „Разбил ли ты свои скрижали". Но этот автограф также неоспоримо доказывает, что третий стих в этой строфе должно читать: „Ты проклял ли, пророк, бессмысленных детей". Таким образом получается стройное чтение III строфы, на которую начало первой строки IV строфы: „Нет, ты не проклял нас" является ответом.

В заключение отмечу, что почти треть сборника занимает богатейшая хроника и к сборнику дано в качестве приложения начало „Описания пушкинских рукописей" Всероссийской Публичной библиотеки имени В. И. Ленина (быв. Румянцовского музея), выполняемого Н. Н. Фатовым и, к сожалению, прерванного печатанием на первом же стихотворении.

Как видим, сборник очень интересен. Будем надеяться, что первая ласточка Пушкинской Комиссии не окажется единственной.

Н. Кашин.

В. Вешнев. А. Серафимович как художник слова. „Московский Рабочий" М. 1924. Стр. 96. Тираж 5.000.

Художественный талант А. С. Серафимовича только в самое последнее время на наших глазах получает настоящее признание. „В доброе старое время" отношение к нему было своеобразным — об этом времени сам Серафимович с прямолинейным казацким юмором вспоминает так: „Печатали охотно, но с кислыми мордами — не было утонченно-сложных переживаний культурной среды. Критика либо молчала, либо: «Тенденциозно»".

Недооценивали Серафимовича и критики-марксисты (Богданович, Кранихфельд, Львов-Рогачевский, Луначарский). Тов. Вешнев настаивает на необходимости немедленной переоценки художественного вклада в русскую литературу, сделанного Серафимовичем. Это требование своевременно и правильно. Кое-что в этом направлении уже сделано (см., напр., статью П. С. Когана в „На посту", 1924, № 1).

Критический очерк т. Вешнева открывается полемическими выпадами против Луначарского, Кранихфельда и других критиков, винивших Серафимовича в „нехудожественности" и „тенденциозности". Эти выпады выиграли бы в своей убедительности, если бы они не были так раздражительно формулированы.

Положительной задачей очерка т. Вешнева является доказать, что Серафимович достоин звания настоящего художника слова Задача эта выполнена т. Вешневым более или менее удовлетворительно. С одной стороны, он опирается на положительные суждения о Серафимовиче таких писателей, Гл. Успенский, Короленко, Л. Андреев с другой — на собственный анализ формы и содержания произведений Серафимовича, „Мышиное царство", „Зарева", „Сопка с крестами", „Город в степи" и — особенно — „Железного потока", красной партизанской эпопеи, где талант писателя развернулся и выпрямился во весь свой художественный и идеологический рост. В свете „Железного потока" все предыдущее творчество Серафимовича выглядит гораздо значительнее и глубже.

Сравнивая „Железный поток" с произведениями других писателей, отразивших нашу революционную современность (Вс. Иванов Пильняк, Яковлев, Малышкин, Сейфуллина, Буданцев, Либединский, Шиш в т. еш-нев правильно отмечает, что свою генеалогию реалиста-бытовика Серафимович ведет от „могучей кучки" старых мастеров и — естественно — в современной литера

туре стоит „особняком“. Следовало бы только настойчивее подчеркнуть „знаньевский“ момент у Серафимовича. К очерку т. Вешнева приложены: 1) автобиография Серафимовича, 2) автограф, 3) четыре портрета, 4) письма к Серафимовичу Ленина, Горького, Л. Андреева, 5) отзывы Гл. Успенского и Короленко, 6) библиография критических статей и 7) рассказ Серафимовича „Зарево“.

Заметим, что автограф Серафимовича выполнен плохо, а письмо Ленина воспроизведено не точно. Что касается рассказа „Зарево“ (из эпохи 1905 г. с интересной фигурой народного мстителя, стихийного „революционера“ Афиногеныча), то возникает вопрос, почему автор — раз он, в дополнение к критическому очерку, захотел дать и хрестоматийный материал — ограничился только этим рассказом и не дал, напр., отрывков из „Железного потока“?

А. Цинговатов.

В. Ваганян. Г. В. Плеханов. Опыт характеристики социально-политических воззрений. Москва. Гиз. 1924 г. Стр. 697. Тираж 7.000 экз. Цена 3 руб. 50 коп.

Об основоположнике русского марксизма существует обширная литература. Опубликовано множество воспоминаний, писем, этюдов, популярных очерков, частных исследований о Плеханове, но до настоящего времени не было ни одной серьезной научной работы, содержащей в себе обстоятельный обзор и анализ взглядов и деятельности Плеханова и выясняющей его историческую роль; одним словом, не было работы, хоть несколько приближающейся по своему типу к классической монографии Меринга о Марксе. Книга тов. Ваганяна тоже не является такой научной биографией хотя бы по той простой причине, что автор сознательно ограничил себя характеристикой эволюции социально-политических воззрений Плеханова, совершенно оставив в стороне философские или эстетические взгляды последнего. Ясно, что это ограничение, будучи применено к такому „теоретику по преимуществу“, как Плеханов, не может не отразиться самым серьезным образом на полноте воссоздания фигуры пионера российского марксизма. Но в пределах избранной темы тов. Ваганян бесспорно дал первое солидное научное исследование, первую книгу о Плеханове, являющуюся не импрессионистским эскизом и не легковесной компиляцией, а результатом большого труда, результатом тщательной проработки как сочинений самого Плеханова, так и литературы предмета, но, вместе с тем, страдающую чрезвычайно существенными недочетами.

Книга Ваганяна ценна прежде всего как добросовестный и подробный обзор взглядов Плеханова в их развитии,—обзор, обильно иллюстрированный длинными цитатами. Уже одно это делает книгу крайне полезной. Но, на-ряду с изложением взглядов Плеханова, перед тов. Ваганяном стояла задача анализа, оценки и объяснения этих взглядов. Основные вопросы, на которые следовало ответить при разрешении этой второй задачи, сводятся к следующему: что ценно для нас в „наследстве“ Плеханова? как и почему отец русского марксизма превратился в меньшевика, а затем в социал-патриота?

Та часть книги, в которой тов. Ваганян отвечает на первый из этих двух вопросов, более удачна и убедительна Проследив путь Плеханова от народничества к марксизму, автор переходит к подробной характеристике взглядов Плеханова 80—90-х г.г. по вопросу о социализме и политической борьбе. Эта характеристика приводит автора к следующему интересному выводу: „До сих пор считают, что в вопросе об отношении социализма к политической борьбе заслуга Плеханова в том, что он установил правильное отношение между ними. Это верно, но это не вся правда. Если бы его работа ограничилась этим, то за ним была бы лишь заслуга перенесения западно-европейского опыта на русскую почву. Но в том-то и все дело, что его заслуга им не ограничивается. Не только в том его великая заслуга, что он в 80-х годах установил правильное отношение между социализмом и политической борьбой, но и в том, что он, последовательно работая над организацией [1]) политической борьбы, выработал стройную организационную систему централизованной, строго дисциплинированной классовой партии, которая одна и могла и смогла вести успешно борьбу с самодержавием, быть гегемоном

---

[1]) Курсив везде автора. *Г. Л.*

в буржуазной революции и продолжить далее борьбу за конечные цели" (стр. 179—180). Тов. Ваганяну удалось доказать, что большевистское учение о гегемонии пролетариата в буржуазной революции, равно как и большевистские взгляды на роль партии и ее организационную структуру, были прямым завершением идей Плеханова. Достаточно прочесть замечательную выдержку из плехановской статьи 1893 г. (стр. 168—169), чтобы убедиться, насколько близка плехановская формулировка принципов строения партии к формулировке, блестяще развитой впоследствии в „Что делать?" Ленина. Подчеркивая огромное значение этой части „наследства" Плеханова, тов. Ваганян в то же время правильно отмечает недооценку революционной роли крестьянства уже тогда, в лучшие годы, сквозившую в работах Плеханова и чреватую серьезными последствиями.

В следующей обширной главе тов. Ваганян выясняет огромное значение идейной борьбы Плеханова с народниками „легальными марксистами", „экономистами" и заграничными ревизионистами по вопросу о взаимоотношениях повседневной борьбы и конечной цели рабочего движения. В этой главе особенно злободневен и актуален раздел, излагающий взгляды отца российской социал-демократии на судьбу демократии в переходную эпоху, взгляды, целиком предвосхитившие большевистскую оценку буржуазной демократии в послеоктябрьский период.

Но если т. Ваганян более или менее удачно ответил на вопрос, какое идейное „наследство" досталось от Плеханова большевизму, то с выяснением причин „падения" Плеханова ему справиться не удалось. Тов. Ваганян по существу дает только один ответ на этот вопрос: причина плехановского оппортунизма — „совершенная оторванность от российского движения, незнакомство с ним" (стр. 478), „незнание, книжное представление о российском пролетариате" (стр. 455). Это—основное объяснение, ибо другие причины, выдвигаемые тов. Ваганяном, собственно причинами не являются. Так, объясняя отклонение Плеханова от собственной революционной линии, т. Ваганян находит, что „основная причина этого явления—его скептицизм по отношению к степени развития сознательности и подготовленности русского рабочего класса" (стр. 517). Но ведь скептицизм—это не причина, а следствие, его причину еще надо найти. Только в одном месте тов. Ваганян вскользь бросил замечание, которое могло бы пролить свет на этот вопрос, если бы только оно было развито: „Чрезвычайно важна его оценка всеобщей стачки, оценка, в которой Плеханов ни в коей мере не обнаруживает не только последовательности, но и смелости, так сказать общественной мужественности, столь свойственной вождям действующих масс, а не теоретикам по преимуществу, каким был Плеханов" (стр. 470). Вместо того, чтобы ограничиваться ссылками на оторванность Плеханова от русских условий, тов. Ваганяну следовало бы подробно выяснить, почему Плеханов оказался „теоретиком по преимуществу", а не „вождем действующих масс".

А на это были глубокие причины и личного, и, главным образом, общественного характера. Решающее значение здесь имела историческая обстановка, в которой Плеханов сформировался как политический деятель. Он был не только зачинателем, но и п р о д у к т о м п р о п а г а н д и с т с к о г о п е р и о д а русского рабочего движения. Превалирование теории над практикой, выработавшееся в результате этого обстоятельства, нашло благоприятную почву для своего развития, когда пропагандист-теоретик Плеханов оказался в среде вождей Второго Интернационала, этих сынов „о р г а н и ч е с к о г о" п е р и о д а р а з в и т и я к а п и т а л и з м а. И, подобно всем этим вождям, Плеханов оказался неприспособленным к наступившей новой эпохе обостренных классовых конфликтов и массовой революционной борьбы.

Тов. Ваганян анализа всех этих причин не дал. Отсюда неясность исторической характеристики Плеханова. Отсюда и вопиющее непонимание взаимоотношений Плеханова и Ленина, правильно отмеченное тов. А. Бубновым в № 1 (17) „Большевика". Кстати добавим, что ошибка т. Ваганяна в вопросе о продолжительности борьбы Плеханова и Ленина с „экономизмом" еще недопустимее, что установил тов. Бубнов. Ведь Ленин не только в 1899 г. первый разгромил „Кредо", но еще в 1894—1895 г.г. видел опасные уклоны виленской программы, а в феврале 1897 г. резко боролся с „мо-

лодыми"—будущими экономистами. Таким образом утверждение о первенстве Плеханова в борьбе с экономистами совершенно не верно.

С недостаточным освещением причин Плехановского оппортунизма тесно связана чрезмерная беглость изложения и анализа позиции Плеханова во время войны и Второй революции. Совершенно не выяснено значение знаменитого введения к „Истории русской общественной мысли". Тов. Ваганян прав, оспаривая мнение тов. М. Н. Покровского о превращении Плеханова перед войной в идеолога „технической интеллигенции"; но для того, чтобы эта правота была очевидной и для читателя, необходима более веская и обстоятельная аргументация.

Местами неприятно поражает стремление т. Ваганяна „оправдать" Плеханова. Говоря о примиренчестве последнего после второго съезда партии, т. Ваганян пишет: „Большая ли была его личная вина? Полагаю, беспристрастный читатель согласится со мной, что личной вины за ним не было—его воодушевляла мысль создания единой партии" (стр. 433). Самая постановка вопроса о „личной вине" глубоко чужда марксизму. Мы—детерминисты и отрицаем „свободу воли". Для нас важно объективное значение действий Плеханова. Ведь никто и не думал обвинять его в сознательной измене делу пролетариата. Ничем иным, как этим ошибочным стремлением к „оправданию" Плеханова, нельзя объяснить попытки Ваганяна опровергнуть ошибочность позиции Плеханова в столкновении с Розой Люксембург на Цюрихском конгрессе Интернационала.

Из частных вопросов, затронутых в книге т. Ваганяна, вызывает возражения также оценка „Черного Передела". Тов. Ваганян пишет, повторяя ошибку тов. Невского: „Столкновение двух фракций в „Земле и Воле" было не столкновением старого (отживающего) с новым, а борьбой нарождающейся научной тенденции с привычным утопизмом" (стр. 47). Говорить о „Черном Переделе", как о носителе „нарождающейся научной тенденции"—значит допускать чудовищное нарушение исторической перспективы. „Народная Воля" признанием политической борьбы сделала шаг вперед по сравнению с бакунизмом, не выходя в то же время за пределы утопизма. „Черный Передел" был носителем консервативных традиций бакунизма. Путь к марксизму для членов „Черного Передела" лежал прежде всего через отказ от чернопередельчества. Сам Плеханов, возражая т. Стеклову, переоценившему марксизм чернопередельцев, писал, что „их марксистская точка зрения на самом деле была не более как точкой зрения Бакунина" (см. предисловие к Туну, изд. 1906 г., стр. 19—20). Да и в самой книге т. Ваганяна имеется достаточно фактов, доказывающих, что „Черный Передел" отнюдь не был носителем „нарождающейся научной тенденции".

Из мелких недочетов отмечу неправильные наименования „Южно-Российского Союза Рабочих" и „Северного Союза Русских Рабочих" (стр. 88), отсутствие кое-где указаний источников и нередкие шероховатости стиля.

Нельзя не отметить множества опечаток, часто путающих даты и имена.

Г. Лелевич.

Л. Троцкий. **Вопросы быта. Эпоха „культурничества" и ее задачи.** Гиз. 3-е издание.

„Мне казалось, что в нашей партийной библиотеке не хватает небольшой брошюрки, которая бы... связывала... воедино явления и факты нынешней переходной эпохи, устанавливая правильную перспективу и тем самым являясь орудием коммунистического воспитания".

Так объясняет т. Троцкий в предисловии к первому изданию историю своей книжки. Автор сообщает далее, что с целью накопления материала и выяснения партийно-общественного мнения по интересовавшим его вопросам он обращался в МК с просьбой созвать совещание агитаторов-массовиков. Некоторые указания, мнения и выводы членов совещания, которые автор считал характерными, приложены к книжке вместе с поставленными им совещанию вопросами. Рядом с фельетонами тов. Троцкого последние представляют значительный интерес, прежде всего потому, что помогают нащупать стержни и рамки взглядов тов. Троцкого на молекулярные процессы в современном быту рабочего класса и обнаруживают корни его статей.

От какого положения исходит тов. Троцкий в книжке, которая „предназначается

в первую голову для членов партии, для руководящих элементов в профсоюзах и культурно-просветительных организациях"? Должна ли партия в перестройке быта, как и во всем социалистическом строительстве, рассчитывать на то, что активность трудящихся масс будет непрерывно расти, что новые и новые слои рабочего класса будут вливаться в ее ряды, вместе с ней изживать старое и создавать новое, как борцы за коммунизм? Нет. Мысль т. Троцкого идет совершенно определенно по другому пути. Свой пятый вопрос членам совещания он формулировал следующим образом:

„Можно ли на основании наблюдений сделать, примерно, такой вывод: тех рабочих, которые, по складу своему, интересуются прежде всего активной политикой, мы захватили в партию; но есть много рабочих, которые в первую голову интересуются вопросами своей профессии, техники, семейного быта или чисто научными и философскими; в отношении таких рабочих мы не нашли еще достаточных способов правильного подхода, т.-е. не научились еще строить для этих рабочих мостки от их интересов в области технической, производственной, семейной, научной — к социализму и коммунизму. Правилен ли будет такой вывод или нет?"

В этом вопросе явно навязывается вывод, явно звучит ответ, который т. Троцкий себе уже дал. Во-первых, устанавливает т. Троцкий, партия к значительным кадрам пролетариата не умеет подходить — значит партия наша частично перестала быть массовой, не имеет с беспартийными пролетариями общего языка (??)! Во-вторых, все политически активные элементы рабочий класс (производственно зрелый) уже выделил в партию; в нем остались элементы „европейские", интересующиеся узкой областью техники, производства, философии (!?) или „азиатские", „растеряевские", не выползшие из мещански ограниченной скорлупы семейного быта.

Один из членов совещания коротко и четко протестовал против точки зрения т. Троцкого: „Партия охватывает все вопросы и дает ответы на любой вопрос. И я не согласен, что мы не нашли правильного подхода". Но ответ „оптимистического аппаратчика" прошел мимо авторского внимания, ибо у т. Троцкого был свой собственный неверный ответ. Не случайно первая статья в книжке идет под названием: „Не о «политике» единой жив человек." В ней тов. Троцкий пишет, что „со стороны политики к нему (рабочему. *А. З.*) не подойдешь, по крайней мере, не захватишь сейчас за душу", и рекомендует „подойти со стороны производства и техники". Конечно, можно и должно делать последнее. Но чудовищно, совершенно не марксистски отделять политику, политическое воспитание пролетариата от общекультурной работы с ним. Чудовищнее же всего провозглашать это в годы диктатуры пролетариата, когда от каждого пролетария требуется максимум политической активности. Но у т. Троцкого это совершенно естественно. Партия выполняет свою агитпропагандистскую работу, Красная армия защищает границы, пролетарии работают, хозяйственники организуют производство... Единство теории и практики-действия, монолитное руководство партией через ее политические лозунги жизнью и строительством в рабоче-крестьянском государстве бесследно пропадает.

„Нужны, — пишет т. Троцкий, — научно-технические, (специализированные по производствам... журналы..., научно - технические общества, рассчитанные на этого (беспартийного, через полгода ставшего ленинцем. *А. З.*) рабочего. По нем же должна равняться наша профессиональная печать" и т. д. „Но самым убедительным для рабочего этого типа политическим доводом является каждый практический успех наш в области промышленности, каждое реальное упорядочение дела на заводе или в мастерской"...

Журналы журналами, и общества тоже хороши. Но, конечно, они имеют только служебную роль. В деле технического и общего образования, а также в привычке к организованной общественности (унионы, ферейны) английские и германские рабочие далеко впереди нас, но не это само по себе создает посылки к прививке коммунистического мировоззрения. Стержнем всякого начинания остается политицизм; вытравление политики, чистое культурничество ведет в лучшем случае к филистерскому заболачиванию, к облеканию в меньшевистские одежды. А вот, что касается практических успехов в области промышлен-

ности, то партия в значительной мере двинула сами рабочие массы на одержание их через политические лозунги. Наша кампания по поднятию производительности труда, связанная с временной стабилизацией, а иногда и сокращением зарплаты, прошла и продолжает итти с огромным успехом, потому что рабочие массы знают цену смычке города и деревни. Наконец, „философски“ настроенные,по анализу т. Троцкого, рабочие оказались весьма недурными выдвиженцами на ответственной советской работе. Так жизнь быстро посмеялась над „перспективами“ т. Троцкого. Схему — с одной стороны — политика, с другой — культурничество — постигла участь всех архитектурных планов т. Троцкого.

После этих положений никакие кавычки перед и после „политики“, никакие ссылки на Ильича (по совершенно стороннему для темы т. Троцкого вопросу) основных неверных мыслей т. Троцкого завуалировать не могут. История троцкизма несомненно укажет на эти места „Вопросов быта“, как на потенциальное выражение идей „Нового курса“. Но нас они интересуют сейчас в другом порядке. Они являются ключом к пониманию постановки т. Троцким всех вопросов о быте и объясняют, почему эта книга при полном отсутствии обобщающей партийной литературы по вопросамбыта „не сделала эпохи“, не смогла стать даже только пособием середнякуагитатору в выступлениях по вопросам быта.

После категорического заключения, накануне широкой тяги рабочих масс в партию (еще до смерти Ильича XIII партконференция постановила открыть доступ в партию рвущимся к ней десяткам тысяч рабочих; смерть Ильича только придала гигантский размах этому движению), что политически активных элементов в беспартийном пролетариате СССР вовсе или почти не осталось, т. Троцкому осталось только одно — морализирование и политграмотические схемы. Все содержание к этому и сводится. Культурничество, еще и еще раз культурничество. Много горячих, хороших и правильных слов относительно малограмотности и плохой печати в наших газетах. По поводу ругани и некультурности языка тоже сказано порядком. Страстный пуританский (это не в укор) пафос против водки... Но коренные вопросы о молекулярных процессах новой жизни, об отчаянной борьбе нового со старым, красных шариков с белыми, артериальной крови с венозной, вопросы о рычагах для строительства нового быта обойдены или, во всяком случае, почти обойдены.

Не поставив правильно вопрос об отношениях партии и пролетариата, автор допускает вторую столь же крупную ошибку (ахиллесова пята троцкизма!) — забывает об условиях жизни пролетариата в к р е с т ь я н с к о й стране. Может ли совершаться в быту пролетариата, связанного на 80% с деревней, какой-нибудь шаг вперед, без отзвука, без влияния деревни и влияния на деревню? Конечно, нет. Изменение быта города без воздействия на деревню означало бы увеличение противоречий между городом и деревней. Особенно зарываться вперед без подтягивания деревни нельзя. И шефства, и землячества, и работа среди отпускников (также работа самих отпускников), помимо их прямой политической роли, являются одним из интереснейших и важнейших бытовых явлений. Они способствуют ликвидации китайской стены между городом и деревней; подымая деревню, показывают в то же время шефствующей рабочей массе, что̀ именно от „растеряевщины“ и что̀ от крестьянской ограниченности должно изживать в своей среде. Но о деревне, о воздействии рабочего на крестьянина, т. Троцкий в „Вопросах быта“ не нашел нужным сказать ни полслова!

Полтора года для строительства — срок невеликий. От появления статей т. Троцкого „Вопросы быта“ на страницах „Правды“ прошло только полтора года. Однако за этот срок мы имеем не мало новых элементов быта. Рост кооперативных столовых, рабочего жилищного, т о ж е к о о п е р а т и в н о г о, строительства и др. виды внедрения кооперации значительно изменили материальный быт и рождают с каждым днем новые культурные навыки. Этих перспектив у т. Троцкого не было. О кооперации в одной из последних статей сказано мельком, а в отношении перестройки быта выдвигается семья, как ячейка строительства нового быта. С е м ь я, которая на наших глазах перестает играть какую бы то ни было прогрессивную роль! Почему, спрашивает т. Троцкий, наиболее „прогрессивные и инициативные семьи не могут группи-

роваться уже сейчас на коллективной хозяйственной основе. Могут, даже в условиях капитализма такие попытки держались годами". Но синица моря не зажигает. Вопрос стоит об изменении быта масс. И дело вовсе не в „инициативных семьях", а в продвижении, хотя бы и очень медленном, масс. И партия правильно взяла курс не по Троцкому, не на инициативные семьи (что весьма напоминает фурьеристский фаланстер в „Труде" Золя), а на инициативные заводские и фабричные коллективы. Суть дела тут оказалась, как и в армии, не в совершенных индивидуальных командирах отделений, а в обучении рядовых бойцов.

Много страниц в книге о семейном быте, но больные, требующие вскрытия, вопросы о половой жизни молодежи, об абортах, о болезненно уродливых калейдоскопах браков и разводов, о мещанской гнили в быту— вовсе не вскрыты. Ярко описаны в книге моменты театрализованного нового быта: октябрины, комсвадьбы и пр. Но эти, радовавшие т. Троцкого некоторым экспрессионизмом, моменты уже сейчас отцветают. Партия видит, что в них происходит механическая замена христианско-религиозной обрядности на некую иную обрядность, тоже лишенную жизненно-реального содержания. Подлинно новый быт растет не на театральных подмостках. Он прежде всего в увеличении коммунистических живых кирпичей — партии, комсомола, пионеров. Три поколения — три армии под знаменем Ленина все больше и больше связываются со страной. Через кооперацию и советы, через учительство и рабселькоров, через профсоюзы и женотделы по тысяче приводных ремней, партия будет воспитывать трудящиеся массы и день за днем ставить кресты на явлениях прошлого.

Книжка для уяснения нашего быта и происходящих в нем процессов партии и всему рабочему классу нужна, но ее нет. Книга т. Троцкого может быть поставлена на полку как образчик непонимания эпохи.

А. Зонин.

Преступный мир Москвы. Сборник статей под ред. и с предисл. проф. М. Н. Гернета. Изд. „Право и Жизнь". М. 1924. Стр. XLI + 246. Отпечат. 5.000.

Издательство „Право и Жизнь" имеет серьезные заслуги перед советскими юристами, главным образом по части издания комментариев к нашим кодексам. Такие работы, как книжка А. С. Тагера о кассационном обжаловании уголовных приговоров, или комментарий П. И. Люблинского и Н. Н. Полянского к Угол.-Проц. Код., могут считаться настольными книгами каждого судебного работника. Понятен, поэтому, живой интерес, пробужденный выходом в свет сборника статей о преступном мире Москвы. Такая книга нужна не только практику или теоретику-юристу. Социолог и экономист найдут в ней материал для проверки и обоснования некоторых своих выводов. Заглянет в нее и журналист, изучающий вопросы быта, и даже просто читатель из тех, кто раньше искал занимательного чтения в „Сахалине" покойного Дорошевича и т. п. книгах.

Интересы этого последнего разряда читателей стоят, разумеется, на последнем плане. Авторы и редакция сборника преследовали прежде всего научные цели. В этой плоскости требовали своего разрешения чрезвычайно интересные задачи. Каковы особенности преступного мира современной Москвы по сравнению с Москвой дореволюционной? Как отразились на нем огромные хозяйственно-политические сдвиги пережитые страной? Каковы новые методы борьбы с преступностью, выдвигаемые революционной действительностью? Все эти вопросы имеют поистине жгучий интерес. Но искать на них ответа в настоящем сборнике — значит напрасно тратить время. В предисловии редактора мы находим, правда, такие замечания: „Современная преступность носит менее имущественный характер, чем до мировой войны" (XXV). Но тут же оказывается, что падение процента этого рода преступлений должно быть отнесено в значительной мере на счет роста другого специального вида преступности, а именно—самогона. Этим обесценивается высказанная автором мысль. Или в другом месте: „У современных убийств есть характерная особенность — это поразительное спокойствие, продуманная методичность, если не самого убийства, то сокрытия следов его" (XXXI). М. Н. Гернет приводит несколько случаев убийств этого рода. Однако уголовная хроника прошлых лет может дать не менее богатый подбор методически задуманных и выполненных престу-

плений. Достаточно вспомнить дело об убийстве семьи Арцимовичей в Луганске или дело Викторова, первого, кажется, кто надумал заметать следы, отправляя изрезанный на куски труп по железной дороге.

Более обоснованы некоторые частные выводы, делаемые отдельными авторами сборника. Правда, за редкими исключениями, и в этих выводах ничего нового нет. Н. Гедеонов отмечает рост бандитизма в 1921—1922 г.г. в связи с голодом в Поволжье. Лишенные крова и надежды на восстановление своего хозяйства, переселенцы наводнили столицы, пополняя кадры столичных преступников и делаясь покорным орудием в руках специалистов бандитского дела (10—11). С. Укше, изучая дело знаменитого московского убийцы Петрова-Комарова, приходит к выводу, что на нем главным образом сказалось „разлагающее влияние войны с ее узаконенным убийством" (60). В. Куфаев отмечает, что большинство рецидивистов приходится на возраст 20—24 лет. Это явление он объясняет тем, что на психо-физическом складе лиц сказанного возраста гибельно отразилась „война и все ее спутники" (109). Под спутниками войны подразумеваются, очевидно, революционные события. Между тем в литературе существует взгляд, по которому революция, наоборот, сильно повышает жизненный тонус населения и открывает новые истоки нервной энергии (Залкинд). Взгляд этот, правда, еще не нашел достаточного подтверждения. Но авторам сборника самой жизнью диктовалась задача проверить его на своем материале. В этой области ими не сделано ничего, если не считать нескольких случайных и разрозненных замечаний.

Заслуживает внимания вывод Н. Гедеонова относительно роли половой жизни. Большая половина грабителей и бандитов, пишет этот автор, познала прелесть половой жизни еще в возрасте 12—15 лет. Такое раннее развитие половой сферы обыкновенно оказывает самое разлагающее влияние на психо-физическое развитие индивида, притупляя его моральные чувства (31). Хотелось бы более обстоятельного исследования этого вопроса. Такого исследования мы, однако, не находим даже в статье А. Петровой, содержащей анализ одного кошмарного преступления—изувечения мужа женой, отрезавшей у него на почве ревности половой член. А. Петрова испещряет свою статью весьма учеными терминами вроде „насыщенность ассоциативного процесса комплексами" или „зрительная реакция примитивной конкретной психики" (90, 100). Не спорю,—может быть, все эти термины и нужны в своем месте, но к обещанному редактором сборника познанию связи экономики и преступности они нас ни на шаг не приближают. Еще более дело запутывается взаимно-противоречивыми взглядами Н. Гедеонова и Д. Родина. Первый из этих авторов находит значительную долю правды в учении Ломброзо о локализации женской преступности в проституции (29), тогда как второй категорически заявляет: „Воровка обычно не является проституткой" (152)...

Д. Родин не довольствуется, однако, столь лестной аттестацией нравственности профессиональных воровок. Он заботливо изыскивает, сверх того, черты привязанности, верности, самоотвержения в психике привычных преступников. Тут фигурирует и классический рассказ о первой краже, совершенной потому, что нужно было „за пахоту земли платить" (можно красть, но не платить долгов нельзя), и размышления о гибельной роли тюрьмы. Вслед за Родиным этим размышлениям предается и В. Куфаев. В его глазах тюрьма является даже г л а в н ы м фактором преступности (103, 143). Эти разглагольствования имеют не больше цены, чем давно наскучившие сантиментальные воздыхания некоторых западных криминалистов на тему о замене тюрем детскими садами и сельско-хозяйственными колониями, где преступники могли бы одновременно поправлять свое здоровье и оздоровлять психику. Я не хочу сказать, что тюрьма—идеальное средство борьбы с преступностью. Но от криминолога, с увлечением живописующего отрицательные черты тюрьмы, мы в праве ожидать указаний на способ ее замены. Если этих указаний нет, то дело сводится лишь к благочестивым размышлениям о земной скверне.

К области тех же „благочестивых", но бесплодных размышлений относится „марксистский" подход к изучению преступности, в том виде, как мы наблюдаем его у авторов сборника.

Прямая связь производительных сил страны и форм преступности резко бросается

в глаза там, где автор не мудрствует лукаво, а просто излагает факты. Земледельческая хлебородная Россия курит самогон. По подсчетам бюллетеня Госплана самогонным производством занимается не менее 8% крестьянских дворов. Стоимость затраченной муки, топлива, работы, неуплаченного акциза и проч. исчисляется в 235 милл. рублей в год (XXXVIII). Зато у нас нет автомобильных краж. А вот только в шести городах Америки за один 1919 г. было похищено 17.882 автомобиля (XXXIV). Это очень интересно и показательно. Тягучие же рассуждения Н.Гедеонова об экономическом факторе вообще (39) или С. Укше о том, что в истории Комарова-Петрова и экономические причины сыграли свою роль, имеют мало цены. По существу же внимание авторов главным образом сосредоточено на факторах наследственности, неправильного воспитания и т. п. Вульфен описывает поведение преступника, выпущенного из тюрьмы, в которой он провел 6 лет. 4 мая он был освобожден, 13-го покушался на убийство с корыстной целью, а до 25-го июня успел совершить 11 убийств и краж. По этому поводу С. Укше толкует о роли экономического фактора, потому де, что неизвестно, на какие средства жил преступник 9 дней до первого преступления (50). Нужно ли доказывать, что такие рассуждения только компрометируют марксистский метод? Наоборот, у В. Куфаева превосходно оттенено и доказано то обстоятельство, что фальшивомонетчики вербуются по преимуществу из мастеровых, а мошенники—из лиц торговой профессии (116). Статья В. Куфаева вообще принадлежит к лучшим в сборнике. Рядом с ней можно поставить дельную, с неотразимой убедительностью написанную статью А. Ароновича о самогонщиках и небольшой, но вдумчивый этюд В. Якубсона о детях-преступниках.

Выводы напрашиваются сами собой. Сборник содержит кое-какие интересные сведения и не лишен отдельных ценных мыслей. Но в нем нет единства научного освещения материала, совершенно не выдержан марксистский подход к предмету, и не чувствуется редакторская рука. В своем настоящем виде книга не дает удовлетворительного представления о современном преступном мире Москвы. Эта задача еще ждет своего разрешения.

И. Ильинский.

Редакционная коллегия. Издатель: Государственное Издательство.

Адрес редакции: Москва, Маросейка, Б. Успенский пер., 5, кв. 36. Тел. 5-63-12.